КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Юрий Лощиц

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
Юрий Лощиц
ЖЗЛ

АБ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ®

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким

ВЫПУСК

1606

МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 2013

Юрий Лощиц

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Юрий Лощиц
Кирилл и Мефодий

УДК 94(3)+811.16 ББК 63.3(0)4-9+80-03 Л 81

При оформлении переплёта использована икона святых Кирилла и Мефодия работы Г. Ю. Лощица.

©Лошиц Ю.М., 2013

© Издательство АО «Молодая гвардия» ISBN 978-5-235-03594-2 художественное оформление, 2013

В ГОРОДЕ СОЛНЦА И ЛУНЫ

Светой Димитрий и дети

У обитателей столичного Константинополя с фессалони-кийцами соперничество давнее. Потому хотя бы, что Константин Великий сначала вовсе не в крошечном Византии намеревался учредить новую столицу, а в обжитых, благоустроенных Фессалониках.

Право, чем не место было бы для Нового Рима? Великолепным амфитеатром спускается город к берегу морского залива, и в ясные утренние и вечерние часы обыватели, стар и млад, зачарованно любуются надоблачной вершиной Олимпа. Его сизый конус реет над водами, напоминая о временах, когда гора эта чтилась старыми греками как престол божественных советов и пиров. С городских крыш и само море видится таким лёгким, почти бесплотным, что вот-вот воспарило бы, трепеща бесчисленными парусами. Но земля удерживает море, а море удерживает столпы небесного света. Великими смыслами держится мир.

Тут, недалеко от городских стен (всего за какой-то час верхом можно доскакать) из зелёной травы торчат, будто беспризорные челюсти, обломки мраморных колонн, осыпи каменных дворцов, а посреди ровного поля соха землепашца вдруг поперхнётся, чиркнет обо что-то твёрдое. Эге, куда мы впо-рались?.. Запестреет из-под жёсткого дёрна пядь мозаичного пола, а там — мелкими плоскими камешками выложены чудеса — то

голова оленя, то крыло орла... Ишь ты, невидаль, — только и мотнёт головой очумелый от зноя простак. А что, если когда-то вся земля была украшена такими вот картинками и негде было пахать и сеять, да и не нужно, потому что хлебные лепёшки сыпались к царским трапезам и застольям рабов прямо с неба.

Великие тайны отлёживаются под корнями трав. Тут посреди ровного поля простиралась Пелла — столица македонского царя Филиппа, и отсюда однажды вылетел на восток, обгоняя свою тень и славу богоподобных, его прекрасный сын, вскоре сгоревший от нетерпения осчастливить и накормить весь мир.

Может быть, император Константин оттого и передумал учреждать новую столицу в Фессалониках, что призрак Македонца, блистательнейшего из неудачников земли, плутал здесь в неприятной близости от городских стен. Знать, опасался император отрицательных назиданий. Не по той ли самой причине враз прекратил он строительство столицы и в другом месте — на малоазийском берегу, на том пустыре, где стояла когда-то Гомерова Троя, и предпочёл, наконец, всем — и Риму, и Фессалоникам, и Трое — Византии. Да, неказистый, малоизвестный, зато не обремененный прахом имперских невезений.

Но Фессалоники, оставленные его вниманием, за пять веков, протекших с той поры, отнюдь не захирели. Пусть и прилепилось к ним небрежное прозвище Малая Византия (цікрov Bu^dvuov), но обилием торговых рядов, убранством христианских храмов, числом жителей портовый город сильно превзошёл

даже старые, одрябшие Афины. Более того, напрямую соревновался с самим царственным градом.

В начале IX столетия, когда в Фессалониках жил и служил родитель Мефодия и Константина, военачальник среднего ранга друнгарий Лев, со старым именем города уже спорило новое, доставшееся ему от пришельцев-славян: Солунь. Кто-то из местных греков мог бы и побрюзжать по такому поводу. До чего, мол, ленивы эти простаки-скифы! Как небрежно они обкорнали благородное название: вместо напевного Фессалоники слышится теперь по улицам нелепое Солунь. Но те из греков, кто успел познакомиться с самыми нужными в обиходе словами варварской речи, могли обнаружить в этом названии и лестный смысл. И даже не один, а два, причудливо соединённые в одном слове. Ведь в этой самой Солуни отчётливо звучало славянское солнце. И не менее отчетливо в нём звучала их луна. Выходит, произнося своё Солунь, они тем самым восхищались светоносным обликом города, лежащего на склоне прибрежного холма. Да, Солунь обращена лицом к солнцу и к солнцем осиянному морю, а по ночам её белые камни как бы светят изнутри, подражая луне.

Некоторые знатоки, оценивая по достоинству игру новых для них слов и смыслов, настаивали, что в имени Солунь всё же внятнее присутствует луна и что славяне взяли это имя прямиком у них, у греков, с их сгкг\vг\ — селини — луной.

Мы же теперь не станем настаивать ни на том, ни на другом значении, хотя не помешает всё же напомнить, что в древнейших русских записях имя города иногда

читается как Се-лунь. Вот вам и поэтическая этимология: Се — лунь?

Где стоял в городе дом друнгария Льва? Не слышно, чтобы кто из новейших греческих археологов или историков предпринимал попытку хотя бы приблизительно разыскать его. Проще всего допустить, что усадьба военачальника располагалась в стенах акрополя, то есть в самой древней, изначально укреплённой части города. Солунский акрополь опоясывает вершину главенствующего над городом холма. Место для него когда-то, в пору греческой архаики, выбиралось подальше и повыше от морских бродяг. Но ещё в языческие времена, особенно при власти римлян, город сильно разросся. Его кварталы спустились к заливу, а с ними сбежали каменными каскадами — от акрополя к подошве холма — башни и стены новой, куда более просторной и мощной крепости. Надёжно защищала она не только место для народных собраний (греки называли его агорой, римляне — форумом), рынки, жилые кварталы, но и языческие, а затем и христианские храмы. Так что вместительный дом Льва с покоями, различными службами и закрытым внутренним двором мог располагаться и вне акрополя, внутри новой крепости, где-нибудь поблизости от одного из самых посещаемых городских храмов.

Наиболее древним из них на ту пору был храм Святого великомученика Георгия. Поскольку строение относилось ещё ко временам римского многобожия, его, по местной привычке, и христиане иногда называли Ротондой. Да и внешним обликом храм

совсем не походил на византийские базилики: приземистый каменный цилиндр со сводчатыми потолками и полукруглой, уже в христианскую пору пристроенной алтарной апсидой. Озирая внутреннее слабоосвещённое пространство, нетрудно было убедиться, что и здесь по-своему запечатлелось соседство двух миров — языческого и христианского. От первого оставались на стенах потускневшие мозаики с гирляндами цветов. Второй присутствовал суровыми, тоже мозаичными ликами страдальцев за Христову веру.

Но чаще других церквей горожане посещали храм Святого великомученика Димитрия — небесного покровителя Фесса-лоник. Базилика, ему посвященная, была главной святыней города и стояла на центральной улице. На этом месте когда-то находились городские бани, термы. В одной из них, по преданию, и был казнён воин-мученик, неколебимый в своей верности Сыну Человеческому.

Здесь ли, у Димитрия, друнгарий Лев крестил своих детей или в другом храме, — нашей реконструкции такая подробность не подлежит. Но в любом случае его чада с малых лет неоднократно ступали под своды громадной базилики и часто слышали назидательные рассказы из жития страстотерпца.

Именно он, святой Солунянин, был для них путеводителем во времена, когда люди подтверждали свою веру ежеминутной готовностью принять крестную муку.

Даже в самой базилике, оказывается, можно было приблизиться на расстояние протянутой руки к месту,

где истерзанный многодневными изощрёнными пытками Димитрий склонил когда-то шею под палаческий меч. Это помещение звалось криптой и представляло собой подвал под алтарной частью базилики. Чтобы проникнуть сюда, нужно было передвигаться почти наощупь под низкими кирпичными сводами. Свечные язычки метались на ходу. И то замирали в простенках, то норовили подкрасться из-за спины жуткие существа в чёрном — не те ли самые палачи, что пролили здесь кровь воина-исповедника?.. После раскалённого уличного воздуха, после благоухающего ладаном храмового помещения здесь было зябко, до мурашек на коже. Какой-то тяжёлый запах, будто исходящий от самого невыветрившегося злодеяния, сжимал грудь. Хотелось поскорее, с колотящимся сердцем, взбежать наверх по ступеням, — туда, где поют и крестятся и умилённо шепчут что-то про себя, глядя на столп, где изображён сам Димитрий с двумя мальчиками, стоящими обочь.

Эта мозаика, раз увиденная, уже сама по себе росла в памяти дивным растением о трёх стеблях. Димитрий был на ней изображён в пору своего юношеского учительства. Прекрасное его лицо венчала пышная копна кудрей, обрамлённых золотым мерцающим нимбом. Был он в белом льняном хитоне, как и два мальчика-ученика (один — отрок лет двенадцати, другой шести- или семилетний). Они стояли слева и справа от наставника, глядя, как и он, прямо перед собой. В том, как все трое смотрели широко распахнутыми глазами, было столько любви, кротости, доверия к миру, что казалось невероятным: неужели

такого Димитрия кто-то способен был заподозрить в злых умыслах против властей? При каждом новом посещении собора глаза сразу отыскивали эту мозаику — в подсводной части столпа, слева от иконостаса. И хотя изображение располагалось много выше человеческого роста, глаза Димитрия и его учеников глядели не поверх голов, а на каждого, как бы близко он к ним ни подошёл. На это обращали внимание взрослые и шептали детям: можно отойти влево от столпа или вправо, а всё равно, заметь, они смотрят прямо на тебя.

Минуют столетия, храм подвергнется многократным пожарам и разрушениям, будет перестраиваться, расширяться, но мозаика эта, к счастью, уцелеет, и в сознании благочестивых солунян возникнет и укрепится легенда, что рядом с Димитрием изображены не кто иные, как святые братья: Мефодий — тот, что повыше ростом, и Константин — совсем маленький. Конечно, в иконописи нередко случается, когда на одном изображении соседствуют святые, жившие в разные эпохи и даже в разных странах. Но как и другие мозаики с ликом Димитрия, отчасти сохранившиеся под сводами базилики, эта была создана задолго до рождения наших солунских братьев. Утешимся тем хотя бы, что дети Льва не раз к этой настенной троице подходили и, может быть, тоже озадачивали родителей вопросом: а кто они всё же — те двое, стоящие под руками великомученика?

И так уж получится, что небесный покровитель града Со-луни станет образцом поведения для Мефодия и Константина на всю их жизнь. Именно они

утвердят в славянских землях почитание Димитрия Солунского как великого Христова воина. Через их слово о Димитрии он войдёт в сонм святых, особо почитаемых и на Руси.

«Общие места» и поступки

Из Византии через болгарское посредничество на Русь пришли два самые первые жития, написанные не греческим, а славянским, только что явленным миру письмом, то есть напрямую предназначенные их авторами для славянского слуха и разумения. Это и были рукописные сочинения о двух братьях из византийской Солуни — «Житие Константина-Кирилла Философа», младшего из двоицы, и «Житие Мефодия». Поскольку в нашем рассказе о солунских братьях понадобится много-много раз обращаться к страницам их жизнеописаний, первое из них для краткости мы будем впредь называть «Житием Кирилла» (Кирилл — монашеское имя Константина, принятое им незадолго до кончины).

Некоторые исследователи называют эти жития (по месту возникновения и первоначального их распространения) «мо-раво-паннонскими», или «паннонскими». Такие географические привязки не вполне бесспорны. Работа над «Житием Кирилла» была начата Мефодием и учениками братьев не в Моравии или Паннонии, а в Риме, вскоре после кончины младшего солунянина. А «Житие Мефодия», задуманное учениками в Моравии, свой окончательный вид приобрело уже в Охриде, городе на ту пору болгарском.

Иногда возникает необходимость называть оба жития — и «Житие Кирилла», и «Житие Мефодия» — ещё и пространными. Дело в том, что, независимо от пространных, существуют и так называемые прдложные жития братьев. В русской традиции последние входили в состав «Прологов» — рукописных, а затем и старопечатных сборников. «Прологи» составлялись для ежедневного чтения в течение целого года. Для удобства расположения статей «Пролог» мог делиться на четыре книги, по временам года, иногда на две. В редких случаях книга умещала под одной обложкой житийные чтения на весь год. Поэтому тип проложных житий отличался предельной сжатостью. Это не значит, что они обязательно представляли собой сильно сокращённые разновидности пространных повествований. Авторы проложных статей могли черпать свои сведения и из каких-то других источников. В поисках достоверных сведений мы будем прибегать и к их свидетельствам. Но всё-таки чаще всего нашими главными источниками останутся пространные повествования — «Житие Кирилла», «Житие Мефодия».

Все, кто в разные века изучал обширнейшее кирилло-ме-фодиевское наследие, не сговариваясь, признают исключительное значение двух этих житийных памятников для постижения смысла земных трудов, совершённых святой двоицей. По сути, во всём кирилло-мефодиевском наследии, как бы оно ни пополнялось вплоть до сего дня (прежде всего, за счёт громадного числа исследований по тем или иным частным вопросам и работ популярного типа), жития

Солунских братьев остаются и навсегда уже останутся на первом месте как главный и самый надёжный источник наших сведений о событии чрезвычайной значимости, враз обогатившем тогда, в IX столетии, мировую культуру. Ибо тогда народился новый литературный язык — славянский. Новая письменность явила себя миру. Евангелие, Апостол, Псалтырь и ещё целая библиотека богослужебных книг, обретя славянскую речевую и буквенную плоть, зазвучали сначала в одной земле, а вскоре и в разных пределах Центральной и Восточной Европы. Более того, по-славянски же в этих двух житиях и было впервые поведано, как именно всё происходило: где, когда, при чьём соучастии, при каких противодействиях задуманному.

И «Житие Кирилла», и «Житие Мефодия» сообщают совсем немного о родителях братьев. Но из немногого явствует, что это были, скажем так, образцово добродетельные родители. В недавние времена первенства в гуманитарных науках гиперкритической школы над подобной образцовостью принято было подтрунивать. Мол, автор жития пишет по шаблону, использует жанровый трафарет, в соответствии с которым у святого и родители обязаны быть почти святыми.

Но разве так не бывает, причём повсеместно, и в жизни простых смертных, когда от доброго древа и плод рождается добрый?

Сверхкритический глаз готов углядеть шаблон и в случае, когда автор жития, описывая детство святого, говорит, что тот стремился к уединению, сторонился забав и развлечений, принятых в кругу сверстников.

Но опять же, именно так бывает, и, к счастью, достаточно часто, в жизни простых смертных, когда сосредоточенная отрешённость ребенка или подростка, поступающего не «как все», закаляет недюжинный характер.

Вообще, расстояние от простых смертных до святых вовсе не отделено непроходимой пропастью. Иногда такое расстояние бывает короче протянутой руки.

Друнгарий Лев и его жена вскоре после того, как у них родился Константин, самый младший из семерых детей (каким по счёту был Мефодий, неизвестно), «договорились не жить друг с другом, воздерживаясь, и так жили во Господе, как брат и сестра, больше 14 лет, пока не разлучила их смерть, никак не нарушив этого решения»*. Можно ведь и такой обет плотского воздержания, добровольно принятый мужем и женой, посчитать заимствованием из какого-нибудь более древнего жития. А между тем жизнь, невзирая на гиперкритические к ней придирки, из поколения в поколение изобильно воспроизводит образцовые поступки не одних лишь святых людей, но и простых смертных. Но поскольку, как и всё образцовое, поступки эти у кого-то вызывают зависть и раздражение, то и выползают на свет разговоры об «общих местах», «заимствованиях». Не проще ли допустить, что житийные «трафареты» происхождением своим по большей части обязаны самой жизни, а не лености авторов-агиографов (от dyioc; святой + урсіфсо писать), «списывающих» друг у друга «общие места»? Из века в век жизнь неустанно и

щедро, не огорчаясь неудачами, возобновляет добрые поступки добрых людей. А заодно наделяет их желанием озираться на достойные примеры из жизни ушедших поколений.

Надо думать, ко времени кончины Льва будущее старших детей, в том числе Мефодия (имена остальных в житиях отсутствуют), было уже как-то обозначено. А младший? Похоже, он оставался полностью на материнском попечении. Не потому ли супруга друнгария у его смертного одра плачет и сетует:

* Отрывки из житий Кирилла и Мефодия будут здесь представлены либо в современных русских переводах, либо на языке старославянских оригиналов, или же в виде пересказов, близких к тексту источников. Большинство старославянских цитат из житий (в несколько упрощённой орфографии) даются по изданиям: Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930; Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971 (для «Жития Мефодия»).

«Ни о нём не пекусь, только о едином младенце, как будет устроен?» Но поневоле напрашивается вопрос: почему она называет Константина младенцем? Ведь ему уже больше четырнадцати лет?

Не забудем: «Житие Кирилла» дошло до нас на старославянском языке, на котором и было написано. Перед нами самый первый из сохранившихся древнейших памятников собственно славянской литературы. И вполне возможно, что его автор ещё не вполне был твёрд в славянской возрастной но-

менклатуре, называя младенцем того, кто, по сути, уже есть «отроча младо».

Но когда всё же родился Мефодий и когда Константин?

Поскольку соответствующие даты в их житиях отсутствуют, уточнения в таких случаях возможны лишь с помощью каких-то косвенных хронологических подсказок. Для младшего такой побочный указатель имеется. И он, что называется, лежит на поверхности. Автор жития, называя точную дату кончины Константина-Кирилла (14 февраля 6377 года от Сотворения мира, то есть 869-го по нашему стилю), говорит, что почившему было на ту пору 42 года. Простое арифметическое вычитание дает 827 год.

Определить, насколько Мефодий был старше Константина, к сожалению, даже приблизительно не удаётся. Как не удаётся и обнаружить первоначальное имя, данное ему при крещении. Принято считать, что оно так же начиналось на букву «М», поскольку чаще всего при монашеском постриге давали новое имя, совпадающее первой буквой с именем мирским. Тогда кто же? Михаил? Максим? Марк? Матвей?.. Не знаем.

Замечательно, что отсутствие этих сведений вовсе не было оплошностью со стороны агиографов — авторов обоих житий. Наоборот, эти и многие другие умолчания и пропуски в них, касающиеся старшего брата, делались вполне намеренно, по воле... самого Мефодия. Ведь он и был если не одним из соавторов, то уж точно первым редактором агиографического сочинения, посвященного младшему брату. И он вовсе не хотел стоять в этом рассказе наравне с возлюбленным

братом. Нет, как и при жизни Константина, он желал и теперь оставаться в тени. Значит, какая-то смиренная радость была для Мефодия в том, чтобы прислуживать брату, как раб своему господину.

Однажды семилетнему Константину было сновидение, о котором он тут же сообщил смущённым родителям и которое позже, когда вспоминали о том событии, подсказывало, откуда взялось его прозвище — Философ.

Не странный ли для такого возраста сон? Ему привиделся стратиг, главный городской военачальник, который, собрав всех девушек Солуни, объявил мальчику: «Избери себе из них, кого хочешь, в супруги». «Я же, рассмотрев и разглядев всех, — признался Константин перед отцом и матерью, — увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ей было София, то есть Мудрость, и её я избрал».

Как смогли, набожные и начитанные родители постарались объяснить сыну духовный, назидательный смысл сновидения: это не наваждение, это ему явилась сама Премудрость Божия, воспетая пророками, прославленная в молитвах, в именах величайших храмов. Та Премудрость, что сияет сильнее солнца. Да, имя ей — София, и оно ему открылось во сне, и как хорошо, что всем на свете он предпочёл её, прекрасную. Что может быть завиднее такой любви, такого избрания! Вот о какой «супруге» говорят родители младшему сыну, опасаясь, может быть, чтобы

он не понял свой чудесный сон слишком буквально: «Скажи же Премудрости: сестра мне будь...»

Но в их тревоге есть и такое, чего они не могут ему высказать. Неужели сновидением этим их ребёнку предрекается путь какого-то ещё неведомого и даже опасного для него избранничества? Ведь что ни говори, а родителям всегда хочется вымолить для детей своих удел не чего-то чрезмерного, не какой-то особой, чреватой опасностями славы, а всего-навсего ровного и безмятежного благополучия — «как у всех».

Как бы мы ни обижались иногда на жизнь, она всё равно была и будет иерархична. Даже среди пяти пальцев у человека на руке нет двух одинаковых. «И звёзды, — пишет апостол Павел, — различаются в славе. Один свет у солнца, другой у луны». Да, у Бога много званых, хотя мало избранных. Но это не по Его прихоти или вине. Он зовёт всех, но не все слышат, а если и слышат, то не все поспешают.

Константин и Мефодий оказались в кругу избранных. Но как по-разному это происходило! Мефодию пришлось ждать своего череда много дольше, чем младшему. Но ведь и избранность Константина, проявившаяся так рано, отмеченная его сновидением, не могла быть ни его родителями, ни тем более им самим осознана сразу и сполна. Что мог знать, кроме самых смутных предчувствий, семилетний мальчик о любви мирской, плотской и об отличии её от любви к Божьей Премудрости?

Сверхкритические умы пробовали и эту страницу «Жития Кирилла» прислонить к какому-нибудь агиографическому прототипу, для чего, в поисках

схожих сновидений, тщетно перелистывали сочинения и жития ранних Отцов Церкви.

И конечно же захотели усмотреть трафарет и в таком вроде бы совсем уж безобидном сообщении: «Когда же отдали его в учение книжное, успевал в науках больше всех учеников благодаря памяти и высокому умению, так что все дивились».

Или сами эти критики никогда ни в чём не успевали?

...Уже в ранние (солунские) школьные годы Константин открыл для себя книгу, которая стала для него на всю жизнь одним из самых драгоценных чтений. Это были творения святого Григория Богослова Назианзина. Наравне с Иоанном Златоустом и Василием Великим Григорий входил в троицу самых почитаемых, великих Отцов Церкви. Как и Василий, он был родом из Каппадокии, песчано-каменистой полупустыни в самой сердцевине Малой Азии.

Если Иоанн и Василий прославились, прежде всего, как создатели литургических служб, по которым жила изо дня в день, из года в год Восточная церковь, если они оставили после себя целые тома проповедей, толкований на книги Нового и Ветхого Завета, если слово их было внятно и ясно каждому — от епископа до человека, впервые входящего в церковь, — то писания Григория поначалу могли показаться странно тихими, чересчур закрытыми, будто автор их никак не мог преодолеть природной застенчивости.

Но нужно было вчитаться в многочисленные письма Назианзина, обращенные к сподвижникам, друзьям, ученикам, в его полемические трактаты, где

не было громов и молний в адрес недостойных, но была, во всей стройной развёрнутости доводов, неопровержимая правота, наконец, вчитаться и в его стихотворения и поэмы, чтобы подчиниться ему надолго или навсегда.

В своих стихах Григорий был разнообразен необыкновенно: то живописал суровое монашеское пустынножительство в окружении гор, лесов и потоков:

Горем глубоким томим, сидел я вчера, сокрушённый, В роще тенистой один, прочь удалясь от друзей. Любо мне средством таким врачевать томление духа, С плачущим сердцем своим тихо беседу ведя. Лёгкий окрест повевал ветерок, и пернатые пели, Сладко дрёмой с ветвей лился согласный напев, Боль усыпляя мою; меж тем и стройные хоры Лёгких насельниц листвы, солнцу любезных цикад, Подняли стрекот немолчный, и звоном полнилась роща; Влагой кристальной ручей сладко стопу освежал, Тихо лиясь по траве. Но не было мне облегченья: Не утихала печаль, не унималась тоска...

То, будто ножом, рассекал каппадокиец существо своё, бесстрашно всматривался в тёмные закоулки души, ища источник постоянных смут и наваждений:

По плоти я девственник;
но не знаю ясно,
девственник ли я в сердце.
Стыд потупляет глаза,
а ум бесстыдно подъемлет их вверх.
Зорок я на чужие грехи
и близорук для своих.

На словах я небесен,

а сердцем прилепнул к земле...

А когда маленький Константин отыскивал у Назианзина строки о его матери, он с волнением узнавал в том описании свою родительницу:

Матерь моя, от отцов унаследовав богоугодную Веру,

и на детей своих наложила цепь сию золотую.

В образе женском нося сердце мужское,

она для того лишь к земле прикасается и печётся о мире,

чтобы всё это, и саму здешнюю жизнь,

преселить в жизнь небесную...

Не меньшее волнение возбуждала в Константине та искренность, с которой святитель Григорий повествовал о своём сокровенном сновидении: «...Среди глубокого сна было мне такое видение, легко воспламенившее во мне любовь к девственности. Мне представлялось, что подле меня стоят две девы в белых одеждах, обе прекрасные и одинаковых лет... Увидя их, я очень обрадовался, ибо рассуждал, что они должны быть много выше простых земнородных. И они полюбили меня за то, что я с удовольствием смотрел на них; как милого сына целовали они меня своими устами; а на вопрос мой, что они за женщины и откуда, отвечали: "одна из нас Чистота, а другая — Целомудрие. Мы предстоим Царю Христу и услаждаемся красотами небесных девственников"».

Читая Григория, мальчик будто отрывался от земли, парил вместе с поэтом, и в душе его рождались робкие слова благодарности святому наставнику. Они потекли

однажды, строка за строкой, будто из малого, ещё робкого молитвенного родничка:

О Григорий, телом — человек, а душой — ангел!
Ты, будучи телом человек, явил себя ангелом.
Уста твои, как один из серафимов,
Бога прославляют
и всю вселенную просвещают
правой веры наставлением.
Так же и меня прими,
припадающего к тебе с любовью и верою,
и будь мне просветителем и учителем.

Так написал Константин едва ли не первое в своей жизни стихотворение.

«Только научи меня...»

Нет ребёнка, который бы, едва научась говорить, не задумывался о том, почему именно такими словами, а не другими называют люди друг друга или то, что их окружает. Почему мать — это «мать»? А вода — «вода»? А огонь — «огонь»?.. Почему и когда так произошло? Люди ли договорились, что будут всё окружающее называть именно такими словами, или кто их надоумил? И почему те, что говорят на чужом языке, — латиняне или славяне — придумывают для себя или получают от кого-то совершенно другие слова?

Этимологией — поиском первосмыслов речи — человек увлекался с древнейших времён, не догадываясь, что когда-нибудь увлечение станет наукой. Этимологическое любопытство, этимологическое беспокойство врождены человеку. Во всём, с чем он ежедневно имел дело, он видел

проявление причин и последствий. Удар камня по пальцу вызывает боль. Причиной пожара бывает молния. Солнечный жар причиняет засуху, жажду и сонную одурь.

Но где причины слов? Лишь в некоторых случаях они заявляют о себе. Произнося слова «свист», «грохот», «вой», «кукушка», «скрипит», «мычит», «блеет», человек догадывался, что слова эти — более или менее похожие отражения звуков, услышанных извне. Как было бы просто, если бы все слова возникали как подражания внешним звукам. Но для большинства существующих слов звукоподражание не становится отчётливой причиной их рождения. «Небо», «земля», «море», «Бог», «свет», «слово», «смысл», «значение», «причина»... Великими смыслами держится понимание между людьми. Но какой силой держатся из века в век сами смыслы? Только ли властью привычки: давайте, мол, условимся говорить так и не будем задумываться больше над тем, почему именно так, а не иначе мы говорим.

Ребёнок, то и дело вопрошающий взрослых о смыслах слов, чаще всего не получает ответов. Его вопросы вызывают недоумение, ухмылки, какие-то косноязычные отговорки. От него отмахиваются, как от надоевшей мухи. И он сам в конце концов устаёт спрашивать, вздыхает и внутренне сокрушается: ну, почему же ничего этого ни от кого невозможно узнать? Разве он спрашивает о чём-то запретном, чего вообще знать не должно никому?

Почти в самом начале «Жития Кирилла», сразу вслед за рассказом об увлечении мальчика

сочинениями Григория Богослова, следует коротенький сюжет, похожий на притчу, какую-то странную, не до конца, возможно, раскрывшуюся и агиографу, и самому мальчику, повстречавшему однажды в Солуни загадочного чужеземца.

И в языческие времена, и в века христианские Средиземноморье знало этот особый пиетет по отношению к знаменитым приезжим учителям — философам, софистам, геометрам, риторам, грамматикам, музыкантам, законоведам. Этот обычай интеллектуального обмена соблюдался неукоснительно: Микены, Фивы, Афины, древние города Малой Азии, Египет, Рим, Карфаген, Вавилон, а позднее Дамаск, Антиохия, Иерусалим, Александрия неустанно посылали из своих стен и в своих стенах принимали великих, именитых, блестящих, просто модных наставников, светил, учителей жизни. И всегда среди них было больше деловых гастролёров, великолепных шарлатанов, милых болтунов, чем подлинных знатоков своего ремесла, искусства, рода знания. Но выезжали-приезжали по приглашениям и подлинно великие умы: тот же Платон, тот же Аристотель, наставлявший юного Александра Македонца.

Что это был за чужеземец-учитель, о прибытии которого в Солунь однажды услышал начинающий школяр Константин? Имя его в житии не названо; откуда прибыл, не сказано. Известно лишь, что профессией его было преподавание грамматики. Каким-то образом мальчик выведал, где обитает приезжий наставник. Один ли он пришёл к учителю или в

сопровождении взрослых, не ясно. Но в любом случае поражает недетская решимость просителя. «И придя к нему, молил его и, к ногам припадая, обратился к нему: Сотвори добро, научи меня искусству грамматическому"».

Чужестранец обошёлся с Константином сурово: «Не трудись, мальчик. Дал я себе зарок никого не учить этому в своей жизни». Мальчик же снова, со слезами кланяясь, ему говорил: «Возьми всю мою долю в доме отца моего, что мне принадлежит, только научи меня».

Но и богатым вознаграждением приезжий учитель не соблазнился.

Вот, пожалуй, единственный случай во всей жизни Константина, когда он открывается в своих чувствах перед неизвестным ему человеком с такой пылкостью, граничащей с безрассудством. Может, именно это насторожило чужеземца, и он в порыве мальчика разглядел лишь каприз богатого дитяти? А то и всплеск душевной неуравновешенности? Часто ли попадаются наставникам дети, которые так сильно и настойчиво выражают желание учиться? Да ещё и грамматике учиться — науке наук!

Похоже, тут действительно обозначилась какая-то критическая и даже опасная точка во внутреннем состоянии подростка. Агиограф определяет это состояние как «большое уныние», вызванное тем, что Константин, развиваясь очень уж стремительно, открывал для себя всё новые и новые «рассуждения и высокие мысли», но при этом не поспевал, а, скорее, не умел без помощи мудрого наставника разобраться в противоречивой пестроте своих приобретений.

Безжалостный, едва ли не оскорбительный отказ приезжего наставника заниматься с ним мог если не потрясти мальчика, то усугубить его уныние. Нежданная обидная неудача способна причинить неокрепшей душе беды, совершенно несопоставимые с их причиной.

Но Константин не поддаётся опасному настроению. Вернувшись домой, он с какой-то взрослой отвагой долго, истово молится, «чтобы исполнилось желание сердца его».

И оно вскоре нежданно исполняется.

СЛАВЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕФОДИЯ

Служба старшего младшему

О вполне сознательном стремлении Мефодия стоять в тени младшего брата уже говорилось и ещё не раз будет повод сказать. Да, Мефодий явно не хотел смотреться в событиях «Жития Кирилла» на равных с Философом. Наверное, попытки этого рода представлялись ему такими же смешными, как если бы луна пожелала постоянно застить солнце. Тем легче было Мефодию добиться своего, что он, как уже отмечено, участвовал в написании жития брата в качестве редактора-соавтора. Да, кстати, постарался и это своё соавторство сделать предельно незаметным.

Более того, он заранее постарался, чтобы после его смерти в кругу учеников и сподвижников не возникло вдруг намерение посмотреть на происшедшие события иначе, чем сам он смотрел, то есть всё-таки выставить его на равных с братом. И хотя это ему, в конце концов, не удалось, но когда среди учеников зашла речь о достойном увековечении житием его памяти, они с удивлением обнаружили: Мефодий оставил им о своей долгой и деятельнейшей жизни, — особенно о её первой и большей по годам части, чем та, что прошла у них на виду, — самые обрывочные сведения. Особенно эта клочко-ватость и скудость необходимейших свидетельств обескураживала, когда речь касалась его детских лет, отрочества, юности.

Да что там! Даже сравнительно недавнее время его ухода в монастырь, когда зрелый муж, видный военачальник решительно устранился от государевой службы, — даже это время на более чем в сорокалетнем отдалении выглядело во всём, что касалось его тогдашних личных мотивов и обстоятельств, совершенно непрозрачным.

Кажется, ещё вчера он был с ними рядом, в счастливой доступности, в общих заботах, службах, тяготах, открытый, всегда готовый выслушать новый перевод тропаря или кондака, дать житейское наставление, остеречь от неверного шага, ободрить... И — надо же! — они теперь не могут прийти к согласию, выясняя самые простые, самые необходимые сведения о нём. Ну, вот это хотя бы: сколько же ему было лет в пору кончины? Разве не срам, что никто из них не может точно назвать год его рождения?! А он будто

качает укоризненно головой из своей прозрачной недоступности: да зачем это вам?., или мало других забот?., тем ли вы занялись?., впрочем, делайте, как знаете.

Предельно скупая событийная часть «Жития Мефодия» — свидетельство того, с какими трудностями столкнулись тогда они, его верные ученики и сподвижники. С какими потерями пробивались в своём повествовании о нём, составляемом вопреки его воле, хоть к каким-то пядям достоверности. То есть получалось так, что всё происшедшее в жизни Мефодия до пострижения в монахи сполна умещалось теперь всего-навсего... в трёх предложениях. Ладно бы, не хватало пергамена и чернил! Не хватало того, о чём писать, а не того, чем и на чём.

«Был же он с обеих сторон, — сообщалось для начала о родителях, — не из худого рода, но доброго и честного, знаемо-го прежде всего Богом, и цесарем, и всей Солунской землёю, о чём и телесный его облик говорил». И сразу же повествователь волей-неволей резко перемещал рассказ из безоблачного детства в пору жизни взрослой, требующей предельной собранности и ответственности: «Потому и первые [люди] любили с ним беседовать ещё в детстве его, а когда цесарь [узнал] быстроту его ума, то дал ему управлять княжеством славянским, будто прозрев как-то, что захотят его учителем к славянам послать и первым архиепископом, и чтобы научился всем обычаям славянским и привык к ним помалу. Пробыв в том княжении много лет и увидев многие наветы и

безчиния жизни сей, обратил волю от земной тьмы к небесным мыслям, ибо не хотел честную душу отяготить суетой, и, найдя удобное время, избавился от княжения и ушёл на Олимп, где живут святые отцы, и там постригся и облёкся в чёрные ризы».

Не легко да и не хотелось бы смиряться с такой чрезмерной плотностью изложения событий. Тут ведь, даже по беглой прикидке, речь идёт не об одном и не о двух десятилетиях человеческой жизни. А как минимум о трёх. Как бы стремительно ни развивался Мефодий, но василевс не мог поручить юнцу в управление целое княжество, входящее в состав империи, к тому же населённое не греками, а пришлыми славянами.

Впрочем, догадок, предположений и недоумений это коротенькое начало жития порождает столько, что нельзя не остановиться хотя бы на главных из них.

От какого всё же года вести отсчёт последующим событиям жизни Мефодия? Где он учился — только ли в Солуни? Или доучивался сверх того в Константинополе, где и мог обратить внимание на его успехи тогдашний василевс?

Кто именно был этот василевс?

Ясно, что им никак не мог быть Михаил III, прозванный современниками Пьяницей. Этот Михаил, с именем которого будут связаны главные события жизни братьев, родился около 840 года, полновластным правителем стал лишь в 856 году, а в пору его несовершеннолетия в царствующем граде правила его мать августа Феодора. До неё же правили соответственно Михаил II, по прозвищу Травл, то есть

Шепелявый, и после него Феофил, супруг Феодоры. Михаил-дед сидел на троне с 820 по 829-й, Феофил — с 829 по 842 год.

Современные исследователи считают, что одарённый юноша из Солуни вряд ли мог совершить столь стремительную карьеру при косноязычном, малограмотном и мужиковатом Михаиле Травле, который, говорят, превосходно разбирался в жеребых кобылах, ослах и свиноматках, но очень поверхностно—в людях. А вот при Феофиле быстрое выдвижение Мефодия выглядело бы куда естественнее. Не в пример отцу, этот император благоволил к талантливым и некорыстолюбивым подданным.

Свяжем и мы со временем Феофила почти феерическое превращение юноши, пусть и чрезвычайно одарённого, в управителя целой областью империи. Тем более что такой привязке не противоречит ещё один литературный памятник житийного жанра, посвященный старшему из солунских братьев, — так называемое краткое или «Проложное житие Мефодия».

Именно оно даёт некоторые необходимейшие подсказки. Во-первых, уточняет его автор, когда молодого человека поставили правителем (воеводой) в славянскую область, ему было 20 лет. Не менее значимо и следующее уточнение: прослужил в этой должности Мефодий целых десять лет.

По византийским обычаям той эпохи воинскую службу начинали восемнадцати лет от роду. Итак, Мефодий, избрав карьеру отца, друнгария Льва, всего за каких-то два года службы опередил родителя в

воинском чине и получил высокое звание стратега. Именно это греческое звание соответствует русскому понятию воевода, упомянутому в кратком житии. По тогдашней табели о рангах архонтом, то есть управителем архонтии — княжества в составе империи, — мог быть только стратег.

Среди иных предположений существует мнение, что Мефодий родился в 810 году, и это, кстати, самая ранняя из обсуждаемых дат его рождения. Если так, то на троне в Константинополе тогда ещё сидел император-самозванец Никифор I, погибший годом позже во время битвы с болгарским ханом Крумом. Совсем недолго после Никифора, всего два с лишним месяца, правил его сын Ставракий, тяжело раненный в том же сражении. Менее двух лет продержался у власти низложивший Ставракия Михаил I Рангаве. Хотя прозвище его, как считают, было лестным и означало «Сильнорукий», он после поражения, нанесённого византийцам всё тем же болгарином Крумом при Адрианополе, вынужден был отречься от престола. С 813 по 820 год империю ромеев возглавлял Лев V Армянин, в прошлом крупный военачальник, стратег малоазий-ской фемы Анатолик. Как и многие предшественники, он кончил не своей смертью. Во время очередного дворцового переворота воины аморийского стратега, уже упомянутого нами Михаила Травла (деда Михаила III), изрезали Армянина на куски в алтаре дворцовой церкви прямо во время праздничной службы.

Ещё мальчиком в солунском доме своих родителей Мефодий мог слышать откровенные разговоры, без

которых вряд ли обходились встречи друнгария Льва с другими здешними или приезжими военачальниками и чиновниками. Кто с тревогой, кто с едва скрываемым гневом говорили о заводилах и жертвах очередных заговоров, о политической лихорадке, постоянно трясущей империю, о наглых военных выходках соседей... Да, как ни храбрись, а Византия переживает опаснейшие времена. Разве это не позорно для воинов, что они, вместо того чтобы защищать священные пределы православной ойкумены, толкутся и шушукаются, как языкастые бабы, в придворных казармах, злоумышляют против своих же вчерашних покровителей, поносят грязными словами патриархов и простых монахов, визжат, будто кастрируемые боровы, на трибунах ипподрома... Нет, в Солуни нравы ещё так не пали. Святой покровитель города — воин Христов Димитрий — уже который век твёрдо держит десницу на рукояти меча. Он не попускает, чтобы здесь клубились интриги, распоясывались хульные пагубники-иконоборцы. Не удивительно ли: все эти промелькнувшие друг за другом на троне самозванцы, пришлецы, клятвопреступники передавали друг другу, как чуму, ненависть к изображениям Христа, Богоматери, святых, к иконам, фрескам, мозаикам, к великому учению об образе и Первообразе. И даже патриархов подбирали себе под стать — духовных смутьянов, от иудеев и сарацин напитавшихся высокомерным презрением к простакам-иконолюбам.

Солунь в эти тёмные десятилетия стала местом ссылки для иерархов церкви, что остались верны заветам иконопочита-ния. Здесь отсиживались,

дожидаясь лучших дней, маститые учёные, опальные политики. Солуняне не стеснялись вслух, прилюдно обсуждать поведение столичных выскочек самого высокого ранга. И если в прежние времена в состоятельных семьях почиталось за честь отправлять детей в Константинополь за образованием, то теперь в ту сторону поглядывали с опаской, дожидаясь перемен к лучшему.

Может быть, ещё и поэтому супруга друнгария Льва перед его кончиной с таким огорчением говорила о неустроенности младшего — Константина? Но, значит, на ту пору (около 841 года) за Мефодия ей уже не приходилось беспокоиться? Да, если вести анкетный отсчёт от 810 года и учитывать числа, упомянутые в «Проложном» житии, то получается, что Мефодий был поставлен стратигом славянской области где-то при начале правления Феофила и теперь, в год кончины своего отца, дослуживал здесь или уже отказался от службы и порешил уйти в монастырь.

Впрочем, один из русских исследователей вопроса, И. И. Малышевский, предложил версию, по которой Мефодий в 842 году только лишь был вызван в столицу за назначением на славянскую архонтию и вместе с ним для учёбы приехал сюда брат Константин. Но тогда получается, что старшего от младшего отделяли всего около пяти лет. И уж никак не 17, которые набираются, если считать годом рождения Мефодия 810-й. А поскольку и у той, и у другой версии есть противники, попытка выстроить более или менее достоверную хронологическую цепочку опять не удаётся.

Вот какую головоломную задачу задал всем Мефодий своим нежеланием своевременно и подробно «анкетироваться»!

Иногда думаешь: да зачем и кому нужны все эти изнурительные тяжбы с увёртливой цифирью? Самим Мефодию и Кириллу? Конечно, они им не нужны. Ни младшему, ни старшему, который делал всё, чтобы память о нём не засорялась лишними датами.

Не мелочное ли тщеславие движет в таких случаях учёными умами? Сколько уже так бывало, что учёный принимается за построение какой-то версии, даже концепции, нисколько не смущаясь явной нехваткой строительных средств, необходимых для реконструкции. И всё же «концепция» запускается в оборот, с нею спорят, на неё ссылаются.

Может, нам проще всего успокоиться на том, что просто-напросто один брат был старше, а другой младше? Но нет же, именно разницу хотелось бы знать! Именно это насколько различить. Потому что чем больше на самом деле было это насколько, тем сильнее обозначится для нас красота братского смирения Мефодия перед Константином. Такая для наших дней редкая и драгоценная красота службы старшего младшему.

Но смиримся и мы. Если не обнаружится каких-то совершенно новых документальных подспорий, касающихся жизни солунских братьев, точная дата рождения Мефодия так навсегда и останется неизвестной.

Славяне — кто и откуда?

Ещё больше поисковых тяжб готовит нам попытка уточнения места, в котором находилась славянская архонтия Мефодия. Но поскольку подобные попытки неоднократно предпринимались и ещё, видимо, будут предприниматься, эту тему тоже нельзя обойти молчанием. По крайней мере, появится возможность лучше разглядеть, что представляло собой в IX веке славянское население Византийской империи и её ближнего заграничья.

Житийные источники (а других просто не сохранилось) не дают никаких географических ориентиров искомой архонтии. Проще всего допустить, что она простиралась где-то в непосредственной близости от Солуни. Город не зря славился на ту пору как самый славяноязычный из больших греческих полисов Балканского полуострова. Если на его рынках постоянно слышалась речь славян, торгующих всяческой снедью и всяческим брашном, фуражом, шерстью, кожами, дровами, сеном, корзинами, кадями и их содержимым, если в домах состоятельных горожан держали во множестве славян-слуг, и подростков, и мужчин, и женщин, значит, народу этого хватало и в солунской округе. И это был мирный, оседлый народ, занятый трудом на земле. И он обосновался тут не вчера, не год назад, а уже давно.

Сыновья друнгария Льва, допускаем мы, не сидели всё время взаперти — только лишь в стенах своей городской усадьбы и солунской крепости. Наверняка у их родителя, по-современному, командира полка, было и загородное поместье, куда семейство выезжало на

лето — подальше от зноя, пыли и духоты городских теснин.

Ехали они от Солуни прямиком на запад, с переправой через быстрый Ахиос, которому славяне дали имя Вардар, мимо руин древней Пеллы, в сторону красивейшего во всей Иллирии озера Охрид, или держали путь подножиями гор прямо на восток, к реке Стримон (по-славянски Струм), оставляя к югу от себя загадочный, будто на кузне выкованный трезубец Халкидонского полуострова, или же двигались на север, вдоль того же Вардара, зеленеющего прибрежными дубравами, — куда бы ни вела их дорога, везде встречали, вперемешку с греческими, и славянские сёла, окружённые пёстрыми нивами, пахотой, лугами для выпаса стад, табунов и отар.

Дети знали, — хотя бы по житию Димитрия Солунского, часто слышанному и в храме, и дома, — что святой покровитель не раз и не два, уже по кончине своей, чудесным образом оберегал город от нападения славянских полчищ. Но, глядя на эти мирные селения, на краснолицего пахаря, сонно ступающего за двумя волами по глубокой борозде, на отроков, расторопно относящих камни, вырванные ралом, к межевой полоске, на пастуха, что стоит древесным изваянием в тени соломенной шляпы, упёршись грудью в свой посох и устремив воспалённый взгляд выше овец, волков, и гор — на свежее невинное облачко, — глядя на этих труждающихся простолюдинов, непросто было вообразить, что их деды или прадеды гоготали и выли когда-то под стенами города, потрясая в руках кожаными щитами, рогатинами и дрекольем.

В описании чудес святомученика Димитрия были даже названы племенные имена тех варваров, нахлынувших на Македонию откуда-то с севера или с востока. Там были дрегувиты, белегезиты, баюниты, берзиты, сагудаты...

Может, их и нет уже давно на свете — племён с такими дико звучащими именами? Нет, оказывается, остались они, уцелели, пусть и не все. Дрегувиты осели на землях к западу от Солуни, в окрестностях города Вереи. Южнее их, в Фессалии, у подножий Олимпа облюбовали себе пристанища белегезиты. Сагудаты, что пришли сюда вместе со славянами, но относятся к какому-то другому языку, также расселились к западу от Солуни. Обитает славянское племя и в долине Струма: этих зовут смоляны или смолены. И живут они здесь тоже давно, потому что ещё император Юстиниан II приходил на Струм усмирять и крестить славян, а с того похода уже минуло два ста и ещё полета годов.

Но ведь сколько бы они тут ни жили, а когда-то их всё же не было? Не слыхали о них ни во времена Гомера, ни в век Александра Македонского, ни при императорах-римлянах. Где они были тогда, когда здесь их не было?

Как много вопросов и как мало всегда ответов! И чем больше живут люди, тем вопросов прибавляется. Что за притча?

Откуда же пришли все эти славяне? Почему они так зовутся? Почему то и дело старые греки звали их, да и нынешние зовут скифами? Каким образом из воинственных, разбойных они стали мирными, незлобивыми? Почему кочевники-болгары так быстро

перенимают язык славян, их имена, их обычаи? Чем это славяне так приманили их к себе, что болгарский воин почитает за честь жениться на славянке? Ведь те и другие — язычники, и болгары прикочевали сюда позже славян, и вот теперь, без всякой войны друг с другом, они вступают в какой-то непонятный для ромеев большой семейный союз.

Переселенцы

Но поглядим на ту же панораму не глазами любознательных сыновей друнгария Льва, а из своего далека.

Ещё от стародавних греков и римлян, от Гомера, от Геродота, от Платона с Ксенофонтом, от Горация, Тацита и Страбо-на унаследовали ромеи страсть к узнаванию племён и народов, населяющих землю. От них же, великих старцев Античности, передавалось представление о том, что греки, а затем и римляне, и ромеи пребывают в самой сердцевине обитаемого мира. Те же, что на окраинах, в баснословной отдалённости от этой обласканной солнцем середины, — чем дальше, тем дичее. Но их на удивление много, и красочной дикостью своих имён, обличий и обычаев они оплетают, как гирлянды, чело срединного мира.

Героям Гомера, приплывшим к земле киммерийцев (Керченскому проливу), показалось в ознобной оторопи, что уж здесь-то солнце никогда не пробивается к земле сквозь тучи. Мрачнейшее место на свете!

Геродот по тому же Понту доплыл чуть дальше — до Днепровского лимана, до Ольвии, видел и описал

живых «царских» скифов-кочевников, наслушался легенд о скифах-землепашцах, что обитают к северу от кочевых, о гиперборeях, прозябающих где-то в ледяном мраке, о людях одноглазых и людях совершенно лысых, но легендам этим не очень поверил. Всего же в своей «Истории» он описал, пожалуй, не одну сотню разных племён, так что венец из этих имён, благодаря

Геродоту, стал необыкновенно пышным и цветастым. Иногда исследователи Геродота недоумевают: как при всей своей неистощимой этнической любознательности он проглядел на Ближнем Востоке или в Вавилоне племя евреев? А мы добавим: как это он проглядел в Северном Причерноморье предков славян, не догадавшись, что под общим именем скифов тут могли жить народы, вовсе не связанные друг с другом ближним родством?

Средиземноморский центризм, отягощенный имперскими амбициями, передался от Античности и византийцам. Не будем их судить за это слишком строго. Сосредоточенность на своём, на самом близком врождена любому человеку и сообществу. Чужое, стороннее, дальнее всегда представляется источником опасностей, страхов, неуюта и холода. Но и постоянным возбудителем любопытства к роскошному многообразию жизни. В имперском самочувствии ромеев, несмотря на то что они принадлежали уже христианскому миру, оставалось слишком много от римского языческого высокомерия, декоративности, античного европоцентризма. К государствам-соседям и соседним народам продолжали относиться с практи-

ческим приглядом: полезно? неполезно? опасно или нет?

После того как между Тирасом (Днестром), Борисфеном (Днепром) и Танаисом (Доном) обосновались воинственные готы, пришедшие с севера, ромеи от скифского захолустья уже не ожидали никакой корысти. Но вскоре и на готов нашлась сила, ещё более тяжкая, и под её давлением они стали пятиться на запад, к Истру (Дунаю) и Балканам.

Осенью 395 года молодой, едва опоясавшийся крепостными стенами Константинополь был, казалось, на волоске от гибели. Из Фракии к столице подступила громадная армия вестгота Алариха. Благодаря переговорам Аларих на город не позарился, зато войска его прошлись по всей Греции до самых Афин, а затем оказались и в Италии. В 410 году вестготы подвергли старый Рим опустошительному разорению.

Не прошло и двух лет, как византийцам пришлось столкнуться с новой небывалой напастью — ордами гуннов. Они шли напролом с востока, откуда-то от Рифейских гор и от Волги, оттесняя готов всё дальше на запад, подминая кочевые и оседлые племена каких-то там гурулов, гепидов, угров, руги-ев, хазар, аланов, антов, закручивая их в чёрный, грохочущий копытами и колёсами смерч.

Империи приличествует стоять на своём избранном месте. Она не имеет права свернуться, спрятаться, затаиться. Она призвана оставаться собой до конца — как монумент, обелиск или храм. В V веке население Константинополя уже не умещалось в старых крепостных стенах. Зодчие обнесли вновь возникшие

пригороды — от верхнего уголка бухты Золотой Рог до Мраморного моря — свежими каменными башнями и пряслами.

В 447 году полчища гуннов прихлынули почти к предместьям столицы, захватив по пути Филиппополь и Аркадиополь. Прорву эту возглавлял некто Атилла. Византийский писатель Приск, оказавшийся в лагере гуннов в составе посольства, ожидал, быть может, лицезреть могучего красавца, под стать мармидонянину Ахиллу. Перед ним же оказался низкорослый, но широкогрудый человек с приплюснутым носом, узкими глазками и рыжей кудлатой бородёнкой на непропорционально большой голове.

Похоже, вождю варваров город не показался достойным особого внимания. Он полагал, что настоящей столицей империи всё ещё остаётся Рим, и, взяв с византийцев громадный выкуп золотом, поспешил дальше на запад.

Надо было, наконец, показать этим разжиревшим римлянам — площадным болтунам, самодовольным обжорам, грязным извращенцам, ни на что не годным воякам, — что есть на свете сильные, мужественные, свободные как ветер народы, и они вовсе не считают себя обделёнными судьбой из-за того, что не глазеют каждый день на кривлянье мимов или кровавые цирковые потехи. Это сама месть на огненных крыл ах прилетела к надменному Риму — беспощадная, неутолимая.

Тысячи книг написаны в разные века о том, что принято называть «Великим переселением народов».

Сотнями причин объясняли эти колоссальные тектонические подвижки населения Земли: всегдашней страстью кочевников к авантюре и разбою, диктатом резких климатических перемен, классовыми противоречиями, воздействием солнечной радиации, Промыслом Божьим, непомерным честолюбием и харизматическим даром предводителей, «охотой к перемене мест», коллективным безумием или коллективным любопытством. Ладно бы перемещались одни кочевые народы и племена. Нет, сорваны были со своих веками и даже тысячелетиями насиженных обиталищ народы оседлых культур!

Как будто любая или почти любая из названных причин имела место. Но даже в сумме своей они не дают достаточного объяснения. Величайший из письменно зафиксированных катаклизмов в истории евразийского континента по-прежнему заставляет недоумённо разводить руками. Как если бы вместо картины океанской бури, заключённой в драгоценную, украшенную позолоченной резьбой громадную раму, мы вдруг обнаружили перед собой те же самые разгневанные, разметавшиеся во все стороны морские валы и носящиеся между ними щепу и обломки этой позолоченной рамы.

Ещё в пору нашествий вестготов и гуннов ромеи не могли не увидеть среди пришельцев и воинов-славян. Другое дело, что ошеломлённым грекам было тогда совсем не до того, чтобы как-то этнически отличать этих варваров от множества других — по одежде, по говору, по вооружению.

И только в VI веке в своей книге «О происхождении и деяниях гетов» уделил наконец-то внимание славянам — склаве-нам (Хк^apiivoi, Sclaveni) — римский историк Иордан. Он заметил, что прибывшие из Скандинавии готы, спускаясь от Балтийского к Чёрному морю, — а это случилось, уточним, ещё в III веке, — вошли в соприкосновение с тремя громадными родственными между собой племенами. «...Начиная от места рождения реки Вистулы (так Иордан называет исток Вислы. — Ю.Л.), на безмерных пространствах расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, всё же преимущественно они называются склавенами и антами». Далее Иордан приводит более подробную географию расселения славянских племён: «Склавены живут от города Новиетуна (предположительно, на правом берегу Савы. — Ю. Л.) и озера, именуемого Мурсианским (предположительно, Балатон. — Ю. Л.), до Данастра (Днестра. — Ю. Л.), и на север до Висклы (всё той же Вислы. — Ю. Л.); вместо городов у них болота и леса. Анты же — сильнейшие из обоих племён — распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море образует излучину; эти реки удалены одна от другой на расстояние многих переходов». Сообщение Иордана заставляло вспомнить, что о неких венетах, живших восточнее германцев, упоминал ещё Тацит. А об энетах, что обитали даже на северном побережье Адриатического моря, — сообщал ещё Геродот.

Но то были очень уж старые свидетельства. А свидетели новейшие — Иордан, а вслед за ним грек Порфирий, — со своими сведениями о славянах весьма припозднились.

Нет, не с книжных страниц славяне впервые предстали ро-меям. Объявились без всякого предупреждения, врасплох, будто из-под земли вдруг с воплями прыснули! И в таком неисчислимом множестве, в таком яростном напоре, что невозможно было представить, чтобы они жили где-то веками, не подвергаясь ниоткуда беспокойствам и сами никого не беспокоя.

И всё же, как подумать, именно последнее больше походило на правду: их откуда-то из отеческих и праотеческих краёв воинская буря вырвала с корнем, с семьями, детьми и стариками, с наспех собранным скарбом, с табунами и стадами, с мешками жита, проса и овса. И они заметались, освирепели, сколотились вперемешку с теми же готами и гуннами в орды, шайки и стали жадно шарить глазами туда и сюда, выискивая пустующие поля и леса, где бы снова можно было отдышаться, пустить корни, заняться старинным своим делом: пахать, сеять, жать, валить деревья, варить меды.

Но, выйдя однажды из своего извечного уклада, как же непросто было к нему теперь снова вернуться! Стоило отвалить куда-то на запад вестготам, как подоспели гунны. Только рухнула, рассыпалась, как прогнивший мех, гуннская орда, а из причерноморских степей уже накатили авары. А там и болгарские ханы объявились, и им тоже, как и гуннам с аварами, захо-

телось воевать против ромеев. И опять — при поддержке славянских племён. Не то чтобы славяне были такие уж паиньки или простаки, чтобы их кто-то, более задиристый и жадный, подбивал постоянно на кровавые затеи. Но сто, двести лет беспрерывных военных предприятий переродят кого угодно.

Византийские хроники VI—VII веков запестрели сообщениями о новых и новых вторжениях славян в северные пределы Византии. В 551 году, перейдя Дунай, они захватили Ниш, город, где когда-то родился Константин Великий, устремились оттуда на юг и в первый раз серьёзно угрожали Фессало-никам. 581 годом пометили летописи их второй приход из Паннонии и Далмации в пределы Македонии — с новой угрозой Солуни. Автор VI века Иоанн Эфесский так сообщал о том вторжении: «И прошли они стремительно через всю Элладу, по пределам Фессалоники и Фракии всей. Они захватили много городов и крепостей; они опустошали и жгли, и захватывали в плен, и стали властвовать на земле и живут на ней, властвуя, как на своей собственной, без страха, в продолжении четырёх лет».

Да где там четырёх! В том же десятилетии отряды славянских военных переселенцев из Македонии спустились в Фессалию, Аттику, добрались до Коринфа, проникли на Пелопоннес, в область древней Спарты, повсеместно оседая на прочное жительство, давая свои наименования сёлам и урочищам. И ещё 200 лет после этого византийский Пелопоннес будет объясняться по-славянски.

Почти на исходе того века, в 597-м, теперь уже совместно с аварами, славяне снова пытались взять штурмом Солунь. «...Они приготовили осадные машины и железные бараны, огромные камнемётные орудия и так называемые черепахи, покрыв их сухими кожами; потом, переменив намерение, чтобы те не повреждены были горячей смолою, употребили кожи недавно убитых быков и верблюдов, прикрепя их к машинам гвоздями... стрелки их метали стрелы подобно зимним облакам», — писал очевидец.

В «Книге чудес святого Димитрия» говорится о том, что небесный покровитель Солуни ещё не раз и не два спасал город от нашествий язычников. Но разве не большее чудо состояло в том, что молитвами святого Солунянина славяне, в конце концов, расселившись в окрестностях города, вернулись к мирному труду своих прадедов?

Ромейские императоры пусть не сразу, но сообразили, что с разбойными славянами можно и нужно входить в общение. Только не на языке молитв, а на грубом, зато легко понимаемом языке взаимной корысти. Юстиниан Великий ещё в 546 году отправил к антам посольство с увесистым багажом золота и подарков. Славянским князьям-архонтам было предложено перейти на постоянную, щедро оплачиваемую военную службу империи и охранять отныне границу по Дунаю от гуннов. Бытует предание, что сам Юстиниан, родившийся в крестьянской семье в Иллирии, был славянином и в детстве носил имя Управда. Так это или нет, но славнейшему из василевсов Византии славянские вторжения из-за

Дуная доставляли слишком много хлопот, чтобы не искать способов переманить их на свою сторону, пусть и таким ненадёжным средством, как деньги. Впрочем, среди наёмников в его войсках были и отряды гуннов.

Живший уже в X веке император Константин Багрянородный в своём историческом трактате сообщает, что попытки как-то приручить славян предпринимали и преемники Юстиниана Великого, в частности Ираклий I.

Последнему, действительно, удалось успешно расселить в обезлюдевшем из-за беспрерывных нашествий Иллирике славянское племя сербов. Предполагалось, что они станут здесь надёжным заслоном против аварских каганов. Возможно, Ираклий воспользовался донесением о том, что где-то к северу от Дуная тамошние славяне, возмущённые притеснениями со стороны пришлых авар, подняли восстание. Во главе его стоял некий вождь по имени Само. Этот решительный архонт вроде бы даже замышлял создать свою славянскую империю.

При том же Ираклии произошло полное заселение малолюдных Македонии и Фессалии славянами — землепашцами, нёсшими одновременно пограничную службу. У сербов до сих пор сохраняется понятие, обозначающее поселенцев такого рода: граничары. Сродни русским казакам.

Но во второй половине VII столетия этническая обстановка на Балканах снова сильно изменилась. На этот раз в связи с приходом в Придунавье протоболгар-тюрок хана Аспаруха.

Так на балканских границах Византии появилось, пока в зачаточном виде, новое царство, которому предстояло пережить империю ромеев, — Болгарское. По ходу дела хану удалось объединить свои орды с уже обитавшими здесь семью славянскими племенами. В авангарде союзного воинства во фракийские и мизийские пределы ромеев вступили славяне из племени северцы или север.

Византийский летописец Феофан рассказывает, что в 687 году василевс Юстиниан II совершил успешную военную акцию против болгар и славян. Громадную часть этих славян отчасти насильно, отчасти добровольно он перевёз через Босфор в Малую Азию, предоставив им для постоянных военизированных поселений область Опсикий. Из этих новых граничар, обязанных оберегать юго-восточные границы империи от арабов и персов, василевс сколотил отряд в 30 тысяч боевых единиц, а всего новосёлов, вместе с семьями, там оказалось не менее 80 тысяч.

На 762 год пришлось ещё более грандиозное переселение славян из охваченного смутами Болгарского царства в Малую Азию. На этот раз их насчитали свыше 200 тысяч душ. Император Константин Копроним предоставил им земли в провинции Вифинии, по рекам Артана и Сатариос. Об этой славянской архонтии нам ещё не раз придётся говорить.

Насильственная или добровольная миграция разных народов и племён, населявших империю и сопредельные земли, применялась Константинополем всё чаще, — по мере того, как прогибались и

сокращались под натиском извне границы Византии, а внутри её от войн, болезней и голода запустевали целые области.

Олимп Вифинский?

Но вернёмся в IX век — осевое время этого повествования. Где же искать оставшуюся безымянной в житиях Мефодия славянскую архонтию, в которой он занимал пост стратига в течение целых десяти лет?

По понятным причинам исследователи чаще всего указывают на Македонию. Она из нашего далека глядится самой «славянской» частью тогдашней Византии. В выборе такого адреса, возможно, сказывается и подсознательное сочувствие к совсем ещё молодому Мефодию. Мол, служить в Македонии было бы «удобнее» ему самому; да и его родители чувствовали бы себя спокойнее, зная, что сын — поблизости, в наиболее мирном теперь из всех славянских округов империи. И друнгарий Лев вроде бы обладал достаточным авторитетом, чтобы военно-государственная карьера Мефодия началась как можно ближе к Фессалоникам.

Но ведь и Верея была близко, и Фессалия лежала ненамного дальше и тоже была густо заселена славянами.

А Пелопоннес? Почему не допустить, что именно Пелопоннес, в IX веке больше славянский, чем греческий, мог стать той архонтией, в которую Мефодия определили правителем?

Каждый из этих адресов глядится возможным, если исходить из меры его близости к родному очагу молодого солунянина.

Но служба есть служба. Власть, распоряжающаяся судьбой воина, будь то пеший копьеносец, всадник или стратиг, различает звания, но не различает настроений и благих пожеланий, обязывая всех и каждого действовать под диктовку жёсткой необходимости. Если потребует необходимость, то и маменькин сынок обязан стать героем. Если враг грозит отечеству, то и философ Сократ, не колеблясь, выходит из круга юных учеников и многословных софистов, встаёт в воинский строй и молча совершает многовёрстный марш — босиком по льду. Византийский полководец не закатывал истерик, когда его из похода в Сицилию или из экспедиции на африканское побережье срочно посылали затыкать брешь, что образовалась на берегах Дуная. И для ромея понятия «отечество» и «героизм» оставались священными, какими они были во времена царя Агамемнона или демократа Перикла.

В таких правилах воспитывался Мефодий. И он не посмел бы перечить, когда б услышал, что император направляет его вовсе не к тем славянам, что живут на его родной реке Вардар, а на Пелопоннес. Или даже в Малую Азию, где славяне, как ему должно быть хорошо известно, занимают целую область в феме Вифинии, она же Опсикий.

На возможность отправки Мефодия именно в Малую Азию указал в недавнее время греческий исследователь А. Тахиаос, сам уроженец и житель Фессалоник. Правда, основу для такого предположения

дал ещё русский учёный XIX века академик В. И. Ламанский своей работой «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании». А. Тахиаоса, кроме того, привлекла строка из «Жития Мефодия», сообщающая, что, оставив службу в архонтии, тот ушёл в монастырь Олимп.

Византийцам IX века хорошо было известно, что речь идёт не о легендарном Олимпе — обиталище греческих богов, а о горе Малый Олимп в Вифинии в малоазийских окрестностях Константинополя. Но зачем бы, спрашивается, Мефодий избрал такой отдалённый монастырь, если бы его славянская область находилась в Македонии или Фессалии? Больше по-

хоже на то, что он приглядел и облюбовал для себя монашескую обитель, когда ещё служил как архонт где-то совсем близко от Малого Олимпа.

В избранном им монастыре церковные службы справлялись, как и положено, на греческом языке, но среди монахов уже в тот век появились и принявшие крещение славяне. В этой братской греко-славянской среде, сосредоточенной на стяжании истинной веры, Мефодию суждено было через время стать игуменом. Вот когда ему снова мог пригодиться немалый опыт воинской и мирской службы. Несмотря на то, что Мефодий был разочарован в своем архонтстве, эти десять лет не могли не воспитать в нём умение управлять людским множеством. Заодно предстояло заново учиться управлять и самим собой — своими привычками, своевольными помыслами, обуревающими душу страстями.

В славянском песнопении, посвященном Мефодию и составленном уже после его кончины и канонизации, есть такие слова о его приходе в монастырь: «...оставив род и отьчество, подружив и дети... в пустыни изволи со святыми отъци жити». Можно, конечно, предположить, что и здесь мы имеем дело с житийным трафаретом — «общим местом» из тех, что-де кочуют из века в век, из текста в текст. И хотя ни пространное, ни проложное жития Мефодия не подтверждают, что он был женат и имел детей, почему не довериться опять самой жизни, которая неустанно и изобильно воспроизводит эти столь естественные «общие места»? Тысячи раз — и до Мефодия, и после него — в монастырь уходили, оставляя за спиной именно жизнь в семье, в браке.

Обременённость монаха-новопостриженника семьёй, оставленной в миру, — это, кстати, ещё один из доводов в пользу того, что Мефодий-стратиг служил и жил семейно где-то недалеко от Малого Олимпа. И, значит, теперь, пребывая в стенах монастыря, имел возможность всё же не оставлять семью духовным окормлением и житейской поддержкой.

У СОФИИ

Смыслы и камни

Когда спустишься от городских стен к береговой кромке Тесного моря, сильнейшее смятение охватит

тебя при виде этого тысячежильного тока. Даже в солнечный день он непроглядно тёмен. Даже в жару от него веет таким холодом, что ос-

трый озноб пробегает по коже. То в одном, то в другом месте на поверхности воды вспухают свежие бугры. Но почти тут же стремнина с судорожным всхлипом засасывает пенные гребни.

Малоазийский берег ещё более каменист и высок. До него совсем недалеко, так что можно различить дерево, человека возле дерева. Невозможно лишь поверить, чтобы когда-нибудь человек решился броситься в воду и поплыть — оттуда сюда. Или отсюда на ту сторону света. Не странно ли? Вот она, совсем рядом — та сторона. Но там уже Восток. Анатолия. Азия.

Есть у греков древнее предание, что когда-то не было в этом месте никакой водной преграды, разделяющей два материка. Почему, спрашивается, в Греческом море, между Малой Азией и Балканами такое множество островов и почему береговые очертания так прихотливы? Потому, говорят, что когда-то на месте этого неглубокого моря, посвященного Богине-Деве, простиралась суша. Море было только одно — чёрный, бездонный Понт Эвксинский. Реки, текущие в него с севера и востока, — от Гипербореи и с Кавказа, — однажды так переполнили Понт, что он встал на дыбы и проломил себе узкий проход в горах. Освобождённые воды устремились в проран и затопили сушу, что лежала за

горами. Напоминанием о той суше и осталось громадное множество островов, от больших и знаменитых, — таких как Лесбос, Родос, Самос, Лемнос, Патмос, — до крошечных, сирых, безлюдных и до сих пор безымянных.

Но легенда ли это? Воды чёрного Понта несутся перед тобой с таким неистощимым напором, будто всё случилось лишь вчера. И с трудом верится, что когда-то, за тысячу с лишним лет до нас, царь Дарий рискнул переправить с того берега на европейский несметную армию; построил целый флот, чтобы, соединив корабли борт о борт, сплотить из них зыбкий плавучий мост и по его настилам перегнать с материка на материк всю свою пехоту и конницу. Дарий, как подробно рассказал о нём Геродот, шёл тогда войной на скифов, надеясь настичь их и наказать в степи севернее чёрного Понта.

Если обернуться спиной к бурунному течению, то глазам предстанет ещё одно чудо света. Но уже рукотворное.

О Константинопольской Софии он слышал с малых лет. Кто говорил о ней с восхищением, даже придыханием, закатывая глаза к небу, а кто — с миной недоверия или обиды: наша разве хуже? Потому что в Солуни тоже был свой Софийский собор, им тоже восхищались, его старались посещать семей-но, с детьми; это был самый большой, самый богато убранный храм в городе. Он поражал входящих высотой и размахом купола, облистанного мозаиками... Там парили громадные фигуры изображённых во весь рост Христовых апостолов и крылатых архангелов. Их глаза были обращены к Богородице и к Её Сыну,

восседающему на небесном троне. Апостолы будто застыли в круговом шествии своего земного посланничества и одновременно небесного служения. Стоя внизу с задранными головами, дети без труда могли не только разглядеть лики учеников и узнать, кто из них Андрей, кто Пётр, кто Иоанн, но и прочитать, старательно шевеля губами, крупные буквы их имён.

Теперь же Константину предстояло войти под своды Софии другой, а правильнее сказать, первой и единственной. Она высилась на спине городского холма и осеняла весь Новый Рим, его дворцы, храмы, башни, сады, площади, арки. И отражалась сразу в трёх водных зеркалах — босфорском, Золоторожском и пропонтидском.

Откуда бы ты ни подплывал или ни подъезжал к городу, она различалась первой, как будто она и была — сам город, и была здесь ещё до города, а всё остальное наспех сошлось галдящей гурьбой, чтобы поглядеть на неё и озадаченно примолкнуть. Но никому не возбраняется подступиться к ней: и тем, кто пришёл лишь для того, чтобы потом рассказывать, как она несказанно велика, и тем, кто всем своим существом, всей своей прежней жизнью томился по этому дню встречи с нею. Разве не о них сказано у Приточника: Светла и неувядаема есть Премудрость и удобозрима любящими её и обретается ищущими её.

Да и куда ещё поведут ноги прибывшего в город, как не к ней? И кто не испытает смущение и трепет, переступив, наконец, её порог?

Впервые он мог прийти сюда не обязательно в праздничный день, когда служил сам патриарх и на

императорском месте, где половицы были выстелены плитами порфирового мрамора, стоял сам василевс. Это мог быть и час затишья между службами, когда в храме шла приборка, мыли беломраморные полы, соскабливали с них свечные оплывки, скатывали или раскатывали ковры, подносили к амвонам для чтения тяжёлые книги, и плеск отворяемых страниц был важен, как звук волны, шевелящей береговую гальку.

Или он мог застать нередкую на ту пору работу восстановления настенных мозаик с изображениями Иисуса Христа, Богоматери, архангелов, святых отцов, потому что образы эти при недавних лютованиях иконоборцев были замазаны слоем извести, а то и напрочь содраны, соскоблены со стен... Или он, только переступив порог Софии, прислушивался к рассказу какого-нибудь храмового завсегдатая, наизусть помнившего целые страницы из трактата Прокопия Кесарийского и радостным шёпотом сообщавшего благодарным и взволнованным пришельцам, что одна София уже была в Константинополе, но сгорела, а потом была отстроена ещё одна, но и та сгорела, причём сгорела уже в начале правления великого Юстиниана, и всё же он, Юстиниан, отважился строить эту — самый большой христианский храм во вселенной, большего же не будет никогда.

Из быстрых уст рассказчика изобильно сыпались цифры, множество цифр, и хотя их обычно никто надолго не запоминает, но зато, когда они звучат, все их воспринимают с едва сдерживаемым восторгом: сколько тысяч рабочих было в двух соревнующихся дружинах каменщиков и сколько сотен стояло над

ними мастеров, и какова высота от пола до купола, и сколько окон в подкупольном кругу и каков его диаметр, и сколько тонн серебра и золота потрачено на украшения, и за сколько стадий видят моряки сверкающий верх Софии, подплывая к городу от Дарданелл... Совершилось же это каменное диво, с тех пор именуемое «Матерью Империи», всего за пять лет, одиннадцать месяцев и десять дней.

Скорее всего, он мог, стоя здесь, видеть и слышать и то, и другое, и третье, но не сразу, конечно, а в разное время, потому что ему достанется радость, поощрение, а потом и обязанность бывать в этих стенах многие часы и даже дни и недели подряд. Но сколько бы он ни простоял здесь, он никогда не сможет привыкнуть к тому, что эти каменные своды, колонны, хоры, ведущие к ним брусчатые пандусы, алтарные полудужья, приделы, подсобные залы и каморки, снопы света в подкуполье, клубящиеся в них ладанные воскурения, похожие на хороводы небесных сил, — что всё это не является ему в тонком, зыбком видении, а существует во плоти. В такие миги хотелось на всякий случай притронуться рукой к какой-нибудь из прохладных порфировых или темно-зелёных колонн и прошептать: Аб^а аоі, Киріе, 86£а аоі! — Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

И прислушаться к тому, как шёпот твой уходит вверх и в сферической переливающейся искрами мгле смешивается с молитвенными вздохами иных душ. Тех, что теперь здесь, и тех, что пребыли здесь, начиная от самой первой службы по завершении небывалой стройки.

Это теперь легко ахать, слушая о первом, о втором пожарах, поглотивших одноимённые храмы. Но сколько нужно было дерзания, чтобы приняться за строительство и в третий раз, когда ещё чадили стропильные головешки от предыдущей базилики. Кто и когда отважится оспорить великий почин васи-левса Юстиниана! И не найдётся безумца, кто бы посмел вслух усомниться в дарованиях Анфимия, грека из Малой Азии, царя архитекторов, и его первейшего помощника Исидора, которые безукоризненным расчётом своим взвили на страшную высоту, заставили парить над людьми тяжёлый, как гора, купол.

Великими смыслами держатся в своих пределах небо, земля, воды и всё, что среди них. И храм этот родился из бестелесного смысла и им же, смыслом, навсегда удержан от падения. Не будь этого смысла, запёчатлённого некогда в Библии, как бы собор возник? 'Н аофіа соко56|іг|аеv еаитг| оікоv... Премудрость создала себе дом... Пророк, произнёсший эти слова, говорил не о маломерном человеческом мудровании какого-нибудь зодчего, пусть и почти обоготворённого современниками. Он говорил о Софии-Премудрости, бывшей всегда, ещё до людей, ещё до творения. Она и сама говорит о себе в его притчах: Господь имел меня началом пути Своего... прежде чем землю сотворить. И когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я была при Нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во всё время. Не об одном каком-то

храме или доме хотел поведать провидец. Он тайнозрительно обозначал Дом всего мироздания.

Но если София, Премудрость Божия, была ещё до творения, то кто же она? Пророк и тут предвозвещает: это — само Слово, сам Божий Сын, Мессия, а Премудрость — лишь одно из Его имён, явленных миру ещё до Его пришествия в мир. И требующим ума сказала: приидите, ешьте хлеб Мой, пейте вино Мое, для вас сотворенное.

Ибо так, словами Тайной вечери, могло быть сказано только о Нём. И громадный крест, вылепленный из драгоценных камней в самом чреве купола, на таинственном днище космоса, — это Его Крест.

Логофет Феоктист

Обстоятельства прибытия отрока на учёбу в столицу изложены в «Житии Кирилла» с предельной краткостью: «...О красоте его и мудрости, и прилежании в науках, свойственном ему, услышав, правитель цесаря, который называется логофет, послал за ним, чтобы учился с цесарем».

«Правитель цесаря», он же «логофет», сам «цесарь» — о ком собственно идёт речь? Почему ни тот ни другой не названы по именам? Как и в рассказе о служебных успехах Мефодия, здесь тоже, замечаем, появляются личности-анонимы. Или это краткость небрежной скороговорки? Или мы опять сталкиваемся с каким-то намеренным самоограничением, свойственным житийной манере повествования?

И при этом нежданный вызов подростка в Константинополь представлен как событие поистине чудесное. Особенно если не забывать, что произошло оно вскоре после неудачной попытки Константина заняться грамматикой у приехавшего в Солунь учителя. Сокрушённый отказом, он, напомним, «пребывал в молитвах, чтобы исполнилось желание сердца его».

Можно догадываться, что за своего младшего истово молилась и его родительница, теперь уже вдова. Ещё перед кончиной мужа она печаловалась ему на неустроенность судьбы Константина. Теперь же, после смерти друнгария Льва, не могла она не испытывать чувства особенно острой неуверенности и беззащитности перед теми, от кого могли бы зависеть дальнейшие шаги сына.

И вдруг такая радость в их доме! Сам Константин, став на колени, снова молится, и на этот раз слова его, обращенные к Господу, в житии приведены полностью:

«Боже отцов наших,
Господи милостивый,
Словом всё сотворший
и Премудростию своею создавший человека,
дабы владел он сотворенными Тобой тварями,
дай мне мудрость, что пребывает на краю престола Твоего,
да познаю, что угодно Тебе,
и достигну спасения,
ибо я раб Твой и сын рабыни Твоей».

Таково приготовление в путь. Как парчовые пряди, вплетает подросток в своё обращение к Богу стихи из Псалтири и из Книги Премудрости Соломона. Но не

слово в слово повторяет строки великих наставников, а сам с их помощью пробует, может быть, впервые в жизни, излить и запечатлеть своё собственное софийное переживание и понимание Премудрости как Слова Божьего.

И всё же эта сильнейшая и так понятная жажда отрока преуспеть в учении, пусть и подкрепляемая молитвами, своими и материнскими, могла ли сама по себе определить его участь? Как видим, в событии этом вполне чётко обозначается и некоторое встречное соображение, причём вполне практического свойства. Соображение, исходящее от придворного лица, к тому же настолько влиятельного, что было бы небрежностью не поискать, о ком именно идёт речь.

«Правителя цесаря» звали Феоктист. Он «вычисляется» исследователями достаточно легко. Константин не мог попасть в столицу империи раньше пятнадцати лет от роду. Отец его умер, когда мальчику было четырнадцать, а между этим событием и отъездом в Константинополь какое-то время, пусть небольшое, всё же прошло. По крайней мере, начало его учёбы в царьградской школе приходится на 842—843 годы, никак не раньше.

В одно из самых первых своих посещений столичной Софии Константин мог при входе в храм разглядеть и прочитать на мощных бронзовых вратах молитвенные обращения в виде монограмм, посвященные царской семье, с которой отныне свяжет его судьба: «Господи, помоги Феофилу императору»; «Богоматерь, помоги Феодоре Августе»; «Христе, помоги Михаилу императору». И дата составления

надписей: «Лета от Сотворения мира 6349-го» (значит, от Рождества Христова 841 год).

Однако императора Феофана, родителя Михаила III, молитва эта не уберегла от нежданной кончины. В сильнейших муках, вызванных каким-то желудочным истощением, он умер 20 января 842 года. Михаил «наследовал» царскую власть в трёхлетнем возрасте. Безымянный византийский летописец, которому в науке присвоено имя «Продолжатель Феофана», со знанием дела сообщает, что при малолетнем цесаре вместе с его матерью-опекуншей, вдовствующей августой Феодорой, всеми государственными делами ведали, то есть были опекунами, ещё три лица, назначенные покойным Феофилом: «евнух Феоктист, в то время каниклий и логофет дрома, брат августы патрикий Варда и магистр Мануил, родом армянин, приходившийся госпоже дядей по отцовской линии». Но есть сведения, что и Феоктист был Феодоре братом, пусть и не родным. В любом случае «правитель цесаря» оказался теперь одним из самых влиятельных лиц в империи.

К тому же при дворе у него имелось, учитывая стремительность тогдашних чиновничьих перетасовок, преимущество завидного старожила. Звание магистра получил ещё двадцать с лишним лет назад, в годы правления Льва Армянина. Хотя тот император был его крёстным, Феоктист позже участвовал в заговоре против него на стороне Михаила Шепелявого, за что заработал от последнего чин каниклия. При Феофиле дослужился до министерского поста. Логофет дрома возглавлял внешнеполитическую службу, в том числе

управлял почтовым ведомством. Позже стал главным или общим логофетом... Его канцелярия располагалась в Асикритии — одном из зданий Большого дворца. Там под его началом служила целая команда царских писцов-асикритов. Теперь, став одним из опекунов при малолетнем Михаиле III, многознающий, как никто наделённый опытом придворного лавирования евнух Феоктист достиг, пожалуй, всего, на что только мог рассчитывать и о чём мог мечтать. Впрочем, всего ли? Об этом будет надобность поговорить позже, когда речь коснётся нежданной кровавой развязки его судьбы.

Итак, младший сын солунского друнгария Константин, которого Феоктисту кто-то представил как великолепно одарённого для своих лет и, что немаловажно, внешне привлекательного подростка, вызван логофетом для продолжения учёбы в столицу. Причём речь идёт не просто о какой-то привилегированной школе, а о возможности учиться с... самим цесарем.

Правда, последнее сообщение, как бы вскользь оброненное автором жития, смущало и продолжает смущать комментаторов. Ведь цесарь Михаил совсем ещё малолеток (по одним источникам, родился 9 января 840 года; по другим — около этого года). Может быть, речь идёт о придворной школе, в которой обычно проходят курс наук царские отпрыски, но где занимаются также и наиболее одарённые дети из служилого сословия?

Но как бы там ни было, отныне для Константина началась совершенно новая жизнь. Только что

произошла смена на троне. В такие дни вся империя по привычке ждёт свежих веяний, благодатных перемен: наград, помилований, поощрений, добрых вестей с окраин, где слишком затянулись военные действия, переговоров об обмене пленными. Так всегда или почти всегда бывало и раньше. При смене властодержца благоразумно дать надежду разным сословиям на то, что теперь все заживут безбедно. Что варвары наконец угомонятся. Что еретики попритихнут. Что казна снова наполнится, а тюрьмы опустеют. Что бремя налогов убавится. Что вдов и сирот отныне не оставят вниманием...

От Гомера до геометрии

...Детям, сидящим на стульях складных, о щите Ахиллеса просит поведать учитель, кто что запомнил. Дети с рассказом спешат вперебой о чудесном изделье. Бог хромоногий Гефест в кузне ковал это диво, золота и серебра, и меди Пелееву сыну не пожалев из своих рудников олимпийских... Богоподобный слепец, Омирос, ты слышишь? Мальчик, волнуясь, вплетает свой стих в Гомерову пряжу...

Сколько помнит себя греческая школа, уроки родной речи начинаются в ней с прослушивания и чтения поэм Гомера.

А власть его стиха такова, что почти каждый ученик, сам того не замечая, начинает приноравливать своё дыхание, свой шаг, свою стопу к царственной поступи Гомерова гекзаметра.

Чаще всего сравнивают неспешный ритм его строк с мерным гулом прибоя. Но разве Гомер — это только

ритм, метр, мерность? Это — целый мир, в котором небо участвует в судьбах земных людей постоянно, неотрывно, страстно. Небо Гомера почему-то заинтересовано в маленьких, суетных существах — человечках, людишках. Кто-то из олимпийцев то и дело со свистом крыл, с нахмуренными сурово бровями проносится сверху вниз. Боги из-за каких-то капризных ничтожеств затевают между собой интриги, склоки, а то и страшные драки. Небо Гомера почему-то небезразлично к нашей малости и бренности. Гомер осмелился представить себе богов переживающими из-за нас, недоделков. Если бы Гомеру однажды доказали, что небо необитаемо, что там — только испарения и копоть от земных пожаров, он бы оскорблённо замкнулся навсегда. Небо Гомера сострадает человеку. И только потому песни его, как обломки неведомого корабля, доплыли до Византии, и косматого язычника стали читать в школах вперемешку со Псалмопевцем и Дамаскином. Верностью православных ромеев своему слепому первосказителю, трепетно любившему «родину милую», «отчизну драгую», проверялся их греческий патриотизм. В отношении Гомера к богам и богиням, часто сварливым, капризным и страстным, как простые смертные, видели почти нескрываемую иронию вещего слепца и его тоску по единобожию. Где бы ни жил ромей — в Константинополе или на Сицилии, в Пантикапее или Афинах, на Родосе или в Кесарии, — везде с малых лет, в любой час дня и ночи его окружали небо, земля и море Гомера.

Греки произносили в его имени начальное Г почти неслышно, с самым лёгким придыханием: Омирос — Оцірос;.

Мера, море, мир, Гомер...

Через песни «Илиады» и «Одиссеи» открывался мир грамматики. Слушая и читая на уроках Гомера, учились различать буквы-ур(і|!|!ата, которые названы так потому, что изображаются с помощью чёрточек, царапин (ураццаі).

«Житие Кирилла» сообщает, что курс грамматики прибывший в Царьград подросток одолел в поразительно короткие сроки и что занятия эти тесно смыкались с усвоением того же Гомера. Вот он — житийный фрагмент, впечатляющий, кстати, уже привычной нам экономностью изложения: «И в три месяца овладел всей грамматикой и за иные взялся науки, научился же и Гомеру, и геометрии, и у Льва, и у Фотия диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским учениям». Стоит при этом заметить, что того же Гомера все греческие школяры начинали изучать уже с семи лет.

Сжатость, почти скомканность рассказа потребует и других дополнительных разъяснений. Начать придётся всё с той же грамматики, самым стремительным образом усвоенной Константином.

Хотим того или нет, но мы почти постоянно живём под сильнейшим внушением собственного превосходства над теми, кто жил до нас. А если уж разделяющая дистанция превышает тысячу и более лет, то тут наше превосходство совершенно перестает

требовать для себя каких-либо обоснований. Между тем человечество иногда способно топтаться на месте своих былых достижений не одно тысячелетие.

Так, в частности, обстоит дело с некоторыми учебными дисциплинами, перечисленными выше. Возьмём хотя бы три из них: ту же грамматику, те же геометрию и риторику. В школьные годы Константина Философа маленький грек обязан был, по просьбе учителя, быстро составить фонетический «портрет» любой из букв родного алфавита, то есть объяснить, как именно участвуют в её произнесении гортань, язык, зубы и губы. Далее, он знал отличительные признаки любой из частей речи, легко разбирался в падежах и числах имени (существительного), в лицах, числах, временах и наклонениях глагола, имел развитое представление о композиционном построении предложения, то есть о синтаксисе. Далее, без запинки мог он перечислить и пять древних диалектов греческого языка и даже назвать главные признаки каждого из диалектов и, сверх того, бодро выпалить, что ионическим диалектом пользовались Гомер и Гесиод и историк Геродот, аттическим — Фуки-дид, Платон и Аристотель, а эолийским — Алкей и Сапфо, и что в конце концов из всех пяти диалектов составился общий язык — койне (kouvtj), над диалектами диалект, на котором писали евангелисты и которым ромеи пользуются и по сей день.

А если бы его спросили «на засыпку», что такое этимология, он бы резво, торопясь опередить одноклассников, выпалил, что этимологией называют ту часть грамматики, которая занимается

происхождением каждого слова. Известно ему было также и о том, что весь этот свод знаний существует и применяется уже почти десять веков и составлен знаменитым грамматиком Античности Дионисием Фракийцем ещё за столетие с лишним до Рождества Христова, а дополнен Аполлонием Дисколом, жившим уже при первых Отцах Церкви.

Разумеется, Константин управиться со всеми этими непростыми материями всего за три месяца смог лишь потому, что большую часть школьного курса грамматики он усвоил ещё в Солуни и ещё там, как помним, томился и горевал из-за нехватки более глубоких и общих представлений о волнующем его предмете. Видимо, здесь-то он их, наконец, и получил. А получив, тут же начал применять не только для совершенствования в родном греческом, но и при знакомстве с другими языками, которые преподавались в элитной школе. Древнерусское Проложное «Житие Кирилла» упоминает их в следующем порядке: «И четырми языки философии научився: еллински, римскиу сирски, жидовски».

Усваивая начала геометрии, он знакомился не только со знаменитой теоремой, но и теорией чисел Пифагора, а также мог дать отгадку дюжине иносказаний и загадочных заповедей, оставленных этим мыслителем.

А приходя на урок риторики, слышал о том, какую речь образцовой считали великие древние ораторы Демосфен и Цицерон и многие иные, подражавшие этим двум. Ладно бы только слышал. Он и сам старался научиться говорить, избегая выспренности, а с другой

стороны, сухости и скудности, не впадая в расплывчатость, сторонясь слишком долгих периодов или слишком витиеватых фигур. Речь величавая, мощная, доступная и сдержанная не украшает себя чрезмерно. Не заботься о гладкости и вылизанности. Не окунай свои слова в елей, не обмазывай их мёдом, не бойся резких или даже грубо-суровых слов, когда они прямее всяких иносказаний выражают суть.

И помни: древность дошедшего до тебя знания — вовсе не повод для высокомерной усмешки, но лишнее доказательство его проверенной временем бесспорности.

Фотий и Лев

Прекрасным учителем диалектики, философии и той же риторики стал для Константина обожаемый всеми школярами Фотий — один из двух наставников, названных агиогра-фом по именам. Вот как этот Фотий, уже будучи патриархом, вспоминает в одном из своих писем об атмосфере, царившей в придворной школе, когда в ней учился младший из солунских братьев: «Могу ли без слёз говорить о том времени, когда мои друзья собирались вокруг меня и приводили с собой других, тоже горевших желанием учиться? Мне доставляло высшее наслаждение видеть, с какой ревностью они занимались науками, с каким вниманием распытывали меня, как изостряли свой ум математическими исчислениями и с какой ревностью стремились к постижению истин посредством изучения философии и Священного Писания, венца всяческих знаний. Таким было обыкновенное общество, в

котором я вращался. Когда мне случалось отправиться во дворец, толпа слушателей сопровождала меня до самого входа и уговаривала меня не засиживаться там долго и поскорей возвращаться. В этой привязанности учеников я видел для себя высшую и невыразимую награду и стремился оставаться во дворце не дольше, чем того требовала работа. А когда возвращался в наш дом, моё учёное общество уже ждало меня у ворот. Те из учеников, что благодаря своим превосходным успехам уже получили известное право на более интимное обращение со мной, старались подчеркнуть, с каким упорством они ждали, другие просто приветствовали меня. Наши отношения были простыми и искренними, их не омрачали ни козни, ни зависть. И всего этого я теперь лишён и горько оплакиваю минувшее».

Скорее всего, уже тогда, в пору своих преподавательских вдохновений Фотий увлёкся (и самых способных учеников увлёк) составлением грандиозного свода критических статей и пересказов «прочитанных нами книг». Сам будучи страстным библиофилом, он собрал у себя в доме богатейшую коллекцию произведений греческих авторов разных эпох — от языческих мудрецов до христианских богословов. Задуманному своду было присвоено название «Мириобиблион» («Множество книг»). Это была попытка составить общую панораму становления греческой мысли и греческого художественного слова. Попытка дать толкование, с точки зрения христианина, всему тому, что в творчестве древних философов, ораторов, учёных, прозаиков достойно быть

прочитанным и сегодня (Фотий исключил лишь поэзию и драматургию).

Из его предисловия к «Мириобиблиону» явствует, что всего для рассмотрения было отобрано 279 книг и что они предварительно прочитывались и подвергались оценке на занятиях, и лишь потом составлялись письменные пересказы их содержания или критические очерки. Похоже, Фотий не выставлял себя перед подростками недоступным и всезнающим оракулом. Не понукал их к «мёртвой тишине». Любил слушать не меньше, чем говорить. Да и смешно бы ему вести себя высокомерно с теми, кто был всего-то на семь—десять лет моложе его.

Разве обязана учёба быть скучной? Разве может красота вызывать зевоту? Возьми на свой выбор любое слово — как оно прекрасно устроено! Рассмотри всякую букву — она великолепна по совершенству линий. Начерти её с любовью, и ты уже почувствовал в себе художника красоты. Запечатлей её с помощью резца на мраморной плите, и ею будут любоваться тысячи. А предложение из трёх-четырёх слов — уже целый памятник, монумент. Произнеси слово, а затем и предложение нараспев, с распахнутым сердцем — в тебе родится музыкант. Слыша музыку слова, ты лучше разумеешь его смысл, и наоборот. Имеющий уши да слышит... Ты с малых лет знаешь, что это слова Христа, призыв, обращенный к каждому из нас. Они давно стали для всех пословицей. А сколько ещё Христовых пословиц-поговорок в евангелиях?..

Так, увлекая учеников, увлекаясь сам, Фотий собрал целую книгу пословичных изречений. Вместе же

собрали и «Лексику» — учебное пособие с этимологическими опытами, попытками определения изначальных смыслов слов. А в дополнение к «Мириобиблиону» у него в школе появился в те же годы и справочный «Словарь» — для скорейшего разыскания нужного автора и насущной книги.

Вот ещё лирическое и одновременно педагогическое откровение из позднейшей переписки Фотия. Обременённый поистине тяжелейшими для его впечатлительной натуры заботами патриаршего служения, он вспоминал счастливые часы общей с учениками работы над заветной книгой: «Когда я оставался дома, я испытывал величайшее из наслаждений, созерцая прилежание учеников, — то рвение, с которым они задавали вопросы; их длительные упражнения в искусстве вести беседу, благодаря которым и формируется знание... их настойчивое изучение методов логики, чтобы отыскать истину, их обращение к богословию, которое ведёт разум к благочестию, — к тому, что увенчивает все занятия. И такой хоровод был именно в моём доме».

Воспоминания Фотия так живописны, что, кажется, ещё миг, и мы расслышим в этом хороводе звонкий, взволнованный голос солунского отрока. Константин наверняка был в толпе тех, кто провожал Фотия до ворот дворца и терпеливо дожидался наставника у входа в училище. И, скорее всего, он уже числился среди учеников особо поощряемых. И потому особенно старательных. Ведь даже искусный учитель не в состоянии скрыть, что кому-то из своих подопечных он благоволит всё же чуть больше, чем остальным. Не так

ли и ученики Христа не могли не заметить про себя, что юного Иоанна из всех его галилейских родичей и сотоварищей строгий Дида-скал держит ближе всех к сердцу?

О Льве, втором из столичных наставников Константина, которого агиограф называет по имени, ученики передавали друг другу мнения то восторженные, то заставляющие задуматься и поумерить свой пыл. За глаза его почтительно называли Великим Львом, и у него же было почётное прозвище

Математик. Пик его мирской и церковной славы приходился на время правления василевса Феофила. Теперь же маститый муж пребывал в опале, будучи смещён с митрополичьей кафедры в Фессалониках. Но что-то странное было в этой опале: Льва не только никуда не сослали, но ещё и вернули в Константинополь. И доверили возглавить философскую школу, которая располагалась не где-то на отшибе, а в триклинии Магнавре Большого дворца. Это при том, что сам он от юности, говорят, вовсе не стремился ни к придворным почестям, ни к драгоценным церковным облачениям. А теперь умудрялся даже в столице вести жизнь учёного отшельника, равнодушного к известности и деньгам.

Константин мог помнить и даже лично знать Льва Математика ещё по Солуни. Митрополитом тот пробыл всего три года. Многие горожане и особенно окрестные крестьяне считали, что именно он спас македонский край от страшного голода. Накануне засухи свирепствовали из года в год, а он, изучив воздействие

звезд, благословил однажды засеять зерно много раньше обычной весенней поры. Семена дружно прозябли во влажной почве. Жатва оказалась такой обильной, что собранного хватило не на один год.

Но не все были единодушны в симпатии к новому владыке. О том же событии говорили и по-другому: это-де сам Бог внял мольбам обречённых, а Лев с его астрологическими хитростями тут ни при чём. Были и такие, особенно среди солунских монахов, кто не скрывал своего нерасположения к митрополиту. Особенно когда обнаружилось, что он, как и многие столичные умники, мирские и духовные, не чтит божественных изображений, велит убирать из храмов иконы, заштукатуривать фрески и мозаики. Такое сходило ему с рук лишь при покойном василевсе Феофиле, тоже упорном противнике икон. Но благо ныне здравствующая августа Феодора чтит святые образа, изгоняет восточную ересь иконоборства, невзирая на высокие церковные звания.

Почему так пришёлся Лев родителю Михаила III? Рассказывали, что однажды Феофилу вручено было логофетом Фе-октистом письмо от арабского халифа ал-Мамуна. Про этого ал-Мамуна ходил слух, что он обожает эллинские науки, особенно же чтит геометрию. Ал-Мамун писал василевсу, что от одного пленного юноши-грека услышал о величайшем знатоке геометрии Льве, живущем в Царственном граде в полной безвестности и нищете, и теперь просит прислать к нему сего учёного мужа для наставления арабов в науке и добродетели. В награду ал-Мамун

пообещал Феофилу прислать двадцать кентинариев золота. И установить с Византией бессрочный мир.

Василевс посчитал, что ничего бессрочного даже за голову Льва империя от хитрого халифа не получит. Давно ли было, что на предложение Константинополя о мире ал-Мамун оскорбительно ответил: «Только при условии, если ромеи примут ислам»? Или запамятовал халиф, как сам же грозился: «Между нами — только меч!»? А теперь ему геометрию подавай! Неразумно отпускать в чужие руки своё достояние, глупо раскрывать перед врагом тайны эллинских наук, которыми по праву гордятся ромеи. Для Льва Математика Феофил и у себя дома, в Большом дворце, найдёт достаточно важных поручений.

Очень желалось василевсу, чтобы его запомнили как покровителя искусств, наук и ремёсел. Занявшись решительным поновлением старого дворцового комплекса, он понастроил с полдюжины триклиниев, изысканно украшенных колоннами. Мрамор для них в каждом случае подбирался иной расцветки: для одного — карийский, тёмно-красный с белыми прожилками, для другого — римский, цвета порфира, для третьего — тёмный вифинский, для четвёртого — белый докиминский, ещё для одного — пиганусийский мрамор. Изысканно звучали и названия новых строений: Жемчужный триклиний, Зал Любви, Почивальня Гармонии... Внутри стены новых дворцов, садовых павильонов и беседок украшались вовсе не христианскими сюжетами, что претило бы вкусам хозяина, но изображениями диковинных зверей и птиц, деревьев, цветов и опять же дворцов. Эту уступку

сладостному восточному стилю Феофил допускал намеренно: и мы так умеем, как у этих халифов. Но уж никак не мог он допустить, чтобы восхитительные технические выдумки его учёного мужа использовались где-то на стороне.

Лев Математик предлагал одну невидаль за другой. Так Большой дворец украсили статуи рычащих львов, помавающих хвостами павлинов. В тронном зале металлические птахи издавали трели, восседая на ветках золотого платана. А новейшее седалище, которое так и назвали «Трон Феофила», во время приёма иноземных послов вдруг могло плавно вознестись с сидящим на нём василевсом чуть не под самые своды.

Пока ротозеи спорили о том, все ли эти дива принадлежат остроумию Математика или кое-что сочинено без его участия, сам изобретатель скромно отмалчивался. Зато уж, кажется, никто не решался оспорить его авторство, когда заходила речь о световом телеграфе. Это устройство позволяло в счи-таные часы передавать в столицу с далёкой киликийской границы весть о новом нападении арабов или об очередной победе над ними. Сигнализация обеспечивалась цепочкой маяков-костров, которые установлены были на хорошо просматриваемых высотах и зажигались один вслед другому. Впрочем, и тут мог отыскаться какой-нибудь скептик со своим «Ничто не вечно под луной». Мол, такая штука уже однажды была у греков, причём давненько: это когда Агамемнон повелел с помощью костров, разожжённых на горах, передать домой на Пелопоннес весть о победе над троянцами.

Обожающие Льва всезнайки настаивали, что именно он, Математик, однажды придумал записывать цифры, используя для этого буквы греческого алфавита. И оснастив их соответствующими значками-титлами, чтобы не возникала путаница: где цифра, а где буква. Однако и тут придирчивые слушатели вправе были потребовать ответа на законное недоумение: а какими же цифрами пользовались на письме доднешние греки, начиная от Пифагора, который тоже был не самым последним среди математиков, а цифры почитал даже более совершенными сущностями, чем буквы?

Такой вот была двоящаяся в пересудах слава великого учёного и изобретателя Льва. Теперь, оказавшись в опале, больше почему-то смахивающей на поощрение, Математик жил обеспеченно и приласканно, на виду у двора, где исправно работали его механические скульптуры, окружённый многочисленными учениками. Он находился под прямым покровительством Варды, брата императрицы Феодоры. Последний, кстати, не меньше, чем покойный василевс и здравствующий логофет Феоктист, желал прослыть сочувственником всем великим умам и талантам, в том числе и начинающим.

Напоследок о Льве Математике нелишне сказать, что, возможно, именно бывший солунский митрополит, а не Феоктист, и есть тот человек, который помог подростку Константину переехать для продолжения учёбы в Царьград. Как возможно и то, что оба влиятельных мужа действовали в этом маленьком благотворении заодно.

Предложения и отказы

К чести логофета Феоктиста, он и дальше не оставлял своим приглядом и поощрениями младшего из солунских братьев. Конечно, тут вряд ли была филантропия в чистом виде. То и дело доходящие до покровителя похвалы в адрес его пестуна и сами по себе приятны. Они настраивают на то, что усилия вложены не напрасно и могут возвратиться в виде заслуженной и обильной отплаты. Тем более что у логофета дело идёт к старости, а отмеченный чрезвычайными способностями ученик вступает в самую цветущую и деятельную пору жизни. Педагоги, словно сговорясь, нахваливают его за кроткий нрав. Да и самому Феоктисту видно: солунянин избегает сверстников, падких до гульбы, до ипподромных крикливых сборищ. От него никто не слышал скабрезных шуточек и бранных слов, не видел кривляния и непристойных жестов.

«Житие Кирилла» сообщает, что пришло время, когда Феоктист захотел решительно приблизить юношу и к своим занятиям. Константину была обеспечена возможность «без боязни входить в цесарские палаты». Вот эта агиографическая подробность, глядишь, и поможет наконец уяснить, что имел в виду тот же автор жития, когда говорил, что логофет послал за Константином в Солунь, чтобы он «учился с цесарем». Продолжающий ещё учиться сам, Константин вполне мог теперь, исполняя поручение логофета, давать мальчику-василевсу первые уроки той же грамматики, читать ему отрывки из Библии и Гомера. Да, наконец, и

начатки философии преподавать. Ведь Феоктист сам как-то убедился, что Константин и в этом предмете не сбивается с нужного тона и рассуждает как христианин, а не поклонник языческих мудрецов.

— Философ, хотел бы я узнать, — спросил логофет, вызвав к себе юношу и употребив при обращении к нему прозвище, которое в училище уже пристало к Константину, — а что всё же в твоём понимании есть философия?

Тот ответил быстро, уверенно, словно ждал именно такого вопроса:

— Разумение вещей божественных и человеческих, учащее человека, насколько в силах он приблизиться к Богу, делами своими быть по образу и подобию Сотворившего его.

То есть явствовало из ответа, что сказавший так не собирается метаться по стихиям сего мира, как это делали философы-язычники. И что весь смысл философского разумения юноша сводит лишь к двум величинам — Богу и человеку, — к возможности восхождения второго к Первому.

В этой проверке ученика логофет, замечал он такое за собой или нет, повёл себя почти как евангельский соблазнитель в пустыне. Он будто обходил юношу кругами, придумывая то одно, то другое искушение.

Ну, хорошо, на словах ты, Философ, безупречен и поведением чист и кроток, но не заиграют ли твои глазки при виде этакой, пусть небольшой для начала, горки золотых, самого свежего чекана монет?

«И злата много давал ему, — пишет агиограф, — тот же не принял».

Не принял? Ну что ж, и такое случается. И такие водятся, что до конца умеют утаивать своё златолюбие, если уже нацелились на неизмеримо большие блага.

Через время логофет, вновь встретившись с юношей, заговорил с ним в ещё более откровенном и льстивом тоне:

— Красота твоя и мудрость понуждают меня любить тебя всё больше...

Такой зачин смахивал бы, пожалуй, на домогательства человека порочных пристрастий, не знай Константин, что перед ним евнух. Или, по речению солунских славян, скопец.

— У меня есть духовная дочь, моя крестница, она красива, богата, — продолжал старик, — из доброго, именитого рода. Если хочешь, устрою тебе её в супруги. И, приняв от цесаря великую честь и княжение, ожидай тогда ещё большего: вскоре и стратигом станешь.

Да, это был ход рассуждений искусного имперского домо-устроителя, обязанного в первую очередь заботиться о благополучии августейшего семейства. А значит, и о том, чтобы семейство украшалось, как драгоценными ожерельями, благородным обществом. А значит, и о том, чтобы общество такое состояло из красивых, умных, находчивых и приятных в беседе лиц обоего пола. А значит, и браки между такими лицами должны устраиваться умно, с тонким расчётом, с изобретательностью придворного садовода, подбирающего в оранжерею гармонические соцветия.

Византийский евнух, карикатурным подражанием которому станет позже евнух из мусульманского

гарема, был, как видно здесь на примере Феоктиста, царедворцем самого отборного ранга. В его заботы отнюдь не входило денное и нощ-ное подглядывание за нравственностью женской половины двора. Скорее, это был устроитель счастливых взаимоотношений в августейшем семействе и в избранном кругу византийского общества. Из случая с Константином явствует, что Феоктист прочил юношу именно в этот избранный круг. Недаром разговор сразу завёл и о достаточном служебном обеспечении будущего главы семьи. Логофет не открывал карт до конца. Какую свою крестницу имел он в виду? Уж не одну ли из четырёх незамужних дочерей августы Феодоры? У кого не закружится голова от такой догадки?

Юный Философ постарался, как мог, ответить логофету не только почтительно, но и честно:

— Это большой дар для желающих его, но для меня нет ничего выше учения, а как вразумлюсь им, тогда хочу искать чести и богатства своего прадеда.

Для Феоктиста не составило труда сообразить, о каком таком «прадеде» упомянул Константин. Так иногда называли иносказательно самого Адама, который до грехопадения вёл жизнь чистую, девственную, безбрачную. В этом, значит, и видит его собеседник высшие честь и богатство?

Не найдя, чем ещё приманить невинную душу к жизни двора, логофет опять отступился.

Впрочем, не насовсем. Вскоре, во время беседы с императрицей Феодорой Феоктист рассказал ей об удивительном упорстве юноши, который, не в пример своим сверстникам, твёрдо отказывается от высокого

мирского призвания. Из чего можно заключить, что августа и сама хоть немного, но знала Константина и тоже имела на него какие-то свои виды.

— Но всё же не отпустим его, — рассудил логофет, догадываясь, что василиса будет с ним согласна. — Пострижём в священники, определим на службу библиотекарем к патриарху в Святую Софию. Может, хоть так его удержим?

Патриарший библиотекарь

Кажется, у Константина сердце могло громко заколотиться от радости, когда услышал он, как именно определена во дворце его судьба. Вот и объяснился, наконец, давнишний детский сон о прекрасной невесте! Как же ему не быть благодарным Премудрости Божией, вводящей его теперь для честного жительства и чистых трудов прямо в свой дом? Ведь библиотека патриарха располагается в самой Софии — в её обширном приделе, Фомаитском триклинии. И он каждый день будет теперь приходить сюда, как приходил в дом к тому же Фотию, своему учителю? Но разве сравнится домашняя коллекция Фотия с лучшим книгохранилищем мира?

Два с лишним века назад, до того как арабский халиф сжёг знаменитую Александрийскую библиотеку, ещё можно было спорить, чьи письменные богатства больше. В Александрийской, говорят, хранилось до 700 тысяч папирусных свитков. Чтобы составить опись одних только их названий, понадобился громадный каталог, включивший в себя 150 свитков. Но уж теперь,

точно, книгохранилищу Софии нет нигде равных, — ни в Иерусалиме, ни в Антиохии, ни в Риме.

Начало этой коллекции положил ещё император Константин Великий. Он, когда переехал на постоянное жительство в Византии, привёз с собой всё лучшее из книг, что в разные века было написано самими латинянами. Или же куплено ими, отнято, а в лучшем случае прилежно переписано у греков.

Но, конечно, на то она и патриаршая библиотека, что в ней на первом месте — не сочинения языческих авторов, а книги христианского мира. Надо всем здесь сияет солнце Священного Писания, а прочие светила, потупясь и бледнея, проходят обочь.

Неужели он увидит их, свитки и кодексы, написанные едва ли не самими евангелистами? Увидит и прикоснётся к ним — даже не пальцами, а только взглядом и дыханием. Тут, говорят, есть и собственноручные строки божественного Дионисия Ареопагита, и автографы священной троицы Отцов Церкви — Иоанна Златоуста, Василия Великого и особо чтимого им, Константином, Григория Богослова... Тут своего рода книжный рай, где сонм святых книг согласным шёпотом свидетельствует об истине в свете Евангелия.

Но есть в этом хранилище и... своя преисподняя. В ней томятся без света книги, отринутые вселенскими соборами, — кривописания еретиков, лжебогословов, поклонников тайных культов, чернокнижие всех умствующих, злоумствую-щих, пустомелющих, по-змеиному шипящих при виде Солнца Правды... И ключи от этих темниц также будут у него на поясе?..

Исследователи по-разному примерялись к словам жития о нежданном назначении Константина в библиотеку царьградского патриарха. Дело в том, что тогдашний канцелярский обиход ромеев знал две должности для лиц, ответственных за главное книгохранилище и архивную службу патриархата: хартофилакс и библиофилакс. Первый отвечал за всё делопроизводство и архив; он был, по сути, первым секретарём главы церкви и имел чин (монашествующего?) дьякона. В ведении второго находилась собственно библиотека. Из этого вроде бы следует, что библиофилакс — должность менее престижная. Но, похоже, по возрасту и опыту, а главное, по духовной алчбе своей Константин в большей мере подходил как раз для неё.

Какую всё же должность дали молодому человеку — харто-филакса или библиофилакса? Впрочем, эта непрояснённость сразу же представится мелкой, даже мелочной, как только вчитаемся в следующее сообщение агиографа. Вот уж где придётся озадачиваться вопросами куда более острыми!

Право же, что там такое приключилось с Константином под сводами Софии? Ведь житие вдруг, без всякого предупреждения и разъяснения, ошеломляет нас:

«Побыв с ними мало на той службе, ушёл на Узкое море и скрылся тайно в монастыре; искали его шесть месяцев и едва нашли. Но так как не могли принудить его к той же службе, умолили его принять должность учителя, учить философии своих и чужеземцев... И за это взялся».

Снова, в который уже раз, житие даёт только острый контур происшествия. В который раз вынуждает довольствоваться лишь скупым росчерком пера. «Почему-то не захотели рассказать подробнее» — вот, пожалуй, и всё приобретение, получаемое из прочитанного.

Зато сколько снова возможностей для догадок! Как, впрочем, и для отбраковки торопливых выводов.

Почему хотя бы не подумать о чисто психологической мотивировке происшедшего? К примеру, обратить внимание на явную вроде бы неуравновешенность, чрезмерную капризность молодого человека? Что это он так, право, привередлив? То отказался от денежного вознаграждения. То — от мирской карьеры, от какого-то очень выгодного брака. То, почти тут же, — от духовного поприща. Где здесь логика? Где здравый смысл? Да, наконец, и житейское благоразумие где? Не сам ли мечтал ещё с детства о призвании, от которого теперь вдруг отказывается? Что во всей этой сумятице может стать предметом для строгого анализа? Чрезмерная возбудимость, свойственная переходному возрасту? Или даже какой-то душевный недуг, переданный по наследству? Да, кстати, не только ему одному. Достаточно старшего брата вспомнить с его нежданно-негаданным бегством в монастырь.

Но если принять такое «психологическое» обоснование, тогда совершенно непонятным и в свою очередь необоснованным выглядит поведение тех, кто целых шесть месяцев разыскивал Константина. Была же и она, эта сторона, — ищущая, находящая,

возвращающая, даже «умоляющая» и, наконец, заново пристраивающая беглеца — теперь уже на другую службу. Зачем они-то так старались, если имели дело с неблагодарным капризником? Нет, не стали бы при дворе столько хлопотать о судьбе какого-то провинциального истерика, юродствующего сумасброда, обуянного то ли мелким бесом гордыни, то ли другой душевной порчей.

По накатанной дорожке гиперкритического недоверия к автору жития пошли те его истолкователи, которые и в этом эпизоде постарались усмотреть «общее место» агиографического жанра, ходовой штамп средневековой письменности, заимствование из какого-то другого или других житий. Такие «уходы», «бегства» — очень-де распространённый мотив тогдашней житийной продукции. Допустим, на самом деле Константин мог никуда не уходить, не убегать, а благополучно вести своё библиотечное хозяйство, делать описи документов, вычитывать работу переписчиков книг или хотя бы выносить отсыревшие фолианты на дневной свет для просушки — но вот авторам жития очень уж захотелось наделить своего героя сильнейшими духовными борениями, под стать другим великим святым.

Приходится снова сказать, что у нас как не было, так и теперь нет оснований не доверять агиографам святого Константина-Кирилла. Хотя бы потому, что в таком случае пришлось бы снова подозревать в каких-то мелких литературных манипуляциях и Мефодия, который, безусловно, как редактор (или даже соавтор) стоял за рассказом о своём младшем брате. Если не

доверять Мефодию в этом, то можно ли доверять ему и его брату во всём остальном, что они оставили славянскому миру?

Патриарх Игнатий

Мы не знаем, в каком именно из монастырей целых полгода прожил Константин. «Ушёл на Узкое море» — адрес слишком неопределённый. Ведь и Константинополь выходил своими стенами к этому Узкому (оно же Тесное) морю, то есть к Босфору. И в пределах самой столицы в IX веке располагалось более дюжины мужских монастырей, и их обитатели умудрялись, несмотря на гомон и суету городского окружения, вести жизнь достаточно сокровенную. Так что укрыться надолго можно было при желании и в каком-то из них.

Невольно напрашивается предположение: ушёл он всё-таки за Босфор, на малоазийский берег. Может быть, в Малый Олимп — в обитель, где уже подвизался его старший брат? Но, чтобы допустить такую вероятность, желательно знать хотя бы две даты: в каком году расстался со своей гражданско-военной службой Мефодий и когда именно пренебрёг завидной библиотечной должностью молодой беглец?

За века христианства — и до солунских братьев, и после них — такие уходы-бегства из мира совершали тысячи людей. Среди них были и причисленные к лику святых, и те, кто себя ничем не прославил. Уходили не только от мирской суеты. Уходили из монастыря в

монастырь. Или из монастыря в принадлежащий ему отдалённый скит, в пустынь, в самодельную келью, пещерку — в почти полную безвестность. Уходили, потому что никогда не было запретов на такое «своевольство». Потому что христианство — это свободно избранный путь ко Христу. Христианство открыто для внутренних борений. Оно обещает человеку свободу во Христе, но и не смешивает эту свободу со своеволием, с открытым или тайным отступничеством, с самостью. Христос никогда не требовал от учеников казарменного послушания. Он пришёл не к стаду баранов. Он никому не запрещал сомневаться в том, что перед ними — Сын Божий. Не можешь не усомниться — усомнись. Он ждал осмысленной любви, а не льстивой покорности. Он предвидел, что все борения — ещё впереди, они только начинаются. Число званых может возрасти безмерно. И всё же избранные всегда, до самого конца, пребудут в меньшинстве. Каждый идущий к Нему проверится свободой.

Так проверялись теперь два брата. Старший пришёл в монастырь и остался в нём. Замонашил, добровольно избрав самый узкий, самый стеснённый путь духовного освобождения. Младший только ещё приглядывался: что же избрать? Никто бы не мог запретить ему остаться навсегда в монастыре. Но он предпочёл вернуться. Значит, не всё ещё успел узнать в миру из того, что хотел узнать и испытать.

Что же до его решительного и бесповоротного ухода из патриаршей библиотеки, то в этой истории,

намеренно не объяснённой в житии, может быть, не всё так уж безнадёжно темно.

Тут, на всякий случай, нужно вспомнить некоторые имена и числа. В 846 году скончался патриарх Мефодий Исповедник, возглавлявший свою кафедру всего четыре года. Он был избран в год смерти василевса Феофила и занял место патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика, согнанного с престола вдовствующей августой Феодорой. После кончины Мефодия Исповедника императрица решила сделать его преемником настоятеля трёх монастырей на Принцевых островах Игнатия.

Феодоре нужен был во главе церкви твёрдый и решительный сторонник иконопочитания. Не дожидаясь избрания Игнатия и тем самым нарушая канон, она единолично назначила его на кафедру константинопольского патриарха. Позже это будет поставлено ему в вину. И ей, косвенно, тоже.

В миру Игнатия звали Никитой. Он происходил из царского рода. Будь судьба к нему милосерднее, как знать, может быть, именно он восседал бы теперь на троне византийских императоров. Но родитель его, слабохарактерный Михаил I, ещё в 813 году отказался от власти в пользу Льва Армянина и был вместе с двумя сыновьями отправлен в ссылку на остров Плат.

«Рассказывают, — читаем у «Продолжателя Феофана», — что там он принял монашество с именем Афанасий и прожил ещё тридцать два года. При нём находились его сын Евстра-тий, по приказу Льва остриженный и оскоплённый двадцати лет от роду, и Никита, который прежде ещё мальчиком командовал

иканатами (он стремился дружить с воинами и теми, кто проводил жизнь под открытым небом и опытен был во многих делах), а тогда тоже постригся, был прозван Игнатием, проводил свои дни с отцом и пристрастился к иноческой жизни». Из другого источника известно, что Никита, как и его старший брат, был подвергнут насильственному оскоплению.

Видимо, пережитые вместе беды духовно сблизили отца с сыновьями. «Продолжатель Феофана» счёл нужным упомянуть, что Игнатий позаботился о достойном погребении сначала отца, а потом и старшего брата. Они были похоронены на острове, где провели в заточении десятки лет, внутри церкви, в которой вместе служили. Этого-то много пострадавшего Игнатия и захотела Феодора видеть на патриаршем столе.

Скорее всего, именно при этом патриархе молодой Константин, уже прошедший выучку в лучшем учебном заведении империи (четырех-пяти-шестилетнюю?), вошёл однажды в двери библиотечного триклиния, прислонившего свои помещения к южной стене Софии. Определили его сюда хартофи-лаксом или библиофилаксом, ему всё равно не миновать было встреч и постоянного сотрудничества с Игнатием. Вот тут мы и позволим себе немного пофантазировать, не впадая в искус подделки под достоверность. То есть не вымышляя, в каком из покоев своей резиденции принял первоиерарх юношу, и как выглядели тот и другой, и кто ещё присутствовал при встрече, и какой был день недели, месяц или хотя бы год.

Нам важно удостовериться в том, что уже заранее Игнатий не мог быть расположен к этому юноше. Потому что заранее знал, кто именно этого юношу ему прочит в помощники, где и у кого он учился (или доучивается).

Ведь сам он, Игнатий, не имел возможности учиться у разных там грамматиков, математиков, философов и говорунов-риторов. Да, его наука почти всегда протекала под открытым небом: упражнения в езде, в боевых навыках и командах... А потом, в десятилетия ссылки, — упражнения с заступом на грядках, с плугом на ниве, с топором в лесу, с молотом и теса-лом на строительстве монастыря. Ну и ещё кое в чём он упражнялся: ежедневные чтения Евангелия, Псалтыри, апостольских посланий, пение тропарей, икосов, стихир и канонов, а не скандирование разных там гомеров, Вергилиев и сладострастных овидиев. У него в монастыре всего-то была какая-нибудь дюжина книг. Но зато таких, что их и до Страшного суда хватит всем — на все случаи жизни и смерти. А здесь, в этом триклинии, пристроенном, говорят, лет двести назад при патриархе Фоме, скопилось столько книг, что их и полчище крыс не изгрызёт до самого светопреставления, — зубы затупят.

А у кого и чему учился этот юный красавец? У всезнайки Фотия, который заставляет их зазубривать всяких там безбожных лукианов. Да у Льва, бесславно изгнанного с солунской митрополии, потому что этот племянничек чародея и мага Иоанна Грамматика как молился, так и до сих пор молится не на святые иконы, а на своих механических павлинов и попугаев. У

бесстыдника Варды, что, слыхать, спутался со своей невесткой. А кто ему покровительствует при дворе? Да Феоктист! Уж к кому-кому, а к Феоктисту никакого смирения не мог испытывать Игнатий. Почти полвека торчит, как гнилой пень, этот злосмрадный евнух посреди Большого дворца. Разве мог забыть Игнатий, что Феоктист против его родителя, когда тот ещё сидел на троне, интриговал в пользу Льва Армянина? И так он до сих пор интригует и пакостит потихоньку. Под кого только не подлаживался: то потворствовал икононе-навистникам, то теперь, умилённо закатывая глазки, слюнявит синими губами иконы. И такому-то змию простосердечная Феодора доверила воспитывать наследника престола! У маленького василевса ещё материнское молоко на губах не просохло, а он уже пристрастился к неразбавленному винцу, развлекается с беспутными дружками. И старый потатчик смотрит на всё сквозь пальцы, лишь бы завоевать расположение балованного мальца.

И этот красавчик не из той ли самой компании? Уж не поручил ли ему Феоктист подсматривать да подслушивать за ним, Игнатием? А что ещё, спрашивается, он тут собирается делать — в библиотеке? Не пристрастится ли читать Оригена и прочих ересиархов? Кто и зачем повелел собирать эту духовную отраву рядом с сочинениями Святых Отцов? Сколько уже раз так бывало, что старые ереси, осуждённые определениями вселенских соборов, снова начинали дурить головы беззащитным простецам? Даже и Библию церковь не зря велит читать крайне осторожно — не всё сразу, не всё подряд. Особенно это

касается книг ветхозаветных. Кого чаще всего бранит Христос? Не безграмотных простолюдинов, нет, но надменных книжников, высокоумных грамотеев, отцеживающих комара, но глотающих верблюда, всех этих буквожоров, знающих каждую строку закона, но на каждом шагу прогибающих закон под свою корысть...

Конечно, не обязательно именно так мог говорить вслух или думать про себя патриарх Игнатий при знакомстве с присланным к нему Константином. Но, по крайней мере, таким могло быть на ту пору настроение этого сурового, слишком много в жизни претерпевшего монаха. Ну, никак не мог он проникнуться доверием к юноше, которого, оказывается, уже нешуточно величают Философом. Скрепя сердце Игнатий выполнил просьбу императрицы. Но вряд ли он долго мог скрыть свою неприязнь к её и Феоктиста юному выдвиженцу. Дни и даже часы службы в патриаршем книгохранилище были для виноватого без вины Константина сочтены.

Таково предположение. Нет нужды добавлять здесь, что оно, мол, «не претендует...». Почему же? Оно как раз и претендует: на наибольшую достоверность. На единственно непротиворечивое обоснование происшедшего. И оно, между прочим, способно осветить странные разрывы и следы ском-канности в житийном рассказе. Дело в том, что в 70-е годы, когда житие младшего из солунских братьев писалось, патриарх Игнатий был ещё жив. И было живо великое множество его почитателей, особенно в монашеской среде. И даже звали их «игнатианами». Этим и можно

объяснить поразительную сдержанность житийного сообщения о причинах бегства незадавшегося библиотекаря «на Узкое море».

ИКОНОБОРЕЦ АННИЙ

Игнатий или Иоанн?

Македонский историк XX века Харлампий Поленакович, занявшись подоплёкой неожиданного ухода Константина из Софийской библиотеки, также пришёл к выводу, сходному с нашим: в основе происшествия — неприязнь к молодому человеку со стороны тогдашнего патриарха. Только патриархом этим, как полагает историк, был не Игнатий, а другое лицо — Иоанн Грамматик.

Поленакович строит своё рассуждение, исходя из непосредственного соседства двух событий. Первое из них, уже известное нам по «Житию Кирилла», — бегство юноши «на Узкое море», с последовавшим через полгода возвращением в столицу. А второе, изложенное там же, впритык к первому, представлено сюжетом, который в многочисленных древнерусских списках жития носит обычно подзаголовок «Прение Кириллово с Аннием патриархом».

Как известно, восточная церковь не знает патриарха с таким именем. Но из содержания главки явствует, что речь могла идти только об одном человеке — Иоанне Грамматике. Этот Иоанн действительно занимал

непродолжительное время престол константинопольского патриарха. В житии лишь слегка переиначено его имя. Впрочем, сделано это потому, что так было принято у тогдашних ромеев: заглазно звать одиозного иерарха Аннием, Яннием, Яннесом.

С обстоятельствами и сутью короткого «прения» мы познакомимся немного ниже. Но для начала важно понять, на чём основаны доводы македонского учёного. Поленакович обратил внимание на то, что после отстранения Иоанна Грамматика в 842 году константинопольская кафедра некоторое время пустовала. Лишь в следующем, 843 году на неё был возведён уже немощный, но духовно бодрый патриарх Мефодий, исповедник, страдалец за веру, много претерпевший от иконоборцев, в том числе и от пресловутого Иоанна-Анния. Исследователь предполагает (впрочем, никаким дополнительным материалом не подтверждая своё допущение), что во время короткого междувластия опальный Иоанн оставался жить в своей столичной резиденции. И что он никому пока не спешил отдать ключи от Софийской библиотеки. Хотя бы потому, что в прежние годы обильно пополнял её по своему вкусу и усмотрению. Именно теперь, убеждает нас Поленакович, и могло произойти откровенное и нелицеприятное «прение» между Иоанном и присланным из самого дворца молодым библиотекарем. Оскорблённый тем, что на должность эту назначили задиристого защитника иконопочитания, Иоанн и делает всё возможное, чтобы выдворить его из книгохранилища.

В таком построении македонского автора всё кажется почти безупречным. Однако бросаются в глаза две хронологические нестыковки. Во-первых, если действительно распря с Иоанном была причиной ухода Константина в монастырь, то почему в «Житии Кирилла» описан сначала этот уход (с последующим возвращением в Царьград) и лишь после того представлено «прение»? Во имя чего понадобилось менять местами причину и следствие? Ведь какие-либо нарушения сюжетной канвы, какие-либо композиционные перекройки совершенно не в авторских правилах. Строгая последовательность повествования просматривается на всём пространстве жития. Здесь перед нами — классический образец поступательного житийного времени, когда каждый последующий эпизод хронологически и причинно-следственно обязан предыдущему. И если бы в данном единичном случае агиографы пошли на сознательное смещение сквозной хронологии, то и объяснили бы читателям, что причиной ухода молодого человека из библиотеки послужило как раз вот это пересказываемое задним числом «прение» с патриархом Аннием. Отсутствие такого объяснения означает лишь одно: агиографы не испытывали нужды в том, чтобы как-то увязывать между собой два расположенных рядом события.

Вторая нестыковка, просмотренная Поленаковичем, ещё более заметна. Из его построения следует: «прение» состоялось почти сразу по приезде Константина из Солуни в столицу, то есть в 842 или 843 году. Но даже с учётом его стремительного

умственного взросления, подросток, только-только ступивший на порог придворного училища, не мог ещё быть достаточно оснащён для богословского поединка с опытнейшим полемистом. Ведь Иоанн, как говорили о нём современники, с молодых лет вооружился, как доспехами, знанием множества речений из Библии, особенно из Ветхого Завета, и с их помощью не упускал случая уязвлять иконопочитателей. Или же уловлять себе новых сторонников и покровителей при дворе. Особенно любил он щегольнуть цитатами из пророческих книг. Пророки-де постоянно высказывались против сотворения идолов и кумиров, а разве иконы — не те же идолы и кумиры?

Какие-то споры между почитателями святых образов и их ненавистниками Мефодий с Константином могли слышать ещё в Солуни, особенно в пору пребывания там митрополитом Льва Грамматика. Но их город, как и весь запад империи, оказался всё же меньше подвержен иконоборческому поветрию, пришедшему в Царьград с Востока. Споры не достигали у них такого накала и такой остроты, какие Константин сразу же уловил, попав в столицу. Но ему понадобился не один год учения, чтобы лучше разобраться в доводах той и другой стороны. Да и в происхождении самой ереси, может быть, наиболее изощрённой из всех, какие знал до сих пор христианский мир.

Верхи и низы

Разумеется, в отличие от византийцев IX века мы теперь обладаем преимуществом более объёмного

видения исторических противоборств. Иконоборческая практика и стоящая за ней доктрина умели возобновлять себя в самые разные эпохи. По крайней мере, Россия за тысячелетие своей христианской истории дважды подвергалась сильнейшим вторжениям именно с этой стороны. Первый раз — в XV веке, когда из Новгорода распространилась на Москву так называемая «ересь жидовствующих». Её последователи особенно запомнились современникам как ненавистники православных икон: сжигали их, увечили, даже топили в нужниках... Второе вторжение, совпавшее с революциями XX века, до сих пор напоминает о себе остовами церквей с осквернёнными иконостасами и фресками.

Старшее поколение наших современников десятилетиями атеистической пропаганды было приучено к тому, что ересь есть «форма протеста социальных низов против феодального гнёта, освящающегося церковью». На самом деле во времена «феодального гнёта» всё бывало как раз наоборот. Ереси, как правило, исходили от социальных «верхов». А еретики, даже если не принадлежали по происхождению к «верхам», всегда стремились в первую очередь овладеть умами этих самых «верхов». Ересиархов во все времена отличал резко выраженный индивидуализм, высокомерное желание обособить свою избранную паству от «невежества» простолюдинов. Но, при случае, воспользоваться наивностью и легковерием «низов» для достижения своих целей.

Кстати, византийцы IX столетия, в том числе и простолюдины, очень неплохо разбирались в ересях, умели на слух отличить доводы манихеев от доктрины ариан или доказательства монофизитов от построений монофелитов. Причём не только отличить умели, но и оспорить. Как ни много накопилось за века существования церкви всевозможных еретических отклонений и ухищрений, в конце концов, в каждом из них просматривалось одно и то же намерение: ополчиться против Сына Человеческого, разрушить христианский догмат о его Богочеловеческой природе.

Манихеи настаивали на том, что Христос никогда не воплощался, а значит, и не воскресал, но лишь являлся миру в видениях. В том, что Христос лишён человеческой природы, а наделён только божественной, убеждали своих сторонников и монофизиты. Ариане, наоборот, доказывали, что евангельский Мессия — тварное, сотворенное существо и божественной природы не имеет. Матерь Христа — внушал своим последователям ересиарх Несторий — всего лишь «человекородица», а не Богородица... Подвизались они в разные века, в разных землях, но будто по единому плану действуя: с той и другой стороны, чтобы опровергнуть догмат о двух природах Сына Божия, а тем самым и догмат о Троице. Не зря в научной среде все эти ереси рассматриваются как «антитринитарные».

Иконоборцы заявили о себе сравнительно поздно, в начале VIII века, да нигде и не высказывались вслух о своих «анти-тринитарных» намерениях. Их вроде бы заботило лишь то, что по праву требовало забот:

простонародное, слишком распространённое и слишком чувственно-грубое, часто даже суеверное отношение к иконному изображению как самому божеству.

Действительно, такое водилось в ромейском мире. Ещё ведь совсем недалеко отошли времена, когда и эллины, и римляне, и язычники Востока поклонялись грубо вытесанным телесным прелестям, каменным мясам своих богов и богинь, торчавшим напоказ на любом перекрёстке, в каждом городском и сельском дворике. Приходили к ним с идоложертвенными дарами, обильно политыми вином, но вовсе не с сокрушённым духом. А лишь оно, сокрушённое и смиренное сердце, по слову пророка, — достойная жертва Богу. И чем же тогда отличаются от тех язычников нынешние иконопоклонники, задавались вопросом озабоченные интеллектуалы, если те и другие не Бога почитают, а бездушных кумиров?

Это новое интеллектуальное настроение недолго оставалось анонимным. Его приверженцы обнаружились на самом верху византийского общества. Первым императором-иконоборцем считают Филиппика (VIII век), представителя знатного армянского рода. Он хоть и правил всего два с лишним года, успел прославиться принадлежностью к восточной и африканской ереси монофелитов. При нём во дворце уничтожили настенное изображение VI Вселенского собора, того самого, на котором монофелитство было осуждено. Эта акция Филиппика по сути явилась первым в империи ромеев официальным покушением на святые образы.

Император Лев Исавр, выходец из Сирии, действовал ещё решительнее. По его указанию иконные изображения, фрески с религиозными сюжетами во многих храмах замазали краской. В 730 году во дворце были собраны представители духовенства, разделявшие взгляды этого василевса. Совещание огласило эдикт, который запрещал поклонение иконам. Когда в самом центре Константинополя некий придворный чиновник принялся по верховному распоряжению рушить скульптурную икону Христа, тут же собралась негодующая толпа. Она состояла, в основном, из женщин и монахов. Кощунника забили до смерти.

Император, похоже, только и ждал такой развязки. Виновные в убийстве были схвачены и самым жестоким образом наказаны. Эти происшествия неожиданно получили широчайшую огласку во всём христианском мире. Тогдашний римский папа Григорий II прислал письмо Льву Исавру, надеясь по-отечески вразумить его простыми и наглядными доводами. «По этим изображениям люди необразованные составляют понятия о существе изображаемых предметов, — объяснял Григорий, — мужи и жёны, держа на руках новокрещёных малых детей, поучая юношей или иноземцев, указывают пальцами на иконы и так образуют их ум и сердце и направляют к Богу. Ты же, лишив этот бедный народ, стал занимать его празднословием, баснями, музыкальными инструментами, играми и скоморохами!»

Начав с вразумления, папа затем перешёл к обвинению, чем вызвал ярость василевса. Ярость настолько сильную, что, услышав о соборе в Латеране, осудившем иконоборчество, Лев Исавр отправил к берегам Италии военный флот — с намерением примерно наказать Западную церковь.

С этого времени и почти на столетие вперёд противостояние иконопочитателей и иконоборцев оттеснило в умах современников все другие конфликты богословского содержания. Но если бы это противостояние разрешалось лишь площадными перепалками, письменными доводами да приговорами соборов! Нет, распря оказалась отнюдь не бескровной. Она то и дело грозила перерасти в самую настоящую гражданскую войну. Последователи Льва Исавра (среди них особенной жестокостью отличился Константин V, получивший за это в народе сразу два грубых прозвища: Копроним, то есть «дерьмо-именный», и Кавалин, что значит «кобылятник») выступали как раз против «социальных низов». А те, вместе с обитателями большинства монастырей, отчаянно защищали своё право молиться перед иконами, церковными фресками и мозаиками.

Ожесточённые отпором, иные из императоров всерьёз подумывали вообще упразднить большинство монастырей. В монашестве они видели рассадник сопротивления, силу, которая стремится оскорбить в глазах толпы значение цесарской власти. Самый, пожалуй, отважный из вождей сопротивления, игумен столичного монастыря Феодор Студит, вернувшись из ссылки, при первой же возможности напрямую

высказал свои убеждения тогдашнему императору Льву Армянину: «Бог поставил одних в церкви апостолами, других пророками, третьих учителями и нигде не упомянул о царях. Цари обязаны подчиняться и исполнять заповеди апостольские и учительские, законодательствовать же в церкви и утверждать её постановления — отнюдь не царское дело!» Разгневанный правитель тут же отправил Феодора в очередную ссылку.

Монастыри, и не только расположенные в Константинополе, понесли в ту эпоху неслыханный урон. Обители настолько обезлюдели, что иногда гонимому народу казалось: антихрист уже действует открыто и поселился именно в столице православного мира.

В доктрине иконоборцев, безусловно, содержалась тайная часть. Но, видимо, она никогда не станет достаточно прозрачной, поскольку, как лишь возникала угроза её обнародования, личные архивы ересиархов уничтожались ими самими. К тому же бывали случаи, что их сгоряча, как скверну, уничтожала противная сторона.

И всё же сохранилось множество письменных и вещественных свидетельств, которые дают понятие о размерах иконоборческих репрессий и способах уничтожения церковной живописи. До XXI века в разных пределах бывшей Византийской империи сохранились храмы, расписанные по указаниям иконоборческих властей: вместо изображений Христа, Богоматери и святых — растительные орнаменты, птицы, звери, раковины, корзины с плодами... В этой

декоративной манере нетрудно обнаружить прямое воздействие иудейской и исламской доктрин, запрещающих человеческие изображения в религиозном искусстве.

Вообще идеологические влияния, шедшие с левантийского Востока, были чрезвычайно сильны в воззрениях иконоборцев. Это отмечают даже историки и искусствоведы, не склонные задерживать внимание на этническом происхождении и личных симпатиях императоров-ересиархов. Известный знаток византийской религиозной живописи В. Н. Лазарев писал: «Нет сомнения, что партия иконоборцев имела единый центр, где вырабатывалась её сложнейшая идеология, никогда не сделавшаяся доступной простому народу. Это была чисто придворная партия, доктринёрски настроенная, насквозь пропитанная интеллектуализмом. Нельзя было приучить народ, уже более двух столетий поклонявшийся иконам, верить в такого бога, которого никто не мог изобразить. Поклоняться такому богу и верить в него могли лишь интел-лектуалистически настроенные верхи, а не широкие народные массы. Вот почему иконоборческое движение кончилось крахом. Как ни было оно глубоко связано с сущностью восточного христианства, в конечном итоге оно затрагивало одну из его основных твердынь, на которых покоилась вся греческая религиозность. Победа иконоборцев была бы победой Востока. Тем самым Византия отстояла свою независимость».

Обаятель

Но пора вернуться к «Прению Кириллову с Аннием патриархом». «Житие Кирилла» сообщает, что Иоанн Грамматик и после того, как был свергнут с престола, не переставал возмущаться по поводу такого неприличного с ним обращения. «Насилием меня согнали, не переспорив меня, — настаивал он, — ибо не может никто противостоять словам моим».

Не потому ли его вызов был однажды всё-таки принят?

«Цесарь же с патрикиями, подготовив Философа, послал к нему (Аннию. — Ю. Л.), сказав так: "Если сможешь юношу этого переспорить, то снова престол свой получишь"».

В какой-то легкомысленно-сказочной раскраске этих слов, между прочим, — ещё одно подтверждение того, что спор не мог состояться в промежутке между 842 и 843 годами, как полагал македонский исследователь Х. Поленакович. Ведь тогда Михаил III был ещё ребёнком трёх, от силы четырёх лет. А вот несколькими годами позже молоденький цесарь, слегка разобравшись в том, кто такие эти иконоборцы, сверженные его матерью, и кто таков этот упорствующий в заблуждениях еретик Анний, мог, потехи ради, пообещать старику, когда-то ох-мурявшему ересью его отца: одолеешь в споре нашего юношу, верну тебе патриарший престол.

Здесь, в скупом житийном сообщении, уже проступает, пусть лишь намёком, характер василевса, любителя розыгрышей, конных ристалищ и словесных

перепалок. Для последних у него уже есть на примете свой Философ, которым можно распоряжаться как собственностью, проверяя заодно, точно ли этот солунянин необыкновенно умён и ловок в спорах, или зря о нём шумит молва. Ведь это было бы скучно и неприлично, если бы у него, цесаря, имелись под рукой только воины, министры, евнухи, конюхи, всевозможные любители хлебнуть винца и поболтать о девицах, всякие шуты гороховые, а не было бы, для разнообразия, своего Философа. Надо только как следует юношу вооружить к турниру, потому что опальный еретик и маг, слышно, спуску и теперь никому не даёт и, глядишь, может заспорить неопытного противника до смерти.

Кто уж там и как «готовил» Константина к диспуту? Житие ничего об этом не сообщает, но, надо думать, он и сам постарался разузнать о своём грозном противнике побольше. Что и говорить, Византия за всю свою историю, кажется, ещё не знавала другого человека с такой двусмысленной славой, как этот Иоанн-Анний. Величавой осанкой, внешней привлекательностью, умением запросто сходиться с людьми, начитанностью баснословной он ещё в молодости обеспечил себе доступ в придворные круги. Коготки интригана-иконоборца впервые показал при императоре Льве Армянине. А когда допустил его василевс Михаил Травл в наставники к сыну своему Феофилу, он и этого обаял искусством остроумного спорщика, образцово укрепил в ненависти к почитателям икон.

Однажды, ещё до своего патриаршества, Анний был отправлен Феофилом к арабскому правителю в Багдад — именно с целью козырнуть перед исмаилитами великолепной учё-

ностью, которая процветает при византийском дворе, а заодно и несметными богатствами императорской казны.

Анния снабдили приличным грузом золотых монет и серебряной утвари. Едва дождавшись границы, он принялся обильно одаривать встретивших его чиновников. Да так блеснул перед ними щедростью, что они его как некоего божка готовы были на руках нести до самого дворца тогдашнего аме-рамнума. А уж в Багдаде он развеселился сверх всякой меры. Пусть, мол, дивятся сарацины: если он столь богат, то каковы же сокровища империи ромеев! Даже подговорил своих слуг нарочно утерять во время очередного пированья одну из привезённых серебряных чаш с золотом. Пропажа, несмотря на суматошные поиски, так и не обнаружилась. И тут он, как рассказывал об этом позже византийский хронист, явно к Аннию не расположенный, картинно махнул рукой и велел выбросить вторую такую же чашу: «Пусть и эта пропадает!» Как ещё багдадские зеваки при виде неслыханного мотовства не тронулись умом от зависти?!

Впрочем, одна его похвальба затмила все предыдущие фокусы и чародейства. Когда амерамнум привёл напоказ гостю сотню пленных ромеев,

роскошно разодетых, и объявил, что дарит их Аннию, тот заявил, что подарка не примет, пока не привезёт в Багдад из Царьграда такой же живой отдарок. После всех этих звонких дарений и обещаний его донесли до границы снова чуть не на руках. Да и во дворце у Феофила встретили с восторгом. Никто даже словечком не попрекнул за расточительность и хвастовство.

Если бы только таким способом Анний развлекался! Став патриархом, он ещё настойчивее призвал к надругательствам над защитниками икон. Не по его ли приказу гноили в тюрьме славного художника Лазаря? Когда донесли надзиратели, что тот и в заточении продолжает писать иконки на каких-то малых дощечках, велено было приложить ему к ладоням раскалённые металлические пластины. А разве не участвовал Анний в издевательских диспутах, куда приглашались самые известные иконопочитатели, которых сразу из царских палат уводили для новых пыток? И не он ли зазывал императора Феофила в свои покои для постыдных всякому христианину гаданий на блюде?

Непристойно повёл себя Иоанн и в день, когда получил послание из дворца с требованием освободить престол. Вдруг в его палатах раздались крики и вопли. Слуги кинулись к своему господину и увидели, что он истекает кровью. Тут же слух об убийстве патриарха, якобы по приказу императрицы, достиг дворца. Феодора направила в патриаршие палаты для расследования своего брата Варду. Поспешив в церковный триклиний, тот застал «убиенного» живым и почти здоровым. Варде удалось рассмотреть ранку и

хирургические инструменты, которыми хитроумный членовредитель взрезал себе вены на животе. Иоанн знал, что порез в этом месте даёт обильную кровь, но для жизни совсем не опасен.

Даже когда заточили его в монастырь, не угомонился старый колдун. Служке своему однажды приказал: пусть выколет глаза у святого на иконе, что под куполом стоит. Слишком, мол, недобро эти глаза смотрят на него.

Немощного старца Мефодия, занявшего его престол, опальный неугомон решил извести сплетнями. Подкупил какую-то женщину, чтобы она подала на Мефодия в суд за блудные домогательства. И хотя клевета легко обнаружилась и женщина слёзно раскаялась, опальный еретик мог потирать руки: пусть и на малое время, а всё же подпортил он Мефодию праздник.

А что это за особый и великий праздник, теперь знал каждый верующий в городе да и по всей империи. По избрании на престол Мефодий сразу, без проволочек созвал в Константинополе поместный собор, и на нём учреждено было: ежегодно в первое воскресенье Великого поста всею церковью торжествовать победу православия над иконоборцами.

Скорее всего, в самом первом празднике Торжества православия участвовал и Константин... От церкви Богородицы во Влахерне текли золотым крестным ходом, с иконами, хоругвями и светильниками, с пением и ладанным каждением, пересекая весь почти город, к рукотворной горе Софии. И народ, теснясь вдоль обочин, истово крестился на свои возлюбленные

иконы. Ведь это само по себе было чудом, что святые образа уцелели от погромов, длившихся более ста лет! Люди вздыхали, озирались радостно: свершилось... не попустили, не отдали на поругание заветных святынь... И матери показывали детям на маленького, тщедушного, совершенно безвласого Мефодия, лицо которого пересекал шрам — от удара, нанесённого когда-то палачом. Будто наперёд знали про Мефодия: уж этот и сам будет в сонме святых и в память о нём тоже напишут икону...

А из тех, кого громко анафематствовали дьяконы, чаще всего шелестело по рядам имя живучего, непреклонного в своей аспидской злобе Анния.

Вот с этим человеком — через несколько лет после того незабываемого крестного хода — Константину, недавно возвращённому в столицу из босфорского монастыря, придётся вступить в спор об иконах.

Схватка

Он и теперь был по-своему великолепен: сребровласый, с длинной струящейся по груди бородой, прямоспинный, — будто на небесном троне восседает старец. Казался ожившим изваянием, которое внушало вошедшим: да какие же вам ещё иконы понадобились, преглупые существа! На меня пяльтесь, мне поклонитесь...

В таком грубо-высокомерном тоне он и начал:

— Вы недостойны подножия моего. Как же стану я с вами спорить?

Наверное, полагал, что приготовились перечить ему все вместе, трусливо сбившись в кучку.

Но тут выступил вперёд самый на вид юный и заговорил твёрдо, неломко, почти равнодушно. Будто отчитывал, ставил на место:

— Не держись людского обычая, но смотри на заповеди Божьи. Ибо как ты — из земли, а душа твоя создана Богом, таковы же и все мы. А потому не гордись, человече, на землю глядя.

Никак не ждал Анний, что первым же ответом мальчишка так крепко прижмёт его к земле, да ещё, кажется, и с намёком: мол, не пора ли тебе, старику, в эту самую землю? Не зажился ли на ней?.. Ничего не скажешь: ловок и нагл! Значит, надо тут же и самому как-то изловчиться, изогнуться, выскользнуть вбок. Сразу и осадить выскочку, и усовестить укоризной. И он, слегка подправив красивое изречение из Григория Богослова, небрежно выдал его за своё:

— Не подобает ни осенью цветы искать, ни старца Нестора на войну гнать, будто юношу.

Не смутившись иносказанием, взятым напрокат у его любимого автора, Философ и дальше пошёл прямым путём:

— Сам же против себя придумываешь довод. Скажи, в каком возрасте душа сильнее тела?

И тут опальный патриарх, вместо того чтобы возмутиться, что его столь нахально общупывают вопросами, безвольно выдавил из себя:

— В старости...

— А на какую тебя войну гоним — на телесную или на духовную?

И снова Анний, совсем уже как робкий ученик перед учителем, промямлил:

— На духовную...

— Тогда ты на ней сильнее всех будешь, — похвалил его юноша. Но тут же и отчитал: — А потому не говори нам таких притч. Ибо ни цветов мы без времени не ищем, ни тебя на войну не гоним.

Примерка сил явно выходила не в пользу Анния. Не он нападал, не он ошеломлял. Он пятился. Он подставлялся под затрещины и тычки. Что-то надо было срочно предпринять, чтобы сбить спесь с юнца. И Анний вдруг резко извернул беседу, — к самому теперь главному — к темам, в которых считал себя неуязвимым.

— Скажи-ка мне, юноша, — начал он, — почему, если крест разломан, мы не кланяемся ему, не лобызаем его, вы же, если на иконе изображение только погрудное, творите ему полную честь и не стыдитесь при этом?

— Ибо четыре части крест имеет, — ответил Философ, — и если одна его часть убудет, то уже своего образа он не сохранит. А икона от лика своего образ являет, и она есть подобие того, ради кого написана. И тот, кто смотрит, видит на ней не личину льва или рыси, но первообраз.

Отвечая так, он хотел сразу же дать понять старику: мы твёрдо стоим за учение церкви об иконе как об образе, который восходит к божественному первообразу. И мы не каким-то кумирам поклоняемся, как вы, заполнившие храмы образинами зверей, птиц и прочей твари.

Боясь увязнуть в этих свежих тенётах, Анний предпочёл никак не оценивать ответ, а подкинуть ещё одну из всегда безукоризненных своих уловок:

— Мы поклоняемся кресту, не имеющему надписи, хотя бывали и кресты с надписями. А если на иконе не написано имя того, кому она посвящена, то почему вы не воздаёте ей чести?

На это Философ ответил совсем коротко:

— Всякий крест образом своим подобен Христову кресту, а у икон нет единого образа.

И опять старик не нашёл, к чему придраться. Ну да, ведь у каждого святого, втолковывает ему этот умник, не только свой образ, но и своё имя, и не очень уважительно, значит, когда имя это на иконе отсутствует.

Не сумев осадить прыткого юношу, старик поторопился выставить и самый главный, самый несокрушимый довод:

— Если Бог сказал Моисею: «да не сотвориши всякого подобия», то почему вы творите их и поклоняетесь им?

Ну, что он промямлит в ответ, самоуверенный юнец? И не такие враз умолкали, сражённые наповал божественным запретом, касающимся всяческих «подобий».

— Если бы Он сказал: «не сотвори никакого подобия», тогда был бы ты прав. Но Он сказал: «не сотвори всякого», а значит, лишь достойное.

«Против этого ничего не мог возразить старец и замолк, посрамлённый» — такими словами

заканчивается в житии короткий рассказ о споре Константина с Иоанном Грамматиком.

Может быть, Философ готовился к более долгому и изнурительному словопрению? Может быть, придворные наблюдатели, составлявшие «публику», были даже разочарованы чрезмерной краткостью словесного поединка, отсутствием в нём и с той и с другой стороны ещё более хлёстких выпадов, ещё более хитроумных доказательств и обвинений? Ведь поначалу, с первого горячего обмена «любезностями», вроде бы обещалось как раз такое будоражащее продолжение.

Если попытаться воссоздать психологическую атмосферу встречи, то всё же очень красноречив «посрамлённый» ересиарх, вдруг умолкший. Как же так! Он, который привык в спорах блистать, срывать возгласы восхищения, тут с самой первой минуты получал за оплеухой оплеуху! Он только отбивался, только пятился, даже когда задавал свои каверзные вопросы. Он ни разу не смог застать юнца врасплох, уличить в недобросовестности ответа. Он надеялся, что уж последним-то своим доводом против «подобий», то есть икон, доводом-цитатой, можно сказать, прямо со скрижали Моисеевой, — оглушит прыткого выскочку до смерти. Но тот и в знании заповедей оказался ловок... Да ещё и срамит его, старика: мог бы ты-де и потвёрже знать смысл божественного запрета, сообщённого Моисею...

Что ещё оставалось Аннию, как не замолчать? По крайней мере, молчание спасительно уже тем, что заставляет противника теряться в догадках. Пусть и

они теперь озадачатся: молчит ли старец потому, что истощился, или потому, что зрелому мужу не имеет смысла вразумлять таких неучтивцев?

...Как отнеслись к непростому житийному эпизоду исследователи, предпочитающие иным подходам гиперкритическое сомнение во всём? Наиболее категоричен автор, считающий, что прение с иконоборцем «в настоящее время вызывает единодушные сомнения всех исследователей». Но где уж всех? А тот же Поленакович? А болгары В. Киселков и Э. Георгиев? А словенец Ф. Гревс? А грек Антоний Тахиаос? Можно привести имена и других учёных, которые не поддаются гиперкритической моде. Но что же именно вызывает сомнения в достоверности этого житийного эпизода?

Как известно, в VIII—IX веках в Византии неоднократно проходили публичные споры между защитниками и противниками иконописания, распространялись полемические трактаты таких видных иконопочитателей, как Иоанн Дамас-кин, Феодор Студит, патриархи Никифор и Фотий.

Читатель, уже знакомый с главным в таких случаях доводом гиперкритиков, и здесь не ошибётся: если были под рукой у авторов жития сочинения таких маститых полемистов, то, значит, они и здесь, по закоренелой своей привычке, не упустили случая воспользоваться чужим, выдать его за своё. Так, мол, и появилось в жизнеописании Константина-Кирилла ещё одно событие, которого на самом деле никогда не было.

Предлагают и более «мягкий» способ усомниться в достоверности прений. Якобы сюжет поступил в житие не из чужих источников, а из бумаг самого Философа, оставшихся после его смерти. Тот будто бы написал некое школьное сочинение, что-то вроде пробы пера на свободную богословскую тему: состязание с вымышленным иконоборцем в форме диалога. Оставалось лишь «обогатить» это сочинение в житии именем опального патриарха и выдать его за состоявшуюся беседу.

Впрочем, и в такой «мягкой» версии агиографы выглядят не меньшими плутами, чем в предыдущей. И как это они позабыли, что среди возможных византийских читателей жития немало могло найтись тех, кто хорошо помнил пресловутого Анния? А значит, без труда мог бы уличить увлёкшихся имитаторов в подлоге.

Вот как далеко может завести страсть сомневаться во всём подряд! Ведь в последнем случае, как и в предыдущих, в этих агиографических подделках обвиняются ближайшие ученики Кирилла, в кругу которых родилось его житие. А с ними заодно и старший брат Философа.

ФИЛОСОФ НА РУИНАХ ВАВИЛОНА

Костры в ночи

Житель Константинополя по многу раз на дню небрежно, а то и совершенно бездумно поглядывает на противоположный берег Босфора. И вовсе не вспоминает при этом, что там — Азия, а он — в Европе. Или мало у него иных забот? Эта самая Азия так буднично близка, что нужно слегка встряхнуться, чтобы снова воспринять её как другую часть света. И если кто при нём начнёт вслух разглагольствовать о том удивительном чувстве, которое обязан испытывать человек, сподобившийся видеть сразу два континента, то столичный обыватель с ухмылкой обойдёт велеречивого вещателя стороной. Ишь, невидаль какая! Ну, Европа, ну, Азия, а что дальше-то? Ведь и там, и здесь — всё та же Византия. Ну, поплыви туда на пароме, поглазей оттуда на Европу, — велика ли разница? Может, вся разница лишь в том, что когда окажешься за проливом и когда ветер донесёт туда всплески ликования с царьградского ипподрома, то станет тебе на малоазийском берегу как-то скучно и одиноко.

Для кого столица — это Великая София, для кого — цесарские дворцы, базары. А для кого — ипподром. Вот она, в самой серёдке города, взбухает песком и пылью великолепная лошадиная дорога, и с нею десятки тысяч горожан связаны лучшими переживаниями своей жизни. Пестреющие зрителями трибуны, имена и символы знаменитых колесниц,

упругий, ласковый ветерок от Пропонтиды, пронизанный ароматами вина, мяса, шкворчащего на решётках, — как это всё бодрит, располагает к дурашливой беспечности! А всегдашние словесные потасовки между могущественными партиями болельщиков? Что за роскошь! Особенно когда перебранки то и дело переходят в самые настоящие рукопашные бои! И ни с чем не сравнимое тепло разливающейся в груди радости, когда по рядам пронесётся: «Пришёл!..» Значит, сам молоденький император, прошествовав прямиком из дворца по прохладной и короткой улице-галерее, уже восседает на своей парчовой тронной подушке и вот-вот благословит начало состязаний.

Пусть кто-то подшучивает над особым пристрастием отро-ка-василевса к лошадям, пусть упрекают его за то, что отстроил для своих любимых жеребчиков и кобылок конюшню из мрамора с водотоком, — пусть их! А вот завсегдатаям ипподрома приятно, что венценосный мальчик не чурается всегдашней простонародной забавы и даже сам иногда, нарядившись возничим, взбирается на колесницу. Уж в такой миг лучше к нему ни с чем худым не подступайся — ни с вестью о землетрясении, ни с донесением об очередном воинском копошении, затеянном болгарами. Пошли вы отсюда со своей Европой, со своей Азией!

Но когда среди ночи увидит горожанин за Босфором острый язык костра на безлесной макушке горы, тогда лишь, пожалуй, и вспомнит, что на том берегу — она, Азия. Потому что костёр этот одно-

единственное означает: по огненной цепочке таких же великих костров — через весь громадный полуостров — от киликийской пограничной крепости Лул проскакал с горы на гору огненный сигнал нешуточной войны. Значит, опять сарацины нарушили перемирие.

И тут впору снова ворчать, сокрушаться, горестно вздыхать, а то и клясть про себя последними словами, — да-да! не кого-нибудь, а величайшего из императоров, имя которого носит столица. Это ведь его угораздило перенести свой трон в самый зыбкий и тряский, в самый неспокойный угол мира. Не понятно ли, какая гордыня ему тогда подсказки подсказывала? Где ещё, как не здесь, виднее всего будет его власть одновременно и над Западом, и над Востоком?

Сколько уже поколений ромеев расплачивается за ту гордыню! Зависть свежих народов, затопившая когда-то Рим, почти одновременно обрушилась и на град Константинов. Даже книжники, составители хронографов, пожалуй, затруднятся назвать точное число покушений — столь много их накопилось — на рубежи Византии и на её столицу.

Впрочем, те, кто заглядывает и в более древние книги, подскажут: так было испокон веку — ещё от времён, когда появились первые греческие, а затем и римские города. То Восток напирал на Запад, то средиземноморский Запад оттеснял народы и царства Востока. Будто главный или даже единственный смысл обозримой истории состоял как раз в этом — непонятно для чего нужном Богу — соперничестве, в котором участвовали с той и другой стороны великие полководцы, цари, императоры, сатрапы, храбрецы и

маньяки, сумасброды-мечтатели и мелкие хищники, не говоря уж о миллионах пеших и конных воинов, со дня рождения обречённых на бесславие и безымянность.

Уже который век подряд именно такого рода противостояние надрывает силы Ромейской державы. Не сумев соединить в единый монолит два континента, она раз от разу оказывается во всё более жёстких тисках между завистливым Западом и по-мальчишески задиристым Востоком.

Многолик и непредсказуем этот Восток: сегодня наседают арабы, вчера доскакивали чуть не до ворот Царьграда болгары, позавчера ломились сюда авары со славянами, а до них были гунны, а после всех этих кто-то ещё наверняка пожалует... Раньше Восток обрушивался только с малоазиатского берега. После того как гунны пробили собственную дорогу в Европу и обошли с севера Понт Эвксинский, по их следам прорва племён накинулась и на византийские Балканы.

Ромеи уже и мечтать перестали о том, чтобы удержаться в старых имперских границах, намеченных когда-то легионерами Рима. Отовсюду утесняется Византия, отдаёт окраину за окраиной. И всё же нигде не несёт она такого урона, как на юго-востоке. Арабы-исмаилиты отторгли Египет, завоевали Сирию, Палестину, покушаются на Кипр, шлют свои флоты к городам Сицилии, Италии.

Империя Константина Великого, при начале своём единая, простиравшаяся от Испании до Таврики, от Темзы до Нила, от Карфагена до Евфрата, сумевшая так зримо и победительно сопрячь новой столицей две части света, теперь содрогалась и сокращалась под

ударами, которые почти беспрерывно сыпались на неё отовсюду. Но чаще всего — с Арабского Востока. И проходили века, но ничего не удавалось предпринять, чтобы военной мощью или дипломатическими ухищрениями раз и навсегда осадить сарацинский напор.

Испытание о Троице

Миссию младшего из солунских братьев в Арабский халифат (она описана в «Житии Кирилла») иные современные исследователи, по установившейся гиперкритической привычке, обходят молчанием или ставят под знак вопроса. А если и озираются всё же на сообщение агиографов, то делают это как-то бегло, с явной неохотой. Может быть, потому, что миссия не имела прямого отношения к деятельности братьев в славянской среде? В итоге в обширнейшей кирилло-мефоди-ане можно насчитать лишь несколько работ, в которых предпринимались попытки хоть что-то добавить к изначальному краткому агиографическому рассказу.

Сравнительная немногословность этого житийного эпизода, излагающего подробности «Багдадской миссии» Философа, вроде бы заставляет предположить, что и сам Константин не придавал особого значения той своей ранней поездке на Восток. И не часто о ней потом вспоминал — в разговорах с Мефодием и учениками. А потому и они немногое запомнили для позднейшего пересказа в житии.

Не отсюда ли и некоторые хронологические нестыковки в этом «восточном сюжете»? Так, странным выглядит сообщение жития о том, что

Философу на ту пору было 24 года. Потому что в таком случае выходило бы, что поручение отправиться в Багдад он получил в 850 либо 851 году, а к этой дате привыкать не нужно — она не вполне надёжна, как сейчас убедимся.

Впрочем, сначала — о самом характере участия Константина в «сарацинской миссии». Агиографы пересказывают некое послание, которое препроводили византийскому двору «агаряне, называемые сарацинами». Вызывающее это письмо содержало откровенную хулу на Святую Троицу: «Как вы, христиане, полагая, что Бог един, снова делите его на три, говоря, что есть и отец, и сын, и дух святой? Если можете показать это ясно, то пошлите мужа, который способен говорить об этом и переспорить нас».

На собрании, созванном при дворе по поводу столь неучтивого приглашения на диспут, было решено всё же принять вызов. Ведь всякое уклонение означало бы, что христиане признают свою неправоту.

Снова, как и в недавнем случае с иконоборцем Иоанном Грамматиком, молодой василевс призвал к себе Философа. Поручение императора Михаила представлено в житии в тонах торжественных, даже высокопарных:

«Слышишь ли, Философ, что говорят скверные агаряне против нашей веры? Но ты — Святой Троицы слуга и ученик — иди и выступи против них, и Бог, совершитель всякого дела, славословимый в Троице Отец, Сын и Святой Дух да подаст тебе благодать и силу в словах и явит тебя против Голиафа как нового

Давида, с тремя камнями победившего, и возвратит тебя к нам, удостоенного царствия небесного».

Сам ли царствующий поручитель так безукоризненно изложил это напутствие, вещал ли за него кто из придворных? Что об этом гадать? Мы лишь видим, что Константин в ответном слове выразительно краток:

«Рад я пойти за веру христианскую. Что есть слаще на сем свете, чем жить или умереть за Святую Троицу?»

Споры на вероисповедные темы между византийцами и мусульманскими полемистами имели место и раньше. Но устраивались они в более подходящие, располагающие к словесным браням времена. А как раз на сию пору между двумя империями длилась самая настоящая война: уже три года подряд, начиная с 851-го, арабы вторгались в малоазийское приграничье Византии.

Последнее перемирие, во время которого состоялся крупный обмен пленными, было уже достаточно давно — в 846 году... В следующем, 847-м багдадский халифат возглавил новый правитель по имени Мутаваккиль, и при нём отношения между православной и мусульманской империями резко ухудшились. Этот Мутаваккиль сразу же отличился особой нетерпимостью и в религиозных вопросах. Вдруг резко усилились гонения не только против христиан и иудеев, но и против шиитов. Кавказские окраины халифата отозвались смутами. По свидетельству автора-араба, в христианских кварталах своих городов

Мутаваккиль повелел у каждого жилища поставить по деревянному чучелу с изображением чёрта.

Следующее перемирие удалось заключить лишь в 855—856 годах. Видимо, к этой поздней дате и следует отнести миссию Константина, не озираясь на 850 или 851 годы. По крайней мере, поздняя дата подкрепляется одним надёжным арабским источником, к которому через некоторое время мы вернёмся.

Неспешность пути в Багдад позволяла Константину основательнее подготовиться к диспуту. Итак, главная заготовка противной стороны — резко отрицательное, откровенно насмешливое отношение к догмату о троичности христианского Бога. Не зря же поторопились высказать эту тему в своём приглашении-вызове: «Почему вы делите бога на три?!» Вот она — молодая, горячая напористость последователей Магомета, будто взятая напрокат из иудейского догмата о единобожии. Аллах — единствен, как у евреев единствен Саваоф. В христианской же Троице те и другие усматривают грубую уступку многобожию.

С напористостью ещё более агрессивной, чем предполагал, столкнулся Философ сразу по прибытии на место. В столице халифата, как он уже знал, живёт много христиан, осевших здесь в разные времена: кто в плен попал когда-то, кто поселился недавно, убежав от иконоборческих властей. Были среди этих его единоверцев художники, зодчие, искусные ремесленники, педагоги. Показывая на их жилища, провожатые спрашивали теперь у гостя: разумеет ли

он, что за кривляющиеся существа изображены на входных дверях?

— Вижу изображения демонов, — отвечал Философ, — и думаю, что внутри здесь живут христиане. Демоны не могут с ними ужиться и выскакивают наружу. А у кого нет этих знаков снаружи, с теми демоны пребывают внутри жилищ.

Дерзкая находчивость шутливого ответа должна была подсказать принимающей стороне: молодой человек, похоже, совсем не прост. Но это ведь только разминка. А хватит ли у него ловкости и выдержки, когда пойдёт настоящее испытание?

Оно началось за щедро уставленным снедью пиршественным столом. Этими яствами как бы намекали: не пожалеем для гостя изысканных словесных кушаний и острых приправ. Константину были представлены участники словопрения — среди них значились люди, сведущие в геометрии, астрономии, иных науках... И, между прочим, как почти сразу выяснилось, были тут и такие, что наслышаны о богословских раздорах, будоражащих христианский мир.

— У нас в исламе всё цельно и нерушимо, а что у вас происходит? — говорили гостю с мягкой укоризной, едва ли не с состраданием. — Божий пророк Мухаммед, принеся нам благую весть от Бога, обратил многих людей, и все мы держимся его закона, ни в чём не нарушая его. Вы же, когда соблюдаете закон Христа, вашего пророка, то исполняете его так, как угодно каждому из вас: один — так, другой — иначе.

Философ сразу понял, куда метит упрёк. Ереси! Обилие ересей и ересиархов — вот что без труда подмечает в жизни христианской сторонний насмешливый глаз.

— Бог наш — как морская глубина, и пророк говорит о нём: «Род его кто изъяснит?» — начал Константин. — И ради поисков Его многие сходят в ту глубину, и сильные разумом с Его помощью, обретя духовное богатство, переплывают и возвращаются, а слабые, как те, кто пытаются переплыть на гнилых кораблях, одни тонут, а другие с трудом едва спасаются, погружаемые немощной ленью. Ваше же море — и узко, и удобно, и каждый может его перескочить, малый и великий. Нет в этом море ничего сверх обычной людской меры, а лишь то, что все могут делать. Ничего-то Мухаммед вам не запретил. А если не сдержал он вашего гнева, желаний ваших, то в какую пропасть ввергает вас? Христос же не так, но верой и делами научает человека. Ведь Он, Создатель всего, сотворил человека посредине между зверями и ангелами, отделил его речью и разумом от зверей, а гневом и желаниями от ангелов. И кто к какому началу приближается, звериному или ангельскому, тот становится сопричастником высшему или низшему.

Да-да, именно так! Христос не приглашает человека на всё готовое, не потворствует человеку, но ждёт от него встречного усилия. Он не потатчик ни гневу нашему, ни вожделениям. Он не льстец человеку.

Выслушав его, мусульмане, похоже, поняли: не следует надолго откладывать разговор о Троице. Споря с такими, как этот молодой и цепкий многознайка,

нужно действовать решительнее. Иначе не дождёшься быстрого и очевидного перевеса.

— Как же это вы, — воззрились со всех сторон на Константина, — хотя Бог один, прославляете его в трёх? Отцом называете, и сыном, и духом. Если уж вы так устроили, так и жену ему дайте, и пусть от него многие боги расплодятся.

О, святая, неприступная, тайнозримая Троица! Сколько же внешние люди вышучивали тебя, как только не зубоскалили; вот и эти туда же, а ещё разумеют геометрию, движение планет и созвездий!

— Не говорите такой нелепой хулы! — осадил он остроумцев. — Да, мы научены отцами церкви, пророками и учителями прославлять Троицу, ибо Отец, и Слово, и Дух — три ипостаси в едином существе. Слово же воплотилось в Деве и родилось ради нашего спасения. Не о том ли и пророк ваш Мухаммед свидетельствует, когда пишет: «Послали мы дух наш к деве, ибо хотели, чтоб родила».

Его ссылка на слова Мухаммеда, да ещё и прямая цитата из Корана, похоже, заставили их несколько стушеваться. Но ненадолго.

— Если Христос — ваш бог, почему не делаете, как он велит? — был очередной вопрос. — Ведь написано в евангельских книгах: «Молитесь за врагов, добро делайте ненавидящим и гонящим вас и щёку подставляйте бьющим вас». Вы же острите оружие против тех, кто делает вам такое.

Знай, мол: не только ты в наши, но и мы в ваши книги заглядываем.

Философ решил, что тут лучше вопросом на вопрос отвечать:

— Если есть в законе две заповеди, кто по-настоящему исполняет закон — тот, кто соблюдает одну, или тот, кто — обе?

Невозможно им было ответить иначе, чем он ожидал.

— Тот, кто соблюдает обе.

— Бог сказал: «Молитесь за обижающих вас», — продолжил Философ. — Но Он же сказал: «В этой жизни никто не может явить большей любви, чем положивший душу свою за друзей своих». Вот ради друзей своих мы и исполняем эту вторую заповедь, чтобы с пленением тела и душа их в плен не попала.

Но обед и диспут на этом его ответе не прервались.

Обмен пленными

Зато последние слова Константина, сказанные о пленных, требуют прервать здесь на время и диспут, и обед. И напомнить ещё об одной цели его пребывания в Багдаде.

Как и во все другие времена и у других народов, этика установления мира (или перемирия) между враждующими сторонами требовала позаботиться в свой черёд о судьбе пленных — о их выкупе или взаимообмене. Так было и в этот раз, о чём в своей хронике сообщает арабский автор Абу-Джафар Табари, современник солунских братьев. Описывая обмен пленными, произведённый во время перемирия 855—856 годов, Табари, правда, не упоминает Философа среди участников процедуры. Но скорее всего, и сам арабский хронист в том событии не участвовал, а

воспроизвёл его по документам и свидетельствам очевидцев, поскольку ему в пору перемирия было всего 16 лет.

Константин непосредственно переговорами по обмену не занимался. Для этого в составе византийской миссии имелись по-настоящему опытные люди. «Житие Кирилла» упоминает по имени одного из них, Георгия — чиновника высокого ранга (асикрета) из ведомства логофета Феоктиста. («Приставили же к нему асикрета Георгия...») Глагол «приставили» подсказывает, что главой миссии всё же оставался Константин. Но Табари, упоминающий Георгия, говорит о нём как о главном представителе византийской стороны в процедуре с пленными.

По заведенному обычаю обмен производился в малоазий-ской феме Киликия, на берегах пограничной реки Ламус. Это примерно в половине расстояния между Константинополем и Багдадом. Из арабской хроники узнаём, что ромеи приехали с подарками от императрицы Феодоры, что в долгий путь они отправились 6 декабря 855 года, что в посольстве было около пятидесяти патрициев и их слуг, что для обоза было нанято семьдесят мулов, наконец, что обмен производился в конце февраля — во время мусульманского праздника разговения после поста — и сопровождался раздачей милостыни. Выходит, византийская сторона потратила на дорогу без малого три зимних месяца. Когда достигли, наконец, древнего приморского города Тарса, знаменитого тем, что здесь когда-то родился будущий апостол Павел, можно было

вздохнуть с облегчением: до Ламуса оставался всего лишь день перехода.

Сам обмен пленными продолжался целую неделю. С арабской стороны главным был придворный евнух Шениф, прибывший из Багдада с сотней всадников. Правила предписывали построить два моста-времянки, чтобы каждая сторона могла запускать по одному пленному, которого при встрече достаточно пристрастно допрашивали. Арабы жёстко отбраковывали тех, кто успел поменять веру. Видимо, так же поступали и греки. На восточном берегу Ламуса терпеливо ждали решения своей участи около ста христианских жителей халифата. Обстановка, как и всегда во время обменов, была нервной. То и дело возникали подозрения во взаимном плутовстве: к примеру, договорились обменивать человека на человека, а как быть, если с той стороны подсовывают стариков, детей?.. И кто докажет, что этот, стоящий перед тобой несчастный — ещё не старик, а тот, заморыш, — уже не ребёнок?

В любую минуту обмен мог прерваться, что тут же грозило бы и нарушением перемирия. Но всё же неделя закончилась благополучно. Асикрет Георгий, возможно, на восточный берег Ламуса со своими подчинёнными и не поехал, а тут же занялся отправкой освобождённых людей в родные им места. Но значит ли это, что Философ отбыл в Багдад совершенно один? Наверняка ему было придано какое-то достаточное сопровождение. Так, есть сведения, позволяющие допустить, что вместе с ним в столицу халифата в той же духовной миссии следовали два близких ему

человека: родной брат Мефодий и... Фотий — тот самый высокоучёный наставник, в уникальной домашней библиотеке которого протекли для Константина часы увлекательных путешествий в прошлое греческой словесности. Участие Фотия в посольстве, по авторитетному мнению Франтишека Дворника, чешского исследователя эпохи, подтверждается письмом, относящимся к 855 году. В нём Фотий просит своего брата Тарасия присмотреть за его библиотекой, пока сам он будет участвовать в миссии «к ассирийцам». Если так, то получается, что учитель лишь сопровождал ученика, не будучи по каким-то соображениям главным полемистом с греческой стороны?

Хотя агиограф пишет, что асикрет Георгий был в подчинении у Философа, молодой богослов не мог не понимать, что главное в поездке — именно судьба пленных христиан, а не вероисповедное состязание. Последнее как бы входило в обряд перемирия, составляло его этикетную часть. Диспут был, что называется, подан на десерт. Наиболее сложные задачи их здешнего пребывания решались вовсе не в этих богато обставленных покоях, где словесный яд скрывают за мягкими мановениями рук и сладкими улыбками.

Но разве и он не стоял здесь, исполняя завет Спасителя, за друзей своих, за томящихся в неволе христиан? Yrcep tcov cpШov auxou... За други своя — как переведёт он позже для славян эти слова Христа из Евангелия от Иоанна.

...Тем временем диспут продолжился.

Да, противники его, не мог про себя не заметить Философ, азартно цепляются за слова и смыслы. Толкуют их, как им выгоднее. Вот и теперь мгновенно обыграли это евангельское «за друзей своих».

— Христос дань давал за себя и за других. Что же вы не делаете того, что он делал? Если уж защищаете своё, почему не даёте дань великому и сильному измаильскому народу за пленников — родных своих и друзей? Ведь мало же просим, всего один золотой с человека; дайте, и пока стоит земля, сохраним мир между собою.

Эта подробность житийного рассказа помогает различить и меркантильную, и чисто политическую подоплёку переговоров о выкупе пленных. Более того, тут просматриваются и самые веские причины тогдашнего противостояния двух империй. Халифат уже видел себя стороной побеждающей, уже почти победившей, а, значит, её, Византию, — готовым данником: «ведь мало же просим» за вечный-то мир!

Отвечая, Философ снова воспользовался притчей. И опять облёк иносказание в броню старой эллинской логики. Коли уж они Аристотеля почитают и штудируют, то неловко им станет спутаться в ответе.

— Если кто хочет идти по стопам своего учителя, не сбиваясь, а встречный совратит его с пути, друг ему этот встречный или враг?

— Враг.

— А когда Христос дань давал, чья власть была: измаильтян или Рима?

— Рима.

— Тогда за что же нас порицать? Ромеям все даём дань. Право, не багдадскому же «кесарю» завещал Христос отдавать «кесарево»?

И опять за шутливым выводом была непререкаемая, даже подкупающая твёрдость.

Но они ещё и ещё со своими шпильками подступались к молодому гостю. Испытывали его во всех ведомых им искусствах, дисциплинах и их тонкостях. Наконец, — со вздохом досады, приправленной восхищением, — признали:

— Как так? Откуда ты всё это выведал?

Он и тут предпочёл шутливую, хотя и дерзкую, притчу. Ибо назидательность басни особо ценит восточный слух:

— Некий человек зачерпнул воды в море и носил её в мешке. «Видите ли воду, какой нет ни у кого, кроме меня?» — горделиво спрашивал у прохожих. Но пришёл некий муж с берега морского и сказал ему: «Не безумен ли ты, коли хвастаешь вонючим мешком? У нас этого добра целое море». Не так ли и вы поступаете? Ведь все искусства ваши — от нас вышли.

Да, он, пожалуй, чересчур резок в общении с ними. Слишком упорно подчёркивает, что они во всём — и в вере своей, и в науках — новички и подражатели. Но разве сами они не подтверждают на каждом шагу, что учатся чужой мудрости? И у персов учатся, и у евреев, и у старых мудрецов Индии, но чаще всё же у греков. Переводят и вызубривают Платона, Аристотеля, Птолемея, даже неоплатоников. Но уже и заносятся так, будто сами все эти знания подарили соседям.

Как ни смягчал свои выводы иносказаниями, нелицеприятность его суждений напоследок дорого обошлась Философу. Довелось ему испытать на себе ещё один «довод» хозяев. Тоже, по-своему, иносказательный. Где-то под конец его пребывания в Багдаде Константину, как свидетельствует житие, то ли в питьё, то ли в еду была подбавлена отрава. Происшествие настолько, так сказать, классическое, во все времена и у всех народов распространённое, заштампованное, что для некоторых комментаторов «Жития Кирилла» и оно не могло не стать камнем преткновения. И конечно же лишним доводом в пользу неправдоподобности всего рассказа об Арабской миссии. Тем проще было прийти к такому мнению, что в житии говорилось о покушении на жизнь Константина как о событии, разрешившемся чудесным образом:

«...Совсем впали в свою злобу и дали ему пить яд. Но Бог милостивый, сказавший: "И если что смертоносное выпьете, ничто не повредит вам " — избавил его от этого и здорового возвратил его снова в свою страну».

Как не посочувствовать людям, которым ни разу в жизни не довелось встретиться ни с чем чудесным?!

После столпотворения

Диспут диспутом, но не отпускала Константина в Багдаде ещё одна забота — совсем особого свойства. Она была как жар в теле, как жажда ненасытимая. Может быть, она его томила с той самой минуты, как услышал от императора Михаила: готовься, тебя посылаем.

Арабский халифат!.. Багдад!.. Господи, это ли не чудесный подарок! Ему же предстоит встреча со священной первобиб-лейской землей! С той самой, где Творец устроил некогда рай, заселив его птицами и зверями, украсив плодовыми рощами, обильными реками и родниками, дав обиталище отцу и матери всех человеков... И это та самая земля, что была прежде других избрана для небесной кары, скрылась под волнами Всемирного потопа, когда расплодились повсюду поколения грешников. И это на ней строил свой ковчег Ной и на ней же заповедал первые уделы трём сыновьям — Симу, Хаму, Иафе-ту... И это именно там потомки их, зажившие, по заповеди Ноя, раздельно племя от племени, но ещё разумевшие друг друга с полуслова, однажды затеяли творение столпа, чтобы поднялся превыше облаков. И Господь вновь покарал их —теперь уже за эту несусветную башню. Разучил их понимать друг друга, так что заговорили вдруг на семидесяти двух языках. И единый до того народ стал языками.

Житие не воспроизводит этих раздумий Константина перед дорогой в халифат. Рай, преступление Каина, спасение Ноя, гордыня вавилонян... Этот самый Вавилон и дальше будет мелькать на страницах Библии. И в «Истории» Геродота, в «Киропедии» Ксенофонта, в книгах об Александре Македонском... Ведь все эти реалии Древнего Востока — на слуху у каждого образованного византийца.

Но одно дело — знание книжное или услышанное от бывалых людей. А перед Константином,

засидевшимся в стенах столицы, теперь открывалась заветная возможность прикоснуться к следам величайших событий прошлого.

Даже и сама дорога к колыбели рода людского — поистине священная дорога. Путь его пролегал через Малоазийский полуостров, мимо причудливых скал и горок обожжённой солнцем, высушенной ветрами Каппадокии. По этим огнедышащим долинам когда-то шествовали первые апостолы. Имена этих маленьких городков прославили своим рождением и трудами великие отцы и учителя церкви. По этим кривым белёсым улочкам шелестели подошвы их сандалий. В отдохновением полумраке крошечных, чуть выше роста человечьего, храмиков, вырытых в податливом песчанике, сочинялись страницы «Шестоднева», композиции литургического действа, толкования к апостольским посланиям...

В полупустынных городишках и деревнях Каппадокии пришелец чувствует себя так, будто заодно с сырыми горшками скудельника попал в кусающий зной гончарной печи. Кажется, кипящее олово вливается вместо воздуха в грудь. Что создал Господь прежде — жар или холод? Пусть помудрят над этим мудрецы, бьющиеся за первенство того или другого. Отходя ко сну, прислушиваясь к сочному бульканью и щёлку чудом уцелевшего в такие жары соловья, Каппадокия подсказывает: и жар, и холод сразу принёс Творец — в единый миг озарения. И из одного источника. Принёс, чтобы они чередованием своим давали и человеку, и птице радость перемен.

А разве не точно так же — из одного источника и сразу, одновременно, — даны человеку согласные и гласные звуки его речи. Гласные текут ручьями между камней согласных. От согласных исходят звон, свист, визг, шелест, мык и шум, гул или горячее шипение. Гласные мягко омывают, остужают их каменное упрямство, смиряют скрип и скрежет. Несогласных превращают в согласных. Ловко минуя или с трудом протискиваясь сквозь камни человеческого рта, одолевая упрямство губ, гласные вместе с согласными выходят на волю мудрой усталостью осмысленной речи.

Уже издавна повелось так у разных народов, не только на Востоке живущих, что осмысленная речь — только для своих. Не потому ли чужак, глядя на тебя, почти не скрывает ухмылки: неужели и в твоей речи есть достаточный смысл? Глядя друг на друга, и ты, и чужак, должно быть, переполнены тем самым вавилонским изумлением, которым были покараны зарвавшиеся строители столпа: что это за безумцы толпятся вокруг нас и о чём это они лепечут, бубнят или тарабарят?

Константин ещё до поездки знал, что нынешний Багдад построен не на месте древней ассирийской столицы, а на некотором, пусть и небольшом, расстоянии от вавилонских руин, оставленных людьми на попечение солнца и ветров. Будет ли у него возможность осмотреть эти руины? И отличаются ли они чем-нибудь от многочисленных останков древних людских обиталищ, мимо которых двигался их караван? Отверженные временем города заботливо

укутаны песком, чтобы не ранить взгляд прохожего остриями своих обломков. Везде одно и то же неустанное попечение земли: умолчать о человеческих неудачах, о бренности недовершённых замыслов.

Но что всё же значит тот заоблачный библейский столп на предолгом пути людского рода?.. Когда изучал латынь в Константинополе или когда — ещё в детстве — вслушивался в говор окрестных македонских славян, или когда пытался уразуметь проезжих римлян, сильно подзабывших и огрубивших свою старую книжную латынь, то осеняла иногда странная догадка: да, говорящие на разных, чужих друг другу языках, — греки, римляне, славяне, — все они, однако, знают и помнят о себе такое, что эта их чужесть вдруг оказывается как бы и не вполне настоящей. И эта невесть откуда исходящая память о себе заставляет их то и дело навострять ухо, делать удивлённые глаза, смущённо ухмыляться. Как если бы осенило их всех волнующее и радующее подозрение, что все — от одной матери, только она, бедняжка, постеснялась им в этом сознаться.

То есть получается, что и по нынешнему состоянию разных языков можно, даже ничего-ничего не помня о Вавилонском столпе, догадаться: да, была, искони существовала общая всем речь, и остатки её, осколочки, лоскуты и черепки до сих пор посверкивают, пестрят, туманятся и перемигиваются в речениях расподобленных народов...

После подъёмов на лесистые горные перевалы, где отдыхали от каппадокийской пыли, был спуск на киликийскую пограничную равнину, и Константин по-

новому волновался: впереди, на самой кромке приморской дымчатой бирюзы стоит родной город апостола Павла — Таре.

Он знал, что в тот день, когда первые ученики Христа, как об этом пишет в «Деяниях» евангелист Лука, вдруг чудесным образом заговорили на разных языках, Павел не был сподоблен Сошествия Святого Духа. Павел на ту пору ещё был Сав-лом — ревностным иудеем, беспощадным преследователем христианских общин, сущим извергом, как сам себя после назвал. Ещё не прозвучала над ним, мгновенно ослепшим, грозная укоризна с небес: «Савле, Савле, почто мя гониши?»

Но и когда Савл, преображённый Господом в Павла, вошёл в апостольский круг, когда наяву услышал, как глаголют на иных языках люди, никогда этих языков не учившие, он в своих посланиях не вполне поощрял этих говорений. «Благодарю Бога моего; я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы других заставить, нежели тьму слов на незнакомом языке».

Разве не по заслугам называют Павла «апостолом языков»? Он первый завещал проповедовать среди язычников на их языках, чтобы легко, без помех наставлялись в вере. Но это — лишь начаток Павлова назидания. Что проку знать разные языки, непринуждённо объясняться на них с чужестранцами, если за этим общением не стоит любовь? Посмотрите: будут дивиться на такого многоязыкого говоруна — как он умён, какой у него великолепный дар! Но Павел

вздыхает сокрушённо: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Я пустозвон, краснобай, болтун, бездушная струна.

Павел нигде не помянул ни словом Вавилонскую башню. Но вместе с остальными апостолами он жизнь свою полагал за то, чтобы силою божественной любви вернуть народам разумение друг друга во Христе. И вот, как два знамения, два знака — один почти при начале людской истории, а другой при конце ветхозаветного человечества — стоят два эти события, окутанные божественной мглой: сокрушение башни, распад единого праязыка и сошествие на апостолов Духа Свята, поручение им проповеди на разных наречиях во имя Того, который вернёт когда-то людям един язык.

В обратной перспективе

Сегодня не может не озадачивать: почему в громадной по объёму исследовательской литературе о Кирилле и Мефодий никто никогда даже не упомянул о Вавилонском смешении языков? Ведь вавилонская катастрофа была для братьев не археологией, не историей, не библейским красивым иносказанием и даже не вехой в паломническом дневнике Философа, а живой проблемой. Похоже, что за таким умолчанием стоят всё те же прогрессистские амбиции современной науки, её уверенность, что история обязательно движется от простого и примитивного к сложному, более совершенному.

Если придирчивее присмотреться к себе, то выяснится, что этот высокомерный ход рассуждений свойствен почти каждому из нас: мы видим прошлое в прямой перспективе сокращающихся величин и проблем. Мы постоянно подпитываем чувство собственного достоинства, упрощая, оприметивляя то, что было до нас. И чем оно дальше от нас, тем непринуждённее мы его скукоживаем.

Открыть любую энциклопедическую статью о Кирилле и Мефодий — везде одно и то же: создали славянскую азбуку, славянскую письменность... перевели некоторые книги религиозного содержания на славянский язык...

Но начнём с того, что единого славянского языка в IX веке вообще не существовало. Братьям предстояло поэтому нечто совсем иное: надо было создать для славянского мира единый литературный язык. Даже в окрестностях их родной Солуни славянские племена тогдашней Македонии говорили на разных славянских наречиях, хотя и понимали друг друга легче, чем, к примеру, сегодняшние македонские славяне понимают болгар, а болгары сербов. Чем ближе солунские братья будут знакомиться со славянами разных земель и государств, тем отчётливее станут они различать многодиалектность тогдашнего славянского мира.

Чтобы представить себе эту многодиалектность современного им славянства и всю громадность и рискованность задачи, за которую братья через время примутся, создавая литературный наддиалект, мы можем прибегнуть к исторической аналогии (по времени она, пожалуй, наиболее близка к IX веку).

Для этого надо вспомнить... Данте. И перечитать его трактат «О народном красноречии», написанный в первом десятилетии XIV столетия. Аналогия с Данте Алигьери хороша тем, что, несмотря на, казалось бы, огромную историческую паузу, великий итальянец описывает, в сущности, такую же картину диалектной пестроты народного языка (в данном случае итальянского), с какой встретятся солунские братья по мере погружения в языковую стихию славянского мира. А кроме того Данте, как известно, — один из трёх создателей итальянского литературного языка, volgare. То есть перед нами писатель с таким же законодательным авторитетом, каким за полтысячи лет до него обладали Кирилл и Мефодий.

Естественно, что говоря о причинах языковых чересполосиц на карте современной ему Европы, Данте вперяет свой взор на Восток: «Итак, в упорстве сердца своего возомнил нераскаянный человек, по наущению великана Немврода, превзойти не только природу, но и самого зиждителя — Бога — и начал воздвигать на земле Сеннаар, названную впоследствии Вавилон, то есть смешение, башню, в надежде достигнуть неба и, вознамерившись, невежда, не сравняться, но превзойти своего Творца... И вот весь почти род человеческий сошёлся на нечестивое дело: те отдавали приказания, те делали чертежи, те возводили стены, те выравнивали их по линейкам, те выглаживали штукатурку, те ломали камни, те по морю, те по земле с трудом их волочили, а те занимались всяческими другими работами, когда были приведены ударом с неба в такое смешение, что все, говорившие при работе на одном и

том же языке, заговорили на множестве разнородных языков, работу прекратили и больше уже не могли столковаться».

Ещё современник солунских братьев, византийский историк Георгий Амартол, описывая всемирные последствия вавилонской катастрофы, назвал три большие языковые группы, расселившиеся по континентам — наследников Сима, Хама и Иафета. К иафетическим народам византиец (а вслед за ним и авторы первой древнерусской летописи — «Повести временных лет») отнёс языки народов, расселившихся в Европе.

Данте с незаурядным для своего времени лингвистическим тактом выделяет на европейской карте греческую, романскую (итальянцы, французы, испанцы) и северную (зачисляя в неё и славян) языковые зоны иафетических народов. Но, уж конечно, с великолепным знанием дела описывает языковую мозаику собственно итальянских наречий и говоров. Это своё лингвистическое описание он предваряет очень живописным географическим:

«Итак, начнём с того, что Италия разделяется на две части — правую и левую. А на вопрос, где проходит черта раздела, мы кратко ответим, что по хребту Апеннина, с которого, точно с глиняного конька кровли, льётся вода по противоположным желобам, струясь по длинным водостокам... с правой стороны идёт сток в Тирренское море, а с левой спускается в Адриатическое. <...> И на той, и на другой стороне, и в областях, к ним прилегающих, языки людские отличны; так, язык сицилийский отличается от

апулийского, апулийский от римского, римский от сполетского, а этот от тосканского, тосканский от генуэзского, генуэзский от сардинского, равно как калабрийский от анконского, этот от романьольского, рома-ньольский от ломбардского, ломбардский от тревизского и венецианского, а этот от аквилейского и тот от истрийского. Мы думаем, никто из итальянцев не будет с нами в этом несогласен. Таким образом, одна только Италия разнится, очевидно, по меньшей мере четырнадцатью наречиями. Кроме того, и внутри всех этих наречий есть различия, как, например, в Тоскане между сьенским и аретинским, в Ломбардии между фер-рарским и пьяченским; да в одном и том же городе мы обнаруживаем некоторое различие... Поэтому, если бы мы захотели подсчитать основные, второстепенные и третьестепенные различия между наречиями Италии, то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы дойти не то что до тысячи, но и до ещё большего множества различий».

Поразительная картина! Её мог создать только автор, наделённый совершенным лингвистическим слухом. Но что Италия, что XIV век! Даже в сегодняшней России, разутюженной вдоль и поперек телерадиогазетным масскультом, можно ещё обнаружить не менее впечатляющую картину обилия чудом уцелевших народных говоров, за которыми стоит великолепное диалектное упрямство их носителей. Приедем в Белоруссию и увидим то же самое: рядом с литературным, законодательно вещаемым из центра белорусским, рядом с обильно звучащим русским (по чьим-то понятиям, явная

русификация!) спокойно живут многочисленные диалекты.

Неужели же из этой современной сложности и пестроты можно заключить, что в эпоху Кирилла и Мефодия на громадных пространствах славянского мира существовал единый, простой, как перст, славянский язык и для него лишь оставалось изобрести азбуку, чтобы тут же засесть за переводы книг? И неужели создатели единого общеславянского литературного языка ограничивали свою задачу лишь тем, чтобы затвориться в пределах одного какого-то диалекта (староболгарского, старомакедонского или староморавского)?

«Повесть временных лет», излагая события кануна крещения Руси, рассказывает о приезде ко двору князя Владимира Киевского «в лето 6494 (986-е)» некоего «Грека Философа», который в пространной речи, обращенной к князю, кратко изложил главные события библейской истории, начиная от ветхозаветных и завершая евангельскими. В русской науке существует допущение (его предложил академик В. И. Ламан-ский, а развил А. С. Львов), что на самом деле «Речь Философа» — произведение не XI, а IX века. Кто-то из летописцев, авторов «Повести...», имея под рукой это древнее сочинение, счёл удобным включить его в контекст «поисков веры» при князе Владимире, хотя изначально «Речь», вполне вероятно, была обращена к другому князю — Аскольду, во святом крещении Николаю.

К этой теме мы вернёмся немного позже, поскольку первое, как его именуют «Фотиево», крещение Руси

пришлось как раз на пору славянских трудов Кирилла и Мефодия. Можно предположить, что перестановка летописцами «Речи» во времени (из IX в XI век) извиняется неуспехом того первоначального крещения, и произведению анонимного грека захотели придать более достойное его богословско-историческому содержанию место.

И всё же могли ли на самом ли деле «Грек Философ» и наш Константин-Кирилл Философ быть одним и тем же лицом? К сожалению, версия, предложенная Ламанским, до сих пор не нашла отклика в среде исследователей кирилло-мефодиевского наследия. В древнерусской книжной традиции насчитывается несколько других сочинений, которые наши старые книжники благочестиво приписывали перу младшего солуня-нина. Не потому ли не вызвал особого доверия у специалистов и «Грек Философ»? И всё-таки стоит привести напоследок короткое, но выразительное описание вавилонской катастрофы из «Речи Философа»:

«И быта человеци мнози и единогласны, и реша друг ко другу: "Съзиждемъ столпъ до небесе11. Начата здати, и бе старешина Неврод, иреченъ Бог: "Се умножишася человеци и помысли их суетни 11. И сниде Бог и размеси языки на 70 и 2 языка...»

Они, значит, замешивали, замешивали свой несусветный замес, а Он сошёл и размесил.

Такова лишь одна из многих глубинных перекличек содержания «Речи Философа» со строем мыслей и чувств Константина, который оказался однажды в

самом эпицентре притягательнейших событий библейской драмы.

ГОРА. УЧЕНИКИ

К брату, на Олимп

Успех сарацинской миссии Константина, казалось бы, в очередной раз открывал перед ним возможность для заметных, даже решительных продвижений по ступеням византийской иерархии. Только пожелай, и будешь вознаграждён достойно.

Но произошло иначе.

«Житие Кирилла» говорит о возвращении Философа в столицу предельно кратко: вскоре по прибытии он отрёкся от мирских дел и жил в уединении, «самому себе токмо внемля», то есть, как догадываемся, предаваясь сосредоточенному духовному деланию. Но легко ли в громадном, полумиллионном по числу его обитателей городе, пусть даже и на какой-то из окраин, найти угол для жизни вполне отрешённой, не смущаемой внешними раздражениями? Житие даёт возможность почувствовать и относительность уединения Константина, и неполноту его безмолвной собранности.

Событие пришлось на праздник.

«На святый день» (значит, на самую Пасху?) к Константину, имеющему обыкновение всё раздавать

нищим, ничего не оставляя на завтрашний день, обращается его слуга, раздосадованный постоянной расточительностью молодого господина: да у них у самих ничего в доме не осталось для трапезы по случаю праздника! Но Константин, напомнив слуге подробности исхода иудеев из Египта, отвечает: «Напитавший израильтян в пустыне пошлёт и нам пищу». Более того, велит слуге идти на улицу и позвать хотя бы пятерых нищих.

Когда же настаёт обеденный час, некий посетитель вдруг вносит в дом Философа полное беремя всяческой снеди да ещё выкладывает десять золотых монет. И Константин «Богу хвалу возда о всех сих».

Вот она — нежданная, нечаемая, не поддающаяся предварительному вычислению помощь. Благодатная помощь. Событие — из тех малых чудес, которые происходили и происходят в разные века и в разных пределах земли так часто, так изобильно, что люди уже как-то привыкли их не замечать или почти не замечать. Не для того ли такие события неустанно повторяются, чтобы вразумлять тех, кто непредсказуемые, сверхурочные дары жизни считает слепым случаем, капризным стечением обстоятельств?

Впрочем, и этот житийный эпизод в наши гиперкритические времена был подвергнут подозрению и отбраковке как «общее» (читай, вторичное, заимствованное) «место» древней агиографической письменности.

Как бы ни судили-рядили гиперкритики, обстановка происшествия дышит достоверностью. Уже потому хотя бы, что уединение и безмолвие, найти которые

Философ понадеялся в пределах мегаполиса, как видим, оказались весьма недостаточными: ворчливый слуга, нищие, нежданный, но вряд ли совершенно незнакомый посетитель... Так и слышишь в отдалении (или даже вблизи) рокот, гул, «житейский шум трескучий», чадное дыхание громадного города. Где уж тут сосредоточиться по-настоящему!

Житие не уточняет сроков, но и так видно, что после Багдада Константин пробыл в столице лишь самое непродолжительное время. Сразу же за историей с нищими следует сообщение о его отбытии на Малый Олимп. То есть на ту самую гору, где, напомним, его старший брат какое-то продолжительное время уже подвизается в монастыре.

Признаться, скорость, с которой житийная канва побуждает нас переноситься с места на место, иногда озадачивает. Чем объяснить полное отсутствие подоплёк ещё одного поступка Философа? Как, почему происходит это событие? Неужели нехватка более насыщенного уединения — достаточный повод, чтобы Философу снова спешно собираться в путь?

Между тем подсказки как будто сами спешат навстречу.

В дни и часы, когда Константин ещё живёт в городе, вдруг врывается в его жилище весть, способная если не оцепенить, то озадачить и человека, куда более, чем он, привычного к не-предсказуемостям придворной жизни.

Убит Феоктист!

Вскоре слух подтверждается. Нет, не какой-то иной человек, носящий то же самое имя: убит Феоктист, первый при дворе министр!

Вдруг не стало того самого всемогущего, заматеревшего в своей сухой жилистой старости логофета Феоктиста, которому братья, и Мефодий, а затем и Константин, как ни суди, очень многим обязаны в жизни. И вытащил их в Константинополь из Фессалоник, и учиться пристроил, и о карьере старшего и младшего изрядно хлопотал. Пусть и не всегда в соответствии с их представлениями о своём будущем.

Как бы сам Константин временами ни противился покровительству, которое для своих особых целей оказывал ему старый придворный игрок, покровительство это в итоге оказывалось не слишком обременительным для молодого человека. Его узнали при дворе, к нему, кажется, благоволит сама императрица Феодора, мать-регентша василевса Михаила. И поездка в Багдад — не по согласной ли воле и Феоктиста, и Феодо-ры? Словом, он слывёт в столице едва ли не любимчиком логофета, а это теперь, после известия об убийстве, может сказаться самым нежданным образом на его дальнейшем здесь пребывании.

Дело не только в их личных отношениях. Злочиние над Фе-октистом учинено не уличным сбродом. Как почти тут же выясняется, в деле напрямую замешан сам доместик Варда, родной брат императрицы Феодоры. Этот Варда, с его тяжкой хваткой, уже не первый год набирает вес при дворе. Кто знает, каковы будут его дальнейшие шаги?

Варда спешит, очень спешит. Не успели умолкнуть пересуды по поводу смерти Феоктиста, а он уже и сестру родную принуждает отказаться от регентства: её сын вполне-де возмужал для того, чтобы править единолично. И Феодора, ещё недавно такая решительная в противодействиях мощной партии иконоборцев, смиряется. Чего не сделаешь ради блага единственного сына!

Но не проходит и года после расправы над Феоктистом, как Феодору насильно постригают в монахини, отвозят в монастырь. И не одну выдворяют, а вместе с четырьмя незамужними дочерьми — Фёклой, Анастасией, Анной и Пульхерией. Впрочем, так издавна заведено при дворе. Раньше или позже, но неизменно производится жёсткая вычистка тенистых палат и покоев, предназначенных для августейших вдов и девиц. Можно подумать, будто именно за их занавесями то и дело сплетаются нити новых заговоров. Какое, однако, оскорбительное, незаслуженное изгнание!

Кто-то ведь мог пустить слух по городу, что и отъезд Константина на Малый Олимп — тоже своего рода ссылка. Или бегство, упреждающее ссылку*.

Да, чисто придворная подоплёка срочного отбытия Философа в монастырь к брату Мефодию вполне допустима, даже если он, отъезжая, действовал лишь по своей воле. Даже если никакие предчувствия его не навещали, никакие страхи не обуревали, а просто не захотелось дольше жить в городе, где такое случается снова и снова.

Приходится просто смириться с тем, что в «Житии Кирилла» какие-либо бытовые обоснования отъезда отсутствуют. Куда труднее смириться с очередной скороговоркой агиогра-фов: пять следующих лет жизни Философа (с 856-го по 861-й) умещены ими в одну-единственную фразу:

«В Олимп же шед к Мефодию брату своему, нанят жити и молитву творити безпрестани к Богу, токмо книгами беседуя».

О целых пяти годах и без того короткой его жизни, согласимся, сообщено огорчительно мало. Это ведь не пора детства или отрочества, когда хрупкий солунский самородок то и дело озадачивал взрослых стремительностью своего духовного и умственного созревания. И не время его первых ярких общественных ристаний, когда без страха устремлялся он в самую гущу полемических стычек, крепко и честно стоял за веру Христову, невзирая на лица противников, изощрённых в словопрениях. Теперь Константин — муж искусный в духовных бранях, истинный философ православного склада. И теперь перед нами — самый цвет его жизни. Он прибудет в монастырь тридцати лет от роду. Навсегда уедет отсюда — тридцатипятилетним. И жить ему после отъезда останется менее девяти лет.

Сам он вряд ли догадывается сейчас о краткости своих жизненных сроков. Ему достойнее жить с мыслью, что сроки, как и всегда, не в воле человеческой. Сроки пребывают в сокровенной и непроницаемой для человека Божьей мгле.

Но значит ли это, что при виде ещё одной недомолвки аги-ографов остаётся лишь развести руками? И, вздохнув, отвернуться от этих пяти лет совместной жизни братьев в монастыре, извинившись неразличимостью их содержания?

* В связи с отсутствием в «Житии Кирилла» датирующих уточнений, касающихся убийства Феоктиста, получила хождение и другая последовательность описываемых событий, изложенная словенским автором Францем Гривсом: якобы сам Феоктист незадолго до своей насильственной смерти дал разрешение Константину отлучиться в монастырь для краткого отдыха; см.: Grives Fr. Slavenski blagoyjestnici sveti Ciril i Metod. Zagreb, 1985.

Известный дореволюционный историк Русской церкви академик Е. Е. Голубинский, автор исключительно дотошный, до въедливости упорный, когда дело касалось выверки и обработки фактического материала, подсчитал в своём обширном исследовании о солунских братьях, что Константин прожил на Олимпе даже не пять, а «лет восемь или девять». Такой счёт основан на том, что временем сарацинской миссии Философа Голубинский избрал 851-й, а не 855—856 годы. Ошибка извинительная. В 60-х годах XIX века, когда он писал свой труд, хронологическая канва жизни братьев, и без того огорчительно прерывистая, была ещё совсем слабо разработана. Удивляет другое: если Голубинский насчитал не пять, а «лет восемь или девять», то как он мог не заметить, что такой срок — уже целая брешь в земной жизни Философа, и без того короткой. Такая брешь просто зияет! Историк, по сути,

походя перечеркнул эти пустые, по его представлению, годы: «...как ни любил он уединение, ему снова пришлось расстаться с ним, чтобы идти служить обществу: ровно через десять лет (теперь уже и десять? — Ю. Л.) после рассказанного нами путешествия к сарацинам он должен был совершить точно такое же путешествие к народу, жившему за другой границей империи, именно — к хазарам».

Но подождём вслед за Голубинским торопить Константина к хазарам. Задержимся всё же на Малом Олимпе. Да, Константин пробыл здесь у брата не восемь-девять, тем более не десять лет. Всего пять. А возможно, и неполных пять. Но неужели Философ весь этот срок потратил на любимое «уединение», к тому же представленное учёным как своего рода передышка от служения «обществу»?

Нет, что-то не позволяет поддаться слишком доступному доводу. Да, он творил ежедневные молитвы, один или вместе с братией, участвовал в совместных богослужениях. Да, занимался чтением книг. Вроде бы этого достаточно для любого монаха. Тем более для послушника, ещё не постриженного в монахи. Молился, читал... Кто-то из исследователей сделал робкое допущение: возможно, и переписывал книги, поновлял ветхие рукописи, что в монастырской среде тоже было распространённым занятием.

Словом, тишина. И достаточно плотная тишина. Обстановка наподобие той, которая спустя несколько веков будет твёрдо обозначена — в качестве обязательного условия для совершенствования — в молитвенной практике греческих иси-хастов-

безмолвников, в богословском учении великого отца исихастского движения святителя Григория Паламы... Но уместно ли такое сопоставление? Ведь истовый исихаст даже в чтении книг склонен видеть препятствие для непосредственного общения с Богом. В келье исихаста и чересчур частый шелест страниц может оказаться помехой, отвлекающей от непрерывного безмолвного произнесения Иисусовой молитвы.

Тишина тишине рознь. И потом — с какими всё же книгами собеседовал в своём новом уединении Философ?

Вполне доказуемые и достаточные ответы вряд ли когда появятся. И всё же, всё же... Не облегчаем ли мы себе задачу, трактуя уход Константина на Малый Олимп как бегство, по определению Голубинского, от «общества»? Не рисуем ли наспех этакую отшельническую пастораль?

Никея. Соборяне

Начать с того, что окрестности горы Малый Олимп, её подножия и лесистые склоны в середине IX века никак не напоминали безлюдную пустынь, дикую дебрь. Прямо от столичного пригорода Халкидона, стоявшего на малоазийском берегу Босфора, начинался наезженный путь, пригодный для путешествия вглубь Вифинии. Да что говорить, эта дорога была образцово ухоженной уже задолго до того, как Константинополь стал столицей ромеев. Великолепная, райски пышная природа Вифинии, живописные панорамы с глубокими долинами, крутизнами, снежными отрогами Малого

Олимпа, близость Мраморного и Эгейского морей, обилие и разнообразие растительности, ласковое журчание многочисленных источников, в том числе и с целебными водами, — всё издавна притягивало и римских императоров в этот приют отдохновения.

Особенно обожал Вифинию Диоклетиан, которому Рим, похоже, совсем наскучил. При этом гонителе христиан, одном из самых жестоких, здесь строились новые дворцы, цирки, в тени густых крон прокладывались русла дорог.

А позже, когда на Босфоре загрохотали стройплощадки новой столицы державы, здесь, в Вифинии, ожидая полного переселения в Византии, часто живал и Константин Великий. Но дворец первого императора-христианина и большая базилика находились не в Никомидии, которую предпочитал Диоклетиан, а в уютной, шумнолиственной Никее.

Через Никею и предстояло теперь проехать молодому ца-реградцу на его пути к горе монахов.

Куда бы, по какой надобности ни торопился христианин, разве само имя этого города не заставит его сердце забиться и ум напрячься? Право, настоящему христианину стыдно проспать Никею! И если он считает себя настоящим, то победительное это имя враз усовестит его дремотную память, властно обернёт её к временам пятисотлетней давности. И будто своими очами вдруг различит: под высокими, гулкими сводами императорского дворца — небывалое сонмище мужей; в своих светлых облачениях они ангелоподобны, но вовсе не юны; все почти седовласы, с грубыми пометами пыток на лицах, руках или

ступнях, с сине-зелёными тенями тюремных подземелий на коже... Позавидуешь ли этим сединам, этим наскоро сшитым блистающим парчой одеждам? Ещё ведь совсем недавно почти каждый из них пребывал в поругании, под запретом, в ожидании позора, казни. Но теперь они здесь, обласканные лобзанием самого императора — первого из всех властителей мира, которому однажды — наяву или в тонком сне — предстал Сын Человеческий и в руку его передал воинское знамя с образом своего голгофского Креста: «Прими, кесарь!.. Сим победиши».

Тогда-то и последовала чудесная чреда его побед — то в жарких битвах на полях, то в словесных поединках за право на жезл единовластия. И то, что он, император Константин, в итоге пригласил, как сокровеннейших своих друзей и учителей, этих маститых епископов, неподкупных носителей апостольского преемства, а с ними честных старцев, протопресвитеров, диаконов, созвал их изо всех пределов подвластной ему ойкумены — тоже была совместная победа: его — над своим ещё недавним языческим скудоумием; а их — над немощью почти трёхвекового вынужденного скрытничества.

Крестом Христовым они все победили, прибыв на великий этот собор в Никею! Кровью бессчётных мучеников за веру посрамили своих гонителей. Но это значило, что теперь им всем вместе надлежало и дальше возрастать в вере. Надлежало ясно, отчётливо, непротиворечиво и кратко сказать во всеуслышание миру, ещё пребывающему в тенётах невежества, — на чём всё-таки, на каких непреложных основаниях

зиждется Христова вера. Вот где предстояло в свете наступившего дня подтвердить свою готовность идти дальше, исповедуя чистое единомыслие.

Да, братья, каков же наш Бог? Почему мы возлюбили Его? Почему шли за Него на смерть, на растерзание лютым зверьём? Почему поверили не только в воскресение Христово из мёртвых, но каждый из нас смиренно чает и своего воскрешения для вечной жизни? Почему нам, христианам, мало знать, что Бог есть и что Он един? Ведь иудеи тоже так считают: есть, един. И от язычников можно услышать, что над всеми богами есть один, главный.

Но, поклоняясь Богу, христианин тем и разнствует от остальных, что равно любит в Нём Отца, Сына и Святого Духа, Пресвятую Троицу. Так заповедал нам через апостолов и евангелистов сам Иисус Христос, просвещая всех откровением о своём Отце, о своём Сыновстве и о Духе Утешителе, о таинственном, нераздельном и неслиянном пребывании всех Троих в едином Божестве.

Вот что предстояло утвердить собору Никейскому во вселенское услышание: наш Бог — неколебимая Троица! В этом — наша радость, наше упование, символ нашей веры, наша победа! Сим победиши!

Но какова цена победы, если ей не предшествует распря? На соборе сразу же не могла не обозначиться горячая полемика. Не только дни, многие недели, не утихая, длилось клокочущее противоборство богословских мнений о сути Троицы. И могло ли быть иначе, когда и у старцев, приученных всей своей жизнью к долгомолчанию, кровь вскипала от нестерпи-

мых домыслов, озвученных на синоде. Слишком долго наследники апостольской власти жили в своих землях порознь, не имея возможности не только встречаться где-то хоть ненадолго, но и вовремя узнавать в достаточной полноте доводы друг друга, касающиеся самых сложных таинств боговедения.

Призванный в Никею протопресвитер александрийский Арий, как уже слышано было о нём, вслух отказывал второму лицу Троицы в богочеловеческой природе, считая Христа пусть и рождённым от Бога, пусть и наиболее совершенным и богоподобным из людей, но всего лишь человеком. Такая вольность впрямую покушалась на догмат о Троице. Как же Бог триедин, если Сын — не Богочеловек, а лишь человек?

Ещё в Александрии, до прибытия в Никею, Арий был уличён в своём еретическом отклонении. Но теперь обнаруживалось, что у его доктрины уже немало последователей, и не только в Египте. Значит, замалчивать это богословское недоразумение, как второстепенное и малозначащее, никак было нельзя. Наоборот, именно здесь, на собрании, впервые столь представительном (одних лишь епископов приглашено было до трёхсот человек), и следовало говорить открыто, откровенно, безбоязненно о тех святых началах своей веры, без чёткого, непротиворечивого осознания и разъяснения которых молодой христианский мир не имел бы решимости объявлять себя перед целым светом. Пусть не все и не сразу поймут суть полемики о Троице. Ведь и Спаситель многажды объяснял ученикам смысл Троицы, хотя и не

произносил само это сокровенное слово вслух. Объяснял своё сыновнее отношение к Отцу небесному и отношение Отца к Сыну, и отношение Духа

Святого Утешителя к Отцу и Сыну. И видел, что и самые близкие ученики тоже не всё и не сразу понимали.

Не для того ли и дана нам вера, что не всё сразу открывается и понимается вполне. Вера не устрашается недоумений. Будь иначе, и жизнь бы остановилась.

Для собравшихся в Никее жизнь и не думала задерживаться на великолепном торжестве победителей, как предполагалось по первоначальному замыслу императора. Она стремительно неслась дальше, требуя ещё и ещё, на целые недели продлевать сроки собраний, — пока не вразумят, не урезонят упрямца Ария (вполне, как позже выяснилось, и не вразумили!), пока не найдут для итогового текста Символа веры самых точных и безоговорочных определений, которые дошли бы до сердца и разума каждого, будь ты епископ, каменотёс или сам император.

Философ знал не понаслышке, что Никейский вселенский собор в том отдалённом 325 году не решил всего — раз и навсегда. Но потому он и первый из вселенских, что открыл возможность для чреды следующих соборов, и на них, вооружённые опытом предыдущих полемик, уже смелее возвращались к прежде недорешённому или обличали новые еретические покушения на догмат о Троице. Собирались то в Константинополе, то в Эфесе, то в Халкидоне, потом, ещё дважды, снова в самой столице.

Но седьмой из них по счёту завершился опять здесь, в Никее, через которую проезжал сейчас Константин. Содержание этого собора по-особому было ему близко, заставляло припомнить свой недавний поединок с упорствующим иконоборцем, опальным патриархом Аннием.

Этот Седьмой, состоявшийся 70 лет назад, в 787-м, понадобилось провести именно для защиты иконопочитания. Подготовка к нему велась исподволь, прикровенно. Потому что самое огорчительное стояло время для тех, кто, вопреки воле императоров-икононенавистников, отстаивал право христианина поклоняться через видимый образ невидимому божественному первообразу. Как раз катилась волна повальных кощунств над мощами святых, иконами, фресками, храмовыми мозаиками. Аресты непокорных епископов, отлучения, ссылки, казни... Снова в воздухе повеяло репрессиями массовыми, как при Диоклетиане.

Тогдашний патриарх Константинопольский Павел принял прибывшего на свой страх и риск из Таврики епископа Готского Иоанна. Тот незадолго до этого тайно прислал Павлу полученный от Иерусалимского патриарха сборник древних и новых свидетельств в защиту иконопочитания. Подумать лишь, какими кружными путями добывалось слово правды! От Свя-

того города до провинциальной готеко-скифской епархии, а уже оттуда, через Понт, к Золоторожской бухте. Патриарх Павел устроил Иоанну встречу с императрицей Ириной. Августа сочувственно

отнеслась к предложению настойчивого гостя провести собор. Открыли его в Константинополе уже при новом патриархе, Тарасии. Иконоборцы, под влиянием которых пребывал молодой сын императрицы, постарались с помощью его гвардейцев сорвать первое же заседание, науськав на собравшихся иерархов толпу с кинжалами и кольями в руках. Хотя зачинщиков и исполнителей нападения вскоре удалось арестовать и выдворить из столицы, продолжили прерванный собор лишь в следующем году. И не в столице, а в Никее.

Но на ту пору Иоанна Готского, едва ли не главного вдохновителя собора, уже не было в живых.

Многие подробности, касающиеся этих событий, Константин мог знать и раньше. Но мог их услышать и теперь, в Никее. Даже самого краткого пребывания в маленьком уютно дремлющем городке было достаточно, чтобы осмотреть два здания, в которых происходили две великие встречи: императорский дворец на берегу озера и скромный по размерам собор Святой Софии на главной улице. Лежащая в котловине между пологими вифинскими холмами Никея и встречает и провожает путника чешуйчатым блеском озёрной равнины. Мягкий воздушный ток расшевеливает бесконечные заросли камыша, открывая выцветшие под солнцем белёсые, исхоженные чайками плёсы. Будто в мерном шелесте пролистывается здесь книга, написанная ещё при событиях сотворения света.

Школа

В житиях младшего и старшего братьев не упомянуты ни имя, ни местоположение монастыря, в

котором на ту пору подвизался Мефодий. А как бы хотелось знать и само название, и подлинное местоположение обители. Дело в том, что к середине IX века по Рождеству Христову число иноческих сообществ на Малом Олимпе приближалось ни много ни мало к... целой сотне. Хотя такого рода округления теперь ни у кого не вызывают доверия, тщательные пересчёты и перепроверки, произведённые уже в недавнее время, всё равно дают цифры внушительные: от семидесяти до восьмидесяти монастырей*.

* Обычно ссылаются на исследования двух французских авторов: Menthon B. L' Olimpe de Bithinie. Paris, 1935; Janin R. Les eglises et monas-tires des grands centres bizantins. Paris, 1975.

Возникновение первых монашеских общин у подножий и на склонах Вифинского горного кряжа обычно относят к VI веку. Но тогда это были только единичные очаги иноческой жизни. Небывалый прирост обителей пришёлся на конец VIII века; он продолжался и дальше — в первой половине следующего столетия. Монахи Палестины, Сирии, даже Египта, страдая от натиска арабов, бежали на север и находили приют в буковых и еловых лесах, у можжевеловых полян вифинской Горы. Сюда же, прячась от преследований императоров-иконоборцев, устремлялись во множестве иноки из опорных областей империи, из того же Константинополя и его окрестностей.

Хотя на Горе монахов (Кешиш-даг — по-турецки) никогда не учреждали общего управления, Малый Олимп не случайно, как и позднее Афон, приобрёл

облик целого содружества монастырей. Тут уже была своя местная история, свои особо почитаемые старцы, подвижники, даже свои мученики за веру. Первым среди других называли отшельника Неофита, пострадавшего ещё при императоре Диоклетиане. Олимпийцы вписывали в поминальные книги, с благоговением произносили в келейных беседах имена скитника Платона Исповедника, Иоанникия Великого, игумена Никиты Исповедника. Из недавно прославленных отцов называли Феодора Студита, который несколько десятилетий назад тоже игуменствовал на Горе. А из ныне доживающих здесь свой отменно долгий век — игумена Евстратия. Он на одном только Олимпе подвизается уже 75 лет, а сколько всего старцу от роду, одному лишь Господу ведомо.

Константину на первых порах удивительно было слышать здесь, как часто его старший брат в свободное от храмовых служб время то с одним, то с другим трудником или послушником вдруг заговаривает по-славянски. Объяснилось всё просто: сюда, на Гору, по своей воле и немалым числом стекались для разных работ по хозяйству потомки славян-переселенцев, тех самых, что, по договорённости с византийским правительством, из поколения в поколение справляли в мало-азийских фемах пограничную службу. Трудников принимали на заготовку дров для трапезных и келий, на разбивку огородов и гряд, на кладку новых храмовых и жилых помещений, каменных оградок.

Этих-то людей из воинского сословия Мефодий быстро располагал к себе. Не только свободной и невысокомерной речью на их языке. Не только тем, что

превосходно разбирался в обязанностях воина-граничара, а также в прошлом их семей и родов, знал, при каком из василевсов какой род попал сюда, перевезясь из Фракии или Македонии.

Главное же, он притягивал к себе для разговора по душам. И не один из них, понизив голос от волнения, уже просил у него креститься. Чтобы, крестившись, навсегда остаться в монастыре, потому что где же ещё на свете может быть человеку лучше. И бывал крещён, после того как испытывался в разумении смысла Символа веры и самых важных, самых каждодневно необходимых христианину молитв. Поскольку же молитвы нужно было разуметь по-гречески, то Мефодий слово за словом объяснял их суть по-славянски, и эти объяснения сами непреложно и счастливо оказывались... молитвами. И кто бы его переубедил в том, что такие превращения, вызывающие тихий восторг его слушателей, в меньшей мере достойны быть молитвами, чем греческие! Нет же, по его раз от разу крепнущему убеждению, они становились молитвами, ничуть не менее угодными для всеслышащего и всеразумею-щего Господа.

А разве не так? Ведь если произнёс ты про себя или вслух: Дб^а Еоі, Кирiе, 56^а Zoi! и тут же произносишь: Слава Ти, Господи, слава Ти! — то это уже две славы из единых уст, и вторая ничем не уступает в силе первой.

Вроде бы простенькое на вид открытие Мефодия, состоящее в том, что крестникам его равно пригодится знание молитв не только греческих, но и славянских, побуждало его духовных чад к новым и новым

приобретениям. Они в своём постижении монастырской храмовой службы и келейного правила продвигались с завидной скоростью. То и дело досаждали наставнику, прося растолковать трудное место ещё одной молитвы, тропаря, псалма, чтобы и этой драгоценностью пополнить, с благословения аввы, свой пока маленький изустный славянский молитвослов.

В таком сладостном для них труде, похожем на благодатную игру, была особого свойства радость, та, что не убывает, а лишь прирастает и полнится. Не так ли и ангелы играючи исполняют принятые свыше поручения и находят чудесную награду в созерцании прибывающего множества усвоенных заданий?

А в том, что его крестники то и дело досаждали Мефодию, обременяя своими просьбами, сам он, как они убеждались, не усматривал никакого для себя ущерба. Напротив, только возрастала в нём ответная радость при виде пчелиной стремительности, с которой они порывались к нему за нужными смыслами. «Толцыте, и отверзется вам, ищите, и обрящете», — мог он теперь говорить им по-славянски словами Христа.

Вот с такими богатствами и застал Константин старшего брата по прибытии на Гору. И можно ли было Мефодию сомневаться в том, что младший сразу и безоговорочно примет его радость как собственную, а его новых друзей как своих?

Первые христиане, первые монахи из славян... О таком им и прежде приходилось изредка слышать. Но эти, с которыми теперь Философу тоже предстояло жить бок о бок? В том, как они намеревались ступить

на иноческий путь, ему различалось что-то совсем неожиданное, дерзновенное. Им мало уразуметь и усвоить греческую церковную службу. Им одновременно хочется присвоить её и своему языку. Они порываются молиться ещё и родными для них словами.

Но в таком их рвении, вполне естественном, потому что воистину «всякое дыхание да хвалит Господа», — нет ли, однако, и ребяческой самонадеянности? Да, не так уж трудно запомнить наизусть несколько греческих молитв и затем, по подсказкам брата Мефодия, вслед за «Киріе е^еіаоv!» произносить «Господи, помилуй!». Или даже «Отче наш» кое-как выговаривать, равняясь на «Патер іцсоv». Но память не беспредельна, и удастся ли подлинное научение, если эти новички, лепечущие свои первые молитвы, не знают даже греческих букв? А ведь за алфавитом простирается превысокая гора боговеде-ния, и как на неё карабкаться, почти не зная греческого языка, не догадываясь о его внутреннем грамматическом строе?

Правда, и они с братом Мефодием, выходцы солунские, не решатся о себе сказать, что достаточно знают славянскую речь, хоть и слышали её и ради игры привыкали к её смыслам с самого детства. Где там? Только кое-что на слух усвоили, на память надеясь и наитие. Когда на солунском рынке раздавался говор македонских славян, то щекотал им, детям, уши, забавлял и поощрял к подражанию целый ворох звуков, каких не знает греческий алфавит, каких не умеют отчётливо выговорить гортань, язык и губы даже сведущего в науках ромея. Ну, попробуй правильно

произнести вслед за мальчишкой-славянином хотя бы слово «жук»! И ему смешно, и тебе самому, потому что у тебя получается какой-то «зук» или «сук». Или постарайся чисто выговорить «бревно». Опять окружающие заулыбаются или захихикают, услышав, что у тебя выходит неловкое «первно» или «превно». И всего-то, казалось бы, нужна малость — быстро разомкнуть губы и чуть посильнее напрячь гортань, но никак вместо «п» не выговаривается «б». Не даются тебе ни их «ч», ни «ц», ни «ш», ни «щ»... Особенно же это «щ» сопротивляется, для которого нужно чуть не до ушей расщеливать губы и одновременно зубы сжимать и кончик языка приподымать чуть вверх.

Вот как искусно различил Создатель народы, чтобы не перепутались друг с другом! Не только цветом кожи или разрезом глаз, не только языками различил, но и умением произносить звуки, которые не даются соседям. У славян и согласных звуков в речи больше, чем у греков, и гласных. Есть ведь у них такие смягчённые «а», «у» и «э», будто по два звука склеены в каждом, но произносятся как один.

Мефодиевы крестники между тем порывались не только греческие молитвы и песнопения на слух осилить, но и греческий алфавит выучить, письмом и чтением греческим овладеть. Мало того, нетерпение толкало их и самые первые свои славянские молитвы записывать с помощью греческих же букв. С благоговением и робостью приносили они ему эти начаточки, выведенные старательной рукой то на клочке козьей кожи, то на дощечке, натёртой воском...

ІЛАВАТІГОІПОДІІЛАВАТІ

Ну, как не умилиться, как не возблагодарить Господа за эту жажду веры, такую очевидную и так нуждающуюся в поощрении! Подлинно, слава Тебе, Христе, дающему на Горе бодрый прибыток этих нищих духом, кротких и чистых сердцем, алчущих и жаждущих правды Твоей!

И можно ли на их встречные шаги, то неуверенные, то слишком поспешные, как у детей, резво порывающихся скорее самим освоить ходьбу, можно ли не ответить — тоже встречными — шагами?

Что, если такая встреча как раз им, Мефодию с Константином, на роду написана? Тут есть о чём подумать в тишине, где каждый звук — лесной птицы, спешащего в камнях ручья, овечьего бубенца на поляне — раздаётся чисто, отчётливо и щемяще.

И не они ведь, славяне, порываясь завести собственное письмо, первыми обращаются к облику букв и значениям греческого алфавита. Так и латиняне поступили когда-то, собрав свою письменность по большей части из этрусских буквенных начертаний, а этруски брали их прямиком у греков. Так позже и копты в Египте для своего христианского письма взяли часть букв у эллинов. Так и готы постарались. И не те, не другие, не третьи не сговаривались ведь друг с другом о таких одолжениях у греков. Просто оказались единодушны в своём равнении на внушительную красоту греческого письма. Не зря же в ромейской школе умение писать буквы красиво — самая первая из дисциплин. Буквы просто обязаны быть стройными, прочными, красивыми, и тогда на них почтительно

засматриваются те, кому собственных письмен ещё не дано.

Но, ценя своё родное письмо, братья не могли не видеть: далеко не всё в нём способно служить образцом для подражания. Как бы не перестараться новеньким с гласными знаками! Увы, так уж сложилось: гласные на письме у ромеев то и дело не соответствуют произносимым звукам. Взять хотя бы самый часто звучащий в речи союз — «и». Пишется каі, а звучит «кэ». И такие несовпадения между звучанием и написанием гласных — на каждом шагу. Обученный грамоте ромей со школьной скамьи помнит, что именно греки первыми среди письменных народов применили и узаконили буквы для гласных звуков. В алфавите у евреев, у других семитов гласные отсутствуют. Но мало кто помнит, как медленно, как тяжело давалось грекам это их изобретение. В память о грамматических тяжбах между разными греческими диалектами осталось множество двойных гласных, и каждая из этих двоиц читается как один звук, то и дело не совпадающий со значением написанного. Если славяне намерились строить своё письмо, взяв за образец греческое, зачем же им подражать и путанице с гласными? Вполне возможно сразу избежать подобной путаницы и подобрать одно начертание для каждого гласного звука, пусть при этом и окажется в славянском алфавите ещё на три или четыре буквы больше.

Строя такой алфавит, нужно исходить из чистоты, выразительности самих звуков. Прислушайся к певчим птицам. Вот у кого надо учиться красоте, отчётливости,

внятности каждого звучания. Какие сочные гласные у иволги, у соловья, да у той же кукушки с её прекрасным по грустной красоте «у»! А какие у птиц замечательные посвисты, перещёлкивания, цоканья, чоканья, перезвяки, звоны. До чего же старательны эти горлышки, эти крошечные грудки, эти неутомимые сердечки! С какой любовью, с каким ликованием издают они благодарные молитвенные признания своему Творцу! Вот где школа звуковой красоты!

Но, впрочем, разве не те же заботы и у людей? Наше ухо тут же замечает чей-то звуковой ущерб, голосовую оплошку. И сразу услышим недовольное: этот шепелявит, этот сюсюкает, тот бубнит, гугнявит или гундосит, тот глотает звуки или целые слова, тот тараторит или балаболит, у того каша во рту... И не один кто-то, особо рьяный, а все наперегонки стараются отличиться в этой заботе о чистоте и красоте нашей звучащей под небом речи.

Но наступит же, наконец, время, когда совместными встречными стараниями наставники и ученики разберутся со всеми звуками славянской цевницы: для каждого определена своя буква, что-то при этом взято взаймы у греков, а то, что у них отсутствует, от самих добавлено. Как это «от самих»? А так, что теперь уже не трудно и самим дописать недостающее.

Трудно звук, неизвестный тебе, различить, поймать на слух его отдельность, неповторимость. А когда расслышал, отличил от других, смело художествуй, пиши для него образ-букву, непохожую на остальные! Так и древние когда-то впервые отваживались. Почему

у древних О получилось круглое? Потому что сам звук круглый, и губы образуют круг, когда он произносится. Или почему I вышло узким? Не потому ли, что сам звук узок, стиснут, выходит на волю сквозь тесную щель в зубах и губах? Озираясь на такие примеры, не зазорно и славянину для своего жужжащего Ж изобразить знак, похожий на ползущего по древесной коре жука.

Да, алфавит — великий и важный почин. Минуя его, невозможно подступиться к письменности. Но он — только первый начаток, первый шаг во врата письменной речи. А дальше что? Дальше, за звукорядом, за алфавитным строем у славян, как и у всех письменных и бесписьменных народов, должно непременно стоять собственное строение по имени... грамматика. Пусть язык ещё без письма собственного обходится, но значит ли это, что грамматическое устройство у него отсутствует? Такие пустоты просто невозможны в человеческой природе. Не будь грамматики, любой язык тотчас бы развалился. Люди даже одного племени, одной семьи вдруг перестали бы разуметь друг друга, лишились бы рассудка, разбежались кто куда от стыда или от ужаса. Что такое грамматика как не великий свод законов, управляющих всякой человеческой речью? Мы можем пока что ни одного из этих законов не знать по имени и по сути его, но всё равно они существуют и подсказывают нам говорить или писать так, а не иначе. Подсказывает же мать младенцу, как правильно произносить самые первые слова. Она может и сама не знать этих законов, но подсказывает, потому что и ей во младенческие её дни мать или нянька подсказывала. Ласточка не знает,

как вылепить гнездо, но почему-то обязательно прилепляет его к стене и выводит полукруглой чашечкой, а не в виде кубика. И пчёлы лепят соты и приносят мёд каждая в свою ячею, а не сливают его как попало в порожнее дупло.

В том, как собрано, как слеплено одно-единственное слово, обнаруживается уже несколько обязательных, неотменяемых правил, знаем мы их или нет. А за тем, как несколько слов собраны в предложение, стоит уже почти вся грамматика. Стоят склонения, спряжения, соподчинения, связи, скрепы-союзы. И везде есть иерархия, пусть большинство из нас и не догадывается, что она и здесь присутствует. Даже в отдельно взятом слове есть неизменная основа и служащие, приданные ей части. Так и в предложении — главная и служащие, подчинённые ей, дополняющие её части. И непременно есть между ними всеми уговор, согласованность, обязанности, помощь друг другу. Есть общее дружное старание о том, чтобы родился достойный существования смысл. Вот за всем этим и во всём этом — Божественная власть и красота грамматики.

Лбуо<; — Слово

В самые последние дни декабря 858 года монастыри Малого Олимпа облетела весть совершенно неожиданная, многих сильно смутившая: в Константинополе только что объявлен новый патриарх. Прежний, Игнатий, лишён власти, на трон первоиерарха церкви возвели Фотия. Его имя старым насельникам Горы почти ничего не говорило,

поскольку человек этот до самого недавнего времени к церковной иерархии никакого отношения не имел. Немало удивлён был и Константин, знавший Фотия как самого выдающегося из своих учителей в придворной школе, который к тому же в разные годы занимал высокие светские должности.

Сочувственники отстранённого Игнатия, а их на Горе оказалось немало, быстро выведали причину чрезвычайных перемен. При этом опять всплыло имя кесаря Варды, и монахи тут же вспомнили о его причастности к убийству логофета Феоктиста. Говорили, что Игнатий, пытаясь усовестить распутного Варду, недавно наотрез отказал ему в церковном причастии. Такой повод для отстранения патриарха выглядел бы слишком скандальным, похожим на мелочную месть, и, похоже, кесарь постарался найти какие-то более весомые доводы, чтобы ост-растить упрямца.

Без малого сорокалетний Фотий, насколько его знал Константин, вовсе не был ни отчаянным честолюбцем, ни наивным мечтателем. Человек меры и всеохватной учёности никак не мог бы решиться на самую непредвиденную перемену в своей жизни, действуй он наобум. Но его, как вскоре выяснилось, поддержали большинство епископов, желавших решительно поднять уровень образованности в монашеской и священнической среде. Фотия и самого должно было сильно смущать, что он до сих пор ни дня не прослужил ни священником, ни диаконом. Но ему напомнили, что в истории константинопольской патриархии уже было два случая, когда в трудные для

империи ромеев дни на первосвятительский престол возводили достойнейших из мирян. Он и сам не мог не знать, о ком шла речь. От одного из тех патриархов, Тарасия, тянулась к его семье нить прямого родства. Да и молодой василевс мог ему во время уговоров напомнить, что и они ведь оба пребывают в родстве, поскольку родной брат Фотия женат на родной тётке Михаила.

Почти тут же до ревнивого слуха монашествующей на Горе братии дошла весть о том, что для Фотия прохождение иерархических степеней посвящения — перед тем как нарекли его епископом Константинополя — заняло всего шесть дней.

Как-то уж очень быстро поветрие партийности донеслось из столицы и сюда. Вдруг стали в разных обителях делиться на игнатиан и фотианцев. Мефодий с Константином постарались, чтобы эти словопрения не смутили их малосведущих и малоопытных в витийстве учеников, не отвлекли надолго или навсегда от забот возрастания в грамоте — мирской и духовной...

Не для того ли мы сошлись здесь, на горе, чтобы вместе подниматься к самым великим смыслам жизни? Слышите: гора — по-гречески oroq. Как эхо в ущелье перекликаются, отзываясь друг другу, два слова разных языков. Славянин скажет: птица. Грек произнесёт: пщvov или чуть иначе — летеivov.

Почему так? Случайны ли эти переклички? Ведь их много, слишком много... А значит это, что когда-то в древности сами греки и славяне состояли в некоем семейном родстве, но потом их пути по каким-то

причинам надолго разошлись и родство постепенно позабылось. Так ведь бывает и теперь в больших и разрастающихся семьях. Впрочем, разве не известна причина того давнего расхождения? Это о ней сообщает Писание, изображая незавидную участь строителей Вавилонской башни, переставших понимать речь друг друга.

О том древнем родстве можно догадаться хотя бы по одному слову |iiітг|р — матерь, почти одинаково звучащему у греков и у славян. Самое первое слово в языке народившегося человека и оно же — самый первый свидетель того, что был в той древности общий материнский язык.

Но совсем рядом и ещё одно свидетельство изначального родства, ещё одна речевая перекличка, такая внятная, отчётливая. И такая громкая, громче некуда!

Слово — Хоуоq. Имеющий уши да слышит! Эта великая двоица явно была когда-то одним, общим для славян и эллинов созвучием и смыслом. Но разве и по сей день не осталась таким же общим смыслом?

Братья хорошо знали рассуждение, идущее ещё от древних философов: в понятии Хоуоq различается сразу несколько дополняющих друг друга значений. Да, конечно, логос — это в первую очередь отдельно взятое слово. Но и всякое слово вообще. Но и целое предложение, законченная мысль — тоже логос. Но и все слова языка, вся их великая совокупность — не что иное, как логос. Любое знание, любая наука — они тоже логос. Всякое ведение о человеке, о мире, всякое разумение сути бытия — логос.

А славянское понятие слово? Не трудно заметить, что, как и логос, оно тоже имеет множество значений. Первое из них, когда говорим о каждом отдельном слове. И другое, когда произносят не одно, а целую клятву, называя её честным словом. И третье, когда просят кого-то сказать перед всеми своё слово и ожидают услышать от него уже целую речь, рассказ, исповедь. А неисчислимое множество слов, которыми владеет народ, неисчислимое, как сам он, — что это, как не его великая сокровищница слов, его самое ценное в мире приобретение, его общее всегдашнее, непрерывно пополняемое ведение и достояние?

Но философы языческого мира не сумели додумать и сказать главного о смысле величайшего и святейшего из земных слов. Такое стало возможно лишь с приходом в мир Христа. Ибо до всякого знания, до всех людских языков и речений, до Сотворения мира у Бога уже был великий замысел о мире, и этот замысел был Логос. У Бога было Слово. И Бог бе Слово.

Эту великую тайну о себе Иисус Христос открыл своему ученику и евангелисту Иоанну. А через него и нам, недостойным, открылось, что Христос и есть всеведущий Логос, пре-вечное Отчее Слово.

...А теперь зазвучало на Горе и своё молитвенное славянское, оно же словенское слово, обращаемое ко Христу-Слову, к Пресвятой Троице, к Божией Матери и всем святым...

Как знать, может, в эти их олимпийские годы исподволь стали навещать Константина слова какого-то желанного общения — не только с несколькими слушающими и внимающими, но с каким-то куда более

людным собранием, подобным поспевающей жатве... И перед таким чаемым собором он бы заговорил:

Слышите ли, Словенские народы, слышите, слово от Бога прииде, слово, кормящее человеческую душу, слово, крепящее сердца и умы, слово, готовящее Бога познати...

А Гора, слышала ли она тихие беседы братьев в малом кругу их самых первых учеников?

Да, она им целомудренно внимала, собирая, как в кокон, часы духовных созерцаний. То, что беседы были, то, что они от года к году прирастали, как кольца на молодом дереве, то, что наставники и подопечные равно нуждались в этих встречах, не подозревая, что они когда-то превратятся во Встречу на веки веков, — то, что всё это было, такая же реальность, как и то, что жития братьев целомудренно молчат о начальном событии, потому что для рассказа о нём не находилось ещё тогда достаточного времени. Как не находилось, не находится и до сих пор достаточного словесного искусства.

Летом 860 года из столицы на Малый Олимп стали долетать вести одна тревожнее другой. Осенью Философу и его старшему брату пришли письма из императорского дворца и из патриархии с настоятельной просьбой, не откладывая надолго, прибыть в Константинополь.

СКИФСКИЙ ЖРЕБИЙ

Рене, и ста дух бурен,
и вознесошася волны его;
восходят до небес и низходят до бездн;
душа их в злых таяше.
Смятошася, подвигошася, яко пьяный,
и вся мудрость их поглощена бысть.
Ивоззваша ко Господу, внегда скорбети им,
и от нужд их изведе я.
И повеле бури, и ста в тишину,
и умолкоша волны его.
Псалтырь, 106, 25—29

Нашествие

Не раз шаталось, прыгало под городом дно земли, но безумия её чревного естества замирали вдруг, как пропойца, заблудившийся дверью. Случались осады, полчища остготские, аварские, ещё каких-то варварских обличий прикатывали вплотную к крепостным рвам, да только стрелы их горохом трещали и отскакивали от невозмутимых стен. Уже на веку нынешних старожилов серое воинство болгарина Крума побуйствовало в самых близких окрестностях, оскверняя храмы, заволакивая небо смрадом пожогов. Однако все эти посуху заявлялись, посуху потом и рассеивались, как взбитая ими же пыль.

А чтобы кто-то решился напасть с моря? Такого и в недужных снах цареградцам не снилось. На море сызначала единовластвовал имперский флот. По миролюбивым водам только купцы, лучась

довольством, свободно приходили и уходили, когда и куда им надобно.

С самого утра злосчастного 18 июня 860 года, во все недели лютых бесчинств, столица оскорблённо обсуждала: почему и как произошло невозможное? Отчего великий город ни с того ни с сего оказался беззащитен именно с моря?

Ещё весной затеялось большое военное дело против арабов. Армию через серединную землю малоазийского полуострова повёл юный василевс Михаил III. Справедливо ли было теперь винить его в неосмотрительности? Арабы в последние десятилетия составляли, по сути, единственную настоящую угрозу для Византии. На поступок молодого государя, захотевшего самостоятельно возглавить поход, смотрели с поощрением: значит, пришла пора его возмужания. Любитель ип-подромных ристалищ и весёлых застолий садится на боевого коня, намерен продолжить воинские труды своего родителя, императора Феофила, успешно теснившего арабов в нагорьях и пустынях Сирии.

К чести Михаила, как только доскакали гонцы с вестью о страшной беде, нависшей над Царёвым градом, он оставил армию на своих полководцев, срочно через Каппадокию вернулся назад и с халкидонского кряжа, тайно одолев ночью Босфор, пробрался в свою осаждённую столицу, чтобы ободрить горожан.

А флот? Его лучшие силы, как того и требовала обстановка, находились далеко, у берегов Сицилии, чтобы препятствовать арабской эскадре грабить южноиталийские порты. Больше морской угрозы ждать

было неоткуда. Пропонтида, маленькое карманное морцо, была не в счёт. Понт, несмотря на бешеный норов его стихий, ромеи тоже издавна считали морем внутренним, домашним. Болгары, как ни пространно было их морское побережье, на владение Понтом не покушались и флота здесь никогда не заводили.

И всё же беда шла именно с Понта. Считаных часов краткой летней ночи хватило, чтобы она молча втиснулась в горловину пролива. Наутро город брезгливо вздрогнул от присутствия чего-то постороннего, неисчислимого и совершенно безразличного к его величию. Нелепыми серыми струпьями это постороннее облепляло оба берега Босфора, а в заливе Суд, он же Золотой Рог, воды вообще не было видно, и только шевелились, тёрлись, елозили, скрипели друг о друга всё те же безобразные струпья. И наползали на отмели, потому что сзади их подпирали ещё какие-то серые лохмотья, клочья, лоскуты... Несуразное месиво из грязной парусины, кожи, звериных шкур, каких-то кривых багров, широких, как лопаты, вёсел... И всё это постороннее издавало нечленораздельные, отвратительные для слуха ромеев вопли.

«...Горе мне, что я вижу, как народ грубый и жестокий окружает город и расхищает предместья, всё истребляет, всё губит, нивы, жилища, пастбища, стада, женщин, детей, старцев, юношей, всех поражает мечом, никого не жалея, ничего не щадя; всеобщая погибель! Он как саранча на жатву и как плесень на виноград или лучше как зной или тифон, или наводнение, или, не

знаю что назвать, напал на нашу страну и истребил целые поколения людей...»

Патриарх Фотий, которому принадлежат эти слова, стал одним из свидетелей небывалой пагубы. От первого до последних дней он видел её в сотнях подробностей и описал на многих страницах своих сочинений. Но он стал и одним из самых бесстрашных и деятельных защитников православного города. Через считаные часы после того, как гарнизон отбил первые яростные приступы, владыка сквозь мечущиеся толпы горожан пробился во Влахернскую церковь. Она стояла на окраине, почти у городских стен, в верхней, наиболее удалённой от дворца и патриархии части залива Суд, где опасность вторжения нападающих внутрь города из-за недостаточной высоты и мощи крепостных сооружений была особенно велика.

Небольшой храм во Влахерне относился к наиболее почитаемым в Царском граде. Под его сводами сберегались великие святыни христианского мира — риза, плат и пояс Богоматери. От Влахерны на холм к великой Софии из года в год — по случаю самых великих торжеств — проходили по переполненным людьми улицам знаменитые крестные ходы. Но сейчас патриарх решился на иное. К вечеру он вывел крестное шествие на оборонные галереи крепостных стен. Более того, он благословил вынести туда же не только богослужебные книги, иконы, хоругви, но извлечь из шитых покровов и пелен сами богородичные святыни. Пусть риза, плат и пояс Взбранной Воеводы победительной оборонят своим чудесным

присутствием весь город, молитвенно замерший на краю погибели.

Мерцающее свечами и цветными фонарями зарево шествия — в клубах ладанного дыма, под тихое и мерное акафистное пение, — медленно сдвигалось вдоль стен.

Внизу, в темени чужого стана то возрастал, то замирал ропот недоумения. Те, что вломились сюда на рассвете, а за длинный жаркий день успели распотрошить незащищённые стенами пригороды и сёла, осквернить насилием, кровью беззащитных жертв, и те, что приволокли к своим лодкам и челнам узлы с пригоршнями монет, грудами металлической утвари, тяжёлые узкогорлые кувшины с вином, горы цветастого тряпья, и те, кто ещё был на ногах после всего содеянного, выпитого и съеденного, сейчас видели и слышали впервые на своём веку такое непонятное им предивное диво, что не было почему-то у них ни сил, ни желания кричать или хвататься за мечи, луки и колчаны.

И на следующий день, выслушав рассказы о новых погромах, учиняемых повсеместно, патриарх Фотий опять повелел выйти на стены с крестным ходом и нести на поднятых руках спасительные святыни от Невесты Неневестной. Чтобы видели не только свои, но и этот страшный народ, неведомо откуда возникший.

Крестные ходы служились неукоснительно. И когда в город тайно проник возбуждённый всем случившимся молодой василевс, он тоже вместе с Фотием выходил на крепостные прясла у Влахерны. Горожане, глядя на осунувшегося, но бодрого

Михаила, которого до сих пор обычно лицезрели в беспечной обстановке ипподромных кликов и страстей, тоже приободрялись. У иных и слёзы умиления наворачивались на глаза.

Патриарх не раз в своих проповедях говорил в эти дни, что страшное испытание, насланное на город и всех окрестных жителей в облике неведомого жестокого народа, нужно осмыслять не иначе как Божью кару. Не помогут ни армия, ни боевые корабли, которых ждём с упованием, если не покаемся от всего сердца о грехах наших, коими не перестаём оскорблять Господа своего.

Пришельцы главный стан по-прежнему держали в Суде. Но при этом изо дня в день свободно и ловко сновали на своих узких лодках и челнах из Суда в пролив и Пропонтиду, где, сбившись в хищные стаи, обрыскивали пригородные острова или снаряжались к удалённым от берегов селениям. Отовсюду стекались жалобные вести о новых убийствах, грабежах, насилиях.

Кто они всё-таки, откуда взялись? По внешнему виду, по говору это не были ни болгары, ни такие же трусливые на воде племена кавказского полудужья. Если бы полчище двигалось на юг, к Босфору, держась прибрежий Понта, пограбли-вая по пути то там, то сям, слухи о нём через купцов, через гарнизоны ромейских портовых городов опередили бы нашествие. Значит, оставалось допустить, что это громадное скопище малых и мелких водоплавающих дерев, пригодных для снования разве лишь по рекам и озёрам, собрано было на затею неслыханную. Из устья какой-то большой

реки — скорее всего, Борисфена-Днепра — они кинулись наобум в открытое море и пересекли Понт поперёк его дремучей исполинской спины, где первый же настоящий ветер мог разметать их, как жалкую щепу, и поглотить всю прорву, до единого челна. Похоже, хвост какой-то бури их всё же зацепил. Очень уж потрёпанный вид имели эти беспечно держащиеся на плаву посудины. Но если перед броском в самую нехоженую часть Понта их было больше и даже намного больше? Сколько же лесов, сколько громадных дерев растёт в тех пределах, где они выдалбливали из цельных стволов свои лодки, смолили их днища? Сколько мастеров лодочного дела понадобилось, чтобы спустить на воду великие стаи этих узких, длинных, пронырливых челнов?

Время шло, они не уходили. Не давала знать о своём приближении и воинская помощь столице — сухопутная и морская. Однажды патриарх Фотий, о храбрости которого говорили, что он не зря в юности служил в царской гвардии, предпринял поступок, больше, по житейским понятиям, похожий на безумную выходку. Через ближайшие к Влахернской церкви башенные ворота он вывел крестное шествие прямо на береговую кромку залива.

Чужаки, толпившиеся поодаль в одном из своих становищ, с молчаливым любопытством уставились на невидаль, ещё более странную, чем зрелища предыдущих ночей. Трепет цветных хоругвей, будто приплясывающих в воздухе, пересверк парчовых облачений, красные угли кадильниц, — и всё это само

идёт им в руки. Но, похоже, чей-то приказ сдерживал нетерпение тех, кто желал бы враз окружить добычу.

Когда с молитвенными песнопениями приблизились к воде, Фотий, до того нёсший ризу Богоматери на высоко поднятых руках, ступил в обмершие воды, троекратно омочил в них подол ризы. После этого в заливе и в городе стало совсем тихо. Но ненадолго...

В такой последовательности можно представить развитие событий тех дней на основании нескольких сообщений из ви-зантийскиих источников. Но обратимся к ещё одному свидетельству, уже не ромейскому, а славянскому. Это летописная запись из «Повести временных лет», старейшего древнерусского исторического свода. Её автор лишь немного сближает события, вычитанные им из Хроники Георгия Амартола, и настаивает на том, что всё самое главное случилось сразу же в ночь возвращения василевса Михаила в Константинополь:

«Царь же едва в град вниде, и с патреярхом с Фотьем к сущей церкви святей Богородице Влахерне всю нощь молитву створиша, та же божественную святы Богородиця ризу с песньми изнесше, в мори скуть омонивше. Тишине сущи и морю укротившюся, абье буря вста с ветром, и волнам вельям вставтем засобь, безбожных Руси корабля смяте, и к берегу приверже и изби я, яко мало их от таковыя беды избегнути и восвояси воз-вратишася».

То есть, как явствует из записи, тишины не хватило даже до исхода недолгой ночи. Буря, налетевшая вдруг («абье»), в тот же час решила участь и осаждающих, и

осаждённых. Описание замечательно по крайней мере в двух отношениях. Автор, сам будучи русским, не счёл нужным скрыть от читателей, что нападение их единоплеменников на столицу ромеев закончилось самым бесславным образом. И произошло так потому, что Русь была безбожной и получила за свои бесчинства по заслугам. Причём наказание пришло не от осаждённых, а от самой Божией Матери, решившей вразумить грабителей так сурово.

За сказанным стоит летописец-христианин, и он, как видим, вовсе не намерен выгораживать соотечественников за их дикарский первый «выход на люди» только потому, что они «свои».

Между тем в современных нашествию описаниях события отыскиваются следы того, что от стен Константинополя нападавшие не ушли домой в полнейшем для своих душ убытке и сраме. Напоследок между сторонами даже имели место переговоры. По их итогам предводитель «безбожной Руси» обязался гостелюбиво встречать у себя дома ромейских купцов, а собственных купцов привлекать к торговле с великим царством. Главное же, он выразил намерение принять в своём княжестве византийских священнослужителей и дать им возможность проповедовать христианство и крестить его подданных, которые пожелают принять новую веру.

Тот же русский летописец в самом начале своего рассказа о походе на греков сообщает, что возглавили его два князя, Ас-кольд и Дир, до того сидевшие в Киеве на Днепре и правившие славянским племенем полян. Что касается первого из них, Аскольда, то в

Киеве в течение веков упорно сохранялось предание о его крещении с именем Николай. Оно отчасти объясняло причину насильственной смерти, принятой Асколь-дом от прибывшего в Киев варяжского конунга Олега. А заодно и благочестивую легенду о существовании в Киеве Асколь-довой могилы.

Патриарх Фотий назвал иноземцев, ворвавшихся 18 июня 860 года в столичный залив Суд, «народом Рос». Его современник, автор византийской хроники, известный под названием «Продолжатель Феофана», говорит про «набег росов» и уточняет: «...скифское племя, необузданное и жестокое». Но кто всё же эти скифы, они же росы?

Можно представить себе смятение цареградцев, для которых все пришельцы были на одно лицо, — щетинистое, обугленное солнцем, яростно оскаленное, в брызгах или присохших ошмётках чужой крови. Поэтому горожане, по привычке не очень отличавшие славян от кочевников северного Причерноморья, и на сей раз для тех и других использовали имя-кличку скифы. Но в Фотиевом «народе Рос» явно присутствует не вполне расслышанное «Русь», а значит, речь нужно вести ещё и о варягах.

Немногочисленные варяги, которые, по свидетельству «Повести временных лет», звали себя русь, придя к славянам с Балтики, волей-неволей способствовали их национальному самоопределению под именем «Русь», которое без запинок ложилось на слух, поскольку живо перекликалось с чисто славянскими именами городов и рек.

В нашествии этой Руси, этого «народа Рос» на Царьград бок о бок со славянами стояли и варяги. Но числом преобладали, конечно, первые. Что до самого Аскольда, то его варяжское (или даже кельтское?) происхождение не признаётся историками единодушно. Хотя «Повесть временных лет» настаивает на его варяжском родословии, в науке бытует иное мнение: князь был из племени полян, а не пришёл в Киев от Рюрика. Академик Б. А. Рыбаков в своё время обратил внимание на перекличку имени Аскольда (Осколда) со славянскими названиями рек Оскола и Ворсклы, притоков Днепра, а также на то, что имя народа, обитавшего в этих землях издревле, было «сколоты».

Понятно, что пострадавших обитателей Константинополя и его окрестностей в первую очередь во всём происшедшем занимали подробности иного рода. Почему всё же чужаки заявились так неожиданно? Случайно ли то, что они напали на город именно в пору его вынужденной беззащитности? Или же кто-то посоветовал им действовать так стремительно и напропалую?

Новое поручение

Ворвавшись в залив Суд 18 июня, чужеземцы, по воспоминаниям византийских авторов, шатались в окрестностях столицы ещё около полугода. Возможно, ближе к зиме от них оставались только разрозненные шайки. Не успев вернуться к Босфору для общего отхода, заплутав в неизвестных урочищах, они, в поисках вина и пропитания, орудовали исподтишка, на свой страх и риск.

Но всё равно Мефодию и Константину, вдруг вызванным с Вифинского Олимпа, с возлюбленной ими монашеской Горы в столицу, нужна была в дороге предельная осмотрительность. Возможно, их сопровождал небольшой вооружённый отряд, приданный от самого василевса, который как раз и настаивал на срочном приезде солунской двоицы. Или же забота о безопасности пути, в расчёте на воинскую бывалость Мефодия, поручалась ему. Тогда можно допустить, что отставной стратиг постарался, чтобы в отряде оказались добрые славянские молодцы из монастырских учеников, с которыми он и Философ легче всего находили общий язык, поскольку имели с ними, по сути, уже два общих языка.

Из множества слухов, долетавших на Гору, братья ещё до своего отъезда догадывались, что под разбойными «скифами», пришедшими на речных челнах с Понта, скорее всего нужно иметь в виду ещё каких-то славян с востока или севера, роме-ям пока неведомых. Что и говорить, за мирными беседами в монастыре они и их подопечные вифинские послушники вовсе не такой представляли себе желанную встречу двух языков, двух народов. Жизнь не давала размечтаться.

Вскоре по прибытии в столицу братья были приняты Михаилом III. Встреча описана в «Житии Кирилла», и это даёт возможность снова, после немалого перерыва, обратиться к агиографической канве.

Вначале авторы жития пересказывают содержание речи, с которой к василевсу недавно обратились

посланники из Хазарин: «Приидоша же поели к царю от Козар, глаголюще...» Это значит, что содержание речи послов поступает в житие в двойном или даже тройном пересказе. Во-первых, послы устно излагают просьбу хазарского кагана самому Михаилу. Затем василевс, вызвав Философа и его старшего брата, пересказывает им суть просьбы. И лишь со слов самих братьев событие, спустя более десяти лет, попадёт на страницы жития.

Понятно, что всякий пересказ отличается от цитаты большей или меньшей вольностью изложения. Степень вольности того, который занимает нас, весьма велика. Не вполне лишь понятно, откуда она проистекает. То ли агиографы — за отдалённостью события — что-то в речи послов, услышанной василевсом, а немного позже солунянами, сместили, то ли сами хазары изложили свою просьбу к василевсу достаточно путано.

Начали гости с собственного «исповедания веры». Они по-клоняются-де единому богу, «иже есть над всеми». Но, впрочем, это не тот бог, которого чтут евреи или сарацины. И евреи, и сарацины предлагают им принять свою веру. Они же не решаются, а потому, «старую поминающе дружбу и любовь держаще», пришли сюда по сути с собственной заботой: «Просим же мужа книжна у вас, да аще преприт (переспорит. — Ю.Л.) евреа и срацины, то по вашу ся веру примем».

Послы прибывают в Константинополь, можно догадываться, не как самозванцы, а прямиком от кагана, правителя Ха-зарии. Он же, будучи, как и его предшественники на троне, иудеем, является приверженцем по букве ортодоксального, хотя по духу

провинциального иудаизма. Значит, либо эти порученцы исполняют наказ своего господина вызывающе небрежно, либо сам каган, отправляя их, позволил намеренно размыть кое-какие подробности в изложении вероисповедной обстановки в Хазарии.

Имеется ряд подтверждений того, что путаница идёт из «первоисточника», то есть непосредственно от кагана. Во-первых, тогдашние правители каганата, люди её небольшой числом правящей верхушки, будучи исключительно иудеями, старались в своих очень неровных отношениях с Византией не подчёркивать этой своей исключительности. Тем более что в прошлом уже имело место сильное обострение отношений между двумя странами. И вызвано оно было именно «еврейским вопросом». Многочисленные иудеи, уличённые в том, что они многократно подыгрывали арабам в их войнах против ромеев, выселялись из пределов империи и обосновывались в Хазарии, где их называли «византийскими»*.

Понятно, что послы были уполномочены напомнить василевсу не об этих, а о более благоприятных временах, о «старой дружбе» и даже «любви». Сам Михаил, по молодости лет, мог не очень твёрдо знать, кого или что они имели в виду. Но его бывалые советники догадывались: гости намекают на императора Льва Хазара, получившего своё прозвище потому, что был сыном хазарской принцессы, дочери кагана. Держали советники в уме и не такую уж давнюю пору, когда отец Михаила, император Феофил, отпустил к хазарам для строительства крепости Саркел на Дону одного из лучших своих зодчих, Пе-трону. Но

«дружба» и тогда оказалась недолгой. Узнав, что хазары не разрешили поставить в новой крепости христианскую церковь, Феофил возмутился и предпринял срочные меры для укрепления воинского статуса Херсона как главного из византийских городов Таврики, направив туда стратигом того же Петрону.

Приезд послов сразу после бури, разметавшей у стен Константинополя дикую флотилию, тоже не походил на случайность. Значит, до ушей кагана через его купцов уже дошли слу

* См. об этом: Гумилёв Л. Н. От Руси до России. М., 1995.

хи о том, что ромеи именно их, хазар, подозревают в науськивании орды чужаков на столицу Византии, временно беззащитную. Не потому ли так быстро достучались к василевсу с напоминаниями о былой любви? Да ещё и с предложением принять в хазарской столице византийского учёного мужа-богослова для искреннего разговора о том, чья же вера лучше, чья более достойна первенствовать в Хазарии.

Бывалые византийцы, слушавшие вместе со своим государем это почти ласковое приглашение послов, догадывались, конечно, что хвалёная хазарская веротерпимость — и на сей раз не более чем игра. Но поддержали пылкое намерение Михаила принять вызов и отправить искусного богослова-полемиста на словесный поединок. Коли уж такие поединки входят теперь в придворный обиход иноверцев, то кому, как не ромеям, показать и в них своё превосходство? Удачная поездка Константина в Багдад была у всех на памяти. Кого ещё искать?

В «Житии Кирилла» новое поручение василевса, только что пересказавшего Философу просьбу послов, звучит как благословляющее напутствие:

«Иди, Философе, к людем сим, сотвори им ответ и слово о святей Троици, с помощию Ея. Иный бо никто же не может сего достойно сотворити».

В ответе Константина — и горячая готовность исполнить свой христианский долг, и твёрдое осознание того, что исполнить его можно, только равняясь на самый высокий образец служения — апостольский:

«Аще велиши, владыко, на сию речь рад иду и пет, и бос, и без всего, егоже не веляше Бог учеником своим носити».

На что василевс замечает, что если бы Философ хотел только от своего имени идти, то лучше такого служения, завещанного самим Спасителем, и быть не может. Но Философ не сам от себя пойдёт, а ещё и царскую державу и её честь будет отстаивать. А потому, добавляет Михаил: «...честно иди с царскою помощию».

В чём могла состоять «царская помощь»? Разумеется, в том, чтобы поднять значимость подготовляемой поездки. К хазарам направляется не частное лицо, не какой-нибудь странствующий грамотей, а духовный посланник христианского государя. И потому придёт с высокими грамотами, и не один, а с достойным сопровождением.

Зима уже близка, и она — не самое подходящее время для путешествия к хазарской столице. И всё же со сборами нельзя затягивать. Зиму лучше переждать

на полпути, в том же Херсоне. Уж там-то, находясь бок о бок с владениями кагана, Философ со своим братом узнают о хазарах куда больше и подготовятся к встрече куда лучше, чем здесь. И ещё Мефодию забота. Как государев стратиг, хотя и в запасе, пусть Мефодий и в Таврике, и далее по пути, и на месте не забывает, кроме своего иноческого послушания, и послушание воинское.

Апостольской дорогой

Ещё живя на Малом Олимпе, братья могли слышать старое монастырское предание: Вифинию, в том числе Никею, по дороге из приморского Эфеса навестил когда-то сам апостол Андрей. Именно отсюда начался его путь в Скифию. Надёжность предания удостоверяла житийная книга, которую о Первозванном и его хождении написал монах и пресвитер Епифаний, тоже насельник Горы. Вряд ли братья успели застать в живых высокоучёного инока. Над своей книгой он трудился ещё в первой половине века, совершив перед тем путешествие по «скифским» дорогам апостола, морским и сухопутным.

Теперь, собираясь в те же края, братья, надо думать, сделали всё возможное, чтобы раздобыть труд Епифания в качестве надёжного путеводителя. Дело в том, что добираться до Херсона им предстояло той самой морской дорогой, какою двигался когда-то апостол, а по его следам и Епифаний.

Понт Эвксинский веками, даже тысячелетиями приучал мореходов жаться ближе к берегам, и не только в пору зимних ненастий. Известные древние и

средневековые описания плаваний, периплы, карты и лоции подсказывали исключительно прибрежный характер черноморской навигации. Правилу этому следовали не только опасливые купцы. Чаще всего не пренебрегали им и вожаки военных предприятий. Чтобы попасть от стен Царырада в Керчь или тот же Херсон, веками пользовались двумя хожеными водными путями: вдоль западного, фракийского берега, либо вдоль южного, малоазиатского, и далее восточного, кавказского. Хотя «Житие Кирилла» на этот счёт молчит, почти нет сомнения, что братья избрали второй путь, несмотря на его в два раза большую протяжённость.

Он выглядел предпочтительнее не только в силу своей большей обжитости. Это был, прежде всего, наиболее освящённый путь, в христианском понимании святости. Он был связан с именами великих светочей веры, начиная от первых апостолов — не одного лишь Андрея Первозванного, но и Симона Кананита, — затем великих учителей и Отцов Церкви, таких, как Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, и кончая святыми, совсем недавно просиявшими, — Георгием Амаст-ридским, Стефаном Сурожским, Иоанном Готским*.

Правила благочестия, обязательные для путешественника-христианина, а уж в первую очередь для странников, облечённых важной духовной миссией, подсказывали череду желательных остановок. К немалой радости братьев, стоянки обычно совпадали с нуждами самих корабелов. Или купцов, если из Босфора они вышли на торговом судне.

Одной из первых пристаней в такой череде для Мефодия и Константина могла стать богатая портовая Амастрида. В стенах главного здешнего храма хранились мощи святого Георгия, архиепископа Амастридского, возле которых однажды чудесным образом были вразумлены пришлые варвары-грабители. Какие? Горожане называли их то скифами, то росами. А когда случилось само нападение? Подсказывали: уже в нынешнем веке. Об этом и житие святителя Георгия сообщало. Не шла ли речь в житии о людях того самого народа Рос, который совсем недавно стоял громадным воинским табором под стенами Константинополя?

Новые бухты, причалы, долгие ночи, краткие дни, названия городов и городков — всё до зевоты привычно зрению и слуху понтийских морепашцев... Но братьев дорожное однообразие нисколько не смущало. Каждое новое имя, название напрягали память: они идут морем апостольским, морем андреевского креста. Гераклея, Синоп, Трапезунд, от которого Андрей посуху, через Пафлагонию и Каппадокию вернулся было в Иерусалим, чтобы через время снова прийти сюда же и продолжить прерванное на время шествие. Потому что это был его, Первозванного, особый «скифский жребий», как о том сказано у самых первых историков церкви — Оригена и Евсевия. Это была на его долю выпавшая, его попечению порученная сторона земли, самая отдалённая, самая неведомая, лишь за ближние неровные края кое-как ощупанная робкими пальцами заблудившихся скитальцев.

А Иоанн Златоуст? И он, великий сотворец Божественной литургии, однажды оказался на кавказском берегу Понта. Пусть прибыл сюда не по своей воле, пусть подвергнутый не

* При определении наиболее достоверного маршрута плавания, избранного братьями, автор этих строк учитывал также, что в письменном наследии Константина-Кирилла есть, по крайней мере, два сочинения (о них позже), в которых со знанием дела перечисляются народы кавказского берега Понта, принявшие христианство. Эти сведения не похожи на справки, добытые с помощью карт и трактатов по географии. Они несут на себе отпечаток непосредственного знакомства Философа с населением восточных окраин византийской ойкумены.

справедливой царской опале, но и он наверняка многократно вспоминал здесь, в Армении, а потом в Иверии, об апостольском жребии галилейского рыбаря Андрея. Как братьям ведомо было, Златоуст, отзывавшийся на любой вопль язычников о вере, не оставлял пастырской заботой и задунайских скифов, посылал и к ним учителей. Пусть они позже иных приходят к Спасителю нашему, но Он и последних принимает как первых. В своём потрясающем по силе воздействия «Огласительном слове», читаемом в ночь пасхального торжества, не о тех ли скифах и говорил Златоуст, пророчески называя их людьми одиннадцатого часа? Потому что яснее иных провидел: жребий апостола Андрея не иссяк, не прерван его мученической кончиной.

Берега Иверии, Фасис, Великий Севастополь, Зигхия, Авастия... Каждая встреча — прибыток радости. И здесь уже со Христом живут люди и поют ему на своих наречиях: армяне, иверийцы, абхазы...

Но, наконец, и пролив между кавказским и таврическим берегами. На кавказском лежит старая Томитарха, и на её причальных мостках, на улицах уже расхаживают по-хозяйски, приглядываются к странникам хазарские купцы. Человеки разговорчивые, смешливые, общительные, будто готовые всю свою жизнь задаром расстелить напоказ, как вдоль прилавка расстилают щедрым движением тяжкий шёлковый свиток. Почти тут же выясняется, что они и по-славянски говорят бегло, ловко. Будто хотят намекнуть остреньким прищуром: всё-всё знаем, про всех-всех. И про вас тоже...

Вполне хазарским на берегу противоположном выглядел и Боспор Киммерийский. А далее — почти опустевшая Феодосия...

И опять находили братья поддержку своей любознательности в книге Епифания: «...мы с большим рвением проводили разыскания относительно местных святых, и есть ли где мощи, и много мощей нашли, а куда не успели, о том тщательно расспрашивали встречных и радостно внимали».

А вот вырастает за правым бортом крутая прибрежная скала, и видны уже притулившиеся к её подошве собор, жилые стены, крыши... Сугдея. Сурож.

Мощи святителя покоятся под тяжкой, ровной, как столешница, цельнокаменной плитой престола. Из строк «Жития Стефана Сурожского», из устных

преданий о нём сплетается ткань неприхотливого в своей простоте рассказа... В Суроже приключилось подобное тому, что слышано в Амастриде: разбойные пришельцы-росы со своим вожаком подвергли Сурож разграблению, вломились и в Софийский собор. Но в его стенах какая-то страшная сила вдруг хрустнула шейными позвонками вожака по имени Бравлин, развернув его лицом к собственной спине. В ужасе он взмолил святого о пощаде, пообещав, что все его воины тотчас крестятся.

Солунские братья слышали о славе епископа Стефана и как стойкого защитника иконопочитания. Память его совершалась в Суроже 15 декабря. Как знать, может быть, именно к этому дню их судно и подошло к сурожской пристани. Услышав под сводами собора греческую стихиру в память святителя, они, по заведённому на Горе правилу, сразу переложили её для себя по-славянски:

«Образ соблюл ecu пресветло, преподобие отче. По Христове иконе стал ecu мужески...»

А потом у подошвы громадной, будто встающей на дыбы горы показался и маленький Парфенит. Казалось бы, совсем уж невзрачная окраинная пядь, айв эту тесную бухточку нельзя было не заглянуть хоть ненадолго. Как же пройти мимо, не навестив место епископского служения и упокоения святителя Иоанна Готского?! Ведь это он, Иоанн, более века назад приложил самые отважные старания, чтобы в Константинополе открылся, а в Никее победно завершил свои труды собор в защиту иконопочитания. Тот самый, Седьмой Вселенский.

Но в Парфените Иоанна никак не меньше помнили и любили как бесстрашного защитника своей паствы от хазарских притеснений. При его епископстве хазары так рьяно повадились хозяйничать в Таврике, что уже и на главный готский город покушались, на Дорос. В житии святителя без обиняков сказано о личном участии владыки в горячих событиях тех дней: «...он вместе с самим владетелем Готии, его старейшинами и всем народом участвовал в восстании».

Но силы оказались слишком неравны, войско кагана захватило Дорросскую крепость, последовали казни зачинщиков, а самого Иоанна, укрывшегося в одном из селений, готские власти, на свой же стыд и позор, выдали захватчикам. Оказавшись под стражей в таврическом городе Фулла, Иоанн не пал духом. С помощью надёжных людей ему удалось бежать и морем переправиться в Амастриду. В ту самую Амастриду, в которой братья недавно побывали. Там, незадолго до своей кончины, владыка, узнав о смерти кагана, сказал: «И я, бра-тие, через сорок дней отхожу судиться с моим преследователем пред ликом Судии и Бога». Но упокоили Иоанна всё же в Парфените, на его родине, под сводами собора Святых Апостолов.

Епархия именовалась Готской по старой памяти, а не потому что большинство здешних христиан считали себя готами.

Но братьям немаловажно было узнать, преобладает ли тут в храмах служба греческая, или есть ещё приходы, в которых книги Писания можно услышать в переводе, исполненном четыре века назад знаменитым готским епископом Ульфилой.

С тем переводом Философ мог познакомиться ещё во время своей службы в патриаршей библиотеке. И по достоинству оценить сметливость и находчивость Ульфилы. Изобретая своё готское письмо, тот использовал многие буквы греческого алфавита. А при чтении его перевода острый слух солунянина вдруг ловил одно, другое, третье... целую пригоршню славянских слов.

Удивительно всё же! Воинственные и непоседливые готы, уйдя из своих прибалтийских земель на юг, к устьям Истра-Дуная и Тираса-Днестра, покорили здесь, как пишут о том Прокопий и Иордан, местное скифское население — гетов, антов и венедов. Но у кого Ульфила берёт недостающие ему для перевода Евангелия слова? У покорённых! Как трофеи берёт или как свидетельство того, что и они его в чём-то покорили?

Поистине достойно удивления, что за бестолковыми шатаниями целых народов по лицу земли, за бессмысленными в своей жестокости войнами, затеваемыми одними против других, вдруг обнаруживаются такие простые и безобидные порывы, как желание не разминуться на земле, встретиться, поделиться для начала хоть двумя-тремя незлыми словами...

КОРСУНЬ

Свитки

Город Херсон Византийский, он же Таврический, или, как чаще теперь его называют в среде историков и археологов, Херсонес, ко времени прибытия в него солунских братьев уже имел своё прочно и надёжно звучащее славянское имя: Кор-сунь. И для нашего рассказа совсем немаловажно, что так вот, сразу по-славянски, авторы «Жития Кирилла» этот город и представляют: «Тогда же пути ся ят, и дошед до Корсуня...»

Братьям предстояло увидеть ещё античный в архитектурном костяке своём, старый-престарый Херсон, один из первенцев, наряду с Тирой и Ольвией, греческой колонизации Понта Эвксинского. Он и теперь оставался — по преобладающему языку и облику горожан — греческим или грекоязыч-ным. Не потому ли и славянские гости, произнося на его улицах своё Корсунъ, тем самым как бы отдавали дань уважения первородному эллинскому: Херсон. Но и от своего названия не спешили отрекаться. Будто наперёд ведали, что имя такое не должно затеряться в череде лет. В нём ведь тоже были твёрдость, крепкость, так подходящие зачерствелой каменной кладке здешних башен и стен. Но и напевную мягкость расслышали солуняне в созвучии Корсунъ. И, что тоже должно было их тронуть, заметили перекличку со славянским именем их родного города.

Херсонесом звался и весь кряж скального полуострова, в одной из бухт которого пригнездилась крепость. Своим упрямым, будто под линейку стёсанным лбом скала была обращена к открытому морю, к северу, и всего в ней насчитывалось пять заливов разной протяжённости.

Бухта, выбранная для города, скромна по размерам. Зато в тылу у него простирается наиболее глубокая и обширная изо всех, похожая на громадный клинок. Вдоль её берегов века спустя утвердится краса и слава Чёрного моря — Севастополь. По сути, сегодня крепостные полуруины древнего Херсона, ставшего Херсонесским археологическим заповедником, — одна из прибрежных севастопольских окраин, и его бухта-невеличка носит подсобное название Карантинной.

Тогда, в декабре 860-го, «дошед до Корсуня» и сойдя с податливого борта на твёрдый берег, братья оказались почти на расстоянии вытянутой руки от крепостных стен. А за башнями и стенами, на взгорке, как на ладони, выступала над жилыми крышами продолговатая южная стена Святых Апостолов — соборной базилики. До неё от берега тоже было близко, но ещё ближе она показалась им накануне, когда, нацеливаясь на нужную бухту, их судно обходило скалу с севера. Как будто стоит храм, посвященный Петру и Павлу, прямо над краем обрыва. Значит, где-то рядом с собором расположены и епископские палаты. И, значит, здешний владыка, архиепископ Георгий, скорее всего, и предложит им жить под собственной крышей. Ведь разве прилично принять порученцев самого патриарха и самого василевса как-то иначе? Для

того и предусмотрены в жилище владыки обширные и удобные покои, чтобы вновь прибывшие важные особы не испытывали ни в чём неудобств. И печи натоплены по случаю зимних холодов, и баня готова для долгожданного омовения после дорожных невзгод, и опочивальни располагают к покою, и совсем не далёкое отсюда море пошумливает сегодня не сердито.

А что до епископской библиотеки, то конечно же она открыта для любознательности того, кто потрудился и в несравненно более богатом книгохранилище константинопольской

Софии. Как открыто для братьев и всё остальное в городе, вплоть до монетного двора, где они могут полюбоваться свеженькими, сверкающими на солнце и ещё тёплыми после отливки монетами с изображением юного василевса Михаила III.

Перво-наперво Константину хотелось узнать, можно ли найти здесь книги, с которыми он не успел, в спешке дорожных сборов, познакомиться в столице. И если их нет в книж-нице самого владыки Георгия, потому что речь идёт — ни много ни мало — о свитках, написанных на иврите с текстами еврейского Закона, Пророков и Писания (Танах), то нельзя ли на время позаимствовать искомое у книжников, проживающих в городской иудейской общине?

«Житие Кирилла» не уточняет, у кого и как были добыты книги, известные своим содержанием в христианской церковной практике только благодаря Септуагинте — греческому переводу Ветхого Завета. Агиографы говорят лишь, что Философ «научися ту жидовъстеи беседе и книгам, осмь части грамо-тикия

преложь, и от того разум болии восприим». Это беглое сообщение по крайней мере подтверждает, что Константин с особой тщательностью готовился к предстоящему у хазарского кагана вероисповедному поединку.

Но в сообщении содержится подробность, давшая лет сто тому назад повод для гиперкритических нападок на авторов жития. Константин якобы никоим образом не мог за такой краткий срок (три, от силы четыре месяца до отбытия в Хаза-рию) преуспеть в овладении еврейской устной речью, да ещё и научиться читать книги Танаха на языке подлинника. И уж никак не мог он перевести на греческий какую-то еврейскую грамматику, состоящую из восьми частей, потому что у израильтян таковая дисциплина в виде трактата или учебного пособия в том веке ещё отсутствовала, а появилась лишь столетием позже. С чего же перевёл?

Возбудителем гиперкритической смуты тогда оказался академик В. И. Ламанский, учёный темпераментный, энциклопедически оснащённый, но увлекавшийся модными нигилистическими поветриями. Его работа «Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник» уже своим названием, вроде бы сугубо академическим, на первое место в разбираемом памятнике поставила легендарно-литературную составляющую, а не документально-историческую. Учёный неоднократно упрекал авторов жития в склонности к религиозно-эпическим преувеличениям. Одно из таких преувеличений, по его мнению, — приписывание Константину чрезвычайных

подвигов в освоении чужих языков, в том числе изобретение (или перевод?) некоей грамматики в восьми частях. Более того, учёный и саму полемику, предстоявшую Константину в Хазарии, поставил под вопрос, посчитав и её изобретением восторженных агиографов.

Что ж, в своём описании событий 860—861 годов, в своих представлениях о лингвистических дарованиях младшего со-лунянина авторы жития могли и несколько увлечься. Но эта их ученическая увлечённость, если она и имела место, просто бледнеет при сопоставлении с той увлечённостью, какую во имя своей гипотезы проявил сам почтенный академик.

Суть его построения такова: братья отправляются из Хер-сонеса вовсе не в столицу каганата, а на север, к Днепру, для встречи со славянским «каганом». К степени достоверности или малодостоверности такого безусловно заманчивого сюжета нам ещё понадобится вернуться позже.

А пока нужно решить для себя: мог или не мог Философ за несколько месяцев пребывания в Херсоне добиться значительных успехов в освоении еврейской религиозной письменности? Овладение разговорной речью оставим в стороне. Она у евреев, живущих в рассеянии, на отшибе, слишком отличалась от классического иврита религиозных памятников, чтобы Константин испытывал нужду отдельно сосредоточиваться на её изменчивой и непрочной стихии. Лишь иногда сносное владение бытовым еврейским жаргоном могло ему понадобиться, чтобы навести нужную справку, ответить на приветствие или

понять мнение о себе людей, не догадывающихся, что и он их разумеет. Полемику же он будет вести на своём родном языке. Таково непременное и заранее оговорённое условие, касающееся предстоящей встречи.

Иное дело, что ему очень хотелось узнать, как выглядят в еврейском Танахе — в сравнении с греческой Септуагинтой — особо важные для него места из книги Бытия, из пророческих книг Исайи, Даниила, Иеремии, других пророков, больших и малых. Он был наслышан о том, что хазарские иудеи, веками проживая без попечения раввинов, книги свои постепенно забывали, и ему хотелось убедиться, так это или нет. Даже внешний вид свитков, предоставленных на время в его распоряжение, мог подсказать ему, насколько часто они читаемы.

Септуагинта у него с братом всегда имелась под рукой, и сопоставление её страниц с соответствующими столбцами свитков позволяло не только быстро отыскать нужное высказывание того или другого пророка на иврите, но и проверить, не расходится ли оно по смыслу с греческим Ветхим Заветом. Он медленно вчитывался, осознавая, что осваивает только пяди языка. Он не тешил себя тщетной уверенностью, что когданибудь осилит этот язык, по складу своему такой закрытый. Ему предстоял труд кропотливый, и не сказать, чтобы очень увлекательный. Возможно, он, занимаясь им, не раз прибегал за советами и справками к кому-нибудь, гораздо лучше его знающему иврит. Чаще всего такие подсказки могли понадобиться, если ему достались

свитки, действительно ветхие, в которых ещё не были проставлены значки-огласовки для обозначения отсутствующих в еврейском алфавите гласных букв. Эта особенность письма, как бы не желающего, чтобы в его иссохшую плоть просочились гласные, огородившегося от посторонних плотными стенками из букв-квадратиков, делала его похожим на тайнопись, на код, открытый только для своих, да и то не для всех.

Особенно его занимало отношение иудеев к своим пророкам. Он заранее решил для себя, что полемику поведёт на поле, которое иудеи считают исключительно своим, но и христиане не в меньшей мере считают своим, а не чужим и чуждым. То есть на поле многочисленных пророческих предсказаний о Христе, которого иудеи не признали и отвергли как мессию.

Осваивая букву и смысл предоставленных ему в пользование рукописей, он попутно, волей-неволей выяснял для себя и грамматические свойства изучаемого языка: устройство слова, предложения, зависимость между именем, глаголом, другими частями речи, роды, времена, числа и прочее, прочее, прочее... Будь у него под рукой какой-нибудь рукописный учебник еврейской грамматики, дело пошло бы куда скорее. Но такого трактата не нашлось. То ли никто из знаменитых иудейских книжников его почему-то до сих пор не удосужился составить, то ли учебник где-то всё же был, но, что называется, для сугубо внутреннего пользования.

Благо существовала посреди просвещённого света великолепная греческая грамматическая наука, та

самая, к постижению мудрых законов которой с малых лет он так упорно стремился, проливая подчас горькие слёзы от осознания своего бессилия, своей неосведомлённости или из-за отсутствия достойного наставника... Слава Богу, нашлись в свой срок — и достойнейшие!

К тому же теперь у него с братом Мефодием уже был за спиной опыт осмысления грамматических свойств славянской речи. И из опыта им открылось, что эта речь, несмотря на отсутствие письменности, удивительно стройна, внутренне согласована, насквозь пронизана бережной и целомудренной властью грамматических гармоний. И ему, вооружённому таким двойным знанием, уже не зазорно было, разматывая старый свиток с псалмами Давида или с Песнью Песней, почти на ощупь находя по первоисточникам давно знакомые смыслы, попутно останавливать внимание и на каких-то чисто грамматических подробностях. А как здесь?.. Как у них?.. Выходило, что и у них, у древнего племени законоучителей и законников, тоже за каждым словом, за каждым стихом проступают твёрдые, неукоснительно соблюдаемые грамматические предписания, правила и законы... И это при том, что самой грамматики, говорят, ещё нет... И потому он её черты и признаки попутно, на ходу, для своих рабочих нужд набрасывал...

Велик и прещедр Господь! Никого не обделил мудростью речевого устроения — ни детей Иафета, ни тебя, колено Си-мово.

Самаритянин

Слух о том, что один из недавно прибывших столичных ро-меев-христиан захотел читать пророка Исайю или псалмы царя Давида по-еврейски, быстро облетел жилые кварталы Херсона. Всего-то населения, с пришлыми вместе, не набиралось и семи-восьми тысяч душ. Тут и постарайся, а не утаишь диковинную новость.

Однажды напросился на встречу к Философу некий проживавший в городе самаритянин, сам по себе диковинная птица в этих краях. Как можно было догадаться, напросился из ревности — стародавней, идущей из тьмы веков ревности самаритян к иудеям. Что там за еврейские свитки и для какой нужды раскатывает и расшевеливает их приезжий?

«И приходя к нему, — читаем в «Житии Кирилла» об этом упорном и въедливом самаритянине, — стязащесясним, и при-несе самарянскы книги, и показа ему...» Эти свои рукописи с особым самаритянским письмом, отличным от еврейского, но близким к арамейскому, посетитель принёс как свидетельство истинности своей веры, не испорченной всякими прибавлениями, на которые так оказались горазды израильтяне, когда вернулись в Палестину после Вавилонского плена и когда грубо обидели самаритян, отказав им участвовать в строительстве храма в Иерусалиме.

Одним из последствий давнего взаимного отчуждения стало и то, что самаритяне, привыкшие ничего для себя доброго более не ждать из Иудеи,

насторожённо отнеслись и к вести об Иисусе Христе, о его учении. Эти холод и отчуждённость Философ мог теперь без труда различить в поведении своего ворчливого собеседника. О Христе тот запомнил лишь одно: к самаритянам отнёсся плохо, наказал своим ученикам не

знаться с ними... «Во град Самарянский не входите» — не он ли сказал?

Константин, конечно, помнил это предупреждение Христово из Евангелия от Матфея. Но произносит эти слова Христос не потому, что, подобно иудеям, презирает самаритян, а потому что хочет предостеречь своих ещё малоопытных духовных чад от слишком поспешных поступков, от кичения перед чужими. Жаль, что его собеседник не слышал других евангелистов. Он бы увидел тогда, как милосерд Спаситель и к тем, кто, по общему среди иудеев мнению, не заслуживает ни оправдания, ни любви. Вот что повествует о том Лука в своём Евангелии...

По пути из Галилеи в Иерусалим Христос с учениками зашли в самаритянскую весь и попросили о месте для отдыха. Когда им было отказано, братья Иаков и Иоанн возмутились: разве не достойно такое селение, чтобы попалить его огнём небесным?! Христос возразил им: «Сын человеческий не пришёл души человеческие погубить, но спасти».

И ещё тот же Лука рассказывает: из десяти прокажённых, которых однажды Христос разом исцелил и отправил к их священникам, чтобы рассказали о чуде, только один вернулся к нему и, пав на колени, громогласно прославил Бога. И это был самаритянин. Спаситель в сердцах укорил остальных: «Не захотели дать славу Богу, только иноплеменник сей». А самаритянину тому сказал: «Восстав, иди, вера твоя спасла тебя».

Знает ли его собеседник, что евангелист этот был ещё и опытным врачом? В его книге всё, что касается чудесных исцелений, совершённых Спасителем, отличается какой-то особой осведомлённостью и сострадательным вниманием. Такова и записанная Лукой притча Христова о милосердном самаритянине.

Не в пример безразличным к чужой беде священнику и левиту, этот состоятельный муж, увидев на пустынной дороге избитого разбойниками незнакомца, остановился, омыл ему раны вином и елеем, перевязал их, усадил несчастного на своего осла, довёз до гостиницы, устроил на ночлег, а утром, уезжая, дал хозяину два динария для ухода за больным и пообещал ещё вознаградить, когда вернётся...

Как же сердце любого человека, живущего среди чужеземцев, очерствевшее от невнимания, от косых взглядов, от разговоров сквозь зубы, — как оно чутко замирает при звуке искреннего одобрения, пусть не ему самому, а роду его, родной его земле, всему лучшему, что есть за душой у его племени! Не потому ли херсонскому самаритянину, заявившемуся было, чтобы спорить, попрекать и перечить, хотелось теперь длить и длить минуты или даже часы внимательного и целительного слушания.

Какой же он необыкновенный, этот сидящий перед ним цареградец! Как горячо любит он своего Богочеловека!.. Вот и о встрече Христа у колодца Иаковля с самаритянкой, пришедшей по воду, рассказывает так достоверно, что перед его слушателем будто въяве проплывает видение собственной мо-

лодости. И вся-вся Самария замерла в мягких лучах вечереющего над холмами солнца...

Христос и ученики в тот день опять шествовали через Самарию, держа путь из Иудеи в Галилею. И припозднились на окраине города Сихарь, как раз возле священного для самаритян колодца-студенца, из которого, как здесь верили, пил когда-то сын Авраама Иаков. Ученики отошли в город, чтобы прикупить еды, а Иисус, утруждённый дорогой, присел у колодца. И был шестой час, холмы и долы вокруг отдыхали от дневного зноя. И подошла к студенцу женщина из города, и попросил её Иисус: «Дай мне пить». Она, приняв его по говору и одежде за иудея, смутилась: как это он просит у неё, самаритянки, воды? Разве не знает, что иудеи с самаритянами не общаются?

А он ответил: если б знала, кто просит у тебя, сама бы попросила, и дал бы тебе воду живу.

Женщина — всегда женщина. И эта в соображениях своих не отступила от очевидности: как же он даст ей воды, когда не имеет чем зачерпнуть из глубокого колодца? Он же ответил: «Всяк, пьющий воду сию, возжаждет снова, но вода, которую я дам ему, утолит жажду вовеки и будет в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».

То ли в шутку, то ли искренне женщина воскликнула: «Так дай же мне такой воды, чтобы не ходить мне сюда с черпалом!»

И тогда Иисус попросил: пусть она сходит за мужем своим, пусть вернутся к студенцу вместе. А она смутилась и сказала, что нет у неё мужа.

«Правду сказала ты, что мужа не имеешь, — похвалил женщину Иисус, — потому что пять было у тебя мужей, а тот, которого ныне имеешь, он тебе не муж».

Поражённая самаритянка воскликнула: «Господи! вижу, ты есть пророк!»

Они ещё говорили — о несходстве в обычаях веры между иудеями и самаритянами, пока она не призналась:

«Слышала, что Мессия придёт, глаголемый Христос; и когда придёт, возвестит нам всё». Тогда Иисус тоже признался ей: «Я и есть, говорящий с тобою».

Тут как раз возвратились ученики. Велико было их молчаливое удивление при виде Учителя, беседующего с чужестранкой. Она же, будто опомнившись, поспешила уйти, и от волнения даже забыла у источника свой водонос. А в городе подняла всех на ноги рассказом о незнакомце-пророке, знающем всю её жизнь. Толпа тотчас повалила к колодцу, самаритяне умоляли Христа пожить у них, и многие восклицали, обращаясь к женщине, что не только по её словам уверовали, ибо и сами теперь знают: «Сей есть воистину Спаситель миру, Христос!»

...Вот чем расположил Константин своего гостя. Он возвращал его в родную Самарию, к той позабытой, думалось, уже навсегда родне, которая вдруг испила живой воды. И когда ромей почтительно попросил оставить ему на время книги, которые самаритянин принёс с собой, — для более внимательного знакомства с ними, — стал ли тот перечить? Так в руках Философа

оказалось поистине редкостное для книголюба сокровище — самаритянское Писание, оно же Пятикнижие Моисеево, древнейшая часть Библии. Всё, что было сверх этого канона, как он знал, староверы из палестинской Самарии за своё и за истинное не признают.

Для него тем самым приоткрывалась возможность мысленно перенестись во времена, когда у первенцев единобожия ещё не было раздоров из-за неправильно толкуемых букв и смыслов. И потому, в обход мерного распорядка жизни в гостях, ему захотелось сейчас же уединиться и, накрепко затворясь, испросить в горячей молитве помощь и вразумление, чтобы стихи книги Бытия, почти наизусть знакомые по греческой Библии, явились и для него в своём первородном шёпоте и шелесте.

Нет, он вовсе не был — как бы теперь кому-то захотелось его назвать — полиглотом. Его не обуревала жадность к звучащей плоти любой и всякой непонятной речи. Тщеславие всезнайки, спешащего ради рукоплесканий поглощать новые и новые языки, добавлять их в хрупкую копилку, что так беззащитно качается на шейных позвонках, он посчитал бы суетным и даже крайне опасным — и для копилки, и для позвонков. В своём отношении к неизвестным языкам он старался равняться на иной пример — на смирение апостолов Христовых. Они ведь не учились в школах ни греческому, ни латыни, но однажды — за истовость своей веры — были чудесно утешены и поощрены сошествием на них дара речи и понимания неизвестных доныне языков. И люди из этих языков, что при-

сутствовали при событии, искренне восхитились: откуда им такие дары?! Только свыше! Потому что по человеческому хотению такое невозможно.

А с самаритянином не подобное ли произошло? Когда он через время пришёл к Константину и услышал, что тот читает по его книгам «без порока», то, изумясь, «возопи великим гласом и рече: воистину, иже во Христа веруют, вскоре Дух Святий приемлют и благодать».

Это «вскоре», сказанное им о Константине, впору пришлось и к его внутреннему состоянию. Неожиданно сын самаритянина под впечатлением случившегося пожелал креститься. И вскоре его примеру последовал и родитель.

«Роусьскые писмена»

Нет, жители города явно не желали, чтобы преумный царе-градец прятал свой талант под спудом. Захотели показать ему, что в Херсоне, если уж на то пошло, найдутся такие книги, что, может быть, и его озадачат, и ему не дадутся для чтения, как никому здесь до него не дались.

Краткий, всего в одно предложение, рассказ «Жития Кирилла» об очередном, третьем по счёту филологическом испытании, выпавшем в Таврике на долю Философа, настолько выразителен и для всего жизнеописания солунских братьев в такой степени принципиален, что необходимо привести его здесь полностью и именно в первородной старославянской записи:

«Обрете же ту, — говорят о Константине агиографы, — Евангелие и Псалтирь роусьскыми

писмены писано, и чловека об-рет глаголюща тою беседою, и беседова с ним, и силу речи приим, своей беседе прикладаа различнаа писмена, гласнаа и согласнаа, и к Богу молитву творя, вскоре начат чести и сказати, и мнози ся ему дивляху, Бога хваляще».

Казалось бы, сугубо прозаическое по смыслу своему сообщение. Но стоит обратить внимание на его необычный интонационный строй, на ритмическую поступательность, обеспеченную часто повторяющимся союзом «и». Это и не стихи, пожалуй, но это намеренно ритмизованная речь, и она придаёт событию какую-то необычность, даже торжественность.

Обрете же ту Евангелие и Псалтирь роусьскыми писмены писано, и чловека обрет глаголюща тою беседою, и беседова с ним, и силу речи приим,

своей беседе прикладаа различнаа писмена,
гласнаа и согласнаа,
и к Богу молитву творя,
вскоре начат чести и сказати,
и мнози ся ему дивляху,
Бога хваляще.

Разбив предложение на интонационные доли, мы видим, что смысл происходящего заметно уясняется, хотя самой сути события ещё не касаемся.

Широко распространённая в наши дни боязнь притронуться к любому старославянскому тексту, якобы непонятному, тёмному в своих смыслах, есть страх мнимый, по преимуществу внушаемый извне, вызванный заведомым предубеждением, нежеланием самостоятельно мыслить, отсутствием воли к

свободному языковедческому поиску и разумению. Вот почему стоит перечитать процитированное предложение ещё раз, используя самые простые, всем и каждому доступные навыки уяснения того, что поначалу могло показаться не вполне ясным.

Итак, Константин обрете (обрёл, нашёл, обнаружил) ту (тут) две книги, Евангелие и Псалтырь, написанные роусьскыми писмены (русскими буквами), и человека обрет (обрёл, нашёл), глаголюща (говорящего) тою беседою (речью, на которой книги написаны), и беседовал с ним, и, силу (смысл) его речи приим (восприняв), прикладаа (примеряя к этой речи) различные писмена (буквы), гласные и согласные, и к Богу молитву творя, вскоре начал чести (читать) и сказати (произносить), и многие ему дивились, хваля Бога.

Кажется, теперь всё или почти всё в том, что произошло, становится понятным. Но ведь речь шла не только о том, как нечто непонятное становится понятным. Рассказано и о том, благодаря каким дополнительным условиям это непонятное становится понятным, причём весьма быстро, на виду и на слуху присутствующих. Сообщается о том, как книги хорошо известного Константину содержания, но написанные неким иным, неизвестным ему письмом, после его беседы с хозяином книг и после выяснения, какие гласные и согласные звуки, произносимые в их беседе, соотносятся с теми или иными буквами, — книги эти становятся для Константина удобочитаемыми.

Как очевидно, необходимым ключом к прочтению непонятного письма становится сама по себе беседа

Философа с хозяином книг. Без неё ничто бы так быстро не произошло. Но на каком языке ведётся беседа? Ясно, что не на греческом, а на родном языке хозяина книг. Ведь если бы книги попали к этому человеку случайно, если бы «русские письмена» были для него самого чужой, диковинной речью, как дошли бы собеседники в своём разговоре до возможности сопоставлять отдельные буквы и звуки, отличать на письме гласные от согласных?

Но не забудем: возможность для подобной аналитики возникла между ними не только потому, что оба хорошо разумели друг друга. Понадобился ещё один ключ. Константин прекрасно знал содержание греческих Евангелия и Псалтыри. Не будь у него этого ключа, собравшимся можно было бы сразу расходиться по своим делам. Но они не разошлись, а Философу достаточно было открыть в принесённой Псалтыри, к примеру, самый первый псалом, «Блажен муж», чтобы начать внимательное вглядывание-вчитывание в отдельные буквы, слова и стихи.

И ещё одно великое подспорье на пути к желанной цели! В лежащих перед ним письменах имелись, оказывается, самостоятельные буквы не только для согласных, но и для гласных звуков. Это означало, что тот или те, кто создавали такой алфавит для своей речи, взяли за образец греческое письмо, как в разное время брали его за образец те же римляне, за ними копты, армяне, грузины, готы. То есть люди «русских письмен» не пошли по пути семитических алфавитов, — еврейского, арамейского, самаритянского, сирийского

или арабского, в которых для гласных звуков не было отдельных букв.

Теперь, когда Константин уточнил, с помощью хозяина книг, звуковую основу букв этого письма, ему понадобилось ещё немного времени, чтобы прочитать — сначала про себя, а потом и вслух — первые слова, первые стихи. И ещё ему нужно было время — для крепкой молитвенной просьбы, а затем и для молитвы-благодарения. Его переполняло восхищение куда более сильное, чем восхищение свидетелей этого события. То, что он прочитал, было речью народа, известного ему и его брату с самого детства. «Русские письмена» были без сомнения славянской речью, положенной кем-то на письмо.

Охота за описками

Свидетельство «Жития Кирилла» о «русских письменах» важно было привести здесь в его полном, без изъятий, виде ещё и потому, что это сообщение, при всей его скупости на слова, к нашим дням обросло такой массой исследовательских истолкований, догадок, предположений, отрицающих друг друга версий, — что есть нешуточная опасность, зачитавшись «литературой вопроса», потерять из виду подлинный смысл самого исходного сообщения.

При всём разнообразии исследовательских подходов, во всех этих версиях просматривается одно общее, как бы на правах поруки, исходное положение: «роусьскые писмена», о которых шла речь в житии, могли быть на самом деле чьими угодно письменами, но только не русскими. Хотя от десятилетия к

десятилетию в исследовательской среде получали хождение новые и новые версии, начальный отрицательный посыл оставался неизменным: письмена не русские и никоим образом не могут признаваться русскими. Не могут потому, что иных, помимо «Жития Кирилла», документальных известий о существовании письменности у тогдашних русов — росов — русских не обнаружено. А значит, свидетельство жития — уже ввиду его единственности — нельзя признать безупречным. По бытующим в науке правилам, единичный исторический источник или факт, если он не подкреплён источниками или фактами подобного же рода, просто-напросто недостаточен в качестве доказательства. Прямее сказать, истина в единственном экземпляре — ещё не истина.

Хотя само по себе это вроде бы узаконенное в науке правило то и дело на практике совершенно не учитывается и не принимается в расчёт, гиперкритика в случае с «русскими письменами» настаивает на его соблюдении с какой-то особой тщательностью.

Под этим нигилистическим углом зрения, языческая, дохристианская Русь есть земля, пребывающая в невежестве и первобытной дикости. Её разрозненные племена напрочь лишены побуждений к государственному строительству и культурному самопроявлению, в том числе к созданию хотя бы зачатков собственной грамоты. А уж тем более к переводу с греческого языка на свой язык (некультурный, варварский и дикий) Евангелия и Псалтыри.

Выходец из дореволюционной России, литературовед широкого диапазона Р. Якобсон и французский славист А. Вайан в один счастливый для себя день как-то легко и остроумно сошлись на том, что «русские письмена» своим происхождением обязаны всего лишь... обыкновенной описке. Допустил её, описку, некий безымянный русский грамотей, который, готовя какую-то по времени написания очень раннюю копию «Жития Кирилла» и держа перед собой в качестве образца некую обветшавшую рукопись, или невнимательно, небрежно прочитал в ней одно слово, или ошибочно его записал. Так вместо «соурскыми» (то есть сирийскими) у него и получилось «роусьскыми».

И вот так, благодаря шутливому предположению Якобсона и Вайана, народилось одно из популярных гиперкритических изделий интернациональной филологии XX столетия*.

* См.: Vaillant A. Les letters russes de la Vie de Konstantin-Kirille // RES. XV. 1935; Jakobson R. Saints Constantin et la langue siriaque // Annuaire de PInstitut de philology et l'Historie Orientates et Slaves. VII. 1939—1944.

Прежде чем коснуться, как теперь принято говорить, «доказательной базы» двух учёных, заметим лишь, что сама по себе предпосылка их версии (наличие злосчастной описки) навсегда уже обречена остаться под вопросом. Ведь таковую описку никто никогда не видел — ни на пергамене, ни на бумаге, ни в фотографическом воспроизведении утраченной оплошки. Описка существовала лишь в воображении

авторов версии, в качестве игры исследовательского ума и в качестве желаемого факта. И потому как инструмент доказательства — вспомним научное правило «неподтверждённое сообщение не есть факт» — виртуальная описка явно недостаточна.

Вообще-то, раз уж разговор коснулся описок, то, увы, они в работе древнерусских грамотных людей, занимавшихся нелёгким ремеслом изготовления новых рукописных книг, случались нередко. Это объяснялось и степенью выучки писцов, не всегда достаточно высокой, и суровыми условиями труда (чаще всего в маленьких монастырских, не очень хорошо прогреваемых помещениях, при свете свечей или лучин). Но за описками строго следили, чаще всего они исправлялись тотчас или через время. Не зря же называли их ещё и «огрешка-ми». Невелик, но всё равно грешок. Надо смыть-стереть чернильную оплошку, вписать новые буквы.

«Житие Кирилла» с первого же века появления на Руси славянских книг было одним из самых распространённых чтений в монастырях, городских храмах, на дому. Это подтверждается немалым числом сохранившихся до нашего времени списков памятника — 23 рукописи. (Для сравнения следует напомнить, что такое выдающееся творение древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве», уцелело лишь в одной рукописи, да и то сгоревшей в 1812 году.)

«Найдя» желаемую описку, Якобсон и Вайан обязаны были представить доказательства. Первое свелось к тому, что раз уж Константин, готовясь к предстоящему у хазар диспуту, изучал в Херсоне

еврейское и самаритянское письмо, то могло ему понадобиться знание ещё одной семитической письменности, сирийской.

Это совершенно избыточное предположение. Философ ехал в Хазарию вовсе не для того, чтобы блистать перед провинциальными иудеями своим знанием самаритянского и сирийского языков (сами хозяева вряд ли знали или жаждали их услышать). Он и на иврите не собирался с ними спорить. Он, напомним, готовился выступать по-гречески.

Братьям было, конечно, хорошо известно, что сирийская христианская община Дамаска самой первой на всём Востоке открыто заявила о своём исповедании. Здесь первыми усвоили себе имя христиан. И потому именно к ним первым из Иерусалима устремился фарисей Савл, уполномоченный выжечь дотла опасную заразу. Но Сын Божий на окраине Дамаска, явившись распалённому гонителю, так сурово одёрнул Савла, что тот на время ослеп от пережитого потрясения, а немного позже, в подземелье дамасской общины вновь прозрел, чтобы стать впоследствии великим Христовым воином, апостолом Павлом.

Знали братья и то, что сирийский был вторым языком после греческого, на котором появился перевод Ветхого Завета (так называемая Пешитта). Уже во II веке зазвучало на сирийском и Евангелие, причём учёный муж Тациан, предпринявший перевод, составил, по своему вдохновению, сводную композицию — последовательное согласование из четырёх евангелистов. К концу III века в сирийской Антиохии трудилась уже целая школа по изучению и

систематизации книг Ветхого и Нового Завета. Возглавлял её знаменитый Лукиан, собиравший старые греческие, латинские и сирийские рукописи, чтобы на их основе составить новую, безупречно выверенную греческую редакцию библейского текста.

В патриаршей библиотеке Константинополя книги с сирийскими переводами должны были храниться на почётных местах, по крайней мере со времён Иоанна Златоуста, который сам был выходцем из Сирии. Если Константин-библиотекарь имел время для знакомства с этими памятниками сирийского православия, он не мог не столкнуться сразу же с одной из отличительных особенностей сирийского семитического письма: оно обходилось без гласных букв, что, как и в случае с еврейским письмом, чрезвычайно затрудняло распознавание смысла отдельных слов. Позже, в течение многих веков в системах финикийского, арамейского, сирийского, еврейского и арабского письма производилась кропотливая, подчас мучительно трудная работа по узаконению дополнительных надстрочных или подстрочных значков, подсказывающих читателю тот или иной гласный звук. Но самих гласных букв в этих языках так и не появилось.

Несмотря на этот грубый изъян, «сурская» версия вроде бы подкрепляется сообщением из «Проложного жития» Кирилла: «И четырьми языки философии научився: еллински, римски, сирски, жидовски». Но как только мы представим себе, что Философ в достаточной мере знал сирийскую письменность и имел достаточный опыт для беседы на сирийском языке, версия Якобсона—Вайана начинает рассыпаться

на глазах. Ну зачем понадобилось бы Константину морочить публику, если он письменность «сурекую», приехав в Херсон, уже знал? А если ещё не знал ни письменности, ни разговорного языка, то мог ли он свободно беседовать с хозяином книг о их содержании? И что внятного мог ему сказать «сириец» о гласных буквах?

Появившись в облике филологической шутки, «сурская» гипотеза не могла не породить в среде намагниченных гиперкритицизмом исследователей тягу к подражаниям в таком же тоне. Кому-то показалось, что на самом деле речь нужно вести не о «сурском», а о «фрузском», то есть «франкском», а значит, латинском алфавите. (Опять переписчик оплошал?!) Было предложено вместо «сурских» читать «узкие» письмена, то есть алфавит неведомо какого происхождения, но записанный какими-то очень узкими по внешнему виду буквами. (Тут снова досталось русскому писцу-ротозею!) В свой черёд появилось и предположение о том, что вообще весь рассказ жития о «роусьскых» буквах есть не что иное, как интерполяция, то есть волевое внедрение какого-то очередного переписчика в старый житийный текст с намерением оживить его небывальщиной.

Пора уже напомнить: в собственно русской исторической традиции никаких сомнений в «русское™» Евангелия и Псалтыри, обнаруженных в Корсуни зимой 861 года, не возникало. А она, эта традиция, заявила о себе с середины IX века, когда восточные славяне разных племенных союзов и стали самоопределяться под общим над-племенным

собирательным именем «Русь». «Мы есмо Русь», — твёрдо и недвусмысленно сообщил о состоявшемся акте такого свободного самоопределения первый или один из первых по старшинству авторов «Повести временных лет». И здесь же уточнил для уразумения всех: «...А словеньскый язык ирускый одно есть».

«Мы есмо Русь»... Такие оценки и выводы никак не могли попасть в «Повесть...» на поздних этапах её редактирования. Они относятся к самым первым обобщённым опытам национального самоопределения и летописного дела на Руси. Уже Константин и Мефодий в 861 году, после знакомства с «роусьскыми» книгами, имели возможность подтвердить определение «народ Рос», данное патриархом Фотием, и сказать, что этот народ и «словеньскый язык» «одно есть».

Та же самая традиция через столетия заявляет о себе в «Русском Хронографе» 1494 года:

«...Грамота рускаа явилася, Богом дана, в Корсуни русину, от неяже наунися философ Константин, и отуду сложив и написав книгы русским языком...»

Может показаться, что стародавний историк слишком спрямил здесь картину происшедшего. Не имея в руках книг, которые даны были на прочтение Константину, мы не можем судить о том, в какой именно степени знакомство с ними повлияло на дальнейшие славянские труды братьев. Мы лишь знаем, что труды эти уже были начаты ими на Малом Олимпе. И потому предполагаем: знакомство с «русином» и его сокровищами должно было стать сильнейшим побуждением, чтобы продолжить начатое,

черпая встречный опыт со страниц кор-сунских Евангелия и Псалтыри.

Кому-то спрямлением может показаться и вывод, что Константин «написав книги русским языком». Но автор «Русского Хронографа» в конце своего XV века знал не хуже нас, что «словеньскый язык и рускый одно есть». К тому же спустя более шестисот лет после описанного им события он не мог не слышать ежедневно, стоя за службой в церкви, что старославянский язык кирилло-мефодиевских переводов остаётся наиболее близким по смыслу и звучанию именно его живому русскому языку, в то время как многие славяне Запада уже говорят и пишут сильно по-другому.

Таково «спрямление», произведённое самой историей. В XIX веке об этом авторитетно напомнил в своих историко-филологических этюдах выдающийся языковед и исследователь древнерусской письменности А. Х. Востоков: «К какому бы диалекту первоначально ни принадлежал язык церковных славянских книг, он сделался теперь как бы собственностью россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и более других воспользовались оным для обогащения и для очищения собственного своего народного диалекта».

В XIX и XX веках русская историческая и филологическая традиция в оценке «роусьскых писмен» как безусловно славянских обогатилась наблюдениями целой плеяды видных отечественных учёных. Среди них И. И. Срезневский, А. С. Будилович, М. И. Сухомлинов, А. Ф. Гильфердинг, В. И.

Григорович, Н. К. Никольский, В. А. Истрин, П. Я. Черных, болгарин Е. Георгиев...

Климент

Живя на Малом Олимпе, они с Мефодием только-только пробовали, подзадоренные просьбами учеников, передавать по-славянски самые насущные молитвы, изречения из Евангелия, из псалмов. И делали это почти сокровенно, без широкой огласки, опасаясь слишком занестись в своих дерзаниях, впасть в самонадеянность при виде удачных, как им казалось, начатков. А сегодня в Корсуни на их ладони легли тяжёлые, как золотые слитки, воплощения чьей-то великой отваги, завидного своими плодами труда. Должно быть, изнуряющего труда, но и вдохновенного, потому что одним изнурением, без помощи свыше такие глыбы разве поднять? Значит, кто-то по-настоящему дерзнул! Кто-то воздвигся духом, не дожидаясь, пока где-то ещё расшевелятся, решатся на подобное.

Жития братьев о их переживаниях этого дня молчат. Можно только догадываться, что великим множеством вопросов озадачили они хозяина книг. А уж на какие смог и захотел тот ответить, Бог весть. Откуда у него рукописи? Здесь ли, в Корсуни написаны или привезены издалека? Были у него ещё какие-то книги или только эти две? Знает ли он хоть что-то о человеке или о людях, которые трудились над переводом с греческих книг? Делалось это для церковной общины или по заказу какого-то важного лица? Не согласится ли он продать им книги? Если же

нет, то не даст ли их на время, чтобы внимательнее прочитали и сделали для себя списки с той и другой?

Вот и опять судьба апостольского «скифского жребия» всколыхнула их воображение своей недосказанностью. Не камнем ли тот жребий ушёл навечно в пучину? И вдруг море возвращает его — в облике двух этих книг-ковчегов...

Из путевых записей монаха Епифания явствовало только, что Первозванный в Херсоне побывал. Но, похоже, у самого Епифания отношения с херсонянами не сложились и он от них не услышал об апостоле ничего достаточно внятного. А потому записал лишь, что Андрей провёл в городе многие дни, прежде чем отбыл в Боспор Киммерийский. Но «многие дни» — величина слишком зыбкая. Удалось ли Андрею собрать здесь общину стойких последователей? А если не в Тав-рике, то где ещё? «Жребий» — тоже величина слишком текучая, неподвластная точным замерам.

Понтийские греки самой старой христианской общиной и самой древней епархией в этих пределах считают не Херсонскую, не Готскую или Сурожскую, а епархию Томитанскую. До неё же из Херсона нужно идти морем на северо-запад — до устья Дуная, до города Томи. Если бы о подобном шествии Первозванного в сторону Дуная и Томи было хоть словцо у самых ранних историков церкви! Нет ни звука и у Епифания. А между тем ещё римляне времён империи знали Томи как город, окружённый отовсюду скифским населением, причём не кочевым, а оседлым. Скифом по происхождению был и то-митанский епископ Феотим, который подвизался здесь при Иоанне

Златоусте. Именно им, соплеменникам Феотима, собирался Златоуст помочь, отправив за Дунай наставников веры. Но это было всё-таки тремя веками позже Андрея. А тогда, при апостоле?..

Нежданно в том же январе 861 года, когда братья прибыли в Херсон, местные жители паче меры разволновали их вестью, касавшейся самых что ни на есть достоверных апостольских времён. Хотя и не о Первозванном возникла речь, но о том, кто жизнью своей и служением впрямую соприкоснулся с апостольскими трудами Петра, Андреева брата. Это был Климент, папа Римский, духовный сподвижник и восприемник Симона Петра, один из первых писателей церкви. Тот самый Климент, чьи послания к коринфянам, как знали Мефодий и Константин, в монашеской среде ценились наравне с посланиями апостола Павла. Слышали они и о ссылке, о мученической кончине Климента. Не догадывались только, что эти события херсоняне упорно связывают со своим городом и его окрестностями. С каменоломнями, где Климент надрывал жилы наравне с другими рабами. И с одной из бухт полуострова, где на малом отоке-островке он был погребён.

Говорили даже, что на берегу у той бухты когда-то стоял целый город и он, по слухам, древностью не уступал Херсону, а может, и превосходил его. И что его обитатели до поры чтили память мученика и на месте погребения соорудили склеп и часовню. А кто считает, что не часовня, а церковь там стояла, и не люди её, но ангелы воздвигли. Только теперь там пустота. Город обезлюдел в час какого-то нашествия варваров, — мно-

го их тут пропылило! — от часовни лишь груда камней осталась, да и ту теперь не сыскать, потому что море с тех пор прилило и затопило малый островок.

А что за бухта, далеко ли до неё?

Бухта отсюда самая дальняя, за нею — мыс, угловая скала всей полуостровной стены. Как добраться до бухты? Можно посуху, но можно и вплавь. Было бы желание. Только кто туда пожелает соваться? Делать там нечего. Ни острова, ни города. Как не стало отливов, так и остров не появляется.

Слушая такие невнятные объяснения, можно было удивляться не только завидной живучести предания, но и отсутствию у рассказчиков хоть какого-то порыва к действию. Нельзя же ссылками на варваров да на морские приливы оправдывать своё маловерие! Если известно место святого, как не отправиться туда немедленно, испросив перед этим у него самого помощь?

В те самые зимние месяцы, когда братья жили в Херсоне, здесь же пребывал, правда, не по своей воле, смирнский митрополит Митрофан, сосланный в Таврику патриархом Фоти-ем как слишком деятельный «игнатианец». Видимо, условия ссылки оказались для этого византийского иерарха не очень суровыми. По крайней мере, он неоднократно встречал в городе и окрестностях младшего солунянина, увлёкшегося поиском места погребения Климента. По свидетельству Митро-фана, записанному позже, Константин Философ «стал внимательно разведывать, где храм, где гробница, где те знаки блаженного Климента, которые точно определялись в памятниках, о нём написанных.

Но все жители того места, будучи не туземцы, а пришельцы из разных варварских народов, даже лютые разбойники, уверяли, что ничего не знают о том, что он говорит; Философ, удивлённый этим, предался молитве и долго просил Бога объявить ему мощи и святого объявиться ему. Он поощрял также спасоносными внушениями епископа с клиром и народом на действие, показав им и прочитав, что в множестве книг передавалось о мучении, что о чудесах, что о сочинениях блаженного Климента и что в особенности о постройке храма, находившегося где-то недалеко от них, и о положении самого святого в нём же; он глубоко воодушевил всех в раскопку тех берегов и на разыскание столь драгоценных мощей святого мученика и апостолика...».

В этом свидетельстве Митрофана впечатляет обилие и разнообразие документов, которыми Философу удалось разжиться, прежде чем он убедился сам и убедил-воодушевил архиепископа Георгия, священнослужителей и прихожан Апостольского собора приняться за работы, напоминающие своей тщательностью археологические раскопки.

Хотя в «Житии Кирилла» о поиске останков Климента сказано совсем немного, агиографы, закончив рассказ картиной торжественного внесения мощей в город, сообщают, словно тем самым оправдывая свою немногословность, что есть ещё и отдельное сочинение Философа об «обретении».

Почему это «Сказание об обретении мощей святого Климента» оказалось вне рамок жития, не вошло в его состав хотя бы на правах приложения? Дело не в том,

что Философ написал его по-гречески. Оно никак не укладывалось в житийный канон, потому что Константин написал его так, словно ни он, ни брат его вообще не участвовали в событии. Ведь на самом-то деле это именно он встряхнул, поднял на ноги весь город, поселил в херсонянах уверенность в том, что поиски не напрасны. Это он попросил клирошан соборного хора разучить только что написанные на его слова песнопения, прославляющие святомученика. Это по его просьбе хористы, не боясь застудить горла, взошли на корабли и ночью вместе со всеми отправились в сторону отдалённой бухты. Это он с братом Мефодием давал нужные наставления молодому херсонскому стратигу Никифору, от которого зависело нарядить на раскопки выносливых горожан из каменщиков, рыбаков да и всех других, кто пожелает потрудиться для Христова праведника, не боясь ступить в холодную воду, на скользкие камни.

Это он, а не кто иной, как канонарх или регент, заранее предложил и расписал последовательность всех предстоящих действий. И потому он намеренно не допустил в свой рассказ об обретении мощей ни себя, ни брата. Они, как и все остальные, безымянные, только исполняли. Воля же была не их, но самого Климента, благоволившего состояться этому прославлению.

Уже после кончины Константина «Сказание об обретении...» стало, благодаря переводу, сделанному Мефодием, распространяться в славянской среде. К счастью, оно дошло и до нас в нескольких древнерусских рукописях и в этом своём почти

первородном облике помогает перенестись в сокровенную и таинственную атмосферу предпоследней январской ночи 861 года.

Городскую пристань покидали с пением, обращенным к самому святому, прося его, чтобы не погнушался ими, не возвратил назад посрамлёнными и безутешными:

Не отврати нас посрамлены, Клименте, верою припадающих к твоему гробу...

Кажется, не одни люди, но и стихии неба и земли, возбуждённые необычностью происходящего, бодрствуют и напрягают все свои силы. Когда почти вслепую вошли в бухту «блаженного отока», мрак рассеялся, «...и се внезапу, помощию святаго Климента, разидошася облаци, просвещена же бысть луна, просвещен же аер, и вкруг ея бысть светло сияние».

С новой радостной силой возобновилось пение. Ступили на каменистый берег. В лунном сиянии отчётливо обозначился полузатопленный островок. По нему уже ходили во множестве люди, кто посуху, кто по колено в воде. На ощупь проверяли камни, выискивая те, что со следами облицовки. Оттуда изредка кто-то сообщал: разбирают завалы... ищут склеп, вход в него...

Но также внезапно луна пропала, «облаци же беша густи, нападающе от южныя страны отока...». Такая привычная для самого неуютного времени года перемена к очередному ненастью. Местным ли жителям не знать этих небесных лихорадок? Но теперь и в самой малой из перемен подозревалось недоброе знамение. Как же легко душу, настроившуюся на

радость, довести до трепета и слёз! Как быстро в неуютной этой каменной пустыне теряется надежда и человек впадает в искушение!

В ночи вдруг опять всё переиначилось. «Облачная густыня, на северьскую страну зашедше, ясно небо и прозрачно яви за темноешь...» И звёзды высыпали, обильные, пронзительные, сладко жалящие: бодритесь! А на земле, перекликаясь с их полыханием, трещат факелы, свечи греют озябшие ладони. Пение то еле теплится, то пребывает в звонкости, перебарывая усталость слишком долгого ожидания.

«В печали же нам сущем, зане мног час преиде и ничтоже явися».

Напрягается всё естество стоящих на суше. А что говорить о тех, кто внизу, посреди камней, в воде, в беспрерывном поиске?..

Не отврати же нас посрамлены, Клименте!.. Явись нам, утешь напоследок.

Уже и утренняя звезда проступила на севере, когда кто-то от острова хриплым воплем завопил:

— Радуйтеся, отцы и братья!.. О Господи!..

Все, кто на берегу и кто в воде, замерли, будто не веря своему слуху. А он снова провопил:

— Отцы и братья, радуйтесь!.. Явился...

«Радуйтеся, се бо блаженная глава якоже солнце светло из глубины ада возсия нам!»

И потом, как только вынесли на сушу ковчег с мощами, все прихлынули, чтобы лобызать эти бисерообразно светящиеся главу, руки, бёдра — чистые и твёрдые, не поддавшиеся тлению святыни.

«Славословие же Божие непрестанно бысть всю нощь до подобного часа бескверныя жертвы и приношения Христа Бога нашего».

Архиепископ Георгий после отслуженной здесь же литургии сам на своей главе понёс ковчег с мощами на корабль. Когда залив остался за спиной и вышли в море, на расстояние десяти стадий от острова увидели, что весь город высыпал на берег и движется им встречно во главе со стратигом Никифо-ром. Но пока высадились здесь и вместе дошли до городских стен, уже и вечер подступил, так что ход длился при огнях, под непрерывное пение посвященных Клименту стихир. На ночь ковчег оставили в подгородной церкви Святого Созонта. Утром шествие возобновилось, обтекло все городские церкви и напоследок замерло у распахнутых врат кафедральной базилики. Как верного своего брата и сподвижника во Христе приняли Климента первоверховные апостолы Пётр и Павел...

Похоже, рассказ об обретении мощей записан был Философом стремительно, в один присест, сразу же после события. Всё пережитое в последние недели, дни и ночи, с той самой поры, когда братья вдруг услышали про островок в отдалённом заливе, затем взятые им на себя чрезвычайные заботы, поиск книжных подспорий, поездки на место предполагаемого розыска, писание в самый сжатый срок стихов для песнопений в честь святомученика, наконец, только что пережитое сильнейшее волнение необыкновенной, поистине чудной ночи, с её мраком, холодом, резкими сменами ветров, каким-то ликующим сиянием светил, чередованием в душе каждого из них неуверенности и

надежды, смятения и радостной оторопи, и торжествующий вопль, хриплый, как голос самого раннего петуха, «О Господи!.. Отцы, братья!..» — всё-всё это настолько переполняло его, что невыносимо было и дальше удерживать в себе...

Пройдёт немногим более ста лет. Из кафедрального собора Херсона-Корсуня отбудет на Русь, в Киев, часть мощей святого Климента. Отбудет как самая первая святыня для только что народившейся Русской церкви. Этими мощами укрепятся алтарь и главный престол Десятинной церкви, самой тогда большой и «украсно украшенной» в городе и в целой державе князя Владимира. По высшей справедливости особое почитание памяти Климента на Руси утвердится одновременно с почитанием двух братьев родом из Солуни.

...Беспокойные валы морские, бугрящиеся под берегом. На самой его кромке замерли в напряжённом ожидании люди. Чуть впереди всех — двое. Крепкие, не старые видом мужи. Но оба уже с сильной проседью в густых кудрях и бородах. Это они — Мефодий и Константин-Кирилл. Самое раннее из их сохранившихся изображений. Древний миниатюрист-книжник решительно сблизил пространства, поместив за спинами собравшихся город с крепостными башнями и стенами. И крышу базилики, в которую отсюда отнесут ковчег с мощами. Но это ещё будет. А сейчас — великое напряжённое чаяние, горящие свечи, накренённые на ветру огни факелов. И посреди крутобоких волн — скалоподобный камень-ковчег,

явленный из пучины на великую радость тем, кто не ослаб в вере.

ХАЗАРСКАЯ МИССИЯ

Шёлковый путь

Пока в гостеприимном Херсоне братья дожидались первых тёплых дней весны, чтобы продолжить, наконец, путь к цели своего назначения, Хазария сама вдруг напомнила им о себе. Напомнила без лишних слов, но очень уж красноречиво.

«Житие Кирилла» сообщает, что в пределах полуострова нежданно объявился некий хазарский воевода со своим полком и что нападающими взят в осаду целый христианский город. Узнав об этом, «Философ, неленяся, иде к нему».

Город не назван по имени, значит, не столько имя важно было в данном случае агиографам, сколько сам поступок братьев. Они приостановили своё, судя по всему, уже начатое подорожье и сочли необходимым, не мешкая, вступить в переговоры с хазарским военачальником. А как было им, облечённым полномочиями посланцев василевса, не заметить случившегося?

Неужели не знает воевода, что христиане, где бы они ни жили, находятся под духовной защитой великой христианской державы? Тому порукой их, Константина и его спутников, присутствие здесь. Сами они — гости

великого повелителя Хазарии. Они теперь как раз и продолжают свой путь для встречи с каганом. Хотя каган уже ждёт их, они, прослышав о таком неразумном нападении, вынуждены прервать своё шествие и завернуть на место самоуправства. Сильно огорчится владыка хазарского народа, когда услышит от них, что, оказывается, его подданные покусились в Таврике на целый христианский город! Ведь сам же он, ищущий истину каган, недавно и обратился с письмом к нашему императору, сам попросил прислать в свою столицу ромейских христиан-богословов. Ибо пожелал беседовать с ними и услышать от них слова о достоинстве, силе и мудрости христианской веры.

На хазарина-воеводу укоры подействовали так, что он «обещався ему (Философу. — Ю. Л.) на крещение, отиде, никое-яже пакости сотвори людем тим». Пусть и не крестился сразу, но, по крайней мере, обещався. Судя по выразительному уточняющему глаголу, военачальник был язычником, а не иудеем или мусульманином.

Кого только не приманивает к себе лакомая Таврика! Что уж вспоминать сугубую древность? Даже в века сравнительно недавние, уже после римлян, сюда забирались, как в собственное угодье, то гунны, то готы, то аланы... А уж сборщики хазарских даней шастают здесь и роются, будто в собственной суме, притороченной к седлу.

Только-только возобновили братья прерванное было подорожье, как накатила на них, точно из овражных нор высыпав, совсем уж несусветная орда:

свирепейшего обличья, воют что волки, вот-вот поувечат своими пиками, прошьют до песка стрелами.

На тот самый час братья с провожатыми заканчивали дорожный молебен перед образами малого походного иконостаса. Рухни кто из них в страхе на землю или рванись наутёк, — не избежать бы никому погибели. Но они, не пятясь, не озираясь, продолжали невозмутимо творить поклоны и осенять себя крестным знамением под негромкое «КіЗріе е>-ёг|аоv»... Как же она крепка, Иисусова молитва, как спасительна и в самом кратком своём облике — «Господи, помилуй»! Только вспомнить её успей, Спаситель расслышит...

Нападающие повыли-повыли, пометались вокруг стана и вдруг, будто захлебнувшись своим вытьём, остолбенело смолкли. И — не смешные ли, право? — один за другим тоже принялись кланяться, кто как умел. А потом, когда молебен закончился, затараторили, залопотали между собой на совсем уж непонятном для ромеев языке. И, наконец, желтозубо скалясь, принялись показывать им знаками: мы, мол, вам — ни-ни!., мы — туда, а вы, куда ваши боги вам велят; мы ходим-гуляем, где хотим, и вы — ходи-гуляй, где надумаете, вольным воля, земли много...

Так братья впервые встретились с уграми — племенем для Таврики самым свежим. Лишь сугубые знатоки здешних земель и языков могли подсказать, что волкогорлые эти угрины кочуют от востока, от Рифейских гор и, обходя Понт с полуночи, держатся на заход солнца. Значит, идут по дорогам и тропам, натоптанным до них теми же гуннами, готами, аварами, болгарами...

И уже об этих ушлых уграх идёт слава, что самые расторопные из них нашли себе и в Таврике промысел: добираются до морских пристаней и выгодно сбывают работорговцам свой людской плен.

Через двадцать с лишним лет Мефодий снова увидит угров вблизи. Но встретит их уже в моравских и паннонских землях, на берегах срединного Дуная, и это будет не разбойный отряд, а обильный числом язык, пожелавший, наконец, вломившись на сытную и ухоженную землю, угомониться для оседлого житья.

...Покинув Херсон, братья двигались сначала посуху. Но лишь сначала. «Житие Кирилла» в одной-единственной фразе вроде бы прослеживает всё их дальнейшее странствие целиком — «от» и «до»:

«Въседе же в корабль, пути ся ят козарьскаго на Меотское езеро, в Каспийская врата Кавкасских гор».

Эта географическая справка, если привязывать её к современным картам, всё же потребует пояснений, хотя вроде бы и так всё на виду и на слуху. Меотское озеро, Меотида — античное имя Азовского моря. Сесть на корабль могли в Керчи, у самой южной кромки озера. Но поскольку оно омывает весь восточный берег полуострова, то корабль мог принять их и у пристани где-нибудь близ Сиваша. Ведь самое северное ответвление Великого шёлкового пути проходило именно этим водным намётом: по озеру до устья Дона, затем вверх по реке, мимо хазарской крепости Белая вежа (Саркел), построенной, как помним, по плану византийского зодчего Петроны; далее до Переводки или Переволоки — места, где русла Дона и Волги сходятся ближе всего и дают возможность для самой

удобной и дешёвой доставки грузов посуху из одной реки в другую. Далее шли снова на корабле, до Каспийских ворот, если под этим названием разуметь дельту Волги.

Однако историческая география с давних времён именует Каспийскими воротами не устье Волги, а так называемый Дербентский проход в Кавказских горах. Поэтому можно ту же самую запись жития о маршруте византийской миссии прочитать совсем иначе. На корабль в Керчи сели лишь ненадолго, чтобы всего-навсего пересечь пролив между Меотским озером и Понтом и высадиться в Таматархе (позднее Тмутаракани, ещё позже Тамани). Именно отсюда — от таматархских пристаней — уходила посуху на восток ещё одна из ветвей Шёлкового пути. Уходила к тому самому Дербентскому проходу — Каспийским воротам. Если посланцы Михаила III избрали такую дорогу, конечной точкой их маршрута должен был стать утопающий в зелени садов город Семендер — тогдашняя столица Хазарского каганата. Семендер располагался в пределах или ближайших окрестностях нынешней Махачкалы.

Итак, даже в этих ограниченных пределах — от Чёрного моря до Каспийского — не умещался великий и прихотливый Шёлковый в одну-единственную путевую развёрстку. Хочешь, иди на восток Меотским озером и двумя большими реками. Хочешь, держись ближе к Кавказским горам. Уточнение достоверного маршрута византийской миссии затрудняется ещё и потому, что в житиях братьев столица каганата не названа по имени. На основе же скупых источников

собственно хазарского происхождения можно сделать вывод, что ко времени их путешествия, то есть ко второй половине IX века, Семендер уже терял статус и облик главного города. Резиденции кагана и бека вместе с дворами знати перекочёвывали в новую столицу, и она располагалась в низовьях Волги, в окрестностях современной Астрахани. Сюда, в Итиль (так звался город), братьям удобнее было идти по озеру и двум рекам, а не южным путём.

Впрочем, в «Житии Кирилла» есть описание неких «безводных мест», достигнув которых, братья и их спутники «жажду не можаху терпети» и долго помучились в поисках питьевой воды. Напоследок Философ, помолясь, испил из источника, которым вначале побрезговали, и вода вдруг оказалась не горькой, как желчь, а студёной и сладостной на вкус. Похоже, такое испытание могло их подкараулить в летнюю жару именно на южном степном и полупустынном пути.

Не являлись ли тогда изнурённым ромеям манящие видения подземных константинопольских цистерн с их нерушимой прохладой, что исходила от чёрных толщ воды? Царственные, подобные дворцам вместилища влаги, ряды высоких и мощных, как в храме, мраморных колонн, далёкие сводчатые потолки, едва проступающие при свете факелов... Но стоило приоткрыть глаза, и снова в чаду марева скалилось солончаками закольцованное пространство пути, будто обречённого на вечные повторения...

Это и есть Шёлковый?.. Впрочем, как бы ласково ни звался, а это он и есть. Тот самый, что и заблудиться позволит, и пропасть разрешит.

Вот уж где задумаешься: а есть ли на земле награды, ради которых стоило бы так напрягать жилы людей и вьючных тварей, заставляя их одолевать пышущие чадом пески? Ладно бы, везли воду жаждущим, хлеб голодным, одежду коченеющим от стужи. Нет, вместо самого необходимого тащат и тащат по лику земли самое избыточное, самое излишнее и чрезмерное, годное лишь для прихоти, для баловства, для потакания нелепым капризам и сумасбродствам, для ублажения уже не человеческой, а сатанинской распущенности. Не старый ли Екклесиаст, схватив однажды такую вот тщету-суету за хвост и не сумев её укротить, опасливо и брезгливо выронил из рук. И вот она ползёт-ползёт, изворачивается, вспухает, бесхвостая, безумная, бесконечная...

Змеится, зыбится Шёлковый, переливается в обманных дымках тонкая ласковая пряжа. Даже пыль из-под копыт и колёс, накрывая цветы серой кисеёй, отдаёт каким-то сложным горчично-пряным, перечно-шафранным, тминно-коричным щекочущим глотку настоем. Бельмастыми озерцами посверкивает вдоль пути горький солевой выпот.

...Не тут ли где-то и возникло перед ними из марева, прикинувшегося каспийским разливом, встречное шествие? Для каравана слишком малое. Для разбойной ватаги очень уж ленивое.

Но оказалось, это не кого-то ещё, а их самих поджидают, радуясь, потому что затомились уже

высматривать гостей желанных. Теперь не скучно будет в приятной беседе скоротать остаток пути. Предводитель встречного отряда без устали отвешивал и отвешивал странникам маслянисто-медовые хвалы.

Только ненадолго хватило ему этих сластей. Похоже, очень уж хотел показать, что он и сам, не дожидаясь словесного пиршества, заготовленного в столице, прямо здесь способен одолеть в споре любого заезжего умника. И точно: начав с восхищений, вдруг взял и кольнул насмешкой:

— Всем хорошо ваше царство... А один обычай у вас худой: зачем из разных стран, из разных родов ставите себе царей? Наши же цари — все из одного рода.

Так ли уж все из одного? Чтобы хазарин не очень бахвалился царями своими, Философ ему будто ненароком напомнил:

— Но ведь Бог вместо царя Саула, ничего угодного от него не дождавшись, избрал Давида-царя и род его избрал.

Видя, что молодой ромей тотчас на укор отвечает укором и к тому же знает до подробностей давнюю иудейскую историю, хазарин кольнул с другой стороны.

— Вы держитесь за книги. Из них все свои притчи берёте. Мы же не так. Мы, вобрав всю мудрость в грудь, износим её из себя, а не гордимся, как вы, тем, что в книгах написано.

На что Философ ответил хоть и притчей, но вовсе не книжного происхождения:

— Если встретишь человека нагого и скажет тебе, что много риз имеет и золота, поверишь ли ему, видя, что он гол?

— Нет. Кто ж поверит?

— Вот и тебе говорю: раз уж поглотил ты всякую мудрость, то скажи нам, сколько людских поколений было на свете до Моисея и сколько лет каждый их род правил?

Смолчал хазарский первоборец. Ничего подходящего случаю не выдохнулось из его груди.

Так, перебрасываясь лёгкими колкостями, примеряясь взаимно — ромей к восточной горячности, хазарин к византийской холодности, — доставились в саму столицу.

Впрочем, агиографы вниманием и её, столицу, тоже не удо-суживают. Рассказ сразу устремляется к предварительной «беседе». Судя по всему, она состоялась в тот же день, без проволочек. Перед первым же застольем у кагана его придворные пощупали Философа вопросом, по сути рассчитанным на то, чтобы сразу же покрепче осадить этих вымотанных дорогой и, похоже, не облечённых никакими высокими званиями пришельцев. Мог бы император и кого повиднее прислать: митрополита или хотя бы епископа. Или стратига. А этот — уж не самозванец ли?

Но по внешности вопрос был вполне учтив:

— Какова будет твоя честь, чтобы по чину тебя посадить за стол?

Константин нисколько не смутился.

— Деда я имел великого и славного, — начал он неспешно отвечать. — Стоял он близ самого царя, но данную ему славу по своей же воле отверг и был изгнан. В чужую землю дойдя, обнищал, и тут меня породил. Я же древней дедовой чести ищу и другой не сумел принять... Потому что Адамов я внук.

Дослушав притчу до последних слов, столь приятных восточному слуху и вдруг поднявших всё сложное родословие византийца до такой головокружительной высоты, его одарили великодушной похвалой:

— Достойно и правильно ты, гость, отвечаешь нам. «Отселе же, — читаем в житии, — пане начата над ним несть имети».

Немногое от многого

Ни одна из полемик Философа не описана в «Житии Кирилла» так подробно, как диспут в Хазарии. Своими размерами рассказ об этом событии производит впечатление, будто в книгу вшита ещё одна самостоятельная книга. Если оглянемся на остальные «беседы» Константина, представленные в житии, — константинопольскую (в защиту иконописания), сарацинскую (против багдадских учёных мужей) и венецианскую (спор с «триязычниками», о котором разговор ещё впереди), — то и по общему своему текстовому объёму три названные уступят описанию хазарской полемики*. Такая асимметрия слишком очевидна, чтобы считать её нечаянным композиционным просчётом.

Конечно, круг религиозных разногласий, обсуждённых у хазарского кагана, оказался, как дальше увидим, настолько обширным, что и место для рассказа о происшедшем понадобилось исключительное. С другой стороны, не могли же авторы жития не осознавать, что поездка Константина в Хазарию, его достойное участие в труднейшем религиозном диспуте — всё-таки не самое главное из деяний его жизни. Да, он и на этот раз с честью исполнил поручение василевса (и нового патриарха). Да, он опять подтвердил недюжинность своего богословского дара. Но ведь житие посвящено просветителю славян, одному из создателей новой и великой в будущем письменности, а не только искусному византийскому полемисту IX века.

* Македонский исследователь П. Хр. Илиевски подсчитал, что рассказ о хазарской полемике занимает 40 процентов всего текста «Жития Кирилла». См. его книгу: Светила незаодни. Словенските првоучители и нивните ученици (Студии). Скоще, 1999.

Почему всё же агиографы, приступив к хазарскому сюжету, допускают явную диспропорцию в композиции своего труда?

Ответ неожиданно отыскивается в самом изложении хазарской «беседы», в отрывке, помещённом ближе к её концу. По сути, перед нами — замечательное по своему простодушию признание в допущенной однажды вольности. Вот оно:

«От многого мы, сократив, написали здесь памяти ради немногое. Л если хотите в полном виде эти святые беседы искать, то в книгах его (Философа. — Ю. J1.)

найдёте, их же перевёл учитель наш и архиепископ Мефодий, брат Константина, разделивший их на восемь словес...»

Итак: «от многого — немногое». Значит, как видим, агиографы и сами осознавали необходимость более краткой редакции полемики у кагана. И, насколько это было в их силах, постарались за счёт произведённых сокращений представить именно «немногое». Но при этом исходным, как они пишут, оставалось для них условие, с которым они никак не могли не считаться. Оставалось некое «многое».

За их объяснением можно различить целую цепочку событий, имевших место после кончины Константина-Кирилла в 868 году (со времени Хазарской миссии минует семь неполных лет).

«Святые беседы» — рукописные греческие тетради Философа — по праву становятся теперь наследием Мефодия. Просмотрев содержимое архива, старший брат выделяет в нём восемь самостоятельных «словес» или тем. Четыре из них выше уже определены нами как диспуты. Это константинопольская, багдадская, венецианская и хазарская «беседы»*.

Сосредоточимся на записях полемического содержания. Можно догадываться, что все они были равно дороги старшему солунянину. Дороги как волнующие оттиски пламенной натуры истинного Христова воина, так отважно потрудившегося на поприще вероисповедных словесных поединков. Эти греческие тетради могли бы стать образцовым пособием для их с покойным братом учеников, горящих желанием испытать и свои силы в

отстаивании догматов веры. А сверх того, могли стать — и, как знаем, в итоге стали — незаменимым фундаментальным материалом при написании жития Философа.

* Кстати, самим понятием «беседа» наши агиографы пользуются довольно широко, для обозначения разных жанров. «Беседой» они при случае могут назвать не только запись полемики, но какую-то одну или все составные части богослужения. Или книги Священного Писания. Традиция эта унаследована была от апостольских времён, когда и отдельное евангелие могли назвать «беседами Иисуса».

Спор весны 861 года с хазарскими иудеями виделся старшему солунянину — и по его личным воспоминаниям о тех днях, и по перечитанным теперь тетрадям Константина — настолько важным, что он посчитал своим долгом, не откладывая надолго, перевести с греческого на славянский язык и эти записки. Ведь никто из учеников, не имея перед собой такого переложения, пока не смог бы справиться с наиболее трудным богословским материалом именно этой полемики.

И Мефодий перевёл. Но, похоже, не счёл возможным включить хазарскую «беседу» целиком в подготавливаемое, с помощью тех же учеников, житие брата. Не опасался ли, что такое внедрение нарушит композиционную стройность рассказа, всё же обязанного, по греческим житийным канонам, не быть чрезмерно многословным? Так труд, за который он со сподвижниками принялся вскоре после кончины Кирилла, ещё пятнадцать с лишним лет оставался

недовершённым. И лишь по смерти самого Мефодия ученики решились, на свой страх и риск, произвести посильное сокращение и встроить описание Хазарской миссии в положенное ему по хронологии место. Возможно, они и догадывались при этом, что всё равно их «немногое» выглядит паче меры.

Но поскольку сами изначальные записи Философа в их полном объёме — а заодно и Мефодиев исходный перевод — исчезли и, скорее всего, бесследно, то и корпус Хазарского диспута 861 года в составе «Жития Кирилла» привлёк к себе — с началом гиперкритического поветрия — особое внимание исследователей. В таком внимании снова узнаётся уже знакомый снисходительно-недоверчивый прищур. Снова (вспомним полемику Константина с Аннием) Философа упрекают в обильном цитировании маститых византийских полемистов. Опять «отцеживают комара», выискивая в житии «общие места», «трафареты», «кальки»... Снова звучит допущение, что, да, были-де заготовки для предполагаемого диспута, а сам-то он состоялся ли?.. При таком напоре недоверия диспут уподобляется замысловатому мистификату. Что произошло в реальности, а что — лишь в сознании и намерениях Философа, в благих побуждениях его агиографов? Вообще гиперкритика по своим целеустановкам стремится если не отменить сполна любое рассматриваемое событие, то хотя бы представить его величиной зыбкой, двоящейся, этаким маревом в пустыне. Было — не было? Состоялось — поблазнилось?..

Такие внушения не на ветер бросаются. Видимо, не без их воздействия автор современной еврейской энциклопедии, вскользь упомянув о Хазарском споре 861 года и по существу совершенно не затронув его сути, с первых же слов допустил в отношении к «Житию Кирилла» тон небрежно-высокомерный: «Из апокрифических сказаний о славянском просветителе святом Кирилле (Константине) известно...» Да что же доподлинно может быть известно из сказаний, которые сразу аттестуются как «апокрифические», то есть, читай, малодостоверные, сомнительные или вообще ложнонаписанные? Только то, что «в самих текстах сказаний не содержится» нужной автору статьи «информации».

Но не странно ли, что называя житие «апокрифическими сказаниями», в другом месте статьи автор ссылается на тот же самый источник как на вполне достоверный, не вызывающий никакого сомнения? «Сообщения о еврейской общине в Херсонесе в раннем средневековье, — пишет он, — находятся в житии Кирилла (IX в.) и в "Киево-Печерском патерике" (XI в.)». Значит, когда подворачивается нужная автору «информация», то и апокриф уже не апокриф?

Вернёмся, однако, к придиркам гиперкритиков со стажем. Что худого находят они в привычке Философа впрок запасаться нужными в спорах доводами? Разве не такова практика каждого опытного полемиста? Совершенно ведь очевидно, что и перед хазарской «беседой» Константин не мог не готовиться к ней самым тщательным образом. Не этим ли он, как мы

знаем из жития, занимался накануне, в Херсоне? Не этим ли обязан был заняться ещё в Константинополе, перед отправкой в неизвестную землю? Не был же он настолько горяч и задирист, чтобы, вооружась самоуверенностью, лезть в схватку наобум. Если он готовит себя к новому богословскому поединку, значит, как и прежде, обязан оглянуться и удостовериться: есть за спиной у него бойцы достойные, хорошо оснащённые, готовые и с ним поделиться закалённым мечом и непробиваемой бронёй, оружием Писания и Предания.

Агиографы, готовя окончательный текст «Жития Кирилла», вполне могли и не раскрывать читателям всех сложностей, с которыми пришлось столкнуться при его подготовке. Скорее всего, и сам Мефодий, застань он их за работой по сокращению полного корпуса хазарской «беседы», посоветовал бы сократить заодно и это упоминание о своём переводе её и других «бесед». И тем самым в который раз настоял бы на праве служить брату до конца бескорыстно.

Но им очень хотелось о такой службе старшего младшему сказать отчётливо, во всеуслышание. Для того и назвали общее число «словес», то есть различных греческих сочинений Философа, введённых Мефодием в круг чтения первых славянских книгочеев.

Кто бы и как бы потом ни судил и рядил, а совестливое предупреждение агиографов о том, что их читателям предстоит знакомство лишь с частью вместо целого, драгоценно ещё и доверчивостью людей, писавших первое в мире славянское житие. Они ведь тем самым приняли на себя ответственность и за какие-

то возможные спрямления, допущенные по неопытности.

Нет, мы не станем подвергать сомнению ценность проделанного ими труда. Даже то «немногое», что в итоге представлено было агиографами вместо «многого», подскажет каждому непредубеждённому читателю, что их намерения были до конца чисты.

У кагана

Итак, хозяева и гости устроились за столом обеденным, который почти сразу оказался и столом «обмена мнениями».

Первое слово ждали из уст кагана. Он взял свою чашу и произнёс:

— Пью во имя единого Бога, сотворившего весь тварный мир.

Позволили произнести слово и Константину. Если каган сразу же подчёркивает своё иудейское представление о едином Боге, которое у них, иудеев, позже позаимствовали и мусульмане, то уместно ли христианину забыть родной Символ веры?

— Пью во имя единого Бога и Слова его, которым небеса утвердились, и животворящего Духа, которым вся сила их исполняется.

— Все мы об одном говорим, — миролюбиво заметил каган, однако не упустил случая показать гостю свою бдительность, — но вот в чём различие держим: вы троицу славите, а мы, изучив книги, — Бога единого.

— Слово и Дух книгами же проповеданы, — счёл нужным уточнить и Философ, которого не могло не

порадовать, что книгам в здешнем общении будет всё же отдано должное. Но, защищая перед каганом Святую Троицу, позволил себе не книжную, а простую житейскую притчу: — Если кто творит тебе честь, а слову твоему и духу не творит чести, а другой муж всем троим честь воздаёт, то который из двух честен пред тобою?

— Который всем троим честь воздаёт, — вынужден был признать каган...

Желая замять это неловкое для его достоинства смущение, иудеи, став поближе к Константину, тут же отвлекли его на другую тему:

— Ответь, как может жена вместить Бога в чреве, если она и узреть незримого Бога не в состоянии, не то чтобы родить?

Тогда Философ показал перстом на кагана и на первого его советника.

— Как думаете, если кто-то говорит, что первый советник не может достойно принять у себя кагана, но при этом говорит, что последний раб его может у себя принять кагана и честь ему воздать, то, скажите мне, назовём ли так говорящего безумным или смышлёным?

— Крайне безумным!

Константин не промедлил и с новым вопросом, как будто никак не связав его с предыдущим:

— А кто из видимых тварей достойнее всех?

— Человек, — ответили ему, — ибо по образу Божию сотворен.

— Значит, безумны, — продолжал Философ, — считающие, что Бог не может вместиться в человека, если Он и в купину вместил себя, и в облако, и в бурю,

и в дым, являясь то Моисею, то Иову. Нужно ли, когда кто-то болен, исцелять другого, здравого? Когда человеческий род пришёл в последний предел греховного истления, от кого бы он принял исцеление, как не от самого Творца, скажите мне? Врач, желающий приложить пластырь болящему, приложит ли его к дереву или к камню, и будет ли от сего прок? И потому Моисей, исполнясь Духа Святого и руки свои воздев, так молится: «В громе каменном и в гласе трубном не являйся нам, Господи щедрый, но вселись в нашу утробу, отними наши грехи». Акилла так говорит.

Этот Акилла, на авторитет которого вдруг ссылается Философ, стоит того, чтобы о нём здесь упомянуть. Напор доводов Константина так стремителен, что противная сторона с самого начала, похоже, не поспевает по следам его доказательств. И это при том, что о предсказанности боговоплоще-ния, о смысле прихода в мир Слова-Христа он намеренно говорит иудеям примерами не из евангельских книг, а из их же собственной ветхозаветной истории. Уж эти-то примеры не могут не быть на слуху у каждого из них. Впрочем, Философ заранее готов и к тому, что его ссылки на ветхозаветные книги будут восприняты противной стороной как недостаточные и сомнительные. Ему ведомо, что иудейские книжники издавна с недоверием относятся к Септуагинте — высокопочитаемому сперва в эллинской, а потом и в христианской среде переводу книг Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык, осуществлённому для потребностей еврейской общины в Александрии и для пополнения знаменитой Александрийской

библиотеки. Хотя Септуагинту и переводили не сами греки, а семьдесят еврейских толковников-библеистов, их перевод ревнивые раввины позже посчитали слишком вольным и предпочли ему переложение, которое осуществил уже во II веке н. э. принявший иудаизм учёный муж Аквила (в житии он Акилла).

Вот почему Константин теперь и озвучивает молитву Моисея не в толковании семидесяти, а в дословном переводе Акиллы. Вы ему, а не им доверяете? Вот и слушайте молитву Моисея, как она звучит по-гречески у тщательного Акиллы. Хотя и у семидесяти старцев смысл молитвы тот же самый: пророк призывает Господа вселиться в человеческую утробу и очистить людей от грехов.

Но как только прозвучал вслух пророк, как только услышали, что слова молитвы удостоверены самим Акиллой, разговор быстро свернулся.

Почему так? Может, вспомнили, что пора бы уже предоставить гостям досуг с дороги? Или самим хозяевам понадобился достаточный срок, чтобы обсудить услышанное? В том числе и эту озадачившую их ссылку гостя на Акиллу. Вот, оказывается, как исправно он подготовился к спору — даже Акиллой вооружён!

«И тако разидошася с обеда, нарекше день, в оньже беседу о всех сих сотворят», — сообщает напоследок житие о первой встрече.

Главные обсуждения ещё впереди. А это застолье — лишь примерка к ним, взаимная предварительная разведка.

Как видим, Константин и у хазар пользуется приёмами ведения спора, которые помогали ему ещё в Багдаде. С первых же слов он исповеднически открыт и не намерен утаивать свою суть христианина. А потому он настроен не только отвечать, но и спрашивать. Принимать удары, не пятясь, и тут же озадачивать противника. Своими маленькими притчами заставлять его думать в нужном ему направлении, а вопросами принуждать к нелукавому ответу. Словом, он не намерен здесь оправдываться. Пусть оправдываются они, если смогут.

Когда надо, он готов применить к делу и логические ходы старого афинского хитреца Сократа. Да-да, воспользоваться тем искусством диалога, которое он, Константин, осваивал на уроках у Фотия. Тот ведь не запрещал ученикам разбирать и диалоги язычника Платона, а в них, как известно, Сократ своей якобы простецкой логикой всегда перебарывает любых спорщиков. И Константину не зазорно, что за спиной у него ещё и эта — древнегреческая школа словесной полемики.

Ко второй встрече, так же прошедшей при участии кагана, хазарская сторона предложила для обсуждения тему верности Закону, полученному от Бога через Моисея. Закон этот первый и навсегда уже единственный. Всё, что вне его (язычество) или после него (христианство) — не от Бога, а от людей.

Но Константин сразу же предлагает иное отношение к закону: не первый и не единственный. Для доказательства он опять готов пользоваться лишь ветхозаветными примерами. Почему не вспоминают

его собеседники договор Бога ещё с праотцем Ноем? Не Ною ли Бог дал закон первому, назвав его заветом? Ибо сказал ему: «...се Аз воздвигну завет мой с тобою и с семенем твоим, и со всей землёй...»

Иудеи не принимают ссылку Философа на Ноя. Потому что, по их разумению, завет и закон — совсем не одно и то же. На это следуют его новые доводы, он приводит по памяти обращения Бога к Аврааму, к пророку Иеремии, в которых «закон», «завет», «заповедь» по смыслу своему — понятия, никак не отменяющие, но дополняющие и подкрепляющие друг друга.

Лишь теперь, по видимости, иудеи соглашаются с Философом: да, «закон называется также заветом». Но они по-прежнему настаивают на том, что христиане, воздвигая свой новый завет, попирают закон истинный.

Снова и снова Константин просит собеседников вслушаться в слова пророческих книг. Закон не может быть неизменным, раз и навсегда данным. Вот пророк Иезекииль вопиет: «Иный вам дам закон». Или тот же Иеремия: «Се дни грядут, глаголет Господь, и завещаю дому Иудову и дому Израилеву завет нов, не по завету, иже завещах отцем вашим в день, воньже приимшуми руку их, извести их из земли египетскыя, яко и ти не пребыша в завете моем, и аз возненавидех я(их)».

И ещё из Иеремии предлагает речение Константин: «...Словес пророк моих не послушаша, и не вняша, и закон мой, иже про-роци проповедаша, отринуша».

А когда Философ говорит им, что не только названные, но и многие иные из пророков

предупреждают их, что закон перестанет действовать, иудеи, наконец, произносят вслух:

— Всякий еврей знает воистину, что будет так! Но... И тут следует всегдашнее иудейское самооправдание:

— Но ещё не пришло время для Помазанника.

Для него же и такое их признание — не новость. Рано или поздно они принуждены бывают в споре с христианином приоткрывать эту тлеющую опухоль своего духа. Им удобнее оставаться при своём иссякшем, усохшем законе, чем признать, что чаемый Мессия уже пришёл в мир. Он пришёл, а они, занятые хитросплетениями своего законничества, проглядели время Помазанника, не приняли Воплотившегося, отдали на казнь, на распятие. Они отвергли самое лучшее в самих себе. Их отвержение длится и длится. Их позор не удаётся сокрыть. И первыми, ещё до явления миру Спасителя, этот их позор открыли лучшие, достойнейшие из их же среды.

Пророки и праотцы

Но они и до сих пор, будто упёршись в незримую стену, твердят: нет, не пришло время для Помазанника.

— Вы же сами видите, — говорит Философ, — Иерусалим сокрушён, жертвоприношения в вашем храме больше не совершаются, и всё произнесённое о вас пророками сбылось. Малахия-пророк открыто вопиет: «Нет моея воли в вас, глаголет Господь Вседержитель, и жертвы от рук ваших не приемлю, зане от восток солнца до запад имя Моё славится в языцех, и на всяком месте приносится фимиам имени Моему и жертва чиста, зане велико имя Моё в языцех, глаголет Господь Вседержитель»...

Вещает о пришествии Христа и Захария-пророк: «Радуйся, дщерь Сионова, се царь твой грядет кроток, всед на жребец осел, сын яремнич».

Нет, не вразумляют его собеседников великие предвестия, — ни Моисеевы, ни Даниловы. И глаголы Малахии и Захарии не доходят до чёрствого слуха. И пророк Исайя им не указ, когда вещает: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо: с нами Бог». И слов Михея не слышат: «И ты, Вифлееме, земля Июдова, никакоже меньше ecu в владыках Пудовых. Из тебе бо Ми изыдет игумен, иже упасет люди Моя Израиля».

Философ даже не упоминает, что два последних предсказания вошли в Евангелие, как вошли в него и многие слова других пророческих книг. Разве такой отсыл может убедить противную сторону? Нет, ещё большее вызовет раздражение. Непереносима для них эта досада: христиане почитают их пророков как своих. А они — кого из собственных пророков камнями не изувечили? Сам евангельский Христос говорит в лицо книжникам и фарисеям иудейским о том, как на самом-то деле чтут они своих пророков: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: "если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков". Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков» (Мф. 23, 29-31).

И ещё говорит Христос: «...вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьёте и

распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт же на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» (Мф. 23, 34—35).

В своём стоянии за веру Философ обнаруживает совершенное знание пророческих книг Библии. Ему для этого, как не трудно догадаться, не нужно переворачивать страницы, шелестеть книжными закладками. Его знание пророков живое, оно идёт от горячего сердца, от нерушимой, как скала, убеждённости. Это знание христианского исповедника веры, а не бесстрастного буквалиста. Он любит у пророков их прерывистую воспалённую речь, их образное видение мира. Их слова запоминаются раз и навсегда, как стихи. Пророки и есть истинные поэты своего народа. Их вдохновенному всеведению доступны такие небесные глубины, где лишь херувимам и серафимам дозволено пролетать. Но самое главное, по чему сразу отличишь пророка от добропорядочного или даже мудрого человека, — пророк безрассуден. Там, где благоразумный промолчит и попятится в тень, пророк выбежит под жало солнцепёка. И тогда все расслышат не просто крик, а прожигающий совесть вопль о творимом зле. Этот звук непереносим для благодушных блюстителей буквы закона. А ещё непереносимее, когда пророк заговорит о небывшем, но чреватом бытием, о том, что грядёт. Он и живёт, по сути, лишь для этого чаемого, неустанно призываемого часа, когда придёт во имя Господне истинный

избавитель. Явится и отменит тех, что подпирают одряхлевшие своды закона.

«Житие Кирилла» раз за разом напоминает: хазарские иудеи крепко смущены неиссякающими ссылками Философа на пророков. Он их то и дело заставляет пятиться, соглашаться то с одним, то с другим своим доводом. Они пробуют отвлекать его на другие темы, но какой бы ни коснулись, он и тут досаждает им предсказаниями своих любимцев.

Что, разве пророки писали свои книги для него, чужака, а не для них? Нет же, для них и только для них все они писали! Так почему же этот всезнайка распоряжается тем, что ему и всем остальным языкам от роду не принадлежало?!

Как ни сдерживают они в себе досаду и раздражение, чувства сами выплёскиваются наружу:

Первоучители славян святые Кирилл и Мефодий

АБ
ВГ
ДЄ
ЖЗ
НІ
Л

Церковь Святого Димитрия в Солуни

Фессалоники. Южные ворота и вид на город. С гравюры XIX в.

Святой Димитрий с двумя отроками.
Мозаика из церкви Святого Димитрия в Солуни
(Фессалониках)

Купол Святой Софии

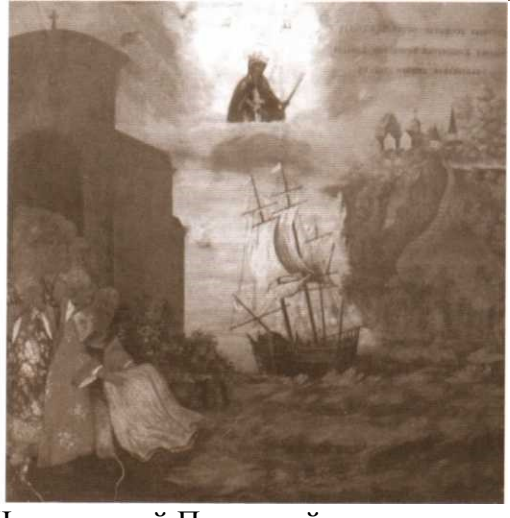
Интерьер храма Святой Софии в Константинополе. Фото автора

Богоматерь с Младенцем. Мозаика из алтаря Константинопольской Софии. IX в.

Бухта Золотой Рог (Суд) с видом на Святую Софию. Фото автора

Император Михаил III. Изображение на золотой монете

Патриарх Фотий. Икона Нового времени
Принцевы острова. Фото В. М. Гуминского
Патриарх Игнатий.
Мозаика из собора Святой Софии
r Кпнгтлнтинпппр



Чудо с ризой Пресвятой

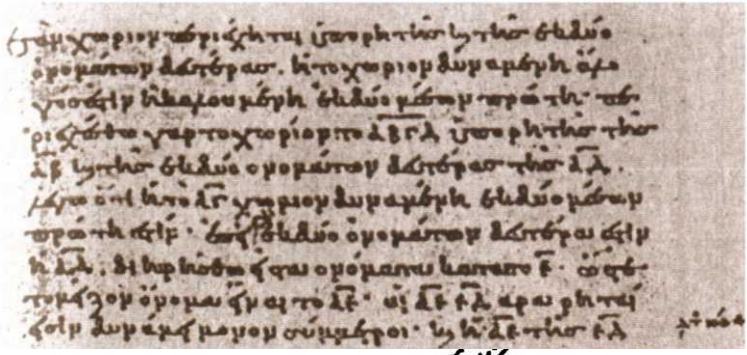
Богородицы во время атаки русского флота на Константинополь. Икона из частного собрания

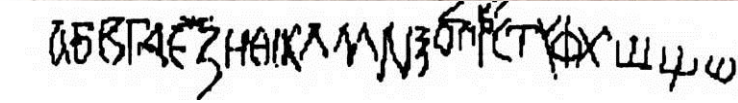
Храм Святой Ирины в Константинополе. Фото автора

«Крещение русом». Миниатюра из болгарской рукописи XIVв.

Малый Олимп. Фото В. М. Гум и некого

Никея. Алтарь собора Святой Софии. Фото В. М. Гуминского





Греческий минускул IX века

Протокириллица. С граффити Киевского Софийского собора. XI в.

Греческий унициал. Глава первая из Евангелия от Матфея

Крещение болгар. Миниатюра из болгарской рукописи XIV в.

Братья Константин и Мефодий открывают мощи святого Климента, папы Римского. Миниатюра из византийского Менология XI в.

Современный вид Херсонесского археологического музея-заповедника. Фото Е. Г. Хомчак

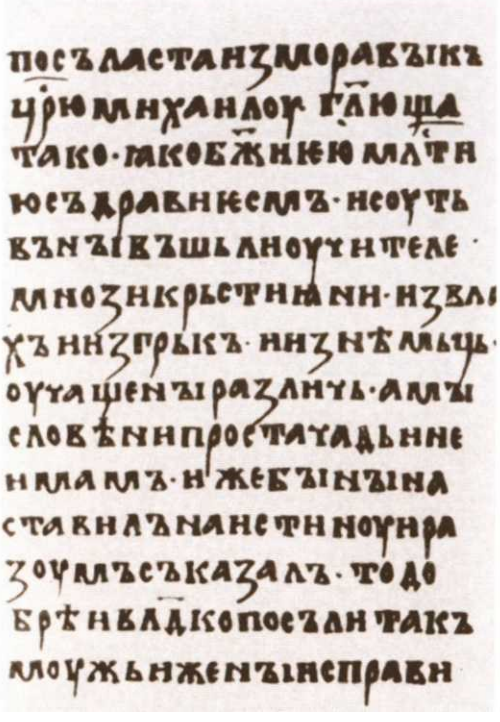
Патриаршие печати, найденные в Херсонесе.

Наверху — печати патриарха Игнатия, внизу — патриарха Фотия

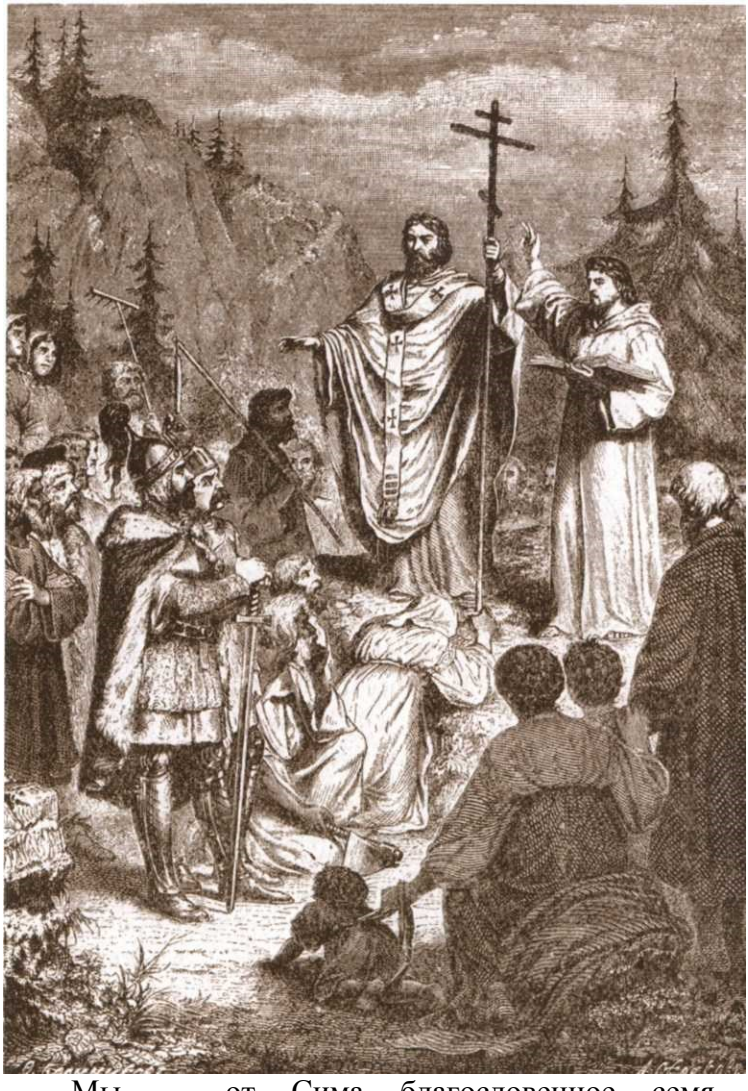
Собор святых апостолов. Византийская миниатюра

Из послания князя Ростислава императору Михаилу с просьбой прислать учителей для научения правой вере. Лист из Жития Мефодия в составе Успенского сборника XII-X1II вв.

Император Михаил III отправляет Константина и Мефодия в Моравию. Копия с фрески из церкви Святого Климента в Риме



Святые Кирилл и Мефодий проповедуют славянам христианство. Рисунок Ф. А. Бронникова для «Сказаний о Русской земле» А. Д. Нечволодова



— Мы — от Сима благословенное семя, благословенны отцом нашим Ноем. Вы же — нет!

Вот из какого далека простирается на них благословение, а значит, превосходство над остальным миром: от тех самых по-слепотопных дней, когда Ной поделил опустевшую землю между сыновьями Симом, Иафетом и Хамом и лучшую долю дал старшему — Симу.

Самовозвеличение собеседников и тут не застаёт Философа врасплох. Он считает нелишним напомнить им, что второй из сынов Ноя, библейский Иафет, «от негоже мы есмы», нисколько не обделён Божиим вниманием, и о нём там же, в книге Бытия, сказано: «Да распространит Господь БогАфета и да вселится он в села Симовы». А к сказанному Константин прибавляет и свидетельства пророков в пользу Иафета.

После этого иудеи в очередной раз вынуждены согласиться: «Да, так и есть, как ты говоришь».

Хазарские спорщики, затевая эту распрю о своём первенстве, якобы идущем от праотеческих времён, вряд ли догадываются, что их противник и здесь окажется «в теме». Дело не только в том, что он всего пять лет назад был на Евфрате, видел изблизи места, где прозорливый Ной в предгрозовом зное плотничал над своим ковчегом. Философ знал тему в подробностях ещё и потому, что вопрос о Иафетическом (яфетическом) наследии в IX веке, как мы помним, живо обсуждался в кругах историков, географов, грамматиков византийского мира. Уже говорилось, что немало внимания ему уделил в своей «Хронике» видный историограф того столетия, старший современник солунских братьев монах Георгий Амартол.

Лингвистических наблюдений эпохи оказалось достаточно, чтобы подтвердить догадки и предчувствия о глубинном языковом родстве большинства коренных народов Европы. Более того, опыт беспрерывных языковых связей этих народов с обитателями Азиатского и Африканского континентов позволял сделать вывод о существовании трёх древнейших языковых зон, наделённых признаками достаточной самостоятельности. Без всякой натяжки получалось, что первообраз такого уходящего в глубь тысячелетий распределения вычи-тывается как раз в библейском сюжете о трёх сыновьях праотца Ноя — о Симе, Хаме и Иафете, потомки которых разошлись по трём самостоятельным языковым и расовым семьям, дав жизнь семитическим, хаметическим и иафетическим народам.

Константину и его старшему брату выпала доля родиться в греческой ойкумене и говорить на самом богатом, самом притягательном из тогдашних языков Средиземноморья. Культурный грекоцентризм обозначился задолго до их рождения. Он выражался, в частности, и в том, что без всякого особого волевого напора со стороны греков их языку желали выучиться самые пытливые представители окрестных народов. Одним из впечатляющих примеров такой нацеленности как раз и была Септуагинта. Чаще всего в этом знаменитом переводе книг Ветхого Завета на греческий язык видят проявление эллинской любознательности, интеллектуальной отзывчивости. Это лишь отчасти так. Первопричина перевода семидесяти оказалась более прозаической. Просто толмачи-толковники из

обширной еврейской общины Александрии выполнили заказ своих единоверцев, которые уже не в первом поколении общались между собой по-гречески, а древнееврейский помнили слишком плохо, чтобы на нём читать свою Библию.

«Житие Кирилла» не сообщает, на каком языке (или языках) велась полемика в хазарской столице, но можно не сомневаться, что Философ изъяснялся на своём родном греческом и многочисленные библейские отрывки озвучивал по Септуагинте или, когда надо, в переводе того же Аквилы. Рассчитывая при этом если не на языковую осведомлённость спорящих с ним грамотеев и книжников, то на расторопность их толмачей.

Даже если бы его знание книжного еврейского, с которым он знакомился в Херсоне, и оказалось достаточным для бесед в хазарской столице, ему не было никакой нужды менять установившиеся правила поведения ромея за пределами империи. За спиной его стояла великая христианская держава и из горла его свободно лилась речь, которой Господь Бог обильно наградил греков, а уж они считали себя не худшими из наследников праотца Иафета.

Тот же Георгий Амартол, приводя в своей «Хронике» подробный перечень стран Азии и Европы, населённых иафе-тическими народами и племенами, перечисляет не только опорные земли ромеев — Мидию, Каппадокию, Пафлагонию, Галатию, Фракию, Македонию, Фессалию, Аттику, Пелопоннес, но также не теряет из виду пограничные с грекоязычны-ми

земли Иллирию, Сарматию, Скифию, Таврию. Значит, и там обитает «колено Иафетово»!

Солунские братья знали, что славяне как таковые в словаре Амартола ещё отсутствуют. Но весь их личный опыт в постижении славянской речи, её словарного состава и грамматического устройства подсказывал им, что список Амартола без всяких натяжек должен быть дополнен и этим языком*. Потому что славяне — тоже иафетический народ, причём один из самых многочисленных среди европейских потомков Иафета. В таком своём убеждении братья неоднократно укреплялись и на Малом Олимпе, и во время путешествия в Херсон и далее на восток.

* * *

Немало удивительных примет славянской многочисленности и распространённости Константин с Мефодием обнаружили уже внутри Хазарии. Отменными знатоками славянских земель оказались часто мелькавшие здесь арабские купцы. Добираясь на хазарские рынки и пристани от самого Багдада, они этим вовсе не ограничивались, а постоянно ходили и дальше на север — вверх по Волге. В их речи звучали десятки названий каких-то рек, впадающих в эту превеликую и преизобильную реку; имена неведомых братьям славянских городов или больших сёл, с обитателями которых торговцы постоянно имели дело.

Какая неустанная прорва водная изливалась в жадно сосущее море! Реку эту можно было себе представить в образе древесной кроны, прячущей в своей необмерной тени не только

* Так и произошло уже после кончины солунских братьев. «Повесть временных лет» на первых же страницах приводит опись иафетической языковой семьи Европы, со знанием дела дополняя труд Георгия Амартола перечнем стран и областей, заселённых славянскими племенами: «По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же семидесяти двух язык произошёл и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, которые и есть славяне.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот ещё те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда воло-хи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне.

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а ещё другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, по имени Полота, от неё и получили название полочане. Те же славяне, которые сели около озера

Ильменя, прозвались своим именем — славянами и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошёлся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянская».

полчища птиц, зверей и больших, как дельфины, рыбин, не только сонмы племён, но обнимающей и весь целиком север — родитель холодных туч и синих молний.

И как радостно было обнаружить, что тот же самый рынок охотно принимает под свои навесы и купцов, судя по их говору и облику, чисто славянского рода-племени. Вот оно что! Значит, они и сами не желают сидеть сиднем в ожидании заморских гостей, а приохотились на собственных ладьях спускаться — до Итиля, до Семендера. Отсюда, говорят, иные из них, соревнуясь с арабскими гостями, и до Багдада добираются как ни в чём не бывало. Сами везут свои меха, бобровые и ку-ничьи. И даже мечи везут какого-то особого северного закала.

Но ещё больше озадачивают на хазарском базаре его настоящие хозяева — еврейские купцы. Оказывается, они и тут любого заезжего славянина-торговца встречают... его же славянской речью. И пользуются ею легко, самоуверенно, как от роду своей. Вроде бы немного всего и нужно: счёт, цены, имена товаров. Но слово за слово, и речь полилась, переплелась, что струи за кормой.

Откуда бы такая осведомлённость? Понятно, уже по роду занятий каждый торговец обязан быть образцом обходительности и миролюбия. Особенно в общении с

людьми того же ремесла. Иудеи-купцы в такой обходительности несравненны. Она позволяет им содержать в исправности это великое многоязыкое хозяйство, имя которому Хазария. Потому что Хазария крепка и живуча не тем, чем другие похваляются, — не единой верой и речью, не единым племенем, не хлебородной землёй, не великим вождём, а тем, что она укоренилась на перекрестье торговых путей — пеших, речных и морских. Это рыночное и таможенное перекрестье — её истинное сокровище, её настоящее сердце. Здесь она собирает жатву в свои закрома. Жатву особую — не пшеницей, не ячменем или овсом, а чистым золотом, звонким серебром, бирюзовой медью. Вот её вера и вождь, её кровь и хлеб, её неколебимое навсегда упование. Это и есть её настоящая речь, которую она при надобности мгновенно развернёт то на греческий, то на арабский, то на тюркский, то на персидский, то на славянский строй и лад.

Как не знать здешнему купцу по-славянски? Арабский гость в славянские города забирается на короткий час и, отторговав, не мешкая, оттуда исчезает. Но хазарские торговцы в тех же городах селятся накрепко, живут оседло, целыми улицами и поколениями. Ни площадная брань, ни грабежи и пожары их не отваживают от такого обычая, потому что местные вожди у них в должниках, и не найти такого, кто не хотел бы ещё и ещё свой должок продлить.

Но если так доходно купцам каганата говорить по-славянски, то как же захватывающе велик должен быть людским числом и земляным своим охватом сам по

себе этот славянский материк, из которого проистекают Волга, Дон, Днепр, Днестр, Дунай? Настолько оно таинственное, это лоно, самое закрытое из праотеческих Иафетовых наследий, что до сих пор не дало толком разглядеть и описать себя по сути никому — ни Геродоту, ни Плинию, ни Страбону, ни Прокопию с Иорданом...

Наверное, на хазарских пристанях стоя, могли Константин с Мефодием испытывать ко всему в придачу и сильное чувство зависти. Гремят уключины, вспухают под ветром паруса, вот и ещё одно купеческое судно отваливает от дощатых настилов, — то ли арабское, то ли хазарское. Неважно даже чьё, а то им обидно, что уходит оно на север, куда бы и они так хотели пойти. Но им не дано теперь такой воли. И дастся ли когда? Им нужно готовиться к очередному, кажется, уже последнему по счёту словесному поединку, в котором противная сторона уже заранее считает себя победившей. А если не считает, то, проводив их домой, сделает вид, что никакого тут спора вообще не происходило. Ведь никакой из каганов в таком никчёмном деле не пожелал бы участвовать. Хотя бы потому, что не мог же каган за своим столом выслушивать здравицы в честь какой-то там... троицы.

Хазария напоследок

Академик В. И. Ламанский в своей уже упомянутой работе «Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник» выставил на обсуждение предреволюционной публики доводы, которые, по его убеждению, ставили под

сомнение саму достоверность пребывания Константина в Хазарии и его словесного поединка с учёными мужами кагана. Назвав житие младшего солу-нянина в первую очередь «религиозно-эпическим» произведением, то есть не лишённым художественного вымысла, и лишь во вторую — «историческим источником», учёный тем самым уже в заглавии постарался обозначить правомочность своих скептических или даже нигилистических, в духе эпохи, выводов.

Да, Константин явился к кагану, но, как предполагает Ламанский, вовсе не к тому кагану, который жил в столице Хазарии. Византийское посольство из Херсона пошло совсем в другом направлении — к славянскому кагану-князю: «...не проехали ли греки — где Донцом в лодках, где берегом Донца — до одного из более крупных поселений той части позднейшей Руси, которая позже вместе с Киевскою землёю полян или землёю полянскою, носила общее с последнею название Русь, т. е. в позднейшем княжестве Переяславском, куда, быть может, прибыл и сам Аскольд или его посланцы. Не произошло ли там где-нибудь, если не на Днепре, в Киеве, первое крещение Руси, о котором говорит Фотий?»

К сожалению, само это предположение учёного изложено языком слишком неуверенно-вялым («не проехали ли», «быть может», «не произошло ли там где-нибудь, если не...») и слишком с оглядкой, чтобы стать убедительным. Впрочем, это не значит, что его доводы не подкреплены ничем. Да, свой каган вполне

мог жить и на Днепре, в Киеве. Для этого ему не нужно было быть ни иудеем, ни хазарином. Достаточно было состоять исправным данником Хазарии. Древнерусский летописец с прискорбием сообщает: «А козаре имаху на полянех, и на северех, и на вятичех имаху по беле и веверице с дыма». Значит, денежными выплатами в виде меховых шкурок ежегодно облагался у полян, северян и вятичей каждый домовой очаг. Славянские князья, будучи в течение ряда поколений данниками каганата, свыкались с тем, что их, на хазарский манер, величают каганами. Даже в знаменитом «Слове о Законе и Благодати» киевский митрополит XI века Иларион по старому обычаю называет князя Владимира Святославича не князем, а каганом, хотя данником хазар тот уже не был.

В пользу предположения Ламанского говорит вроде бы и то, что после заключения мира между василевсом Михаилом и вождём славянской дружины и после высказанного Асколь-дом пожелания креститься и крестить своих подданных, как раз в его землю и должна была направиться из Константинополя духовная миссия. Так, судя по всему, и произошло, хотя в византийских хрониках и церковных документах, к сожалению, не сохранилось ни имён людей, ни дат, твёрдо привязанных к «Фотиеву крещению Руси».

«Житие Кирилла» всё же слишком основательный «исторический источник», как ни отказывает ему Ламанский в достоверности. Напряжённейшая и затяжная полемика, в которой противостояли друг другу вероучительные основы христианства и догматы

иудейского закона, могла состояться только здесь, в Семендере либо в Итиле, а не у хазарских данников-язычников. На Днепре или ещё в каких-то славянских пределах Константину просто не понадобилось бы укорять своих собеседников в том, что они очень уж избирательно читают собственных пророков. Не понадобилось бы уточнять, что он цитирует пророческую книгу не по Септуагинте, а в переводе

Аквилы. Не понадобилось бы втолковывать, что ветхозаветные понятия «закон», «завет» и «заповедь» — суть одно и то же. С язычниками он говорил бы совсем о другом и по-другому. Говорил бы о младенческой недостаточности и ущербности их язычества, как здесь с иудеями говорил о старческой обветшалости их прегордого богоособничества.

Да и совопросников таких, какие здесь у кагана, он среди славян не сыскал бы даже при старании. Потому что эти от начала и до конца цепко держались своего испытанного правила: стоило ему в какой-то теме припереть их к стенке, они тут же принимались отвлекать его вопросами поехиднее, с подковырками, с едва скрываемыми усмешками.

Вот, во время предпоследней встречи вдруг ни с того ни с сего, при всей их нелюбви к самому имени Спасителя, съязвили:

— Христос не отверг обрезания, но по закону его совершил. Как же это вы, христиане, обрезание отвергаете?

Или в христианском почитании икон усмотрели языческое кумиротворение:

— Как же вы, идолам поклоняясь, думаете, что этим воздаёте честь Богу?

Напоследок в своём желании досадить добрались и до запрещённой по иудейскому закону пищи:

— Не противитесь ли Богу, поедая свинину с зайчатиной? Да неужели истину они жадно искали, приступая к нему и

так и сяк и эдак? Где уж истину! Но он всё равно отвечал им спокойно и достойно, будто не ёрничают, а её, истину, ищут. Даже если хоть один из них её втайне от остальных ищет, то надо для него одного сказать, что ветхозаветное обрезание Христос для христиан отменил, упразднив его навсегда своим крещением. И что не бездушным идолам, не дереву и краскам христиане поклоняются, а святым образам, через них воздавая честь самим святым; ведь и евреи в старину, глядя на изображения святых херувимов и ангелов, им самим воздавали честь, а не дереву или тканям... Ну а о том, что человеку вкушать дозволено, разве не читали они Божий завет: «Ешьте всё, как зелень травную, ибо для чистых всё чисто, а у осквернённых и совесть осквернена».

Мог ли Философ верить их искренности, когда — почти вслед за этими подковырками — полились из их уст сладкие речи о том, что он-де самим Богом послан к ним для назидания и что он-де насладил их всех досыта медвяной сладостью словес святых книг? Не мог. Потому и сказал им в притче, что объевшегося мёдом не лечат мёдом же, а избирают горькое лекарство, чтобы противоположное противоположным

исцелить. И с этим намёком на их чрезмерную медоточивость они на удивление легко смирились.

Вообще напоследок их поведение сводилось к тому, что они куда охотнее соглашались, чем возражали. И не стеснялись признать перед ним своё недостаточное знакомство с книгами, из которых им надлежало бы извлекать истинные смыслы, не дожидаясь подсказок гостя.

Возможно, это их признание было связано с тем, что они всё-таки — люди, уже давно живущие в рассеянии, на отшибе, в провинции, в отрыве от строгих предписаний своих раввинов — блюстителей и ревнителей закона. Но, возможно, они просто хотели напоследок как-то задобрить гостей, чтобы те увезли своему императору самые лучшие впечатления о великом, миролюбивом и веротерпимом каганате, достойнейшем соседе и союзнике византийцев на востоке.

Впрочем, ещё одно признание, услышанное братьями перед отъездом домой, своей неожиданностью заставляло и до сих пор заставляет многих истолкователей «Жития Кирилла» недоумевать. На прощание Константин, пользуясь благоприятной обстановкой, предлагает желающим из хазар креститься. И слышит в ответ: «Мы себе не враги и так повелеваем, что от сего дня кто хочет, пусть помалу крестится». Ответ вроде бы вполне в духе щедрот, приличных проводам. Но это ещё не полный ответ. Вот его продолжение: «...А если кто от вас на запад кланяется или жидовские молитвы творит, или

сарацинскую веру держит, тот скоро смерть примет от нас».

Кто из присутствующих на заключительной встрече у правителей Хазарии посмел бы произнести такие слова вслух? Понятно, что ни сам каган, ни его главный советник (бек), ни кто-либо ещё из совопросников Философа не могли посулить себе скорой смерти. Да ещё от самих же себя принятой.

Алогичность, даже явная несуразность такого разворота переговорных событий очевидна. В современных истолкованиях алогичность, как правило, списывается на неловкое желание авторов жития изобразить победу Константина в приукрашенном до нелепости виде.

Но, может, неловкость была всё же иного рода — от неумения агиографов управиться с тем «многим», из которого им приходилось, уже без помощи Мефодия, отбирать «малое»? Что-то в последовательности изложения событий могло скомкаться, и какие-то швы в ткани рассказа резко сместились.

Кто всё-таки, отвечая на просьбу Философа, посмел произнести слова, совершенно нелепые в устах кагана, бека или заядлых спорщиков из свиты кагана? Такие слова могли принадлежать только существу совершенно постороннему, находящемуся вне этих стен, — тому, кто сам, ещё не будучи христианином, даёт волю своим людям креститься. Но креститься не всем сразу, скопом, впопыхах, а «по малу», чтобы не раздражить тех, кто принять новую веру ещё не готов. Мы слышим речь человека горячего, решительного, но, когда надо, осторожного, блюдущего в поступках меру.

Это речь, разумеется, не иудея, не магометанина. Это слова язычника, славянского князя-«кагана».

Вот где, кажется, приходит черёд ещё раз вслушаться в доводы академика Ламанского. Так, может, солунские братья всё же побывали на Днепре, в Киеве?

Не принимая версию Ламанского безоговорочно и целиком, почему бы не подкрепить её следующим соображением: за резким смысловым перепадом интонаций и выводов в «Житии Кирилла» действительно проступает намёк на сюжет, недостаточно внятно прописанный авторами жития.

И он таков: сразу после изнурительной для Константина полемики в столице каганата братья всё же совершают накоротке ещё одно водное путешествие — на север, к Полянскому князю. И пусть совсем недолго, но всё же участвуют и в работе другой миссии, направленной патриархом Фотием прямиком к днепровским славянам, к «народу Рос».

Возможно, такой неожиданно резкий рывок в неизведанные пространства покажется с их стороны слишком приключенческим и даже авантюрным, чтобы ему осуществиться. Но если еврейские и арабские купцы запросто добираются в те края, то почему не могут напоследок позволить себе такое путешествие два не ищущих никакой торговой корысти византийца, для которых чем дальше, тем больше судьба славянства становится их собственной судьбой?

К НАРОДУ ФУЛЛ

Огонь и дождь

Это произошло по возвращении братьев в Корсунь. Сидели за ужином у архиепископа Георгия. Сотрапезники расспрашивали о подробностях путешествия, о самой полемике в хазарской столице. Среди прочего братья рассказали и о том, что, когда каган перед прощанием выразил намерение одарить их дорогими подарками, они с благодарностью отказались, но попросили отпустить с ними своих единоверцев-ромеев, которые, как они узнали, пребывают по разным причинам в хазарском плену. Каган оказался милостив. Так на обратном пути в их походной дружине оказалось на двадцать человек больше. Не дороже ли такой прибыток любых даров?

Неожиданно, когда поднялись от трапезы, Константин обратился к владыке Георгию с тихой просьбой: «Отче, сотвори обо мне молитву, как если бы отец мой помолился обо мне».

Кто-то из присутствующих всё же расслышал эти его слова и, улучив минутку, полюбопытствовал, почему именно так младший из братьев попросил владыку.

«Отвеща Философ, — читаем в житии, — во истину от нас отыдет утро ко Господу».

Что понимать под этим «утро»? «Назавтра»? Или «вскоре»? Похоже, глава епархии был уже смертельно болен, но никто из его окружения не оказался готов к скоротечной развязке.

Событие запомнилось агиографам как свидетельство особой духовной собранности и чуткости Константина в самый канун кончины херсонского владыки. Наверняка братья участвовали в отпевании и погребении архиепископа Георгия, так по-отечески приветившего их и так расположившего к себе.

Вскоре же, перед тем как им покинуть Корсунь-Херсон, произошло ещё одно событие, задержавшее, хотя и не надолго, братьев в Таврике. В «Житии Кирилла» оно стоит как-то особняком. По первому впечатлению, описанное происшествие словно попало сюда из какой-то иной истории, посвященной совсем другому герою. Ни напрямую, ни косвенно случившееся не связано с заданием, полученным братьями в Константинополе.

Да и сам рассказ об этом событии начинается в житии как-то вдруг, с весьма живописного, даже экзотического описания места действия:

«Бете же в Фоульсте языци дуб велик, сросся с чрешнею, под ним же требы деяху, нарицающе именем Александр, женску полу не дающе приступати к нему, ни к требам его».

Итак, речь заходит о неком Фульском языке (роде, племени, народе?), люди которого, будучи сугубыми язычниками, избрали объектом поклонения и совершения своих треб какой-то впечатляющий размерами дуб, к тому же причудливо сросшийся со стволом черешни (что, видимо, и стало причиной выбора дерева для священнодействий).

Судя по тому, что эти люди присваивают дереву человеческое имя Александр, дубу явно приданы свойства мужского божества. Поклонение сакральному древу доверено только мужчинам племени.

Оказавшись в такой вот если не первобытной, то вполне патриархальной обстановке, Константин не теряется и сразу вступает с мужами в беседу. В житии не указано, на каком языке ведётся разговор, но, судя по его насыщенности вероисповедными вопросами, перед Философом толпятся язычники несколько особого склада. Если не все, то иные из них уже крещены, а остальные, по крайней мере, наслышаны о христианстве. Однако живут без постоянного духовного окормле-ния и потому снова уклонились на тропку к своему капищу, к преданиям и обычаям родной старины.

Свои укоры Философ начинает с того, что напоминает мужам о древних эллинских язычниках. Те ведь на вечную муку отправились за то, что вместо Бога поклонялись «небу и земли, такой велицей и добрей твари». Насколько же незавиднее участь тех, кто поклоняется дереву, вещи такой малой и ни-чтожной, подверженной гниению и огню. Если уж прельстились вещью, ежеминутно готовой в огонь, увещает Константин, «како имате избыти от вечнаго огня»!

Фульские мужи оправдывают поклонение дубу тем, что не сами они такой обряд придумали, но блюдут обычай своих отцов. Дуб помогает им при засухах, от жертв ему происходят обильные дожди. Если они

дерзнут отречься от отеческих преданий, не увидать их роду дождя до самой смерти.

Тогда Философ, указав на Библию, говорит собеседникам, что о них, о их народе в этой книге напрямую сказано: «Бог о вас в книгах глаголет, а вы како ся его отмещете?Исайа бо от лица Господня вопиет глаголя: гряду Аз собрати вся племена и языки, и приидут и узрят славу Мою, и поставлю на них знамение, и послю от них спасенныя в языкы, в Тарсис и в Фоул, и Лоуд и Мосох и Фовелъ, и в Элладу и в островы в далная, иже не суть слышали Моего имени, и возвестят славу Мою в языцех, глаголет Господь Вседержитель». И ещё говорит: «Се Аз послю рыбаря и ловця многы, и от холм и от скал каменных изловят вы».

Приводя отрывок из книги пророка Исайи, Философ хочет, чтобы слушающие его мужи не только удостоверились в древности своего народа Фулл, но и в том, что сам Господь устами пророка милостиво поминает их среди иных языков. Не хочет Вседержитель, чтобы этот народ затерялся вдалеке по-напрасну, не придя к общему спасению.

«Познайте же, братия, Бога, сотворшаго вы! — увещевает Константин примолкших слушателей. — Се евангелие Новаго Завета Божия, в нем же ся есте крестили».

И тут, после напоминания о том, что они ведь уже крещены и что негоже им теперь отступаться, пятясь к прошлому, от которого отреклись, из толпы мужей выступает старейшина рода. Он подходит к Константину и, видимо припомнив, как это положено

делать, целует евангелие. Следом за ним то же делают все остальные.

Философ раздаёт каждому по белой свече. Вместе идут к дубу. Константин берёт в руки секиру и наносит первый удар по стволу. Тридцать три наносимых проповедником удара — это тридцать три года земной жизни Сына Человеческого. Вокруг молча стояли мужи, сведущие в счёте.

Он замахнулся в последний раз. Кто примет тёплое топорище из его ладоней? Он рубил под самый корень. И пусть так же целит тот, кто вызвался быть следующим. Секира переходит из рук в руки. Но это не всё. Щепа, сучья, стволы, — всё-всё должно быть предано огню, чтобы ни у кого не возникло желания соорудить себе божка даже из обломка дерева. Пятиться некуда.

В ту же самую ночь пролился на народ Фулл и напоил его землю освежающий дождь. И порадовались люди такому обильному, от самого всемилостивого Бога сошедшему водосвятию.

Место действия

Маленький отрывок из «Жития Кирилла» своей живописностью и загадочностью притягивал и продолжает притягивать к себе особое внимание исследователей разных поколений и специальностей. Непривычным предстаёт в нём и сам Константин, смахивающий на какого-то отважного одиночку-миссионера из романтического авантюрного сюжета. Разве не с риском для жизни проникает он в мрачноватую толпу язычников, пугает их огненными карами и даже секиру берёт в руки? То есть

покушается на самое заветное, на святыню, с которой упорные древопоклонники связывают не просто благополучие, но в первую очередь существование своего племени. Особенно эта секира способна удивить в руках Философа. Мы-то до сих пор знали его как опытнейшего в словесных противоборствах богослова, мыслителя, книжника. И вдруг...

Но, впрочем, он ведь и теперь — с неизменной книгой в руке. Он и теперь, будто в каком-то озарении, безошибочно находит у любимого пророка слова, обращенные прямиком к слуху стоящих вокруг него людей. Он и теперь покоряет убедительностью своего горячего исповедного слова. А секира, что она? Можно подумать, за пять лет жизни на Горе он ни разу не выходил на рубку буковых или еловых стволов для монастырских печей? Ходил со всеми, не отлынивал.

Здесь, в Таврике, — знать, уж сам воздух её таков! — он вообще живёт какой-то до густоты, до звона в ушах заполненной событиями жизнью. Да тут что ни событие, то непредвиденность! Еврейские книги... разыскание мощей Климента... «русские письмена»... встреча с хазарским воеводой... самаритяне, отец с сыном... угры с их волчьими завываниями... Наконец, эти фулиты при дубе Александре. Может ли он, даже если все вещи уже упакованы для возвращения в столицу, не взойти на их холмы, не вскарабкаться на их скалы? Откуда, из каких преданий, подслушанных у других народов, попало к ним само имя Александр?

Так он воспитан, этот человек школы Фотия. Ему с отроческих лет привита ненасытность запросов — исторических, литературных, богословских,

языковедческих. Это человек имперского кругозора. Он мыслит в масштабах первой в мире христианской державы, её ближних и дальних окрестностей, а не в пределах улицы, квартала, жилья с полками книг. Державный уровень запросов не позволяет его любознательности превращаться в рассеянность. Всё новое, что он открывает для себя, он прибавляет, приторачивает к уже открытому. Его ведение не обессиливает самоё себя, но раз от разу становится более цельным.

И Константин с Мефодием, и их таврические сограждане, с которыми братья наверняка советовались перед своим походом к фулитам, знали об этом племени куда больше, чем сказано в «Житии Кирилла». И чем знаем теперь мы. Для ромеев-тавричан того века народ фулитов был не более таинственным и экзотичным, чем, к примеру, те же готы, хазары или венгры.

Это для нас язык Фулл стал историческим экзотом, поскольку никаких его достоверных следов на пёстрой этнической карте Крыма и остального мира сегодня не сохранилось. В пору же пребывания солунских братьев в Таврике существовал среди других населённых мест полуострова целый город по имени Фулла (ФоиМ.а). Это была та самая Фулл а, в которой, как явствует из его жития, томился в заточении Иоанн, епископ Готский, схваченный хазарами после подавления готского восстания. Позже прямо из той же Фуллы благодаря помощи местных жителей Иоанн был переправлен морем в Амастриду.

В VIII и IX веках на полуострове наряду с Херсонской, Готской, Сурожской и Боспорской существовала и отдельная Фулльская епархия, возведённая затем на степень архиепис-копии*.

* Митрополит Макарий (Булгаков) в своей «Истории Русской церкви» сообщает о ней, в частности: «Епархия Фулльская была, без сомнения, очень необширна, почему и присоединена впоследствии к епархии Сурожской под ведение одного архипастыря».

Помимо упоминания «фульского языка» в «Житии Кирилла» есть ещё одно свидетельство об этом народе и исходит оно непосредственно от самого Константина. В сочинении под названием «Похвала святей Богородици Кирилла Философа»* автор приводит развёрнутый перечень народов Европы, Азии и Африки, прославляющих Божию Матерь. В этом перечне различаются следы хазарской экспедиции солунских братьев, в том числе их знакомства с народами Черноморского побережья Кавказа — иверами (грузинами), абазгами (абхазами), аланами (предками осетин), и с народами Крыма, среди которых названы не только скифы, но и готфи (готы), и фили (фулы).

Но перечень есть перечень, в нём отсутствуют более подробные географические уточнения. В том числе, как и в житии, не обозначено, хотя бы приблизительно, место встречи Константина с фульскими мужами.

И всё же фулам, пусть и с большой отсрочкой, повезло. Отечественная историческая наука, в первую

очередь археология, неустанно разыскивает их уже с 30-х годов XIX века. Именно тогда славист Пётр Кеппен в своём «Крымском сборнике» писал: «...можно бы думать, что имя этого места скрывается в названии Рускофулей или Рускофиль-кале, которое татары дают следам построек на Никитском мысу. Другое название, напоминающее эту же Фуллу, есть Кастропуло...» Здесь Кеппен имел в виду урочище Кастропуло (или Кастро-фуло), находящееся между Форосом и Симеизом. То есть он искал Фуллу на береговой кромке южного Крыма. Уже в советское время археологические разыскания Фуллы передвинулись в континентальный Крым. А. Бертье-Делагард, а затем А. Якобсон указывали на крепостной город Чуфут-Кале в окрестностях Бахчисарая как на самое вероятное место существования города. По мнению исследователя из Коктебеля Александра Боспорца (Шапошникова), «больше шансов на это имя имеет византийская крепость на Тепе-Кермен». Суждение по крайней мере бескорыстное, если иметь в виду, что чаще всего нынешние археологи в связи с Фуллой указывают на плато Тепсень в непосредственных окрестностях Коктебеля, можно сказать, прямо за его околицей. Раскопки, которые производились здесь в 20-е, а затем в 50-е годы прошлого века, выявили фундамент огромной трёхнефной базилики, воз

* Авторство «Похвалы...», обозначенное в рукописном памятнике древнерусского происхождения, достаточно долго считалось спорным, но недавно благодаря публикации исчерпывающе аргументированной статьи А. А. Турилова,

посвященной памятнику, стало возможно говорить о принадлежности «Похвалы...» перу Константина-Кирилла.

ведённой на месте более старой, тоже каменной. Это во всём средневековом Крыму самая большая базилика после кафедрального Апостольского собора в Херсоне. По результатам разысканий на конец XX века археологи А. Герцен и Ю. Мога-ричев насчитали в связи с Фуллами «более 15 вариантов их локализации». Они же пришли к осторожно-скептическому выводу, «что в Крыму, возможно, были не одни Фуллы». Скитания в поисках неуловимого этнонима и топонима в скептически настроенных крымских кругах теперь рассматривают едва ли не как блажь или сумасбродство.

Одно очевидно: место действия, описанное в «Житии Кирилла», — не сам епископский город Фулла (или Фуллы, как теперь его чаще называют), а какая-то дебрь, глухомань. Симферопольский археолог Александр Джанов показывал автору этих строк современную карту-развёрстку заповедного Крыма, на которой среди пещер водораздельного горного плато в нескольких километрах от приморского посёлка Рыбачий обозначена пещера по имени Фул. Местность действительно маловодная, поскольку речки и ручьи скатываются с плато или в сторону моря, или в континентальном направлении. Глядя на карту, невольно вспоминаешь жалобы фульских древопоклонников на бездождия. Эти места малолюдны до сих пор, но наше с Джановым восхождение к пещере было прервано почти у подножия Караби-Яйлы

неумолимыми сторожами подгорных виноградников, заподозривших в нас расхитителей народного или уже приватизированного — вместе с самой грунтовой дорожкой — добра.

Притча

Возможно, Философ, приводя фульским скрытникам высказывание пророка, в котором упомянут среди язычников и народ Фулл, не был вполне уверен, что именно о его слушателях говорит Исайя. Но безусловно, что пророческий призыв к язычникам даже самых отдалённых дебрей и островов они вправе были воспринять как увещевание, обращенное в первую очередь к ним.

Как и когда эти люди оказались в Таврике? Они ведь, как те же готы или венгры, могли прикочевать сюда из очень дальних пределов земли. Великое переселение народов, самые бурные события которого прогрохотали в пределах Европы ещё до появления солунских братьев на свет, не прекратилось и на их веку. Живя на Малом Олимпе, они не могли не слышать множества историй о непривычности и невзгодах пограничной службы от своих славянских учеников, вчерашних ма-лоазийских граничар. По сути, пограничная служба — как незаменимое средство обеспечения надёжности и устойчивости всякого государства в его собственных пределах — в те века едва-едва налаживалась. Рубежи великой империи ромеев только кое-где и кое-как намечались, оставаясь по преимуществу чистой условностью, заветной мечтой стратигов, игрой ума государственных мужей.

В этом ромеи удостоверялись чуть не каждый год, а совсем недавно, в 860-м, убедились с особой наглядностью.

Покидая Таврику в следующем, 861 году, братья оставляли невеликую по размерам прибрежную кромку византийской земли, тоже, по сути, не обеспеченную границами. На востоке от неё колышется дебелая, рыхлая плоть многоязыкой и многоверной Хазарии, лишь по недоразумению считающей себя империей... Если на север глядеть, там, в безмерности, тоже не отмеченной никакими межами, рубежами и оплотами, обитают славянские племена, озадачивающие ромеев то несметностью своей морской армады, то, как теперь в Корсу-ни-Херсоне, письменами неведомо чьего изобретения.

А эти малые числом фульские мужи со своим Александром? Приютились на скалистом лесном закрайке Фулльской епархии и похожи на остаток потрёпанного невзгодами народа, который знавал лучшие дни и даже был знаком с Христовым благовестием, но напоследок прислонился к дубовому стволу, вымаливая себе хотя бы дождя.

Житийный рассказ о встрече Константина с этими людьми похож на притчу, и её назидательный смысл обращен к душе каждого христианина, когда бы он ни жил. Ты можешь, увидев место языческого радения, благоразумно обойти его стороной. Можешь спрятаться за кустами и с любопытством поглазеть на невидаль. Можешь даже восхититься причудливостью дуба, переплётшего свои ветви со стволом и кроной старой черешни, умилиться при виде светлых одежд

этих людей, совершающих свою загадочную требу, поджаривающих в клубах голубого дымка чьё-то мясо, так дразняще похожее на шашлычное... И можешь со вздохом растроганного миролюбия подумать про себя: а что?., и у них свои боги... как это хорошо, у каждого в душе свой бог... зачем же спорить, ссориться, выяснять, чей бог лучше... кому-то лучше с Христом, кому-то с деревом... сойдёмся на этом, переплетёмся своими душами и своими богами, как эти дуб и черешня...

Наши Константин и Мефодий, — а они как всегда или почти всегда в этом своём хождении были вместе, — оказавшись возле языческого требища, поступили, как видим, совсем не так. Совесть христианская подсказывала им, что нельзя ни обойти требище стороной, ни спрятаться в кустарнике, ни благодушно махнуть рукой: да ладно, пусть себе тешатся...

И если кого-то из читателей этой книги возмутит то, как поступили братья, то зачем же ему вообще читать такую книгу? Наши герои и дальше не изменят ни себе, ни Пославшему их на апостольский путь.

ДЕНЬ НЕДЕЛЬНЫЙ, ВОСКРЕСНЫЙ

Вознаграждения

Натрудились они.

Сами струи морские, с напряжением втягиваясь из переполненного Понта в узкую горловину Босфорского

пролива, подсказывали им напоследок, как они — сполна, а то и паче меры — натрудились.

Но разве не трудятся в любой час дня и ночи моряки, вновь и вновь выправляя под сменный ветер углы и груди парусов? Или рыбаки, что изо дня в день вбирают в свои лодчонки сырые сети с тощим уловом? И уже различимы на близких береговых склонах согбенные спины работников, что рыхлят железом землю в виноградных междурядьях. Восхищённым взглядом провожает виноградарь реющие к столице праздничные паруса, отирает зной со лба тыльными жилами ладони и — снова к своей заботе.

Но и мореходы, и рыбаки, и землепашцы делают дело, привычное для них от века. А они утрудили себя трудами, кажется, никем до них не испытанными.

Поручение, только что исполненное в Хазарии, самой своей чрезвычайностью подсказывало: они вправе теперь рассчитывать на возвращение к привычному ладу монастырской жизни. И это станет лучшей им наградой, а хворающему Константину ещё и самым целительным для него снадобьем. Они ведь в который раз сполна отдали кесарю кесарево.

Но у тех, кто их посылал за великое море, уже свои были намерения, касающиеся достойной мзды. В «Житии Мефодия» читаем: «Видев же цесарь и патриарх подвиг его», захотели посвятить его в архиепископы «на честное место, идеже есть потреба такого мужа». Однако Мефодий, судя по всему, нашёл убедительные слова, чтобы отказаться от такой обязывающей чести. Он, простой монах, — и в архиереи?.. Но от второго предложения,

последовавшего тогда же, уклониться не смог. Потому что речь теперь пошла о его с братом любимом Малом Олимпе.

Ему предложено было стать игуменом в монастыре Поли-хрон, монастыре, правда, не похожем на большинство тамошних, потому что в Полихроне подвизалось сразу семьдесят душ иноков. Отступи он, и это уже было бы сочтено за своеволие, каприз. Мефодий с благодарностью принял назначение.

И Константину, после его подробного доклада о ходе и смысле полемики, длившейся не один день у хазарского кагана, тоже было предложено вознаграждение. Но совсем особого рода. Пусть он покамест поживёт в тишине и без всяких обременении при цареградском храме Святых Апостолов. Но пусть на досуге присмотрится к загадочным надписям на одном древнем потире из храмовой сокровищницы. Чашу эту извлекают теперь на погляд только для него. Хазарский каган просто бы умер от зависти, узнай он, что доверяется сейчас Философу! Потому что потир сей, по преданию, исполнен был некогда для самого... царя Соломона.

Вот сколь чудесна чаша, вот какой заветный кубок доверяется, Константин, в твои руки! Лишь представь себе: из этого потира пригублял вино мудрейший среди библейских государей. Вкушал, дабы укрепляться в мудрости и силе...

Сам знаешь: каждый горожанин, останови его на улице и спроси, что он скажет о великих святынях, сокровищах и трофеях, доставшихся в наследство ромейской державе от древних народов и земель, с

детской радостью начнёт загибать пальцы на руках. В одной лишь Великой Софии видимо-невидимо святынь: и каменная плита, за которой трапезовали у праотца Авраама три ангела, и входные двери, вытесанные из уцелевших досок Ноева ковчега, и кладезь с водой из Иордана, и пещь-жаровня, в коей пытали да сжечь не смогли трёх святых отроков, и колонна исцеления, в которую вмурованы мощи Григория Богослова... А сколько ещё святых останков в золотых и серебряных мощевиках под сводами собора!..

— А топор?! — вмешается кто-то из собравшейся мигом толпы.

— Какой ещё топор?

— Да плотницкий! Его же, праотца Ноя топор. Зря ли он выставлен на погляденье в подземной крипте, под колонной Константина Великого?.. И рядом с топором ещё святыня — посох Моисея: ударом того посоха пророк воду из скалы высек...

Любят ромеи свои святыни, и крепко обидишь их, если усомнишься: а точно ли тот топор, те ли самые доски ковчежные, тот ли подлинно посох? Потащат тебя за рукав на ипподром — прямиком к египетскому гранитному обелиску, заставят прочитать фараонову грамоту на четырёх розовых гранях. Не можешь? И никто не может уразуметь смысла тех птиц и собак, и гадов, и прочих див. Так они же высечены ещё до буквенной грамоты, считай, до того же Моисея! И никто не усомнится, что не было египетского письма. Вот оно, глазей! Царский град подделок не принимает.

«...Потир от драгаго камения, Соломоня дела, — сообщает «Житие Кирилла» о кубке из реликвария Святых Апостолов, — на нем же суть письмена жидовъска и самаренска, грани написа-ни> их же никто же не можаше ни понести, ни сказати».

Никто прочитать не может? А на что наш Философ, который всё может, что бы ему ни поручалось?.. За житийным сюжетом о чаше так и слышится очередная похвальба молодого василевса: ну, кому ещё, кроме моего Философа, так охочего до диковинных восточных грамот и буквиц, управиться с надписями!

И Константин, с истинно философической невозмутимостью уединившись в своём временном прицерковном жилище и крепко помолясь, принялся за дело. Ему и намоленные стены собора, второго по достоинству в столице, похоже, вызвались пособить. Под сводами Святых Апостолов его ждёт суровая благоговейная тишина, будто сама вечность здесь уже вступила в свои права, затворив людской слух для всего мимо-семенящего, суетного. Тут, в усыпальнице византийских императоров, век за веком патриархи смиренно отпевали своих государей, прося для каждого пред Господом милосердия, освобождения надорвавшейся души от земных вожделений и скорбей...

Тут что ни саркофаг, то великая напряжённая немота. Но она, знать, не помеха душам ушедших ответствовать пред Господом... Вот он, вблизи алтаря, глыбится простой и суровый, безо всяких украс, саркофаг самого Константина Великого. Ни единой надписи на его стенах. Будто попросил, уходя: вы

свободны, мои ромеи, так пишите же в уме сами, что надумаете обо мне.

А эта чаша — чем она наполнена до краёв, какими тайнами? Её облистанную металлом плоть, действительно, отличали приметы сугубой, напрягшейся в очерствении древности. Но предание есть предание. Мало ли кому пожелалось — давно или недавно? — погрезить о потире как о реликвии царского происхождения, да и ещё такого высокого. В христианском мире Соломон, как и отец его Давид почитаются царями святыми, царями-пророками. И тот и другой написали великие, вдохновенные книги, но разве хоть где-то в них вычитывается подсказка о такой вот чаше?

Оставался один-единственный путь: попытаться на свой страх и риск, оставшись без книжных путеводных намёков, впериться взглядом в буквенные сгустки надписей на её гранях.

Граней было три. На первой он — тщательно определив букву за буквой и читая их справа налево, а не слева направо, как читают греки, латиняне и все, кто им последовал, — разобрал после немалых затруднений таинственный стих: «Чаша моя, чаша моя, прорицай, пока звезда. В напоение будь первенцу, не спящему в ночи». Затем, ободрённый прикосновением к просочившимся из каменных пор смыслам, прочитал и вторую грань: «На вкушение Господне сотворена от древа иного. Пий и упийся весельем и возопии: аллилуйя». Третья грань далась легче. Она гласила: «Се Господин, и узрит весь сонм славу его, и Давид царь посреди них».

Но за словами следовали и числа. Когда он уразумел их значения, вышло число девятьсот и девять. Рассчитав же сроки «по тонку» (то есть, как можно догадываться, с сопоставлением ветхозаветной и византийской хронологий), он заключил, что надписи высечены на двадцатом году правления Соломона — за девятьсот и девять лет до «царства Христова».

Прочтения и пересчёт подсказывали: чаша подлинно содержит в своих написаниях драгоценное предвестие. Пусть и прикровенно, она прорицает своими таинственными стихами о Первенце, не спящем в ночи под звездой. И о том, что из потира, такого или подобных ему, будет сонм людской вкушать тело и кровь Господни за духовной своей трапезой. А в той радости, в том веселье не останутся внешними и те, кто прорицал Христа, — и Давид царь среди них.

Чаша стояла теперь перед ним наяву. Но она пребывала одновременно и там, в кромешных глубинах прошлого, — отделённая от его тихого дыхания без малого двумя тысячами лет... Бери же в руки, пригуби, пей! И он хмелел небуйным небесным весельем, благодаря Бога, подарившего ему такую высокую радость.

И когда выходил он после часов труда на солнечный свет, голова слегка кружилась — от гомона птиц, от шелеста ветерка, дувшего с Пропонтиды, от щебета детей, что радовались концу урока в своём училище.

Порыв

Сразу же встык этим скупым сообщениям двух житий о поощрении братьев агиографы говорят о

прибытии в Константинополь посольства от некоего князя по имени Ростислав.

И почти тут же и Мефодий, и Константин получают приглашения, похожие на повестки: в назначенный день и час быть во дворце — у того же Михаила III.

Так узаконено в мире: повелитель — слуга всем своим подданным, но и каждый подданный обязан сполна отслужить повелителю своему. Таков государев налог: вздохни, даже возропщи молча, но — отслужи. И в преодолении себя уже найдёшь утешение.

Накануне события им скажут, в каком именно из триклиниев Большого дворца нужно появиться. Это воля цесарева и хлопоты тех, кому он поручает подробности протокола. У каждого чиновника — тоже свой налог, своё искусство исполнительности. Вот пусть они и хлопочут о том, какой триклиний предпочтительнее для назначенного события: великолепный Лавсиак, или же Магнавра, удобная для устроения самых важных приёмов, не зря в Магнавре находится и почётнейший из всех — Соломонов трон... Или предпочтут иным дворцам прибрежный Вуколеон, или Кариан, Манганы, Зинон, Дагис-фей... или даже пригородный Врийский дворец.

Когда придворному распорядителю в радость все эти упоительные тонкости и прихоти имперского церемониала, то он, значит, — на своём месте и не чает лучшей участи. А Мефодию с Константином не всё ли равно, в какой из триклиниев велят им явиться?! Тревожит лишь предчувствие: для каких ещё особых нужд вызваны, и так не вовремя? Ведь старший, получив назначение на Гору, в Полихрон, собирается

туда. (Или уже отбыл в Вифинию и должен срочно возвратиться?) А младший, счастливо разрешив загадку древнего потира, тоже, скорее всего, надеется отъехать на Малый Олимп к брату. И, попутно, попить вод из целебных источников, которыми славится Вифиния. Но вот какая-то ещё в них возникает нужда...

«Вдруг ему другое дело приспевает и труд не менее прежних, — объясняет «Житие Кирилла». — Ибо Ростислав, Моравский князь, Богом наставлен, собрав совет с князьями своими и с моравлянами, послал послов к царю Михаилу, говоря: "Людям нашим, поганства отвергшимся и христианского закона держащимся, нет учителя такого, кто бы нам нашим же языком истинную веру христианскую изложил, чтобы и другие страны, то видя, нам уподобились. А потому пошли нам, владыка, епископа и учителя такого. Ибо от вас на все страны добрый закон исходит "».

«Житие Мефодия» излагает событие столь же сдержанно, хотя в нём прочитываются новые подробности, достойные не меньшего внимания:

«Случилось же в те дни, что Ростислав, князь Словенский, со Святополком прислал из Моравы к царю Михаилу, говоря так: "Божиею милостью мы во здравии пребываем, и к нам приходили учителя многие христиане из Влах, и из Грек, и из Немец, уча нас различно. А мы, Словене, простая чадь, и не имеем того, кто бы нас наставил на истину и смысл объяснил. А потому, добрый владыка, пошли нам таких мужей, которые нам исправят всякую правду"».

Такова причина срочного вызова братьев во дворец. Царь собрал совет, желает видеть и этих двоих. Но не

для того, чтобы услышать их мнение о неожиданном посольстве и необычной просьбе. А для того, чтобы довести до них своё уже принятое на сей счёт решение.

«Философ, я знаю, что ты нездоров теперь, — обращается василевс доверительно, без обиняков и почти по-приятельски к Константину. — Но предстоит тебе идти к ним. Такого дела не сможет никто исполнить, только ты».

В почтительном ответе Константина можно различить куда больше недоумения, чем готовности исполнять что-то подобное, да ещё и немедленно:

«Хотя утруждён телом и болен, но рад был бы пойти к ним, — если только имеют они буквы для своего языка».

На это император говорит нечто неопределённое, внушительно-обтекаемое, но уже и с оттенком раздражения:

«Если дед мой и отец мой и иные многие искали того, но не нашли, то как же могу и я обрести ?»

Философ, чтобы доходчивее объяснить своё затруднение, спрашивает:

«Но кто же может на воде записать Святое Писание? Чтобы имя еретика себе получить?»

На это Михаил отвечает, прибегнув к благообразной подсказке кесаря Варды (брат императрицы Феодоры тоже участвует в обсуждении):

«Если очень захочешь, то всё может дать тебе Бог, как и всем даёт, кто просит без сомнения, — каждому толкающему отверзает».

В «Житии Мефодия» упомянут ещё один довод василевса, припасённый, чтобы поощрить братьев к

решимости. Довод этот своей ласково-шутливой простотой, видимо, призван польстить и даже растрогать их. Михаил, как о деле решённом, говорит Философу:

«Взяв брата своего игумена Мефодия, иди же. Ибо вы солуняне, а солу няне все чисто по-словенски беседуют».

Житийные записи о ходе того собрания не могут не вызвать сегодня множества вопросов, в том числе подобных тем, какие возникали у братьев во время самого обсуждения. Просьбу князя со славянским именем Ростислав и его сподвижника по имени Святополк агиографы, как видим, приводят не целиком и не в цитатах, а лишь в пересказах. Неизвестно даже, была ли это грамота, письменный документ, или послы представили ходатайство своего господина только в устном изложении. Вообще всё это — и пересказы княжеских просьб, и их поспешное обсуждение у василевса — волей-неволей воспроизводит атмосферу какой-то взаимной наивности, а то и сказочной бестолковости в духе повеления «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...».

Право же, далеко не всё внятно и складно уже в самом обращении этого Ростислава. Князь говорит, что его моравляне отверглись язычества и приняли христианство. Но в каком же смысле они его приняли, если вера по сей день остаётся для них чем-то иноязычным? Да и можно ли укрепиться в вере, когда приходят к вам то те, то другие, то третьи, и все учат по-разному? Значит, не очень-то моравляне «отверглись» и не очень-то «приняли».

Вряд ли могли уразуметь собравшиеся, о каких таких учителях-греках говорил Ростислав. Ведь отсюда, из Царьграда, учителей к моравскому князю посылать никак не могли, поскольку не знали о нём самом и его нуждах ничего достоверного. И кого, кстати, имеет в виду Ростислав под учителями-влахами? Разве влахи — христиане, а не балканские бродяги неведомо какого роду-племени?

И ещё смущала в этом князе его пылкая самонадеянность: не обретя настоящей веры, он уже надеется стать образцом для окружающих его землю языков!

Но при всём том в просьбе неведомого Ростислава подкупали какая-то трогательная беззащитность и доверчивость, надежда на то, что помощь непременно придёт. Он не стесняется говорить о себе и о своих моравлянах: мы — простая чадь, мы — дети несмышлёные, но мы чаем правды Христовой, помогите!..

Кажется, именно это растрогало тогда всех, услышавших послание, обращенное князем к великому властелину империи. И он сам, Михаил III, явно был взволнован неожиданным зовом загадочного Ростислава, живущего невесть где, в непроходимых, должно быть, лесах или болотах, но знающего: есть на свете великая и милосердная христианская держава, и нужно ему с его моравлянами смотреть неотрывно в её сторону, а не на немцев или каких-то там влахов.

Не этой ли растроганностью, действующей не слабее дорогого вина, и можно объяснить ту стремительность решений, которую захотел показать в

тот день молодой василевс. Вдруг открывались перед его державным взором пространства неведомые, ничьим пером точно не описанные. Тут, поблизости, на кого ни глянь, все ищут урвать от империи ромеев куски пожирнее — и арабы, и болгарские ханы. Или эти вот дикие русы, что два года назад вломились прямо в бухту Суд, пока он отлучался, на воинском седле скакал в Азию, чтобы в который раз утихомирить арабов.

А этот простак Ростислав ничего от него урвать не ищет. Он сам целый воз даров прислал, лишь бы отправил ему император достойных учителей веры. Свежий северный порыв откуда-то с верховьев Дуная, поверх болгарских гор, явно взбудоражил Михаила. Невольно вспоминались за столом старинные предания о том, что данайцы, древняя опора и основа греческого рода, спустились сюда, к срединным морям, как раз с севера, с Дуная. Данайцы... дунайцы... Полна чудес старина!.. Эти моравляне, хоть и простая чадь, но, слышно, под рукой Ростислава не дают немецкому королю грабить своё княжество. Надо, надо поскорее помочь славному воину! Ведь даже имя его, как подсказывают те же солунские братья, означает, что слава этого князя растёт и что родитель его, назвав сына так, а не иначе, тем самым напутствовал: расти в славе!..

Из житийных сообщений не ясно, присутствовали на том собрании у василевса послы дунайского князя или нет. Скорее всего, их не было. Михаил вряд ли захотел бы при них озадачивать своих подданных новым непредвиденным поручением. Он ведь этих

братьев тоже знал достаточно и потому вовсе не был уверен, что они его новейшее повеление примут с восторгом на лицах. Особенно непредсказуем для него был Константин. Сразу же взял и оконфузил всех, упёршись в какие-то буквы: «...если есть там у них свои буквы, тогда пойду». Дались этому буквоеду буквы! А ты пойди и поищи...

Иное дело Мефодий. Он — воин по натуре. Позавчера стратиг, вчера простой монах и участник миссии к хазарам, сегодня игумен, а завтра — за любимым братцем, с которого готов, кажется, пушинку сдувать, пойдёт хоть за край света.

Велик цесарь Михаил!

О, если бы все великие события приводились в действие великими же людьми. Какой образцовой была бы история: ровная, будто по ниточке, линия от великого к великому. Но, заметим, и как скучна, до зевоты скучна была бы она. Не потому ли сплошь да рядом история не брезгует самым завалящим материалом и не стесняется зачинать большие свершения при содействии первых подвернувшихся под руку лиц, может быть, не очень соображающих, каковы её, истории, настоящие намерения.

На византийском троне за тысячу и сто лет существования империи попадались василевсы, которые заслуживали у современников не вполне благозвучные прозвища. Но только один-единственный из всех — Михаил III, сын императора Феофила и императрицы Феодоры, сподобился получить кличку Пьяница. По русской снисходительности к печальному недугу случай с таким государем, пожалуй, прошёл бы

почти незамеченным. Ещё, глядишь, и жалели бы его непритворно. Право, разве не бедолага был этот Михаил? С четырёх лет от роду остался без отца. Рос не столько при материнском догляде, сколько при дядином регентстве. По свидетельству некоторых своих современников, любил винцо, ночные кутежи, скоморохов, ипподромные ристалища, допускал скабрезные и даже богохульные выходки. Иное дело, что из своих выгод могли те самые современники и оболгать его, очернить до неузнаваемости. Но, в любом случае, ничем особенным не прославился Михаил III в глазах своих ромеев — ни выдающимся храмостроительством, ни полководческим даром, ни писанием книг, ни установлением мудрых законов. Всего чуть более десяти лет просидел на троне. Не дожив и до тридцати, зарезан был заговорщиками в своей опочивальне. Разве за пьянство так наказывают?

В старейшей русской летописи, «Повести временных лет», этот император византийский упомянут, однако, по совершенно другому и совершенно исключительному для собственно русской истории поводу: именно со времени его воцарения начат был отсчёт лет и ежегодных записей в нашем хронографе.

«Влето 6360у — сообщает «Повесть...», — наненшу Михаилу царствовати, начата прозывати Руска земля. О сем бо уведа-хом, яко при сем цари приходиша Русь на Царьгород, якоже пишется в летописании гречестем. Тем же отселе почнем и числа положим...»

Летописец за первую веху для своего отсчёта берёт именно дату начала самостоятельного правления

Михаила — 856 год (или 6360-й, по принятой в этой статье эре от Сотворения мира), а не более поздний год, когда неведомая грекам Русь пришла ратью к стенам Царьграда. Да, нашествие случилось, как мы помним, как раз «при сем цари». Но ведь могло быть и при каком-то другом. Почему всё же Михаил III так выделен, так необычно укрупнён?

Более того, сразу вслед за этим упоминанием он — волею первого русского летописца — включается в самый высокий именной ряд всемирной истории:

«От Адама до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама 1000 и 82 года, а от Авраама до исхода Моисея 430лет, а от исхода Моисея до Давида 600 и 1 год, а от Давида и от начала царствования Соломона до пленения Иерусалима 448лет, а от пленения до Александра Македонского 318 лет, а от Александра до Рождества Христова 333 лет, а от Христова Рождества до Константина 318 лет, от Константина же до сего Михаила 542 года».

То есть непосредственно за Константином Великим — он, Михаил. Третий по счёту в чреде ничем не знаменитых Михаилов. Ни много ни мало сакральная метаисторическая очерёдность!

Не ошибся ли малоопытный ещё в счислениях русский летописец? Не слишком ли высокая, даже исключительная честь для императора с несколько двоящейся славой? Но нет, хронограф стоек в своём выборе. И потому сразу же продолжает:

«А от первого года княжения Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29лет...»

То есть именем этого василевса, как рычагом, сдвигается с дохронологического поля материк уже собственно русской письменной истории — князь Олег, за ним Игорь, Святослав, Ярополк, Владимир, Ярослав...

За какие всё же особые заслуги так монументально обозначен император, ничем особо не возвеличивший державу ромеев?

«Повесть временных лет» не оставляет без внимания ещё одно событие с его участием. Может, оно сполна объяснит преимущество свежего взгляда на вещи с русской стороны?

«Царь Михаил с воинами направился берегом и морем на болгар. Болгары же, узнав об этом, не смогли противостоять им, попросили их крестить и обещали покориться грекам. Царь же крестил их князя и всех бояр, и заключили мир с болгарами».

Да, в понимании древнерусского летописца, крещение болгар — событие особой важности, и не только для двух соседок и постоянных соперниц — Византии и Болгарии. Опосредованно и для Руси оно важное.

А ещё через несколько страниц «Повести временных лет» её автор «впускает» своих читателей в тот самый день, когда в константинопольском дворце обсуждалось послание от мо-равлян:

«...Славяне были крещёными, когда их князья Ростислав, Свя-тополк и Коцел обратились к царю Михаилу, говоря: "Земля ната крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и учил нас, и растолковывал священные книги, ибо не знаем мы ни

греческого, ни латинского языка. Одни нас учат так — другие иначе, мы же не знаем ни написание букв, ни их значение. Пошлите нам учителей, которые могли бы рассказать нам о книжных словах и о их смысле". Услышав это, царь Михаил созвал философов и пересказал им всё, что передали славянские князья».

То есть мы читаем не что иное, как пересказ двух житийных отрывков, уже нам известных. Но если участники собрания в императорском дворце видели и слышали только самое начало события и неизвестно было ещё, будет оно иметь продолжение или нет, то летописец говорит о славянской грамоте как о чём-то вполне достоверном, уже состоявшемся:

«Им, моравам, первым были переведены книги грамотой, прозванной славянской. Эта же грамота на Руси и в Болгарии Дунайской».

Вот в чём выявилось преимущество взгляда со стороны. Но взгляда вовсе не стороннего. Около тысячи лет тому назад первый летописец Древней Руси пересказал в «Повести...», пусть не дословно, не по текстам двух житий, а по тому, как запомнил их смысл, едва ли не самое важное. И вот почему такое особое достоинство придаёт он личности и деянию именно Михаила III. Вот, по его убеждению, главное событие в недолгой жизни византийского государя: Михаил расслышал просьбу неизвестных ему славянских князей, «созвал философов» и пересказал им то, что расслышал. Кто, кроме правителя великого царства, имел власть, волю и простое человеческое хотение, чтобы поступить так? Велик цесарь Михаил для русского разумения! Ещё и потому велик, что он,

древнерусский книжник, свой сказ о Михаиле и Ростиславе записывает теперь той самой грамотой, теми самыми буквами, которые по императорской воле и зачались на свет...

По-иному сказать, василевс Михаил III повернул тогда только ему принадлежащий государев ключик в очень непростом и малопонятном ему по устройству, назначению и возможностям механизме, и внутри византийского государева устройства всё стало нехотя шевелиться, издавать какие-то там похрустывания, пощипывания, вовсе ещё и не напоминающие мелодию...

Но дух такой на него повеял, — и ключик повёрнут.

А что он сам? Да он мог и забыть почти тут же про этот свой властный и добрый поступок, заторопиться, допустим, на скачки, на затеянную где-нибудь пирушку, да, словом, мало ли куда и в какой вовсе не философской компании. Ключик, однако, повёрнут.

Но ни он сам, ни другой кто из присутствующих, ни даже первый русский летописец, доброхот Михаила III не могли ещё осознавать, что в столице Византийской империи Константинополе был дан в те часы отсчёт событию поистине всемирной культурной значимости.

Подлинно, имеет право и великое деяние зачаться от толчка почти незаметного.

Не империя, но держава

Ни «Житие Кирилла», ни «Житие Мефодия» не упоминают ещё одного человека, который не мог не участвовать в том собрании. Это был патриарх Фотий. Вопрос об отправке новой христианской миссии, теперь уже в Моравию, то есть вопрос сугубо

вероучительный, никак не мог быть поставлен и обсуждён в обход мнения и воли первоиерарха Константинопольской церкви.

Кажется, никто из исследователей, работавших с текстами двух житий, не обратил внимания или не счёл нужным сосредоточиваться на том, почему агиографы вообще нигде и ни разу не называют патриарха Фотия по имени. Между тем для них, агиографов, да и вообще для всех учеников Кирилла и Мефодия такое умолчание представлялось осознанным, намеренным и вполне извинительным. В те десятилетия, когда — после кончины младшего, а потом и старшего братьев — их жития появлялись на свет, упоминание в них имени патриарха Фотия, хоть какие-то сведения о его сочувственном, неизменно добром и покровительственном отношении к двум солунянам могли лишь повредить делу их самих и их учеников. (К этой теме нам предстоит ещё не раз возвращаться.)

С самых лет ученичества Константина в столичной придворной школе, в пору его поездки в Багдад, в годы пребывания братьев в монастыре на Малом Олимпе, во время их Хазарской миссии Фотий — сначала как педагог, затем как высокопоставленный имперский чиновник, наконец и как патриарх — неизменно держал братьев в поле своего наставнического, пастырского внимания.

Так не могло не быть и теперь.

Фотий до мозга костей был сыном христианского Константинополя, и молоком материнским питала его Святая София. Он вырос в придворной среде, но от её дурных влияний огораживал себя стенами мудрых

книг. Он слыл человеком чистых духовных и художественных созерцаний, но, когда неожиданно был призван к пастырству, обнаружил отвагу христианского полемиста, различил в себе дар богословских прозрений и отважных исповеднических поступков.

Сейчас, услышав, что в столичные врата постучал славянский князь с севера, он уловил в этих звуках что-то поистине евангельское: мужествуйте, дерзайте, и отверзется вам!..

Такое ведь не впервые происходит при нём. Сколь ни гнусным показалось ему недавнее нашествие народа Рос, как ни возмутило наглое намерение дикарей вломиться в город, но чем же всё разрешилось? К тому народу уже отправлены проповедники, и они шлют ободряющие вести о первых крещениях в среде язычников... Или те же болгары, перемешавшиеся с балканскими славянами, — разве у них не такие же перемены могут произойти?.. Фотий год за годом всё больше укреплялся в предчувствии, что славянские народы, до сих пор неведомые, рассеянные по миру, приходят в какое-то духовное беспокойство и каждый из них, как умеет, хочет заявить о своей жажде веры. Не исполняется ли слово пророка, сказавшего: «Узнают Меня все от малого их до великого их...» И не по всей ли земле двинулось теперь «слово апостольских учений, и до пределов вселенной — речи их»?

Вот и этот князь, живущий где-то в земле, по которой ещё недавно носились в пыли и смраде полчища аваров и гуннов, — он тоже жаждет испить воды жизни. Фотия не могло не порадовать, что василевс Михаил так непосредственно, даже сердечно

приветил моравлянских послов, так решительно настроился помочь Ростиславу. И он, Фотий, тоже понимает, что для исполнения такой вероучительной миссии не найти во всём Константинополе более достойных исполнителей, чем эта никогда не забываемая в его молитвах двоица. Особенно нужны молитвенная поддержка, одобряющее слово младшему, потому что он и из последней поездки вернулся в телесном изнурении.

Как непросто быть на свете истинным ромеем, достойным сыном империи! Потому непросто, что империя наша небывалая, ещё невиданная — христианская. А, значит, её принцип — не власть сама по себе и для самой себя, как было у восточных царей и сатрапов, у Александра Македонского или у римлян. Её принцип тоже небывалый — удерживать. От разложения удерживать, а не просто властвовать. Удерживать становящийся в веках и землях христианский мир от распада. И потому она есть по сути своей не империя, но держава, держание, земное подобие Державы небесной, где искони правит Вседержитель в окружении собора своих святых. Отсюда, что ни век, столько зависти к державе христианской, столько войн, ересей, озлоблений, внутренних и внешних покушений на её миротворческий уклад. До того ведь уже дошли было иконоборцы, что замазали известью лик Вседержителя Христа в самом куполе Святой Софии.

Ещё в молодые свои годы Фотий испытал, как мстительны бывают ненавистники церковного иконописания. Его отец и дядя, стойкие защитники

иконного искусства, подверглись в ту пору анафеме, не избежал и сам он такой же участи. Вот почему, став патриархом, так много сил отдавал теперь восстановлению фресок и росписей в храмах, написанию новых настенных и иконных композиций. При освящении одной из столичных церквей обратил в своей проповеди внимание молящихся на образ Христа в куполе: «Он как бы обозревает землю, обдумывая её устройство и управление ею. Художник хотел таким образом формами и красками передать попечение Творца о нас». Но если ты истинный христианин, — будь ты василевс или простой воин, пастух или мореплаватель, — то научайся и ты попечению Царя Небесного о земле, участвуй, в меру своих сил, в заботах об управлении её пределами. Ты — сын державы своей, смотри же на мир ясным, открытым и бесстрашным державным взглядом, подражая Творцу...

Успел ли патриарх Фотий на том собрании у Михаила III приободрить братьев, уловив их внутреннее смятение перед чрезвычайностью только что услышанного ими замысла? Если и не успел, то они и в молчании его могли прочитать не уклончивость, не заминку, а твёрдый благословляющий смысл. Видите, братья, как этот князь славянский дерзает? Дерзайте же и вы! Потому что кто же, как не вы?!

Первое знакомство

Хотим мы того или нет, но часто, за нехваткой в нашем хозяйстве сведений, приходится говорить не о том, как определённое событие происходило, а о том, каким образом оно, скорее всего, могло произойти.

Вот и теперь: не зная, всё же предполагаем... Двум братьям, только что покинувшим дворец, необходима была — для того, чтобы поскорее приземлиться после непредвиденного для них полёта в головокружительных эмпиреях, для того, чтобы свыкнуться с мыслью о прозвучавшем поручении, и для того, чтобы произнести наконец своё твёрдое «да» или «нет», — просто как воздух была нужна одна срочная встреча. Нужна была беседа с послами, прибывшими из Моравии.

Послы наверняка дожидались своей участи в Константинополе. Они никак не могли отбыть домой так же нежданно, как и прибыли. Их участь вряд ли будет завидной, явись они к своему князю ни с чем, пусть даже и привезут домой щедрые отдарки василевса.

Если только среди них нет бывалого купца, эти послы слабы изъясняться по-гречески. Скорее всего, они, по близости своей к латиноговорящим немцам-священникам, лучше греческого знают латынь. Но раз они славяне, то чего же ещё нужно! Надо разговорить их по-славянски. Тогда многое или даже очень многое станет стремительно определяться.

Каково наречие у этих моравлян? Сильно ли оно отличается от говора славян солунских? Или славян вифинских? Или живущих у болгар? Или тех славян, с которыми братья встречались в Херсоне, на пути в Хазарию, в самой Хазарии?

Догадываемся, встреча состоялась. И это была не просто живая и непринуждённая беседа. С каждой её минутой и братьям, и их собеседникам становилось

очевиднее, что они — почти свои. В чужом краю, посреди иноязычной и безразличной толпы послы Ростислава, до сих пор ещё пребывающие в великой тревоге и неведении относительно исхода своего дела, вдруг приходят в жильё к двум грекам и с первых же слов с радостью обнаруживают: эти столичные ромеи по языку своему — для них совсем как родные!

Послов должно было восхитить, до чего же хорошо два эти грека знают их речь, а братья — про себя или вслух — тоже восхищались: да у этих моравлян в их говоре, как и должно быть, полная цевница чисто славянских звуков! И в их речи, как и должно быть, три рода, и они не путают единственное число и множественное; и у них тоже есть редкостное двойственное число; и глагол у них работает, как положено, по всем временам, и имена с прилагательными и местоимениями склоняются, не то что у болгар, которые стараются, но всё никак не научатся склонять имена по-славянски... И звательный падеж у этих моравлян на своём достойном месте: Боже, Господи, чадо, сыне, мати...

И — чудо! — они даже произносят медленно и важно молитву «Отче наш...» по-славянски. Но от кого выучились? Не от немцев же? — Нет, не от немцев, но от каких-то монахов, приходивших в Баварию с запада. Кто запомнил с тех пор Отче наш... а кто и Символ веры... Есть у них при себе пергаменный лист с началом ещё одной молитвы, заполнен лист латинскими буквами: «Bose gozpodi miloztiuvi otze...» Уже по первой строчке братья заметили, что человеку, пытавшемуся записать славянские звуки латынью, явно

не хватало нужных букв. В слове «Боже» вместо Ж он писал S, а в слове «Господи» не расслышал С и вместо него поместил Z, и в слове «Отче» вместо Ч снова поставил Z. Значит, своих собственных букв, своего алфавита у моравлян нет. А потому само по себе теряло силу условие, которое совсем недавно Константин огласил в присутствии василевса: «Если есть у них свои буквы, то пойду...» Он ведь тем самым хотел лишь заметить, насколько облегчается дело задуманного учительства, когда встречаешься с людьми, уже обученными письму, притом письму собственного изделия. Их не нужно учить самым азам.

Зато как радостно было теперь послам узнать, что у братьев, оказывается, есть в запасе свои готовые буквы для славянских звуков, с которыми не управился старательный латинский грамотей. Буква для звука Ж напоминает по рисунку жука, а для звука Ч — чашицу... И ещё несколько других знаков есть для славянской речи, и они рады показать послам эти знаки, каких нет ни в латинском письме, ни в греческом. Но что буквы?! Они — лишь самый начаток грамоты. Много хуже, когда не хватает не только букв, но и нужных слов и стоящих за ними смыслов. И какая радость, что речь моравлян богата и красива и в ней достаточно выразительных и умных слов, чтобы рассказать о своём князе и других князьях, о своём народе и его земле.

Князь их светлый и славный Ростислав княжит в Моравии уже без малого 20 лет. Он племянник князя Моймира, а мужественный Моймир первым в своём роду не захотел покоряться немцам, потому что немцы

таковы, что всегда им мало своего и хотят держать моравлян и всех других славян — тех же чехов, сорбов, хорутан и вислян — за покорное стадо. Когда Моймир сплотил вокруг своего стола в Велеграде малых князей моравской земли, король немецкий, он же франкский Людовик II до конца ожесточился и, собрав войско, сверг Моймира, а на его место посадил молодого Ростислава, надеясь на его покорность за такой подарок. Немцы с той поры зовут Ростислава на свой лад: Растиц.

Но Ростислав не смалодушничал и покорился лишь для вида. Он и не думал изменять делу своего дяди. Уже столько лет с тех пор он выстаивает против короля. Опытному правителю не обойтись одной отвагой, нужны и хитрость, расчёт. Однажды, дознав о подготовке нового похода Людовика против моравлян, князь позвал в союзники болгар — они накануне размирились с королём. В другой раз действовал совместно со старшим сыном короля Карл Оманом, у которого завелись свои счёты с отцом. Какие? Да спешит примерить на себя немецкую корону. Вместе с этим Карломаном Ростислав разбил год тому назад рать Прибины, князя хотя и славянского, но уже давно переметнувшегося к немцам. Теперь, после гибели

Прибины на его столе в Паннонии, в Блатнограде сидит князь Коцел, сын Прибины. С Ростиславом он зажил не просто в мире, но и в согласии.

Людовик Немецкий не таков, чтобы спускать обиды — снова начал готовиться ратью на моравлян. А потому Ростислав отправил письмо в Рим, прося папу Николая о духовной защите против немца. Только

какой дождёшься от него помощи, если, оказывается, этот папа на самом деле посажен на престол родителем короля, Людовиком I. Так ничего и не дождались.

...А Святополк кто?

Он племянник Ростислава и княжит в Нитре, где когда-то сидел Прибина. Святополк дяде своему верный помощник. А храмов много ли в Моравии?

Храмы есть. Но ни один не сравнится по величине, по богатству, по художествам и пению с теми, которые они увидели здесь, в Царьграде.

Всех моравлян, что приходят у себя дома в немецкие костёлы, кто по принуждению, а кто из раболепия, по пальцам можно перечесть. Храмы же открываются, лишь когда приезжают из Баварии за церковной данью немцы-попы...

Неприступная Литургия

Даже за одной свободной и неспешной беседой они могли узнать у послов Ростислава много больше, чем послы у них. Но какое в этом утешение? Что проку от узнанного, когда главного для себя они по-прежнему не знают? В чём всё же может состоять смысл их собственного учительства, которого ждут от них василевс, патриарх, эти вот послы, отправивший их князь?

Нет, надо думать ещё и ещё, прежде чем решиться... Так бывает: мечтами давно уже собрался к чему-то важному для себя, к чему-то даже наиважнейшему, но когда вдруг открывается прямая возможность для этого наиважнейшего и когда слышишь чей-то призыв: «Ну, давай же, принимайся, ты же сам порывался к такому!»

— ты недужно замираешь, и в голову приходит множество доводов в пользу того, чтобы вообще ни за что не приниматься. А только пятиться и пятиться.

Не попятились ли и они теперь, поддавшись оторопи малодушия?

Разве в стенах вифинских монастырей они мало часов провели в беседах с монахами и послушниками из славян? Там ведь тоже учились друг у друга. И так прилежно, что выстроили после многих проб азбуку, красивую на вид, и каждой букве, как принято в греческом алфавите, дали имя, — славянское, удобное, лёгкое в запоминании: аз, буки, веди, глаголь... И записали немало молитв, праздничных тропарей, канонов и стихир, чтобы монахи из славян могли читать и петь осмысленно, радуясь каждый раз новым приобретениям. И не только келейно читали и пели, но уже и во время служб пробовали читать нараспев и петь многое попеременно — сначала по-гречески, но тут же и по-славянски.

Но во всех этих малых радостях и старательных научениях недоставало, как теперь видно, чего-то сердцевидного, чего-то осевого, прочно стоящего во главе угла.

Литургия — Евхаристия — Обедня... Вот что — при распахнутых дверях предложенного им поручения — было и остаётся для них как за семью печатями. Да, они сумели озвучить по-славянски отдельные молитвы, псалмы, песнопения, ектеньи — то, что постоянно входило в состав литургического действа. Но вся целиком святая литургия, в её чаемом славянском об-

разе, и теперь неприступна для их намерений и попыток.

Что, разве за своей греческой литургией они были нерадивыми, посторонними? Нет же, они любили и знали почти наизусть высокий, торжественный чин её таинственного действа в немного меняющемся обличье каждого воскресного дня очередной седмицы, каждого праздника года. Но литургия, как незыблемая основа всей жизни церкви, существовала сама по себе, как если бы они в своих славянских пробах затеяли, уподобясь детям, ладить и лепить внутри собора какие-то стенки и перегородки из малых камешков и комков глины, а здание реяло над ними, не отзываясь эхом, снисходительно прикрывая их забаву своим совершенством.

Литургия была в их разумении великим соборным творением христианского мира. Творением, суть и образ которого определил раз и навсегда сам Господь Иисус Христос за Тайной вечерей, когда доверил ученикам святую тайну причастия:

«...Прием Иисус хлеб и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: примите, ядите, сие есть тело Мое. И прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: пиите от нея ecu: сия есть кровь Моя, новаго завета, яже за многия изливаема во оставление грехов».

Как всякий человек перед обедней с внутренним трепетом подходит к священнику на исповедь, как с не меньшим трепетом подходит он за литургией к причастной чаше, так братья теперь — можно догадываться — испытывали трепет и угрызения совести от своего недостоинства при одной только

мысли, что они сподобятся озвучить когда-нибудь для славянского слуха и уразумения... страшно сказать... всю литургию.

Но почему всё же это не дано им, не даётся? Почему так, если они уже дерзали переводить избранные молитвы, псалмы и тропари для всенощного бдения, для утрени, для предваряющих литургию часов? Как будто ответ напрашивался сам. В каждой службе — вечерне, заутрене, в часах, да и в литургии тоже — есть две составляющие: то, что неизменно повторяется от службы к службе, и то, что всякий раз обязательно обновляется, приходя на смену временно отошедшему. Есть в церковной службе постоянное и переменное, устойчивое и текучее, недвижимое и сдвигаемое. Но в литургии такого переменного, от раза к разу обновляемого несравненно больше. В череде дней, недель и месяцев христианского года каждая литургия — иная, светящаяся новыми великими смыслами.

Апостольские и Евангельские чтения — вот что придаёт каждой литургии жизненную новизну, движение, вселенский размах. Невозможно изъять из обедни причастие, она рухнет, обессмыслится. Но также невозможно изъять из неё чтения Апостола и Евангелия, потому что через эти чтения человек тоже становится причастником — самого новозаветного слова Господня, учения апостольского.

Да, у них уже были опыты переложения на славянский язык избранных евангельских отрывков, — отдельных поучений Иисуса Христа, самых живописных притч. Но что эти их крошечные пробы,

если литургия вбирает в себя громадную годовую чреду чтений по Апостолу и Евангелию! Каждый раз за обедней, ещё до чтений, священник на поднятых руках выносит из алтаря на амвон сияющую, как солнце, вечную книгу напрестольного Евангелия. И каждый раз чтение будет новое, будто впервые в жизни слышимое... Как же подступиться к светилу? Какое нужно дерзновение? Не гордыня ли и подумать о таком?..

Но даже если не велели себе об этом думать, отвлекались на что-то другое, третье, а уже само думалось, будто без их участия... Снова толкался в память Херсон... Тот человек, что показывал им Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, — он сам теперь был для них как притча: смотрите, я лишь показал вам написанное кем-то, переложенное с вашего греческого, я и сам не знаю, кто решился на такое, но кто-то же решился. А что вы?

Почему тот неизвестный дерзатель избрал для своего труда именно две книги? Почему не принялся и за Апостол? Может, потому, что Апостол показался ему куда труднее для перевода, особенно послания Павла? Наверное, так и было: язык апостольских поучений после языка евангельских притч и языка псалмов и для усердного слуха местами кажется затруднённым, даже тёмным. Иногда и Павел прозрачен, как ясны и просты в своих апостольских письмах Иоанн, Иаков и Пётр. Но как часто для одного изречения, произнесённого Павлом, возникает нужда в целом пространном истолковании. Страшно подступиться к переводу всего Евангелия, но как

приблизиться и к Апостолу? Не заробел ли и тот неведомый дерзновенный муж, чьи Евангелие и Псалтырь видели братья в Херсоне? Но, может, и так: просто посчитал, что из всех христианских книг эти две — первонужнейшие.

Разве не такова Псалтырь? Во всём Ветхом Завете не найти для христианина книги более близкой, понятной, необходимой, чем Псалтырь. Вроде бы что до её смыслов всем и каждому? В её песнях — переживания жившего когда-то иудейского царя, его жалобы на постоянные тяжбы с врагами. Но так искренно, так достоверно он жалуется Богу, так настойчиво просит у него пощады, милости, прощения, что каждый читающий или слышащий почти тут же неминуемо ставит себя на место малоизвестного ему царя, и вот — уже не царь, а он сам просит, плачет, изнемогает, надеется, ликует, благодарит, торжествует, восхищается красотой сотворенного Господом мира, но тут же снова ропщет, отчаивается, стонет, даже криком кричит: спаси! Вся эта книга — мольба человеческой души к Спасителю своему. Ни один из пророков так не приблизился ко Христу в своих предчувствиях и неутомимых прошениях как Псалмопевец. И разве случайно, что сам Сын Человеческий чаще всего из ветхозаветных книг вспоминает именно стихи псалмов и самого царя Давида... А потому и церковь во всех своих службах неутомимо обращается к Псалтыри: то несколько песен звучат в храме подряд, как на вечерне или в часах, то целые кафизмы чередуются в уставном годовом чине, то отдельные стихи из псалмов вспыхивают нитями древней парчи в словесной ткани

служебных последований. В монастырях же, в скитах, в кельях псалмы звучат, считай, непрерывно, и днём, и в ночи. И по кончине каждого христианина за ночными бдениями вычитывается вся без изъятия Псалтырь, подкрепляемая молитвами Господними и Богородичными.

Братья знали, как высоко ценили Псалтырь Отцы Церкви, те же Иоанн Златоуст и Василий Великий. От них в пословицы вошло, что скорее солнцу остановиться, чем прекратиться на земле чтению Псалтыри, и что книга эта — доблесть и дерзость к Богу о спасении души.

Да, доблесть и дерзость о спасении.

А потому, если уж и им дерзать, отваживаться на то, что от них теперь ждут, нужно, конечно, и Псалтырь славянскую держать в уме как книгу из самых необходимых.

Апракос

Чтобы подчеркнуть стремительность событий, происшедших в Константинополе после появлении послов Ростислава, автор «Жития Кирилла» сразу же вслед за описанием разговора, имевшего место во дворце Михаила III, говорит о самой усердной молитве Философа вместе «с иными помощниками». И о том, что вскоре же горячее моление было расслышано, Константин принялся переводить Евангелие и начал со слов:

«Искони бе Слово, и Слово бе у Бога, и Бог бе Слово».

Озарение приходит не крадучись. Вдохновение навещает вдруг, стремглав. Будто человек среди ночи пробуждён требовательным, властным голосом, тотчас встаёт на ноги и с ясной головой принимается за труд.

Но почему именно таким оказался первый толчок? Да, начал Константин, как и настраивал себя, не с простого, а с труднейшего — с Евангелия. Но почему именно с этих слов: «В начале было Слово...»?

Святая четверица евангелистов, как известно крещёному миру, в одну книгу собрана в раз и навсегда установленном последований Четвероевангелия. Открывает книгу Матфей, за ним по ряду идут Марк, затем Лука, лишь после всех — Иоанн. Почему же Константин, нарушая общеизвестный чин, начинает свой перевод не с первого по счёту — Матфея, а с четвёртого — Иоанна? Не прихоть ли, не самоволие ли это?

Нет, он ничего не нарушает. Он следует воле церковного Предания. Евангелие богослужебное, то, что покоится на престоле каждого храма, то, которое молящимся священник выносит из алтаря, то, по которому громко, отчётливо, певуче произносит пастырь евангельское зачало сего дня, имеет свой особый строй, свой устав последований. По этому неколебимому уставу все евангельские и апостольские чтения годового круга начинаются с литургии Воскресения Христова, с Праздника Праздников, с великой и торжественной пасхальной ночи. Таков древний церковный обычай: в эту ночь читаются во всём христианском мире стихи Пролога — первой главы евангелия от Иоанна.

Почему Иоанн так выделен из всех? Почему лишь ему, одному из четверых, церковь присвоила имя Богослова?

И это знает Константин — знанием всей церкви. Никого так не приблизил к себе Христос из учеников, как Иоанна. Иоанн поистине наперсник Христов. Трепетно и доверчиво, как ребёнок, приникает он к груди Христа в час Тайной вечери, когда Учитель готовится возгласить великое таинство евхаристии. Кажется, стук сердца Господня слышит Иоанн, звон крови слышит, шелест дыхания Христова.

Никому из евангелистов не доверил Сын Человеческий столько ведать о Себе. Иоанн подлинно таинник Христов. Он из четверых ближе всех подступил к тайне Троицы, хотя, как и остальные, ещё не произносит вслух само это Трисвятое имя.

Иоанн первым во всём свете озвучивает поразительное откровение: Христос-Слово с самого начала, искони пребывает у Бога. И не просто пребывает, но и Сам, как и Отец Его, есть Бог, так же как и Бог есть Слово. Ни у кого из евангелистов Иисус Христос не говорит так горячо, развёрнуто и проникновенно о своём Богосыновстве, как у Иоанна.

Все евангелисты внимают учению Бога-Сына о Святом Духе. Но никто, кроме Иоанна, не записывает слов Христа об исхождении Святого Духа от Отца. Никто, кроме Иоанна, не записывает, что Святый Дух и есть подлинный Утешитель людей, хотя Христос говорит об этом не одному Иоанну, но и остальным ученикам.

Иоанн ни разу не говорит о том, что Христос многое и о многом поведал ему наедине. Ни в коем случае не желает младший из апостолов как-то подчёркивать свою особую посвящённость. Но она сама свидетельствует о себе — через его Евангелие, его послания и его Откровение. И через порученное Христом Иоанну у Голгофы попечение о Богоматери.

Когда мы слышим «Бог есть любовь», сразу узнаём Иоанна Богослова. Это ему единственному так дано или так поручено было сказать о Боге...

Мудростью всей церкви знал Константин: евангелисты равнодостойны. Но этой же мудрости внимал, делая свой вдохновенный выбор: начать перевод — с пасхального Иоанна. Начать с богослужебного, литургического Евангелия. А не с четвероевангелия (тетра), которое относится к так называемым четьим книгам, то есть читаемым не во время церковных служб, а в келье или дома.

Вот в чём смысл их с братом предполагаемого учительства: не буквам только учить, не только письму, не одним лишь молитвам, пусть и самым важным, но учить сразу всей литургии славянской. Учить сразу Евангелием, Апостолом, Псалтырью. Но в первый черёд — Евангелием учить. Ото дня ко дню, из года в год. Потому что в нём — сам Учитель говорит с человечеством.

То Евангелие, которое он однажды отваживается переводить, по-гречески называют евангелие-ял/юкос. В дословном переводе, не-дельное, читаемое по церквям в дни воскресные, свободные от всяких дел, когда люди, отложив будничные житейские попечения,

собираются в церкви, а затем и дома отдыхают от любых трудов, празднуют, праздны от всяческих занятий. То, что мы теперь называем неделей, именовалось (а в церковном обиходе и по сей день именуется) седмицей. Неделя-воскресенье завершает седмицу. (У нас же теперь, как в кривом зеркале, неделя — вся седмица.)

Константин переводит Евангелие-апракос и Апостол-ап-ракос*. Тем самым братья предполагают, что, как в каждом сельском храме, у славян служить будут — по крайней мере поначалу — лишь в праздничные и недельные дни. Остальные дни седмицы — для трудов в поте лица своего. Но первая Пасхальная седмица, Светлая седмица, та, что следует сразу за Воскресением Христовым, — исключение. Она — вся праздник. И потому каждый день на Светлой широко распахнуты церковные врата, каждый день служится литургия, каждый день читают очередные евангельские зачала из Иоанна Богослова, а по Апостолу — из «Деяний апостольских». И потом ещё на восьми субботних и восьми воскресных службах подряд, включительно до самой Пятидесятницы, до Святой Троицы Иоанново Евангелие будет звучать в церквях неизменно. И лишь после этого придёт чреда евангелиста Матфея.

Когда получается

Возможно, нецеломудренной может показаться сама попытка хоть в какой-то мере представить себе подробности труда братьев, занятых переводами Евангелия, Апостола и Псалтыри с греческого на

славянский. Впрочем, исследователи-лингвисты к этой теме обращались неоднократно и добились немалых успехов в обозначении технической стороны переводческого дела солунских братьев. Описаны многие приёмы и навыки обработки греческого источника, перетекающего в новую словесную плоть.

Если обозреть хотя бы некоторые древние иконы или книжные миниатюры с изображением четырёх евангелистов,

* В исследовательской среде получила хождение другая версия, настаивающая на том, что первый евангельский перевод Константина — не апракос, а четвероевангелие. Единственное доказательство в пользу первенства тетра носит характер сугубо гиперкритической фантазии: якобы какой-то переписчик «Жития Кирилла» самовольно вписал в его текст в том месте, где речь идёт о начальных строках перевода, свою добавку «Искони бе Слово...». Можно ли представить себе более неловкое положение: братья прибывают в Моравию не для того, чтобы сразу приступить к литургической практике, а для того, чтобы в домашней обстановке знакомить князя Ростислава с содержанием четвероевангелия?

то сразу увидим, что в них, во всех без исключения, «техническая сторона» тоже неизменно присутствует. Это обязательный стол с лежащими на нём книгой или пергаменным свитком, пером, ножичком, керамической чернильницей. Наглядна попытка художников как-то отразить и саму боговдохновен-ность труда, которым заняты создатели благовестий, — через напряжённость

их поз, когда глаза устремлены даже не столько на лист и буквы, сколько «выспрь».

Перед Константином, если представить его на подобном изображении, пришлось бы уместить на столе не одну, а две книги. Одну из них, греческую, — чуть выше или даже на подставке-пюпитре, а под ней — книгу или тетрадь со славянскими строчками.

Но как передать, что речь и тут идёт не о механическом переписывании, а о вдохновенном сотворчестве? Как выразить сокровенную метаморфозу соприкосновения двух языков и их добровольного, без порчи и насилия, перетекания одного в другой?

Проще всего сказать: переложение с языка на язык — труд. Но не один труд, а ещё и ревность, ещё и радость. Переводчик ревниво следит, чтобы переведённое им было никак не хуже переводимого. Не упрощённее, не приблизительнее, не раз-жиженнее по смыслу. Не беднее звукописью своей. И когда видит, что так именно получается, в награду ему даётся радость. Эта его радость может быть совершенно незаметна для постороннего взгляда, но каждый раз, когда он находит для своего детища единственно верное слово, или сразу несколько слов, или целое предложение, радость по-особому играет в нём, как играет во встречных струях воды сильная рыбина. Радость снова и снова подкармливает сердце, и труд становится сладок, и ревность торжествует невидимые миру победы. Труд, лишённый ревности и радости, смертельно скучен и уныл — подлинно рабское наказание.

Что скрывать! Константин сейчас радуется и самой своей находчивости, своей удачливости. Но ещё больше радуется тому, что славянская речь на каждом шагу щедро предоставляет ему эту счастливую возможность находить всё новые и новые слова, самые нужные, самые верные. Особенно это касается слов высокого ряда, слов для обозначения великих смыслов. Эти находки славянская речь легко и обильно предоставляет в его распоряжение уже при переводе самых первых строк и страниц Иоаннова евангелия.

И как ему не восхититься тем, что славянская звучащая речь к часу своего воплощения на письме приходит во всеоружии своих духовных чаяний и озарений.

Как лучше перевести Ev архл? — В начале. Или, как предпочёл записать Кирилл: искони. ѲебС? - Бог. Лбуос;? — Слово.

И, конечно, на своём достойном месте пребывает и величайший труженик из всех глаголов — глагол бытия, великое быть, полномочно выступающее от имени всего сотворенного, всего-всего бытующего на свете.

Ev архл г\v — искони бе... в начале было.

И далее: ^огі — живот (жизнь), срсос; — свет, акотіа — тьма, avѲроттос; — человек, ovojia — имя, кбацос; — мир, аХцвет — истина, бб^а — слава, vojioc; — закон, х&piq — благодать (она же доброта, она же любовь). И ещё: обос; — путь, латрос; — отец, vioq — сын, лрофГ|тг|^ — пророк, Раттацос; — крещение, ибатос; — вода, Ttveujia — дух, oupavoq — небо,

бібаака^ос; — учитель, |іаѲг|тг]^ — ученик, ауаѲбс; — добро, благо...

Но это же поистине святые слова, слова для священного обихода, и какая радость, что их не нужно выдумывать, они уже есть!

Право же, разве это он, Константин, так постарался? Нет же, это сам славянский мир уже загодя готовился к своей неминуемой встрече с евангельской речью и потому так ревностно спешит теперь пособить Константину.

Старание — на ответное старание, ревность — на ревность. Для того удивительного в своей предельной простоте и безыскусности красноречия, которое восхищает Константина в греческом Евангелии, неустанно ищет он теперь соответствия в славянской словесной ткани. Вот он читает в евангелии от Матфея: Paai^eia tcбv oupavcov, и это легко, дословно переводится как царство небес. Но он не лёгкости ищет и не дословности, а большей выразительности, напевности и потому пишет: Царство небесное. У того же евангелиста, дойдя до слов зерно горчицы, снова предпочитает более звучный ход: зерно горчичное. Вместо след гвоздей даёт усиление: язвы гвоздиные. И так многократно, по всем евангелиям: птицы небесные на место птицы небес, сено сельное, а не трава полей.

И, наконец и во-первых, не Сын Бога, не Сын Человека, как в греческом написании, но Сын Божий, Сын Человеческий!

Если бы ведал Константин, что эти едва заметные волеизъявления так придутся по душе всем, кто расслышит и отзовётся им в будущих веках.

Сын Человеческий не знает,
Где преклонить ему главу.

Мефодиева Псалтырь

Впрочем, есть повод усомниться в том, что Константин переводил Евангелие вполне единолично. И такой повод, как это ни покажется неожиданным, вычитывается в «Житие Мефодия». Как мы помним, «Житие Кирилла» писалось при непосредственном редакторском или даже авторском участии старшего солунянина, и на страницах жизнеописания Философа воля Мефодия просматривается неоднократно. Воля же эта проявлялась в том, чтобы всячески умалить и притенить вклад старшего в общее просветительское дело. По Мефодию, во всех главных свершениях Славянской миссии безусловно первенствовал не он, а его возлюбленный младший брат. Этот замечательный, поистине в духе евангельских научений Христа, образец братской любви и скромности — подлинное украшение души Мефодия.

Но когда не стало и его самого и когда нескольким ученикам предоставилась возможность подумать о прославлении памяти первого и последнего архиепископа Великоморавско-го, они пришли, надо полагать, к неоспоримому выводу: в «Житии Кирилла» место и значение старшего брата в общем деле представлены всё же слишком невнятно. И эта недосказанность, при всей своей трогательности, по сути

несправедлива. И требует поправок, уточнений, иногда существенного свойства. Одна из таких поправок касается времени совместной подготовки братьев к началу Славянской миссии. В «Житии Мефодия» она выглядит следующим образом:

«Псалтырь бо бе токмо и Евангелие с Апостолом и избраны-ми службами церковьныими с Философом преложил первее».

В современном переводе читаем: «Ибо Псалтырь только и Евангелие с Апостолом и избранными службами церковными перевёл сначала с Философом».

Что явствует из такого уточнения? Во-первых, то, что в переводе Евангелия и Апостола есть и участие Мефодия. Во-вторых, что и Кирилл каким-то образом имел отношение к переводу Псалтыри. Наконец, в-третьих, что труд по переложению на славянский язык псалмов и кафизм Псалтыри, не менее ответственный, чем новозаветные переводы младшего брата, лёг на плечи, по преимуществу, Мефодия. И что к этому своему подвижническому деланию он приступил даже до того, как Философ принялся за евангельский и апостольский апракосы.

Последнее подтверждается самим порядком книг в процитированном месте «Жития Мефодия»: сначала названа Псалтырь, потом Евангелие и Апостол. Такое первенство подкреплено и текстологическими наблюдениями ряда учёных: замечено, что многочисленные цитаты из псалмов, имеющиеся у евангелистов, в славянском переводе Константина дословно совпадают с тем, как они выглядят в славянской Псалтыри Мефодия. Значит, Философ в таких случаях

не тратил драгоценного времени на поиск своих собственных решений, а брал из рукописи брата уже готовое.

Но что в том зазорного? Нелепыми были бы между ними попытки собственнического разграничения: «вот твоё, а вот моё». Работали ведь не вдвоём даже, а целой дружиной, с участием нескольких учеников, о чём, как помним, сообщалось в «Житии Кирилла». Разве можно было теперь надолго затворяться друг от друга по кельям? Наверняка ежедневно сходились вместе в одной палате, чтобы обмениваться самыми неотложными затруднениями. А главное, чтобы зачитывать вслух уже готовое — только что записанные по-славянски евангельские отрывки, псалмы, письма апостольские, тропари и стихиры праздничные. Вместе радовались удачам этих ежедневных уроков, тому, что у каждого отдельно и у всех вместе получается. Молились о том, чтобы и впредь получалось — не хуже, чем сегодня. Чтобы не покидало их ни на день присутствие благодатного горения.

Братьям, солунским горожанам, не часто приходилось видеть в родительском доме, как высекают огонь, потому что всегда поблизости находилось что-то уже для них приготовленное — зажжённая свеча или светильник, или пылающий очаг. Но если вокруг — безлюдные пространства, отсутствие хоть какого-то жилья для угрева, неприютность, холод, ветер? Вот тогда-то не раз они видели: каждый воин, пастух, путник или землепашец, где бы ни находился, обязательно держит при поясе своём малый узелок, а в

нём неизменные, такие простецкие на вид вещицы — железное кресало, кремень и трут в виде усохшей ветошки или хотя бы комка сухой травы. Бывалому человеку достаточно один раз чиркнуть кресалом о кремень, чтобы высеклась искра и возжгла трут, и занялся костёр. И не раз видели они ещё в детские годы, как делают это славяне. И слово от них не раз слышали, означающее само начальное действие: кресити, то есть выкресать огонь.

Что может больше восхитить ребёнка, чем таинство возникновения живого, дышащего, спасительного огня из сущей никчемности! Из холодного тусклого камешка, какие на каждом шагу скучно трещат под ногами, из безжизненного отломка металла, из травной трухи или истлевшей тряпицы. Попробуй сам — ни за что не получится. А тут вдруг — крес-с! — и занялось, восстало!.. Живое — из мёртвого. Благодатное — из праха и тлена. И как оно звонко-звучно, само слово, какая энергия исходит от него: кресити, выкресать, воскресать.

Мы теперь затруднимся сказать, кому из братьев пришло первому на ум открыть для этого словосмысла новую, высокую, поистине вечную жизнь. Русский язык впитал «воскресение» в его священном христианском значении раз и навсегда. (Стоит вспомнить: даже в десятилетия атеистических гонений в России XX века как ни пытались, но не посмели изъять «воскресение» ни из жизни народной, ни из гражданского календаря.)

Если исходить из того, что Мефодий принялся за перевод Псалтыри раньше, то за «воскресение» особая

благодарность выпадает старшему брату. Ведь у него уже в первом псалме звучит «не воскреснут ненестивии на суд». А в третьем псалме слышим обращение Псалмопевца к самому Христу: «Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой»... И дальше, дальше — не только слово, но само грядущее воскресение Христово полнит собою провидческие строки Псалтыри.

В греческом языке, когда нужно было сказать о воскресении Спасителя из мертвых, пользовались двумя глаголами с близким значением: avёатгі (встал, поднялся, восстал) и еупуертш (встал, восстал, поднялся, пробудился). В пасхальное приветствие и в праздничный тропарь вошёл первый из глаголов.

Хріаxoq aveатг|! — Христос воскресе!

И так ли уж обязательно теперь знать, кто из братьев изначально записал «воскресе» по-славянски — Мефодий или Кирилл?

Единым духом они восклицали, в общей радости пели в ночь святого Христова Воскресения: Хріатбс; aveатг| ек vекрбv... Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав/

ВЕЛЕГРАД. ПРОСТАЯ ЧАДЬ

Болгарские новости и древности

Выезд миссии в Моравию не мог состояться, пока братья не решили про себя: годовой круг славянских церковных служб по Господним и Богородичным праздникам и по всем дням недельным собран. Пора укладывать книги в дорогу.

Время их готовности обозначилось только к весне 864 года. На удачу, завершение переводческих трудов совпадало с благоприятными переменами, которые открывали братьям возможность наиболее короткого и наиболее теперь безопасного пути в неизвестную им Моравию — через болгарские земли.

Ещё год-два назад такое было бы просто невозможно. Пока в Константинополе принимали послов из Моравии, болгары, оказывается, участвовали в совместных с Людовиком Немецким военных действиях против того же самого князя Ростислава. А летом прошлого года Болгарию настигли сразу две беды — сильные землетрясения и голод. В поисках пропитания хан Борис дал своим воинским отрядам отмашку для хищнических нападений на сельские угодья ромеев во фракийских землях. В который раз северные соседи воровато воспользовались тем, что лучшие армейские силы империи были отвлечены походом на арабов.

Но как только в сентябре 863 года стратиг Петрон, брат кесаря Варды, вернулся в столицу с вестью о решительной победе над эмиром Мелитены Омаром,

василевс и кесарь объявили: нужно теперь же, не откладывая надолго, самым суровым образом наказать хана Бориса. Против него отправлялись сразу и большое сухопутное войско, и морская эскадра. Последней предписывалось ударить в тыл — с высадкой на понтий-ском побережье Болгарии. Воевать, так в открытом бою, а не исподтишка!

Узнав о размерах готовящейся расправы, Борис изготовился было к отпору, но почти тут же запросил мира и пощады. И — чего уж ромеи никак не ожидали! — вдруг выразил желание... креститься. И не только сам, но и весь его двор, и весь народ болгарский крестится.

В чистоту такого намерения многие бывалые ромеи отказывались верить. Молодой, но коварный хан просто-напросто петляет, выигрывая время. Кровь разбойных кочевников уже отравлена неизлечимой ненавистью и завистью. Допустимо ли забыть, какие кровавые погромы учинял в предградьях Константинополя лютый хан Крум? Сколько вырезал беременных женщин, священников и монахов, сколько храмов превратил в груды камней! А его отпрыски надолго ли поумнели? Болгары ловки просить мира, но ещё ловчее вероломно его нарушать.

И всё же именно теперь, когда Константин с Мефодием готовились к отправке в неблизкий путь, при дворе и в патриархии намечалась ещё одна подготовка, но куда более размашистая, с сугубым усердием.

Крестить не одного лишь правителя, но сразу и всех его подданных, целую страну, — такое предстояло

впервые за пятисотлетнюю историю христианской империи Константина Великого. При сравнении с подобным событием отправка малочисленной миссии к князю Ростиславу как-то вдруг потерялась, поскромнела в своём значении. К болгарам отбудет сразу многое множество священников во главе с епископом. Сам Михаил III пожелал быть крёстным отцом Бориса, которому будет дано во святом крещении новое имя, какое носит и сам император, — архистратига Михаила. Да и старый языческий титул хана теперь уже неприличен будет правителю-христианину. Патриарх Фотий приготовился отправить крещаемому князю большое пастырское послание. В письме этом — пространная вероучительная часть, с доступным объяснением главных догматов церкви, с толкованиями Символа веры, переиначить смысл которого тщились ересиархи давние и пытаются еретики новейшие. Есть в его послании и рассказ о семи Вселенских соборах, трудами которых созидались неколебимые основания Христовой веры... О содержании письма солунские братья могли слышать от самого патриарха. Он ведь и их никак не отпустит в новую дорогу без отеческого благословения. И без пастырского послания, которое доверяет вручить князю Ростиславу.

...О болгарах, настырном и неугомонном северном соседе империи, Мефодий и Константин наслышаны были с малых лет. Для каждого ромея, где бы ни жил он и чем бы ни занимался, это непредсказуемое соседство было такой же стихийной данностью, как рык грозового вала или напор суховея, или подземные

толчки, что заставляют с колотящимся сердцем выскакивать из-под кровли.

Более двух веков назад, едва стали смиряться византийцы с тем, что их балканские пограничья, а также земли Эпира и Пелопоннеса самовольно заселены сразу несколькими многолюдными племенами славян, как при устье Дуная объявилась болгарская орда хана Аспаруха.

В Царьграде и до этого кое-что знали о существовании болгар. При императоре Ираклии двор даже принимал хана Курбата, важного булгарского вождя, прибывшего погостить в стольный град с большой свитой и многими подарками из своих приазовских степей. Этот предводитель неисчислимого становья язычников запомнился ромеям тем, что вдруг — от особой растроганности или из любопытства? — пожелал креститься. Вот ведь как давно случилось и как совсем недавно аукнулось!

Пять сыновей, которым тот Курбат оставил в наследование народ и землю, предпочли властвовать порознь и вскоре были вытеснены со своих пастбищ войсками хазарского кагана.

Аспарух, третий по счёту сын Курбата, увёл свою орду на запад, переправился через Днепр, потом через Днестр и напоследок устроил большую стоянку на островах дунайской дельты.

Ромеи посчитали такое поведение пришельцев даже выгодным для себя, поскольку болгары, как выяснилось после первых разведок, добровольно принимали на себя обязанности пограничной службы

на случай какого-нибудь очередного аварского нашествия.

Возможно, Аспарух в свите родителя тоже любовался в своё время Царьградом. Не потому ли с Дуная потянуло его на юг, поближе к стенам великой столицы? Это были уже пределы собственно византийские, но сравнительно малозаселённые и потому недостаточно надёжно охраняемые. Он же, как и всякий кочевник, считал доблестью прихватывать то, что плохо лежит.

Продвижение сопровождалось мелкими воинскими стычками и растягивалось на годы. Выйдя к Варне, хан вдруг обнаружил на своём пути поселения славян из племени северитов. Хотя они тоже были здесь пришельцами, но оказались людьми с куда большим опытом обживания занятой земли. Потому что уже пустили тут корни. И не такие, как у травы, а такие, как у деревьев. Они жили с самочувствием людей оседлых, хорошо приученных пахать, сеять, косить, вязать снопы, выбивать зерно из колосьев цепами. Они настроены были жить здесь постоянно, а не срываться посреди ночи со всем скарбом, чтобы нестись, не разбирая дорог, невесть куда.

С того времени и начались самые для ромеев загадочные отношения между двумя чужими языками, без спросу объявившимися на Балканах. Походило на то, что вождь болгар решил не наживать себе нового врага, а обзавестись союзниками против византийцев. Какой-то договор между теми и другими неминуемо должен был завестись. Но какой, если болгары и славяне не имели ни своего письма, ни языкового

родства? Ну, хотя бы такой договор, что постоянно возникает на торгу, когда продавец развязывает мешок с зерном, а покупатель бренчит медью в мешочке, пришитом к поясу. Или такой, когда он и она обмениваются только пылкими взглядами, договариваются одними лишь глазами. У Аспаруха больше было крепких мужчин-воинов, чем женщин. А у славян так много оказалось опасно-глазастых девушек и праздно-зрелых вдовиц. Красивая женщина и самого грубого вояку обучит говорить и петь по-своему.

Походило на то, — с византийской насмешливой стороны глядя, — что болгары договариваются со славянами Мизии о верховной власти своего хана и его боилов и багаинов над ними, а славяне взамен договариваются о власти своего языка над болгарами. Иначе как ещё понять эту общую загадку их непредвиденного союза? Где и у кого такое случалось, чтобы покорители начали перенимать язык покорённых? Пусть не сразу, а через два-три поколения, но всё же начали. И пусть не упрямые мужья, но их дети от славянок залепетали на языке матерей.

Впрочем, Аспарух немного оставлял грекам времени для подшучивания над своими хитростями. Один из его сильных воинских толчков в имперские стены даже принудил василевса Константина Погоната заключить с ханом позорный для себя мир и выплачивать болгарам дань. Вряд ли Аспарух рассчитывал, что так теперь будет всегда и что в конце концов он завладеет самим Царьградом. Но уж точно в

мечтах ему виделась держава, не уступающая в мощи и богатстве колоссу Второго Рима.

Обычно в отношениях между двумя соседями слишком многое, если не всё, отсчитывается от самых первых поступков. Как бы ни были потом, даже на века вперёд, страны-соседи взаимно великодушны и незлопамятны, но самые первые поступки тотчас уходят в ствол поведения, проникают до самых его неисследимых глубин и способны снова и снова вдруг вырываться наружу, срывая на ходу, как ветхое тряпьё, покровы и великодушия, и незлопамятности.

По византийским хроникам выходило, что начало болгарского царства в балканской Мизии, с главным поселением в П л иске, отсчитывать можно примерно с 670 года от Рождества Христова.

В те же десятилетия, когда Аспарух привыкал к новому местожительству, другая орда болгар, которую возглавлял его родной брат Кубер, пошла искать лучшей доли прямиком на запад и достигла Паннонии. Не ужившись на новом месте с аварами, которые там уже вовсю хозяйничали, Кубер повернул на юг, почти беспрепятственно проник в собственно ро-мейские владения и тут, как и Аспарух, обнаружил перед со-бой... многочисленные поселения славянского роду-племени! Звались они, правда, по-другому: не севериты, а драгувиты. Но ведь они, Кубер с Аспарухом, ни о каких таких совместных действиях против империи, да ещё и в связке со славянами, заранее никак не могли договариваться. В том числе и потому не могли, что вовсе не предполагали встретить

в северных пределах Византии кого-то ещё, кроме самих ромеев.

Так, при стечении обстоятельств, которых не могли заранее предвидеть ни болгарская, ни славянская сторона, закладывалось новое на Балканах языческое сообщество — по одним понятиям, ханство, по другим — царство, по третьим — даже империя. По разумению тогдашних ромеев, оно было ни тем, ни другим, ни третьим, а большой и досадной непредсказуемостью. Здание закладывалось почти за двести лет до того, как князь Борис, правнук хана Крума и сын хана Пресияна, вдруг решил креститься, а солунские братья собрались через болгарскую землю, ещё недавно совсем непригодную для путешествия, отбыть на север от неё.

Дорога к Дунаю

Уже привычная нам незадача: если неизвестно, как было, то остаётся или отложить всякое разыскание, или подумать о том, как скорее всего это нечто могло быть. Скорее всего, при сложившихся благоприятных условиях передвижения, братьям из Константинополя предстояло идти через их родительскую Солунь.

Этот город, где они появились на свет и возросли, слишком рано исчезает со страниц их житий. Но можно ли допустить, что они десятилетиями жили, не вспоминая о нём, не порываясь в своих мыслях к материнскому дому, к алтарю Святого Димитрия, к торговым навесам агоры, где когда-то ласкала, будоражила и щекотала их слух речь славян-землепашцев. Звуки её то проливались, словно молоко из глиняного кувшина, то цокали, как копытца,

жужжали, будто жуки, трещали, как ореховые скорлупы, стиснутые в крепких, под цвет ореха, кулаках.

Была ли ещё теперь жива мать? Благословила ли, скрывая от них слёзы, на новое, смертельно опасное, как всегда, подо-рожье? Или пришли уже не к родному порогу, а к плите надгробия, светлеющего рядом с отцовым камнем, поблекшим под солнцем и ветрами?

Имелся ли у них в запасе хоть один вечер, чтобы, взобравшись на плоскую и тёплую крышу родительскую, как забирались в детстве, никуда уже не спешить, не слышать ни дыхания своего, ни стука сердца, а зачарованно и неотрывно смотреть и смотреть сверху, будто с птичьей выси — на черепичные ступени крыш, спускающиеся широкой плавной по-лудугой от акрополя к подножию холма — к заливу?

Бронзовеющей зеркальной чистотой залив вбирал всю бесконечность небесной чаши, и тогда казалось, что вода держит не только небо, не только повисшие над ней паруса, но и всю землю. А когда небо наливалось синевой и, смиряя его необ-мерность, прорезались первые звёзды, и зеркало под ним на-

Центральная Европа в раннем Средневековье

чинало медленно тускнеть, то возникало предчувствие, что небо забирает это зеркало куда-то к себе, и там уже пребывают другие зеркала, ещё больше и чище этого, и передают свои сияния друг другу, чтобы незримыми мощными снопами восходили эти

переплески, как всегдашняя благодарная дань, к самому незримому и неисследимому Источнику Света.

Солунское происхождение было для братьев кладезем самых радостных воспоминаний. Поистине блажен, кому дано, оглядываясь на своё детство, выбирать из него только лучшее, не желая помнить ничего стыдного, горького, безобразного.

Пусть для жителей столицы, особенно людей придворного круга, само слово «солунянин» звучит почти так же как «простолюдин». Братьев это не смущало. Недавно ведь и василевс при всех назвал их «солунянами», добавив, чтобы им польстить, что все солуняне хорошо говорят по-славянски. Конечно, они за таким поощрением расслышали ещё и лёгкую насмешку, извинительную в устах молодого императора: да о чём там могут говорить солуняне со своими македонскими славянами, кроме как о ценах на овёс, ячмень, вино или баранину?

А они теперь едут, чтобы со славянами, пусть не македонскими, а моравскими (может, и до македонских дойдёт своя пора?), говорить не об овсе или сене, или о бараньих лопатках, а — о Боге. Впрочем, почему только так? Беседы будут и о зёрнах, плевелах, сене, овцах, козлищах, рыбах и тех же свиньях, потому что не зазорно же было и самому Сыну Человеческому говорить обо всём этом в притчах, когда через видимое хотел объяснить невидимое, как в маленькой притче о горчичном зерне и Царствии небесном. Или в притче о сеятеле...

Что и перечислять! Христос постоянно говорит самые простые слова, доступные самым простым

слушателям. Разве сквозь зубы с ними говорит, разве языком книжников-многознаек, прегордых философов? Нет, простым говорит о простом просто и достоверно. Ну, не чудо ли это великое, никак не меньшее, чем чудеса исцелений, что Сын Человеческий говорит с человечеством самым простым языком?! Он ни одного непонятного им слова не принёс и не произнёс... Разве не так же прост и превечный свет, что из незримого источника неистощимо изливается на это море, на весь мир?

От солунского холма поначалу примет их в своё каменное русло старая, ещё Римом имперским пробитая дорога — Via Egnacia. Затем, свернув с неё вправо, уйдут на север долиной Вардара или Струма, как его зовут славяне за стремительную силу. Затем, одолев горные перевалы, миновав древний Ниш, всё так же держась гиперборейской звезды, достигнут Дуная у впадения в него Савы, где стоит Белград, по-старому Сингин-дум, тоже, как и Ниш, обжитый когда-то легионерами Рима.

А уж оттуда, не отпуская надолго из вида широкий ток Дуная, нужно ещё подниматься и подниматься — до самого впадения в него Моравы. Это уже она, река моравлян, давшая имя народу и стране. На той Мораве и ждёт их в своём Веле-граде князь Ростислав.

Был у них, как и положено, свиток с росписью рек, городов, колодцев, надёжных стоянок, горных мостов, речных переправ, бродов. Была в обозе достаточная поклажа, чтобы не оголодать за недели пути. Был для них из имперского монетного двора отсыпан тяжёленький вес в золоте, серебре и меди с изображе-

ниями василевса Михаила, чтобы не пришлось бедовать ни в пути, ни на месте. Была, разумеется, придана обозу внушительная стража — пусть видят дорожные забияки, что важные следуют люди, с которыми не стоит шалить. Были при них, на случай пограничных и таможенных дознаний и придирок, подорожные грамоты, скреплённые печатями императора.

И нужно им было иметь с собою людей, без которых никакая миссия такого рода немыслима. Как можно служить службу без уставщика-регента и хотя бы двух-трёх певчих? Как служить без икон Спасителя и Матери Божией, без образов, посвященных самым великим праздникам года, самым чтимым святым? А это значит: как можно было выехать без своего иконописца, хотя бы одного для начала? И не стыдно ли будет, прибыв на место, признаться, что впопыхах забыли дома запас свечей, масла для лампад, мира для таинств и ладана для воскурений?

И никак не могли приехать без нескольких учеников, способных сослужить в храме, читать славянское письмо, толково переписывать книги, начиная с того, что размерять и сшивать для них листы пергамена, мастерить прочные кожаные обложки, натянутые на деревянную основу, а к ним прикреплять бронзовые застёжки-«жуки», чтобы книга закрывалась плотно, не пропуская на свои страницы сырость.

Вспомнив про наше «скорее всего», прикинем, что учениками, наверное, были монахи или послушники из Полихрона или других монастырей Малого Олимпа, где братья уже подобрали себе одарённых и надёжных единомышленников из славян. Но не станем спешить...

Достоверные имена учеников, точнее лишь немногих из них, появятся и у нас. Но позже, когда получим достаточные основания, чтобы эти имена назвать. Имя всегда и каждый раз — единственно. Имя не шуточно, чтобы с помощью его пускаться в произвольные допущения, даже с самыми благими намерениями.

Было и ещё одно имя, столь для братьев значимое, что и произносилось-то вслух лишь в ежедневных молитвенных обращениях. Климент... Как могли они отправиться в путь без ковчежца с его мощами?

И, конечно, как не менее ценную для них часть обоза, везли книги — по сути, целую библиотеку наиболее необходимых: те, что уже готовы были для храмовых служб на славянском языке; и те, из греческого церковного обихода, что ещё нуждались в переводе на славянский. Вторых было, понятно, больше, чем первых.

Потому и в пути, не отвлекаясь на зрелища, привычно для них однообразные — что в долинах, что на горных перевалах, — то и дело испытывали надобность книги эти распахивать — совсем новенькие, коробящиеся на сгибах листов, или старые, зачитанные до рыхлых вмятин на углах страниц. И нужно было — для своих свежих черновых записей — с особым старанием макать перья в сосудики путевых чернильниц, чтобы на дорожном ухабе не расплылась по листу досадная лужица.

Константин, с уже вошедшей в привычку придирчивостью просматривая недавние переводы, обнаруживал, что нужно, не щадя прежних усилий, подбирать и подбирать новые, более точные, более

близкие будущим слушателям и читателям слова. К примеру, евангелист Матфей в своём рассказе о воскрешении умершей девочки называет её отца dpxcov, то есть «начальник». Но куда понятнее и ближе станет для славянина человек, умоляющий Христа о спасении дочери, если вместо безликого начальник поставить князь. Тот же Матфей, в том же рассказе о дочери князя называет её корсшюv — «девочка». Но он-то, Философ, знает, что когда славянин хочет придать этому смыслу особую стыдливую красоту взросления, он скажет иначе — девица. И потому пишет: «И воста девица». В подобном же рассказе у евангелиста Марка есть и другое греческое понятие, означающее ребёнка, будь то мальчик или девочка: шхібюv. Марк приводит их оба: и лшбюv, и коргіаюv. Но у славян для различения возрастных ступеней существует ещё одно выразительное слово. И потому Философ вместо лшбюv решительно ставит — отроковица.

Есть и у греков ласковое обращение к ребёнку — текvov. Перевести можно как сынок, дитя. Но когда Константин встречает это текvov в рассказе Матфея о расслабленном мальчике, он ставит не менее ласковое славянское чадо.

«Дерзай, чадо!» — восклицает Христос, ободряя увечного ребёнка встать со своего одра.

Как ни тряска, как ни скучна подчас дорога, не могут забыть братья о необычности происходящего с ними. Это не они, это сам Христос ведёт их к славянам. Дождутся и славяне Господа своего. Они ведь тоже Христовы чада, не сироты, не подкидыши. Сын

Человеческий и с ними хочет говорить на их языке просто, без фарисейских умствований. А потому и ты дерзай неустанно, чадо Философ! И ты, чадо Мефодий, мужествуй!

Люди тихих рек

Но теперь надо было и по сторонам внимательнее поглядывать, — так сильно земля изменяла свой облик. Будто сам Господь то напрягал глубокие морщины ущелий, то разглаживал горы, как кожу, нуждающуюся в ласке, — и всё это в неустанной заботе о разнообразии. Но наконец всё видимое до того разгладил, словно никаких гор нигде и никогда не бывало, а одна лишь простиралась во все стороны неисследимая и безлюдная зелёная ширь, озвученная мерцающим звоном жаворонков.

Лишь над берегом Дуная, вблизи от устья Моравы встретилась одна-единственная, как перст, скала. Сопровождающие их посольские моравляне сказали, что скала прозывается Де-вин, в память о какой-то богине-деве.

Как ни долго их ждал князь Ростислав со своей «простой чадью», а дождался! Как ни медленно они собирались, как ни трясок и вязок был путь, надежду князя не унесло ветром невесть куда. Вот она, надежда, — перед ним, в облике этих усталых, даже слегка изнурённых, сдержанно улыбающихся ему людей. Непонятно лишь, как их приветствовать: поклониться в пояс или до земли, руки им облобызать или пожать, поцеловать в плечо или обнять тесно, как обнимают родных, с крепким и звонким целованием в уста?

А каким они увидели Велеград, его князя, людей? Признаться, само это имя — Велеград — мало что подскажет нам теперь: да, был он, по названию судя, велик, а возможно, и великолепен. Но где, в каких пределах умещалось его величие?

Сегодня неизвестно точное местонахождение города с таким именем. На современных картах Словакии Велеград отсутствует. Как будто сама земля, суровая учительница скромности, сполна постаралась, чтобы навсегда скрыть его от глаз людей. Тихие, будто в забытьи текущие реки, протоки и заводи, густо обросшие по берегам ивняком. Дрёмные, давно заскучавшие дали с облаками, не знающими, то ли двигаться куда, то ли стоять без воли. Разве в такие равнодушные к себе места приходят люди для труда, действия, дерзаний?

Но археологи, которые в течение целого века пытались определить хоть какие-то приметы существования столицы Ве-ликоморавской державы, всё же не зря трудились. Велеград — не город-призрак. Он был наяву. И он всё делал, чтобы не исчезнуть навсегда: огораживался земляными валами, строил каменные храмы и дворцы для своих правителей.

Но где именно он стоял?

Искали его на Мораве в разных местах, но по ходу дела особое внимание привлекли два городища. Произведённые тут раскопки подтверждали, что именно они каждое по-своему соответствуют облику взыскуемой средневековой столицы с таким красноречивым именем. Одно урочище находится на самой Мораве, близ нынешнего села Микульчице,

другое — у села Старо Место, и расположено выше по течению Моравы, на её притоке реке Салашке. И в том, и в другом месте раскопаны остатки городовых укреплений, фундаменты церквей, больших и малых, основания каменных дворцовых построек, захоронения мужчин и женщин знатного происхождения, судя по обилию украшений на останках тел и одежд. Найдены и музеефицированы нательные крестики и остатки храмовых настенных росписей.

Кроме этих и некоторых других городищ размерами поменьше, в бассейне той же Моравы и её обильных притоков обследовано великое множество отдельных могил, иногда богатых следами чьих-то пышных, по тогдашним понятиям, проводов и тризн. Шлемы воинов, рукояти мечей, ножи, бронзовые поясные пряжки, украшенные орнаментами, золотые или серебряные с золочением перстни, золотые и серебряные кольца, серьги, подвески, браслеты, ожерелья, бусы, пуговицы серебряные, мужские и женские, искусно украшенные орнаментами... Много-много пуговиц. Из чего видно, что и жизнь тут была нескудная и нескучная, потому что даже пуговица речиста в старании хоть что-то добавить о своём щего-ле-хозяине.

И, конечно, многое множество возникало из-под земли всяческой утвари, из которой когда-то ели и пили — глиняных горшков, крынок, корчаг, мисок, чаще колотых и битых, чем целых. Это добро сохранялось в земле всё же лучше, чем мечи и ножи, топоры и копья, ножницы и шила, но находили и их. И, радуясь удаче, извлекали из-под слоя сырого речного

песка древние длинные, долблённые из цельных древес челны. Да и как тут без них? Народ-то речной! Свою Мораву тут каждый бывалец мог нарисовать на песке в виде многоствольной липы. Была ему река и колыбелью, и кормилицей, и укрытием от чужого глаза. На челне рос, наливал руки и спину силой, на реке мужал. Наконец, по воде же отправлялся к неведомому берегу. Так тихо уходил, так незаметно, будто и не знали его никогда.

Когда думаешь о затерянности нынешнего Велеграда, поневоле вспоминается Юрий Венелин, вдохновенный учёный муж XIX века, родом карпатский русин, историк славянства, который на своём недолгом веку из всех славян особенно возлюбил болгар и был горячо убеждён в том, что братья Константин и Мефодий просвещали именно болгар, а не каких-то моравлян. Никакой Моравской державы, по Венелину, вообще не существовало. Она-де — лишь плод внушения, произведённого агиографами солунских братьев.

И до недавних десятилетий у Венелина находились неожиданные единомышленники. Нет смысла перечислять здесь имена маститых западных историков европейского Средневековья, которые и в своих новых капитальных исследованиях упорно не замечают славянского государства, многократно подтверждавшего в IX веке волю к самостоятельному существованию. Да один лишь Людовик Немецкий, король Восточно-Франкский, мог бы этим учёным мужам предоставить гору сюжетов о своих походах против князей Моймира, Ростислава, Святополка...

Этот король и в год прибытия византийской миссии не оставил Моравскую землю в покое. Может быть, именно в связи с тем и нагрянул он сюда снова, что от своих ушлых людей в Велеграде уже получил известие: прибыли ещё какие-то греки целым поездом... И заводят свой устав в доме у Растица. И говорят с ним на его же природном варварском языке. И даже письмо, что привезли с собой от греческого императора, зачитали, чтобы польстить Растицу, на его варварском языке.

Да, письмо от Михаила III было при гостях. На торжестве встречи, прежде чем вручить князю подарки от византийского двора, они зачитали это письмо, составленное, как и должно, в духе великодушного покровительства и расположения, а не льстивых словесных извитий. В «Житии Кирилла» письмо читается так:

«Бог, иже велит всякому, дабы в разум истинный пришел и на больший ся чин подвизал, видев веру твою и подвиг, сотвори ныне в наша лета, явль буквы в ваш язык, его же не бе дано было, токмо в первая лета, да и вы причтетеся велицех языцех, иже славят Бога своим языком. И ти послахом того, ему же се Бог яви, мужа честна и благоверна, книжна зело и философа. И се приим дар болий,честнейший паче всякого злата и сребра, и каменья драгаго и богатьства преходящаго. И подвигни с ним спешно утвердити речь и всем сердцем взыскати Бога и общаго спасения не отрини, по вся (всех) подвигни не ленитися, ноятися по истинный путь, да и ты, привед я (их) в того место в сии век и в будущий, за вся ти души, хотящия веровати в Христос

Бог наш, от ныня и до кончины, и память свою оставляя прочим родом, подобно Констянтину царю великому».

Надо полагать, зачитывались и вручались, как приличествовало случаю, и греческий оригинал письма Михаила III, и славянский его перевод, исполненный братьями, и уж тут при чтении была воля Философа, чтобы опустить похвалы василевса в свой адрес.

Первые же часы и дни пребывания здесь должны были показать братьям, какое на всех моравлян — начиная от князя, старающегося быть сдержанным, достойным своего звания, и до его придворных и простолюдинов — чрезвычайное впечатление производит то, что гости говорят с ними... их, моравлян, родной речью. Не коверкая слов, не напрягаясь, чтобы отыскать нужный оборот, но не стесняясь, когда надо, и подсказку услышать. А ещё говорят они не только без признаков кичливости, но с какой-то тихой радостью от услышанного и сказанного, как и положено говорить своим среди своих. Откуда у них этот дар и эта чудесная способность — у людей, прибывших из самого большого и богатого города на всём свете? Или там все такие — про всех и про всё ведают, — как эти двое с их учениками?

Но и с первых же часов, с первых дней было видно, что прибыли они не просто для приятного знакомства, для вручения грамот и подарков от василевса, послания и даров от патриарха, для дружеских застолий и важных здравиц, для искренних разговоров. Как ни драгоценно само по себе такое знакомство, гости ни на минуту не забывают, о чём просил князь через своих

послов у василевса, и именно потому без обиняков желают объяснить, в какой мере могли бы его просьбу исполнить, если поможет им всем милостивый Господь.

Они, конечно, знают, что князь просил прислать моравля-нам не только учителей, но прежде всего епископа. И, наверное, он теперь досадует, что они пришли без епископа. Но и патриарх Фотий, приславший князю Ростиславу своё отеческое благословение и назидание, при всей своей великой власти не может отправить епископа в землю, которая находится в духовном попечении другого патриарха — римского папы. Зато в воле и василевса Михаила, и патриарха Фотия было прислать их, учителей.

Как и князь Ростислав, они понимают, что невозможно славянину принять веру Христову всем сердцем и разумом, пока он терпеливо выстаивает в храме, а служба притом идёт на латыни или по-гречески, а он не учён ни тому ни другому. Даже если какой-то доброхотливый немец-священник привезёт подсказку, как по-славянски произнести и пропеть «Отче наш» и «Символ веры», и обучит этому своему навыку тебя, славянина, то разве ты тем самым уже христианин?

Когда ты во время латинской мессы томишься в храме, изнываешь душой и телом, раздражаешься и думаешь о чём угодно, только не о Господе своём, то какое же это христианство? Ты уже не по доброй воле здесь, а по принуждению немецкому, — ни ты в таком виде Христу не нужен, ни Христос тебе.

Вот почему желалось бы, чтобы в ближайший же большой праздник или в ближайший день недельный князь и все, кто захотят с ним, пришли на литургию, которая — впервые в Моравской земле и впервые на всём свете — будет отслужена на их родном языке. Всё-всё в этой службе — чтение Апостола и Евангелия, все стихи из Псалтыри, все самые важные ежедневные молитвы, а не только «Отче наш» и «Символ веры», все ектиньи, словом, всё, до последнего звука, что поётся и читается при таинстве евхаристии, будет пропето и прочитано для славян по-славянски.

Да, каких-то слов они наверняка не расслышат, каких-то смыслов сразу не поймут. И ученики Христовы не сразу понимали всё, что им говорил Сын Человеческий. Но не робели переспрашивать по многу раз. Это же были простых занятий люди, не обученные грамоте. Но учились напрягать чувствилища души, неустанно размышлять про себя или вслух об услышанном. Все первые Христовы апостолы — разве не такая же простая чадь, как его, князя Ростислава, моравляне? Теперь и к ним, моравлянам, напрямую обратится Христос со своей просьбой о внимании: «Имеяй уши слышати, да слышит». Он — Пастырь добрый для своих овец, и потому овцы глас его слышат и идут за ним, ибо узнают его по голосу. За чуждым же не идут, но бегут от него, потому что знать не знают чуждого гласа.

Не обидно было и первым ученикам зваться овцами. Но потом и грамоте навыкли, чтобы тем, кто не видел и не слышал, записать свои истинные

свидетельства, а не слухи и россказни, идущие от чуждых.

Многое, очень многое можно выучить на слух, как запоминают люди песни друг от друга на слух, как запоминают притчи, изречения, пословицы. Но мы присланы учить не только на слух, но и письму. По Господней воле вера наша удостоверена письменами — Священным Писанием, Святым Письмом.

И тут уж будут наставлять книги самого Писания, которые привезены в Велеград. Книги это не латинские, не греческие, какие здесь звучали раньше. Это славянские письмена. Такие книги ещё не распахивались для моравлян. Но начнётся литургия, и распахнутся, зазвучат. И как же многим — и зрелым мужам, и юношам, и детям — захочется тогда научиться читать по этим книгам! Вот ещё в чём смысл их приезда в Велеград: чтобы появилось тут и училище — для тех, кто пожелает узнать славянские буквы и читать по ним славянские книги.

Итак, не одна лишь служба церковная, но и служба училищная как первая ступенька к церковной. Школа и литургия — вот самое незаменимое учение для каждого христианина. Одной школы ещё недостаточно. Только через литургию-учительницу достовернее всего раскрывается миру сам Учитель. А как стать христианином без литургии? Это по сути и непредставимо. Можно сто лет прожить, обложившись книгами, пусть и всеми подряд книгами ветхозаветными и Нового Завета, и толкованиями к ним, и житиями прославленных святых, и их письмами, но так почти ничего и не уразуметь в вере Христовой,

если для тебя не распахнулись соборные врата и ты не ступил в мир вечерни и всенощной службы, а затем и в мир литургии, где служат уже не священник и дьякон, не чтецы и певчие, а сам небесный твой Учитель...

«Смятошася кости моя...»

В сентябре 864 года, когда снопы ржаные, ячменные и пшеничные были уже свезены с полей и обмолочены, пожаловали в Моравию немецкие гости. Это была их старая повадка — затевать набег, когда в каждом дворе хлеборобском можно поживиться зерном нового урожая и скотинкой, потучневшей за лето на обильном травяном корму.

Людовик Немецкий приходил и в прошлом году, совместно с болгарами, но мало в чём успели те и другие. Теперь же король выступил один. Может, он по старой привычке хотел бы и болгар снова напрячь, но те вдруг отговорились срочным намерением своего хана креститься, да ещё и по византийскому уставу.

Франкский придворный хронист занёс в свои анналы, что король окружил воинство Ростислава в стенах городка по имени Dovina. Похоже, он имел в виду ту самую пограничную крепость у подножия скалы Девин, которую солунские братья недавно видели на берегу Дуная, недалеко от устья Моравы.

Наверно, у Ростислава были какие-то саднящие предчувствия, если он всё же не сидел в Велеграде, а спустился по реке к Девину. Но вряд ли он ждал, что король в этот раз пожалует с такими тяжкими силами. Моравляне оказались захлопнуты в крепостце, как в ловушке. Будто никогда воевать не умели! Не хватало

людей ни для того, чтобы выдержать долгую осаду, ни чтобы вырваться на волю. Хохочущие королевские ратники вдоволь поиздевались, видя за крепостными тынами опущенные лица дружинников Ростислава. Князь предпочёл не терзаться понапрасну и позору бездарной погибели предпочёл срамную церемонию сдачи.

Условия оказались по внешности даже милосердными, а по сути своей до слёз оскорбляли: Растиц, как нашкодивший мальчишка, принесёт новую присягу на верность королю. То есть полностью лишится добытой такими тревогами и рисками независимости, опять станет полным вассалом, каким был 18 лет назад, когда король тоже приходил походом, сверг слишком заматеревшего в своенравствах Моймира, а его, Ростислава, будто игрушку свою, приладил для княжения в Моравии.

За рыцарским милосердием Людовика Немца стояла, однако, его собственная закоренелая слабина. Последовательно выдавливать славян с их исконных земель, как это невозмутимо проделывал его дед Карл Великий, у него не хватало ни средств, ни времени. И время, и силы пожирались бесконечными порубежными распрями с братом Лотарем I и единокровным братом Карлом Лысым, королём западных франков. Цельную дедову и отцову империю наследники впопыхах поделили было натрое, но всё никак и после смерти Лотаря доделить не могли. Не был счастлив Людовик и в детях. Сыновья его Карломан, Людовик Младший и Карл Толстый, вместо того чтобы помогать родителю на ратном поле и в

трудах управления, не только особничали и грызлись между собой, но ещё и пускались в интриги против отца.

При таком унылом раскладе Людовика очень даже устраивала у себя на востоке мирная славянская страна-житница. Она ведь если и намеревалась прежде прирастать, то за счёт своих же славянских князьков. Но такой она могла оставаться лишь при одном-единственном зависимом от него вассале. Убери он теперь Растица, и ещё неизвестно, как поведут себя примолкшие со времён Моймира малые князьки.

На такой лад настраивало Людовика Немецкого и то, что союз его с болгарским ханом против тех же моравлян теперь, похоже, увядает на корню. Хан Борис и раньше воинскими доблестями себя не отличал, а как лишь крестится по греческому обряду, и вовсе попритихнет. Значит, надо Растица всё же пощадить. Но такими при этом обложить обязанностями и поборами, чтобы больше уж не мнил себя собирателем преоб-ширной славянской империи. Какая ещё Magna MoraviaV. Какой ещё Великий град?

Впрочем, потрошить само это большое село, величающее себя столицей, Людовик посчитал сейчас напрасной тратой времени. До осенних дождей свезти в Баварию добытое добро — вот что дороже и умнее всего. И повлекли в скрипящих от натуги обозах обильную хлебную и фуражную поклажу дармового урожая. Скрип тех обозов болью и горечью отозвался по вескам оцепеневшей Моравии.

...Чем могли Мефодий с Константином утешить обесславленного князя? Да он теперь в их сторону и

глаза поднимал без особой охоты, будто по принуждению. Кажется, попроси они сейчас твёрдо, и он их, без всяких нарочитых уговоров, без лишнего лицедейства отпустит в обратный путь. А что ж, если ничего не вышло? Знать, не помощник его моравлянам христианский Бог. Всем помощник, только не им.

Но братья, похоже, ведали, чем поддержать сникший дух князя. Есть царь, который их самих не раз поддерживал и укреплял в самых, кажется, непереносимых бедах. Пусть Ростислав не их, нет, но самого того царя послушает. Пусть узнает, какие могучие люди жили на земле и какие рыдания и горячие молитвы исторгали из глубин сердечных.

...Доколе, Господи, забудеши мя до конца, доколе отвращаеши лице Твое от мене? Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и нощь; доколе вознесется кровь враг моих на мя. Призри, услыши мя, Бог мой, просвети очи мои, да не когда усну в смерть... Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя. Болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя...

Но такой силы вера жила в том царе, что, и не получая ответа, всё равно снова и снова воплем вопил к испытующему его Богу.

Господи, да не яростию Твоею обличиши мя, ниже гневом Твоим накажеши мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь; исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя... Утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу.

Только пребывающий в великой скорби способен постичь, насколько велико ведение о нём Господа с самой минуты его появления на свет.

...Яко Ты еси исторгни мя из чрева,
упование мое от сосцу матери моея.
К Тебе привержен есмь от ложесн,
от чрева матери моея Бог мой еси Ты.
Да не отступиши от мене,
яко скорбь близ, яко несть помагаяй ми...

Но не была бы крепка та царская молитва, не содержи она в себе и великого раскаяния. Не в одних только вражьих кознях искал он причину постигших его бед, но и в своих неправдах; о своих прегрешениях сокрушался.

...Господи Боже мой, аще сотворих сие,
аще есть неправда руку моею,
аще воздах воздающим ми зла,
да отпаду убо от враг моих тощ...
Да поженет убо враг душу мою
и да постигнет и поперет на землю живот мой,
и славу мою в персть вселит...
Господь судит людем;
суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя.
Да скончается злоба грешных,
и исправиши праведнаго,
испытали сердца и утробы, Боже, праведнаго.
Помощь моя от Бога, спасающаго правыя сердцем.
Господь судитель праведен и крепок и долготерпелив...

Невозможно сосчитать, скольким тысячам тысяч людей псалмы царя Давида становились утехой в непереносимых огорчениях. Теперь он напрямую хочет беседовать с тобою, славянский князь, на твоём языке. Великий из пророков Христовых готов и твоими бедами поболеть. И, главное, надеждой тебя, как брата, ободрить.

Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся; Господь защититель живота моего, от кого устрашуся... Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю... Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал если вретище мое и препоясал еси мя веселием...

Молитва заговорила

Как ни тяжело пережили князь Ростислав, его двор и народ недавнее пленение, грабежи, а заодно и поражение в правах, константинопольская миссия сворачивать свою работу не собиралась. Иное дело, что её труды пришлось теперь на ходу приспосабливать к непредвиденным переменам.

Франкское духовенство не преминуло воспользоваться реваншем Людовика Немца. В моравских городах и городках, где стояли построенные по замыслам баварских и швабских епископов храмы, снова зазвучали латинские мессы. На правах хозяев опять зачастили сюда с запада сборщики храмовых десятин. А при них засуетились, будто м^тси после спячки, всякого рода соглядатаи. Пусть не сразу, но рано или поздно настырные осведомители должны

были расслышать звуки странных песнопений, доносящиеся по субботним и воскресным дням то из городского собора, то из княжеского домового храма.

Словацкие исследователи кирилло-мефодиевской старины, справедливо считая моравлян своими прямыми предками в Средневековье, с особым, даже трогательным вниманием относятся к подробностям пребывания здесь солунских братьев. В своих разысканиях они, независимо друг от друга, предложили не один вариант наиболее надёжного — для укрытия от чужих недобрых глаз — сельбища, в котором могло бы безбедно существовать училище миссии после погрома, учинённого немцами. При таком направлении мыслей воображение поневоле рисует картину некоего романтического лесного укровища. Затворились в глухомани, живут по строгим правилам конспирации.

Может быть, на какое-то время — впрочем, не очень продолжительное — и возникала нужда в соблюдении особых условий прикровенности. Но при этом и князь, и прибывшие в его землю учителя веры совсем не хотели считать такие условия достойными своего общего замысла. Слову Божьему непристойно ступать крадучись, с повадкою ночных татей. Ни изначально, ни теперь речь не могла заходить о том, чтобы затевать в Моравии какую-то катакомбную церковь. В условиях подпольного существования училищу было бы не по силам справиться с теми задачами, которые заранее определила для него миссия. Эти задачи были слишком широки, чтобы решать их келейно, в обстановке скрытности.

Совершенно недвусмысленно сказано об этом в «Житии Кирилла»:

«Вскоре же Философ перевёл весь чин церковной службы, научил их утрени и часам, обедне и вечерне, и повечернице, и тайной молитве».

Если переводами желательно заниматься в полной тишине, то научение — дело громкое, звонкоголосое. Речитативное, распевное чтение и пение в кувшин не уместить. Для слова, звучащего открыто, ясно и отчётливо, нужно раздольное пространство большой классной комнаты или храма. Агиограф, перечисляя составные полного чина церковной службы, называет, правда, напоследок и «тайную молитву», но и в связи с ней, как убедимся, речь тоже не идёт о необходимости какой-то скрытности.

Тайной молитвой называлось, как и доныне именуется, то обращение к Богу, которое священник, стоя в алтаре во время обедни, произносит лишь в уме, про себя, предельно сосредоточиваясь перед выходом к людям с причастной чашей. Подступает одна из самых волнующих минут литургии, и она всякий раз требует от священника предельной целомудренной собранности, благоговения перед тем, что ему предстоит совершить и в чём участвовать. По сути своей произносимая им безмолвно молитва лишь по внешности тайная. В её содержании нет ничего, как и в любой христианской молитве, что нужно было бы утаивать от мира:

«Вонми, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего и прииди во еже освятити нас, горе с Отцем

седяй и зде нам невидимо спре-бываяй, и сподоби державною Твоею рукою преподати нам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь Твою, а нами — всемлюдем».

Находясь в алтаре, перед престолом во время славянской обедни Константин или Мефодий вполне могли произносить про себя молитву «Вонми...» и по-гречески. Но братья не отложили на более поздний срок перевод её на славянский. И это означало лишь одно: с самого начала обучения они настраивали своих учеников на то, что из их среды непременно должны выйти и первые священники-славяне. Не только чтецы, певцы, пономари, алтарники, но и дьяконы, а за ними — свои иереи, свои духовные пастыри, для которых чтение тайной молитвы — такое же обязательное служение Богу и миру, как и все остальные требы. Упоминание о тайной молитве в «Житии Кирилла» — драгоценно как свидетельство особого, ответственного качества переводческих и педагогических трудов братьев.

Пусть не завтра, не через год, но будут и у моравлян свои священники... А затем и свой епископ, о чём так мечтает князь Ростислав. Буди, буди! Жизнь жительствует, и это непреложно.

Но требуется рвение. Востребована ревность.

Не для того они пришли из Константинополя, чтобы поразить отроков и юношей чтением Гомера или теоремами геометрии и прочими премудростями греческого гимнасия. Пусть не прельстятся моравляне эллинским многознанием, надменным и ненасытным.

Куда достойнее, не отвлекаясь на пре-многое, сразу посвятить рвение своё и ревность вере.

Разве училище славянской азбуке их учит счёту, письму? Нет, оно вере учит — с помощью азбуки, счёта, письма... Вероучение — с первых же букв и слогов, с первых же молитв, которые произносятся или поются вслух в храме или читаются про себя, для большей собранности сердца и ума. И когда не в стенах училища или храма, а где-нибудь посреди лугового или лесного безлюдья, в радости или в горе приходит тебе на ум хотя бы одна из услышанных прежде молитв, и произнесёшь её вслух или про себя от всего сердца, знай: наука твоя не идёт даром. Потому что молитва сама в тебе заговорила. Сама тебя разыскала: «Я в тебе, я — твоя... Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»

В «Житии Кирилла»:

«И открылись, по пророческому слову, уши глухих, чтобы слушать слова Писания, и ясен стал язык косноязычных».

Последние болгарские новости

Как ни далеко отстоял Велеград от Константинополя, но братья пользовались любым случаем, чтобы получать хоть какие-то вести с Босфора. И о себе, если особо повезёт, давать знать.

Благо, через Моравскую землю проходила, пересекая её с севера на юг, старая торговая дорога — Янтарная. Подлинно, не найти на свете людей, более пронырливых, всеведущих, ищущих новых знакомств и приятельств, чем купцы. Каким бы хмурым истуканом ни молчал купец в пути, но на гостином дворе он преображается. Он так и пышет жизнерадостностью.

Купец прямо изнемогает от желания показать, как много везде слышал, а больше всего сам, своими глазами видел.

Царырад?.. Нет слов, это всем городам город, он просто трещит от изобилия. Рынки переполнены, торговые суда со всего света едва протискиваются к причалам бухты Суд. Где василевс? — На ипподроме. Патриарх? — В Софии. Арабы как? Арабы угомонились, будто вымерли. Трусов земных, то бишь землетрясений, не слыхать. Вино, мясо, плоды — почти задаром. Только янтарь никогда не подешевеет. Потому что янтарь — золото севера...

А что у болгар, как хан Борис?

Теперь нет хана. Борис теперь князь и при двух именах сразу — Борис-Михаил. Прошлой осенью, когда собрались его крестить, ромеи хотели, чтобы он приехал в Царырад, а он хотел, чтобы василевс Михаил прибыл к нему в Плиску. Но вышло проще: крестил его и всех вельмож придворных епископ-грек. Но всё им мало, всё им чести мало, и баилы болгарские затаили такое недовольство, что недавно дошло до настоящего бунта. И не где-то, а в самой Плиске, у стен ханского дворца. К чести Бориса, он не заробел, хотя при нём осталось, говорят, всего полета верных ему людей. Велел отворить крепостные ворота и вышел навстречу мятежным толпам. При нём вдруг оказалось семь священников с зажжёнными свечами в руках. Бунтовщиков охватило смятение, будто эти семеро мужей прямо с небес сошли. Толпы рухнули наземь, не смея ни встать, ни бежать. Видя такой оборот дела,

Борис велел похватать зачинщиков бунта. Больше пятидесяти знатных баилов были казнены.

Весть о смуте в Болгарии первыми могли передать братьям даже не купцы, а сам князь Ростислав и люди из его окружения. Уж им-то никак нельзя было пренебрегать любым свежим сообщением о событиях в доме у южного соседа. Тем паче о событиях таких неожиданных.

Что на самом деле послужило поводом к мятежу? Вряд ли недостаточная честь, оказанная василевсом и патриархом болгарскому двору. Братья ещё до своего отъезда в Моравию видели, с каким особым тщанием готовились в Константинополе к небывалому по размаху событию. Подлинно целину, ни разу не оранную, предстояло засевать семенами веры. Но смущало: а хватит ли для встречи с бесчисленной паствой священников, достаточно освоивших тюркское наречие болгар или говор обитателей славянских поселений? Или, тем более, разумеющих тот диковинный смешанный язык, что заваривается повсеместно в славяно-болгарских семьях?

Из наблюдений, добытых опытом предыдущих десятилетий, солунские братья знали: среди оседлых славянских племён, что укоренились на Балканах ещё до прихода болгар, особенно в Македонии, кое-где уже построены первые христианские храмы, и жизнь в них затеплилась. Хорошо, если князь Борис, приняв крещение, тем самым пошёл, наконец, навстречу настроениям своих преобладающих числом славянских подданных. Но не это ли его предпочтение и вызвало гнев среди баилов, привыкших во всём держать верх?

Да, не позавидуешь Борису. Даже и отсюда, из Велеграда заметно, что земля под ним вроде бы и своя, а ходит ходуном. Как ни переплелись два подвластных ему племени узами кровного родства и разговорного языка, а спесь одних и глухой ропот других всё никак не угомонятся. Борис понадеялся на Константинополь, на то, что епископ приедет не только на его крестины, но останется у него насовсем, и это будет уже собственный, болгарский епископ. Не потому ли из среды верных престолу болгар раздаются новые ему упрёки и подсказки: почему только епископ? Болгарам нужен и свой патриарх, иначе так и останемся в унижении перед хитрыми греками. Надо в Рим посылать посольство, у папы Римского просить себе необидную веру и достойного пастыря. А церкви, строимые повсюду византийцами, закрывать и попам их в службе отказывать.

Этот болгарский мятеж, второй за малые сроки, затеянный уже не против Бориса, а против крещения, состоявшегося по-гречески, вызревал целый год, пока сам князь не поддался брожениям. Забыв все свои духовные обеты Константинополю, он отправил посольство в Рим, прямиком к папе Николаю. Во главе посольства поставил родственника, боярина Петра. От имени своего князя послы просили принять болгарскую землю под духовное покровительство апостолика Николая и выражали надежду, что церковь в Болгарии возглавит духовное лицо, облечённое званием не ниже патриарха.

Произошло это уже в 866 году, в третье лето трудов Мефодия и Константина в Моравии. Лишь спустя два

года, когда и сами братья окажутся в Риме, картина нежданного «рывка на Запад», а если уж сказать прямее, переметничества, предпринятого князем Борисом, прояснится для них во многих занятных подробностях.

Когда вера приходит

Этот Бог, как они слышали теперь и видели на иконе, выставленной посреди храма к празднику, родился не в царских палатах, а в убогом хлеву. И лежал в скотьей деревянной кормушке, в яслицах, наспех застеленных чистой соломкой и превращенных в человечью лежанку. Даже домашние скоты, телок и овца, удивились такой небывалой новости и заглядывали в ясли с благоговением.

Как моравлянину — землепашцу, пастуху, рыбарю, охотнику, древоделу воину княжескому — не умилиться было при встрече с таким Богом?! Он не побрезговал простой чадью, не прошёл навсегда мимо них. Нет, здешняя чадь не разминулась со Христом. Он заговорил с нею её же речью, а не скрытным и надменным языком чужаков. Он готов потолковать с каждым из своей новой паствы о её трудах и бременах — о всходах хлебных и поспевшей жатве, о сене, об овцах, о дереве и его плодах, о сетях и рыбах, о крошечном горчичном зерне, о соли, о знамениях на небесах...

Но о чём бы или о ком бы Христос ни заговорил с ними, Он всегда говорит о большем. Его простота особенная, внимать ей не просто. Вот почему братья-учителя после услышанных народом во время обедни

евангельских чтений не устают во время проповедей своих объяснять, как именно нужно понимать ту или иную притчу Христову, тот или иной поступок Спасителя. Как не полюбить Бога, который не брезгует прикоснуться к смердящему в струпьях прокажённому, а увидев слепца, плюёт на землю и этим пыльным сгустком натирает глаза несчастному, чтобы тот прозрел? Как не довериться всем сердцем Сыну Божьему, который раз и другой и третий терпит нерадивость, непонятливость, маловерие даже самых близких учеников?

Да, Он пришёл не к праведным и чистеньким, а к грешным, и это мы, Его распростая, убогая, жадная, завистливая, погрязшая в блуде, лжах, сквернословиях и коростах стыдоб-ная, нераскаянная чадь. Скажет какой-нибудь пришлец из Баварии, что под землёй проживают большеголовые человеки, и мы уже ходим разиня рты. Подсчитает кто, что за убитую змею девять грехов прощаются, и вот мы шляемся по болотинам, гадов круша, а грехов всё больше и больше. И от жертвоприношений своих языческих отстать робеем. И блудодеяниями бессчётными прилюдно хвастать не боимся.

Вот отчего братья Мефодий и Константин не устают напоминать с великим укором в тех же проповедях или перед исповедью:

«Жены же юности твоея не отпусти. Аще бо, возненавидев, отпустиши, не укроется нечестие похоти твоея, глаголет Господь Вседержитель. Сохранитесь же духом вашим, и никто из вас да не оставит жены юности своея».

О, где ты, жена юности моей? Простила ли, простишь ли меня, помолишься ли пред Господом за душу неверного мужа юности твоей?..

Так они и каждого простолюдина увещевали, кто приходил в храм. И перед князьями и властителями говорили открыто, как перед такой же чадью Божьей, что и любой человек. Так завелось у них сразу и с теми, кого уже считали своими единоверными, и с теми, кого ещё терпеливо дожидались у дверей в храм и школу.

Не собирались отступаться от истины и перед клириками, которые то и дело наведывались в Моравию из баварских епис-копий — из Зальцбурга или Пассау Вера у греков и у немцев одна. Зачем же на утеху князю мира сего заводить срамные тяжбы о вере? Иное дело, что моравлянам хочется учиться вере на родном для них языке. Разве такое желание зазорно или подсудно?

За те три года, что братья трудились здесь, моравляне не раз показывали им молитвы, записанные для славян славянской же речью, но латинскими буквами. А чаще и без всяких письменных подсказок их знали, накрепко впитав жадным слухом. Значит, и в немецких землях есть люди, что не брезгуют «варварским» наречием. Этим свиточкам и листикам с «Отче наш...», «Символом веры» и молитвами к Божией Матери можно от души порадоваться. Жаль только, что в латинице не хватает букв для всех славянских звуков. Хорошо бы встретиться с такими просветителями, если они не перевелись на западе, и потрудиться с ними бок о бок для славянской паствы. Ибо велика жатва, ох, как велика, а делателей мало.

Ведь не лжёт старое предание, что ещё век назад приходил в Баварию и основал там монастырь великий муж, кельт по роду своему, — ирландский монах Виргилий, и у него была миссия к славянам-карантийцам (хорватам), и намерение было дать им азбуку и письменность на их родном языке. Возможно, что и молитва «Отче наш...», которую многие моравляне запомнили в звучании, привезённом с запада, исходила именно от игумена Виргилия и его монастырской школы. И если моравлянин, трогательно произнося вслух это великое обращение к Отцу небесному, просит «...и не введи нас в напасть, но избави нас от неприязни», то нужно ли его подправлять, нужно ли подсказывать, что вместо «напасть» лучше сказать «искушение», а «неприязни» заменить на «лу-каваго»?*

Жаль, что заброшено с тех пор начинание Виргилиево. Почему бы и на язык немцев не переводить Писание? Многие ли из них латынь разумеют? И скоро ли её поголовно усвоят?

Тем паче досадно, что доносятся теперь из Баварии голоса грубее воинских команд. Будто три только на свете языка достойны, чтобы на них писать священные книги: еврейский, греческий и латинский. Почему вдруг только три? А потому, объясняют, что так в Евангелии сам Понтий Пилат предписал: прибить доску на голгофском кресте с инициалами Христа на трёх языках — еврейском, греческом и римском. Ох вы, рьяные исполнители Пилатова приказа! Уже и прокуратора Иудеи в святые законодатели произвели!

* В «Остромировом Евангелии», древнейшем русском датированном памятнике кирилло-мефодиевского письменного наследия (1057 год), молитва «Отче наш...» записана именно в «западной» редакции: не въведи насъ въ напасть, нъ избави ны отъ неприязни». Вот одно из красноречивых свидетельств уважения солунских братьев к уже сложившимся до них в Моравской земле начаткам устной и письменной церковной традиции на родном языке.

«Триязычный» довод противников славянской службы достоин был разве улыбки. Но не предполагали ещё братья, что спустя короткий срок прозвучит он для их дела совсем не шуточным приговором.

ТРИЯЗЫЧНИКИ

Сорок месяцев

Чем дальше поиск ведёт в прошлое, тем реже радуют достоверные хронологические находки. Будто само время — как предмет, но одновременно и обязательный инструмент разыскания — безнадёжно изнашивается. Очертания событий, грани людских судеб делаются всё неразличимее. Исторический ритм и счёт перестают служить бесперебойно, причины и следствия то и дело путаются, время всё чаще терпит невосполнимый урон под натиском безвременья. В такой обстановке размытости и зыбкости особую ценность приобретает каждая уцелевшая или вновь

добытая, выхваченная из густого сумрака неопределённостей дата: точный год, а то ещё вдруг и точный месяц... или даже — о, редчайшая удача! — подлинный день события.

Хотя убедительность исторических датировок высоко чтима в самых разных дисциплинах, но сами искусники и добытчики неопровержимых дат чаще всего награждаются прозвищами педантов, скряг и вымирающих чудаков. Большинство удовлетворяется датами приблизительными, округлёнными, стёртыми до условности. Или вообще брезгует числом и счётом везде, где речь не идёт о вожделенной корысти. Стоит стать на поводу у этих добрых малых, и любое историческое ведение, касается оно древности или самых новейших событий, превратится в мутную студенистую жижу.

Нам уже пришлось не так давно смириться с тем, что начало деятельности солунских братьев в Великоморавском государстве поддаётся лишь приблизительному замеру. В житиях Кирилла и Мефодия ни единым намёком не обозначены ни дата появления в Константинополе послов с письмом-просьбой князя Ростислава Моравского, ни время отправки с Босфора и прибытия в Велеград византийской миссии. Эти события поневоле дрейфуют.

Люди Ростислава могли посетить столицу империи ещё в 862 году. Но могли и в следующем, 863-м. В силу такой неопределённости подвергается разночтениям и год приезда братьев к Ростиславу: или 863-й, или 864-й. Самим братьям, даже по умеренным подсчётам, понадобилось никак не меньше года, чтобы, трудясь на

предельных высотах духовной самоотдачи, подготовить необходимейшие книги для славянской церковной службы.

Древних агиографов, как уже говорилось, не имеет смысла упрекать в скудости хронологии описываемых событий. Житие — не летопись, в которой точная дата не менее важна, чем само случившееся. Агиографа, как и его героя, обыденные происшествия, со всеми их числами и сроками, чаще всего лишь отвлекают от осмысления явлений, причастных к вечности.

«И тако четыредесять месяц створи в Мораве и иде святить ученик своих», — читаем о Константине в его житии. То есть, спустя 40 месяцев по прибытии миссии в Велеград, братья покидают страну с намерением рукоположить в священники избранных учеников. Почему вдруг агиограф проявляет такую тщательность в счёте? Да потому что эти три полных года и ещё треть важны ему как свидетельство единственных в своём роде трудов по созданию первой в целом мире национальной церкви для славян. Сотворено столь многое, сотворено, как верится, раз и навсегда — и в такой краткий срок!

Но эти 40 месяцев, в которые уложилось совместное пребывание братьев в Велеграде, — неоценимый подарок всякому биографу, стремящемуся наметить хотя бы приблизительную летописную канву их жизни.

Сорок месяцев — много это или мало для того, что братьями сделано в Моравии? Удивительно немного! — первый напрашивающийся ответ. Невольно хочется предположить, что братья были связаны какими-то

твёрдыми служебными сроками, определёнными для их миссии ещё перед тем, как отправились к князю Ростиславу. А если нет, то, значит, что-то другое, не менее неумолимое, заставило их ограничить своё пребывание у моравлян именно такой вехой. И тут в первую очередь приходят на память уже мелькнувшие однажды в «Житии Кирилла» слова о его недомогании, заметном для окружающих, в том числе для василевса.

Догадки догадками, а 40 месяцев от этого не растягиваются ни на день.

И всё же возникает необходимость перепроверить и эти сроки. Дело в том, что в «Житии Мефодия» читаем немного иной счёт пребывания братьев в Моравии: ровно три года — «трем летом ишедшем возвратиста ся из Моравы». Какому счёту больше доверять? Тому, что округлён по годам, или тому, что подробнее выверен по числу месяцев? Доверяют, как правило, тому, что выглядит более обстоятельно.

Известно, что оба жития по времени их написания отделены друг от друга более чем пятнадцатью годами. Счёт, обозначенный в «Житии Кирилла», мог в памяти учеников, приступивших к жизнеописанию Мефодия, за давностью лет округлиться, то есть сократиться на треть года*.

Увы, сама по себе цифра «40» вовсе не даёт возможности биографу уточнить, с какого именно месяца и какого именно года нужно вести отсчёт моравского посольства в Константинополь и работы византийской миссии в Моравии. А значит, не даёт и возможности определить, в какое именно время года и какого года братья покинули Велеград, чтобы «святить

ученик своих». Из житийного изложения дальнейших событий мы узнаём, что рукоположение учеников, возможно, предполагалось в Венеции или в отстоящей недалеко от Венеции Аквилее, но не состоялось ни там, ни там. Однако братья вынуждены будут задержаться в Венеции до самого декабря 867 года.

Откуда, наконец, эта точная дата — год и даже месяц? Агиографы её тоже не называют. Зато в «Житии Кирилла» содержится замечательная хронологическая подсказка, твёрдо прислоняющая нас к неколебимым числам. Здесь упомянут «римский папеж», он же «апостолик Андреан», который, едва узнав о пребывании братьев в Венеции, послал им приглашение в Рим.

Как известно по документам папской канцелярии, Адриан II был избран на апостольский престол 15 декабря 867 года (вместо скончавшегося 13 ноября папы Николая I). Вот отсюда, от этих двух дат и можно теперь разматывать в прошлое, будто свиток, сорокамесячный срок Моравской миссии. Недели, месяцы, годы проплывут вспять, и мы обнаружим, наконец, что она, миссия, началась не весной или в начале лета 863-го, как чаще всего до сих пор пишут, озираясь друг на друга, авторы энциклопедических статей, а весной или в начале лета следующего, 864 года.

* На всякий случай обозначим ещё один хронологический определитель, касающийся сроков работы миссии в Моравии. Он прочитывается в так называемой Итальянской легенде, источнике, зависимом в своём содержании от «Жития Кирилла».

Автор легенды считает, что миссия длилась даже не три с третью, а целых четыре с половиной года. Это разночтение доставило немало хлопот исследователям, стремящимся к выяснению наиболее достоверных сроков первоначальной Моравской миссии. Но, похоже, последнюю точку поставил своим хронологическим разысканием на эту тему чехословацкий учёный И. Цыбулка, посчитавший, что «четыре с половиной года» — элементарная цифровая неряшливость (ошибка на целый год) при работе автора легенды со славянским первоисточником «Жития Кирилла».

Будем считать, что «дрейф» теперь прекращён. Сроки совместной миссии братьев в Моравии, а за ними и сроки пребывания послов Ростислава на Босфоре, а за ними же и сроки сборов в дорогу и самого путешествия братьев в неведомую им Моравскую землю, — всё это расставляется по своим более достоверным местам. Пусть маленькая, но всё же радость любительского поиска, не заплутавшего в околичностях! Хотя вовсе не исключено появление каких-то новых документов (или иных доказательств), которые всю эту долгую цепочку событий сделают ещё более наглядной во всех звеньях.

В гостях у паннонского князя

От Велеграда двигались на юг и примерно на полпути к Венеции спустились к длинному, как сабля, озеру Блатно. Далее, вдоль шелестящих неоглядными камышами берегов, дорога покатила по равнине в сторону юго-западной оконечности озера. Своими

густыми камышовыми заберегами места эти, наверное, живо напомнили братьям другое, Никейское, прибрежную дорогу от соборной Никеи к их любимому Малому Олимпу. Иногда мелькают светлые песчаные отмели, взмывают над ними тучи птиц. Стены камыша ходят под порывами ветра, шелестя буро-белесыми, выцветшими к осени стеблями.

Вот и просверкнули, наконец, впереди излучины Салы. Недалеко от её впадения в озеро братьев радушно встретил сам паннонский князь Коцел со своей празднично обряженной свитой. Путников, загорелых, притомлённых, обкусанных злой мушнёй, в пропотелых и пыльных одеждах, приветствовали так восторженно, будто явились сюда долгожданные родичи, уже всему славянскому свету любезные и желанные.

За плечами князя, радуя глаз, светлела стенами, играла черепичными крышами его новенькая, всего 20 лет назад заложенная столица — Блатенский град. И сам Коцел, весёлая душа, под стать своему обиталищу, выглядел хозяином молодым, пышущим здоровьем и бодростью.

Он правит здесь всего седьмой год. Да, он — сын того самого князя Прибины, про коего досужие языки, от нечего делать, и по сей день несут всякое, мешая зерно с половой или вино со свекольным квасом. Да, отец его, — что было, то было, — погиб, помилуй его Бог, в сражении с моравлянами Ростислава в 861 году, за два, считай, года до приезда греческих учителей из Константинополя.

О Прибине, правителе, за которым тянулся долгий след путано двоящейся славы, братья не раз слышали ещё от велеградцев. Когда-то, более тридцати лет назад, ещё при князе Моймире, Прибина соседил с ним и княжил к югу от владений моравского правителя, в Нитре — самом, как все считают, древнем и красивом из здешних славянских городов. Нит-ра лежит в садах на берегу одноимённой реки, впадающей с севера в Дунай. Даже обликом своим, с высокой, в полнеба, зелёной горой, увенчанной княжеским замком, Нитра должна была вдохновлять своих князей на грёзы о старой славянской славе, о легендарных временах великого вождя Само, первого в этих землях единителя братских племён.

Кому, спросите, из нынешних князей не хочется считать себя живою ветвью того благородного ствола, прямым наследником Само? Ну, пусть не по крови прямым, если признавать, что родом тот был из немецких купцов, — но по отваге своей в пользу чаемого единства всех славеноговорящих.

Что же до великоморавских намерений Моймира, который будто даже именем своим хотел всех соседей осадить: мой мир, а не ваш! — то намерения такие, можно догадываться, раздражали не одного лишь Прибину. Никак не желал он считать себя младшим и меньшим в застолье моравских князей. Видя, что Моймир и его хочет накрепко приторочить к своим воинским затеям и обязать твёрдыми поборами, Прибина смекнул, что лучше ему от такой напасти поискать покровительства в другой совсем стороне. В том же немецком королевском доме. Ну и что же, что

они немцы? Не сам ли Моймир, мечтающий о славе великого Само, крещён по немецкому обряду, немецким бискупом? Зато при немецком покровительстве, а не в упряжи Моймира, будет ему, Прибине, и спокойнее, и хлебнее.

Так он оказался через время в восточнофранкском маркграфстве, где, говорят, и был вскоре крещён. Но, не прижившись и здесь, подался в ином совсем направлении — ко двору болгарского хана. У болгар, впрочем, тоже не засиделся. Ушёл искать лучшей доли на западе, у князя хорутан. А через время бездомный, но безунывный Прибина снова прибился к немцам. Наконец, восточнофранкский король Людовик II Немецкий, оценив в славянском бродячем князе недюжинное упорство и услужливость, дал ему во владение запустевшие после аварского нашествия земли по нижнему течению Салы.

Там-то и тогда-то Прибина развернулся, напоследок. Основал новый стольный град у рыбного озера (ныне венгерский Залавар вблизи Балатона). Стал пригребать к себе таких же неухоженных, как недавно сам, князьков. А с ними — каменных строителей, землепашцев, рыбарей. И, конечно, воинов-всадников.

Но на поверку выходило: всё искал и искал Прибина случая, чтобы свести старые счёты за вынужденно оставленную Нитру. Вот и доискался! В воинской стычке с племянником Моймира Ростиславом скончал Прибина свои запышливые дни. Ушёл, так и не нажив ратной славы.

Ростислав, к счастью, не перенёс неприятие своё с Прибины на Коцела. Не приезд ли

константинопольских учителей умягчил его норов? Не их ли заслуга в том, что с недавних времён между Велеградом и Блатноградом, как у добрых соседей, мир и согласие? Право, негоже славянам сорить своими костьми друг перед другом — на радость супостатам.

Услышав, как его гости поют и читают в здешнем соборе славянскую литургию, Коцел пришёл в восторг! Так захотелось самому подержать в руках новенькие богослужебные книги и самому же прочесть страницу-другую славянских письмен. Только не могло такое случиться вдруг, по наитию, без знания букв и их смыслов.

Не смутившись первой неловкой попыткой, горячий князь тут же пожелал и у себя в Блатнограде завести училище, ни в чём не уступающее моравскому. А то и превосходящее Рости-славову школу. Ведь Мефодия и Константина сопровождает всего полдюжины учеников. А он готов хоть сейчас выставить сразу 50 молодых парней, способных усвоить чудесную Христову грамоту, впервые понятную слуху и уму. Это ведь совсем иное дело, чем слушание слепых латинских книг, которые в его церквях до сих пор гундосят немецкие духовники из Зальцбурга.

Жаль только, покойник-родитель поддался их мягкому напору, и потому в Блатнограде у них уже три храма. Да по всему княжеству ещё 30. Но, считай, лишь сами для себя и поют. Сами для себя и разжёвывают свою латынь. А что в их унылом бормотании поймёт славянин, что уразумеет о Христе, о подлинной вере? Нет, вот как выучатся славянскому письму 50 его учеников, сразу своё заведётся священство. Он и сам

первым сядет за школьную скамью. Придёт пора немцам-латинам отступить и в его владениях, как отступили у моравлян.

О пребывании братьев в Блатнограде иногда можно прочитать, что оно растянулось на несколько месяцев. И что Мефодий с Константином успели за это время в достаточной мере обучить молодых людей, определённых князем для скорейшего освоения нового письма и славянской церковной службы. Но как ни горячо упрашивал Коцел братьев о самом срочном обучении, его невозможно было начать именно теперь. Сроки, связанные с предстоящими важными намерениями, слишком торопили Моравскую миссию.

Да, школа в Блатнограде будет открыта. Но Константин в маленькую столицу Коцела уже не вернётся. Прибудет сюда только Мефодий. И то лишь после целого ряда чрезвычайных событий.

Провожая миссию дальше на запад, князь Коцел настойчиво предлагал хотя бы помощь в деньгах и необходимых вещах. Но «ни злата, ни сребра, ни иной вещи», как читаем в «Житии Кирилла», путники не взяли. Как незадолго до этого ничего не взяли и у Ростислава. Зато, по заведённому в странствиях обычаю, и в Велеграде, и в Блатнограде попросили у князей отпустить на волю многое множество пленных людей, томящихся в рабстве. И пленники, общим числом 900 душ, были Ростиславом, а теперь и Коцелом освобождены.

Венецианский рынок

Ласковым радушием, благоприятной осенней теплынью встретила путников Венеция. Вот уж где настороженность странников, даже самых недоверчивых и опасливых, легко и без остатка могла раствориться — в гостеприимных улыбках, в мелодичных, похожих на пение птиц, окриках зазывал, в солнечных блёстках на волнах, в мягких водяных отсветах на стенах и потолках палат, в распахнутых настежь окнах... Кажется, будто и сами здания полной грудью вдыхают воздушный эликсир, в котором прихотливо переслоены ароматы свежих цветов и плодов, подгнивающих на солнце водорослей, горячего песка, курящегося ладана, корабельных канатов и смол...

Но не успеют путники справиться с лёгким и приятным головокружением, как им, тоже с улыбками, подскажут, что и за этот эликсир, и за это радушие, за прямо-таки дружескую открытость, наконец, за сами услужливые подсказки тоже нужно платить, как вычитают с них за ночлег и еду. Платить тем же золотом-серебром, от которого не легкомысленно ли отказались при расставании с князьями?

И о недавних просьбах братьев к славянским князьям об освобождения пленных Венеция вдруг напомнила им самым возмутительным способом. Вроде бы они с малых лет своих нагляделись всяческих зрелищ торговли рабами, — в родных Фессалониках, в Константинополе, затем в Багдаде, в Херсоне, у хазар. Но то, что увидели, что услышали здесь, оскорбляло и

удручало чувством собственной полнейшей беспомощности.

Получалось, что они, оказывается, до сих пор видели и знали мир только с одной стороны. С той, какая для них была удобна, привычна и более-менее прилична. Они вовсе не знали жизни в её ужасающей раздвоенности. Они до сих пор не догадывались, что торговля людьми до такой степени переполняет мир. Они-то думали, что совершают богоугодное дело, заботясь то в одном, то в другом месте земли о выкупе, об освобождении узников. И они даже старались, чтобы их поступки становились видны и служили примером для сильных мира сего. Но здесь, на громадном венецианском рынке рабов они вдруг обнаружили, что все их старания по-фарисейски жалки перед этой прорвой самой циничной купли-продажи людских душ как скота. Торговцы с хохотом и вызовом, с ухмылками и подмигиванием признавались, что Венеция в этом доходнейшем занятии первенствует над всем миром, собирает дань с обитаемого света и бесперебойно переправляет туда, где в людском мясе нехватка. Может, только в Кордове рабий рынок не уступает венецианскому.

Что там недавние попечения братьев о девятистах пленниках! Венеция каждый день выставляет на торги многие тысячи. Скорее всего, те несчастные, о ком они хлопотали, уже снова за решёткой и уже снова выгодно перепроданы здесь, в ласковой, радушной, обольстительной и похотной Венеции. А отсюда уже погружены в другие трюмы, отправлены в Испанию. Там самых крепких мужчин снова перепродадут и вы-

садят на африканский берег, а уж дальше — кому куда: в наёмные корпуса при дворах мусульманских шейхов или, прикованными цепями, за вёсла гребных судов...

Венецианский рынок, жадно и блудливо раздувая ноздри, заглатывает живой, пахнущий острым потом товар, прибывающий отовсюду. Но больше всего, под общим именем скифы, здесь выставляются славяне самых разных племён и земель.

Торговцы при виде Мефодия и Константина по-свойски улыбаются, определяя в них жадных греков, подыскивающих недорогую домашнюю прислугу. При этом и на их учеников поглядывают с циничной прикидкой, как на склавинов, недавно выкупленных и сносно приодетых по случаю прогулки их господ по торговым рядам. Скиф, он же славянин, он же варвар, он же раб, — всё одна порода, одна масть! Иной мерки тут и знать не желают.

Без труда определяют породу работорговцев и братья. Не удивляются уже, что тут толчётся так много иудеев. Что ж, как и ювелирные занятия, перепродажа невольников — их повсеместный промысел — от Золоторожской бухты до Евфрата, до Херсона и Хазарии. Но как не возмущаться, что тем же постыдным барышом занимаются и выкресты, а то и прирождённые христиане. Нет, для таких Христос ещё не приходил в мир.

Коренные венецианцы величаются тем, что их город освятил когда-то своим пребыванием сам евангелист Марк! Но будто и слыхом не слыхивали они о срамной славе Венеции-работорговки.

Неужели и вся западная церковь молчит о творящемся зле? Нет, не молчит, — подсказывают самые совестливые из горожан, — не молчит! Тот же лионский архиепископ Агобард не молчит, протестует. Это через его владения скрипят дальше на запад караваны с живым товаром, и потому Агобард уже не раз, не два в своих посланиях осуждал еврейскую торговлю рабами. И с земель франкского королевства поступают в Венецию предупреждения: впредь не принимать, не продавать здесь рабов, поставляемых с севера. Но как же не продавать, если сам покойный король Людовик Благословенный щедро раздавал еврейским купцам охранные грамоты?

...Воспользуемся снова правом на исторические аналогии. Как и в случае с Данте, целых пять столетий отделяют жизнь и произведения его современника Петрарки от эпохи солунских братьев. Под стать автору «Божественной комедии» и трактата «О народном красноречии» Петрарка тоже поэт, гуманист, возрожденец. Подобно Данте он скорбит о падении нравов, об усобицах между городами и землями его маленькой Италии, об «ухудшении времён». Его творческий и житейский кругозор тоже не ограничен одной лишь Италией. Великий гуманист готов обратить внимание и на «бедствия скифов». Но как же своеобразно представлены эти бедствия в его описании!

«Откуда недавно морем годовые запасы хлеба везли в Венецию, оттуда идут корабли, гружённые рабами, коих продают несчастные родители, голодом понуждаемые. Диковинного вида толпы мужчин и

женщин наводнили скифскими мордами прекрасный город подобно тому, как прозрачную воду мутит неистовый поток. И коли не нравилась бы толпа сия покупателям более, чем мне, коли не услаждала бы их взоры более, чем мои, не наполнял бы мерзкий народ узкие улицы, не поражал бы привыкших к красивым лицам приезжих, а в своей Скифии, вместе с Голодом, тощим и бледным, в покрытом каменьями поле, где помещает его Назон, по сей день рвал бы ногтями и зубами скудные травы».

Любил Петрарка сильные образы! Его «скифские морды» прямо-таки звероподобны в их повадке кормиться травой с помощью зубов и когтей. Его утончённому вкусу, воспитанному на любовании красивыми лицами, претит мутный поток варварской человечины. Ему обидно за прекрасную Венецию, наводнённую мерзкими дикарями, которые своим видом когда-то давным-давно оскорбляли ещё и ссыльного Овидия Назона, автора «Науки любви». Петрарка даже мягко укоряет венецианских торгашей и покупателей за то, что их вкус не столь изыскан, как у него, поэта-гуманиста. Но, похоже, никакого урона не будет нанесено утончённым понятиям ранимого поэта, если мысленно перенести Петрарку на 500 лет назад, в IX век. Что по сути изменится в его оценках, в его откровенном лексиконе от такого перемещения? Всё та же вокруг лучезарная, радушная, сладостная Венеция, всё те же оскорбляющие её облик «скифские морды», всё те же жадные вездесущие купцы, любующиеся своим добром — цепкими зубами, крепкими руками-ногами...

Куда дальше?

У исследователей накопилось несколько версий на тему о подлинной цели прибытия солунских братьев в Венецию. Приведённая выше строка из «Жития Мефодия» — «трем летом ишедшем возвратиста ся из Моравы» — вроде бы подсказывает: у братьев было намерение возвратиться вполне, насовсем. При таком их настроении дело оставалось бы лишь за малым: рукоположить в священство моравских учеников. И тогда все условия их миссии будут соблюдены сполна.

По одной из версий, достаточно было им сесть в Венеции на судно, следующее до Константинополя, где и совершить в патриархии чин рукоположения моравских славян. Тогда не понадобится тратить время на поездку в Рим.

Надо сразу сказать, что такой, по внешности простой и прямой ход меньше всего соответствовал намерениям братьев. Хотя бы потому, что письмо папе Николаю с сообщением о их готовности привезти в Рим мощи священномученика Климента, обнаруженные в окрестностях Херсона, уже было, как мы предполагаем, осенью 867 года отправлено адресату. Крайней неучтивостью с их стороны было бы теперь, не дождавшись положительного ответа папы, отбыть на Босфор.

И дело было не только в мощах. С самого начала своей миссии братья знали: как ни безразличен был до сих пор Рим к судьбе обитающего где-то к северу от Дуная племени моравлян, в старых документах папского архива земля эта, вместе с Пан-нонией,

продолжала числиться предметом духовных попечений апостолического престола. Это был собственно римский диоцез, а никак не область зальцбургской архиепископии, орудующей по отношению к славянам слишком самочинно.

Мефодий и Константин уже почти четыре года не имели достаточного и надёжного письменного сообщения с патриархом Фотием и василевсом Михаилом, поручившими им новую миссию. Поэтому они лишь отчасти знали, как в эти годы складывались отношения между царьградской патриархией и Западной церковью. Они могли только догадываться, по разным косвенным признакам, что отношения эти становились всё хуже и хуже.

Ещё когда они вернулись домой из Хазарии, Константинополь бурно обсуждал как самую свежую новость неожиданный поступок папы Николая I. В 862 году папа вдруг направил во все восточные патриархии окружное послание и в нём без обиняков потребовал признать духовное первенство и главенство Римской кафедры над остальными поместными церквями.

Уже и раньше неоднократно звучали как в письмах, так и в речах столь любимые папами слова Спасителя, обращенные к апостолу Петру: «Ты — Пётр, и на сем камени созижду Церковь свою...» Но почему в Риме так произвольно, так самовлюблённо толкуют эти слова? Почему хотят видеть в них прямое предначертание Господне о совершенно исключительной, первенствующей роли папской кафедры? Разве Сын Человеческий благословил апостолов идти с проповедью в один только Рим, а не во все концы

земли?.. Уже в церквях Востока, не менее древних и славных, привыкли было к этим всегдашним римским самовозвеличениям. Пусть, мол, ласкают свой слух, как дети, ищущие особых поощрений... Но вдруг весь Христов мир дождался грубого окрика. Это походило на воинскую команду: немедленно признать главенство Римской кафедры! И не просто признать. Отныне послушно исполнять! Апостолик в этом же послании потребовал от иерусалимского, александрийского и антиохийского патриархов — ни много ни мало — отказать в патриаршем достоинстве константинопольцу Фотию. Отказать на том основании, что Фотий не избран, а самовольно назначен императором Михаилом III. Как будто позабыл Николай, что и сам-то он получил папскую тиару по личной воле немецкого короля Людовика II Благословенного.

В следующем году папа созвал в Риме собор, на котором распорядился предать Фотия анафеме.

Проще всего было бы свести возникшую распрю к личной неприязни между константинопольским и римским перво-иерархами. Ну, не поладили, не нашли общего языка два человека. Один, Фотий, очень уж книжник, слишком дотошен в богословских тонкостях. Другой, Николай, чересчур горяч и воинствен... Нет, в распрю — как увидели солунские братья, прибыв к моравлянам, — незамедлительно включались и мирские правители. Претензии папы касались не только сугубо церковных канонов. Тут уже запахло и территориальными спорами.

Ещё до своего вызывающего начальственным тоном окружного послания Николай I направил Фотию и Михаилу III письмо, в котором просил вернуть в юрисдикцию Римской церкви целый список земель, принадлежащих Византийской империи: Эпир, Македонию, Иллирию, Фессалию, Дакию, Мидию... Это уже было не что иное, как требование пересмотреть события великой исторической давности. По сути, предоставить в духовную собственность Римской церкви земли, завоёванные когда-то ещё легионами Юлия Цезаря, Марка Аврелия, Траяна! Как будто не пронеслись смерчем по тем старозаветным имперским пределам орды завоевателей. Как будто не перетасовывались с тех пор до неузнаваемости рубежи и межи пришлых царей, царьков, вождей, вождишек. Как будто уже который век не сдерживала Византия напор болгарских ханов, заявившихся на Балканы, как на званый кровавый пир. Целый свет изменился до неузнаваемости. А притязания апостолика таковы, будто имперский Рим и по сей день греется в лучах славы бессмертного кесаря Августа. Вернуть, отдать, переподчинить папе — и всё тут!

А новейшая болгарская тяжба, что началась с крещения князя Бориса по византийскому обряду? Как же огорчило, как возмутило это событие римскую курию! На слуху у Мефодия и Константина эта тяжба уже который год длилась почти без передыха. И в ней за спиною Николая I всё время неизменно стоял Людовик II, король Немецкий.

И всё-таки из Венеции братья предполагали теперь идти в Рим, отложив на время возвращение в

Константинополь. И дело было не только в обещании привезти на родину Климента ковчег с его святыми мощами.

Рукоположения священников-славян для службы в моравских храмах тоже, по разумению начальников миссии, важно было добиться именно в Риме.

Солунские братья жили сознанием великого христианского единства. Верою «во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», преданность которой исповедовали в ежедневных своих молитвах. Ни наяву, ни в нелепом сне они не могли допустить, что возлюбленная Церковь однажды может понести страшный ущерб — потерю своего единства, своего соборного начала. Нет, не напрасно это нерушимое единство уже столько веков испытывалось на прочность — через противодействие духовным блужданиям, соблазнам, чумным поветриям ересей.

Сознание единства христианской ойкумены не оставляло их и теперь. Верили, что вспыхнувшие недавно распри исчезнут, «яко исчезает дым», и до пожара не дойдёт. Думали, что не может же разразиться расколом своевольная прибавка к Символу веры, недавно предложенная латинскими епископами. Авторы той затеи вдруг посчитали, что о Святом Духе как третей ипостаси Троицы правильнее разуметь как о начале, исходящем не только от Отца, но и от Сына (филиокве). Достаточно на ближайшем всепоместном соборе сказать вслух про такое самодельное умничество, как оно тотчас будет всеми честными отцами осмеяно и отринуто. На то и собираются, чтобы

думать и решать соборне, а не копить выдумки по своим закуткам.

Вот почему, достигнув Венеции, братья ждали подорожной грамоты на поездку в Рим. Да, они трудились три с лишним года в земле, числящейся под духовным призором римских пап. Вот и отчёт свой им нужно, по установившемуся испокон веку правилу, держать перво-наперво перед кафедрой, ответственной за свой, пользуясь латинским понятием, диоцез. Они впервые ввели в Моравии богослужение не на греческом и не на латыни, равно непонятных для паствы, а на природном языке моравлян — славянском. На этом языке уже существуют славянское письмо и славянские богослужебные книги. Это не их, Мефодия и Константина, прихоть. Такова была просьба самих моравлян, пожелавших узнать евангельские истины на своём языке. Но в Зальцбургской архиепископии желание моравлян и почин прибывших из Византии греков расценили чуть ли не как ересь. Недоброжелательство немецких епископов и священников постоянно мешало работе миссии. Пусть же апостолик сам их беспристрастно и мудро рассудит. Братья не знают за собой никакой вины. Они не воры, что роют по ночам подкопы под чужие стены. Они трудились во исполнение Христова предсказания, что проповедано будет Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем языкам. И славянскому языку тоже будет проповедано. Славяне ли повинны, что их так много в мире? Тяга их к свету Христовой веры слишком очевидна, чтобы и впредь её не замечать.

Обо всём этом они хотят сказать именно в Риме. И если апостолик их поддержит, если будут рукоположены для служения на славянском языке их ученики, тогда и в Зальцбурге умерится свирепое осиное жужжание.

Да, Рим сегодня непредсказуем, и узкие врата ведут в него. Но для дела, начатого ими, нет обходных путей.

«Яко врани на сокол...»

Но не успели они дождаться письма из папской канцелярии, как уже в Венеции нашлись во множестве желающие выслушать пришельцев и сказать о них своё суждение. Даже не так: не выслушать сперва, но сразу осудить. Значит, кралась недобрая слава за ними по пятам — от самого Велеграда. Значит, и в Коцеловой столице репьями приросли к той худой молве новые обвинения.

В Венецию вдруг сошлось и съехалось целое собрание лиц духовного чина — латинских епископов со священниками, монахов, — и все просто нетерпением горели поскорее учинить свою грозную казнь. По красноречивому сравнению из «Жития Кирилла», будто из народной песни взятому, налетели «яко врани на сокол».

Константин, как не раз уже бывало, вызвался ответить один — и за себя с братом, и «за други своя». Сторона нападающая сразу же постаралась ошеломить обвинением... в еретичестве. Как это он самочинно взял да и составил для славян книги и как это по ним учит? Никто никогда про подобные книги знать не знал, читать по ним не учил — ни апостолы, ни папы римские, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни

Августин. Мы только три языка знаем, на которых достойно в книгах славить Бога: еврейский, греческий и латинский!

Мало того что, будто неучей, уязвили великими именами Отцов Церкви, равно почитаемых и на Западе, и на Востоке. Заговорив о «трёх языках», сослались тем самым на апостола и евангелиста Иоанна. На его свидетельство о том, что надпись на голгофском кресте «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» была, по распоряжению Понтия Пилата, составлена сразу на трёх языках — еврейском, греческом и латинском.

Ну что ж, про эту триязычную догму братья слышали ещё в Велеграде. Не очень-то свежа новость. Удивительно лишь, с какой самоуверенностью, с каким пафосом излагают её здесь. Будто уже в Символ веры вписали ненарушимую строку про три языка высшей пробы. Или будто они сами в день голгоф-ской муки услужливо исполняли приказ Понтия Пилата, сами же молотками и приколачивали триязычную надпись к над-главию страдного Христова древа.

Вот какую выволочку, будто школяру-проказнику, устраивают они ему, человеку, который и эти слова Иоанна, и всё его евангелие, и книги других евангелистов, и Апостол, трудясь денно и нощно, делал доступными для славянского слуха и книжного разумения. Не унизительно ли слышать такую брань?! Его ли с братом срамят? Нет, весь славянский мир хотят, как и прежде, держать в рабском ярме, во тьме внешней. Зачем им, славянам, свет Христов? За решётку их, в трюмы, на торги!..

Враны, право, злые враны.

Он дождался, когда, наконец, захлебнутся своим негодованием, умолкнут. И так ответил:

— Не идёт ли дождь от Бога равно на всех? Не сияет ли для всех без разбора солнце? Не равно ли все воздух вдыхаем?.. Как же вы не стыдитесь чтить только три языка? А прочим всем народам что же — оставаться слепыми и глухими? По-вашему, и сам Бог немощен и не способен дать даров другим языкам? Или Он, по-вашему, завистник и потому отказывает им в своих дарах?.. Но мы уже многие народы знаем, которые обучились книгам и воздают славу Богу каждый на своём языке. Вот они: армяне, персы, авазги, грузины, сугдеи, готы, обры, тавры, хазары, арабы, египтяне, сирийцы и многие иные. А если же не хотите этого знать, то узнайте себе суд от своих же книг. Ибо Давид вопиет, глаголя: «Пойте Господеви вся земля, пойте Господеви песнь нову...» И ещё: «Хвалите Бога всяязы-цы, хвалите Его вся люди». Или так: «Всякое дыхание да хвалит Господа...»

Не стыдно ли, что ежедневно читают Псалтырь, а смыслов не слышат? Нет, не переводится на земле племя грамотеев и книжников, не про них, значит, суд евангельский. И Философ громко, не шелестя книгами, а по безупречной памяти своей, впечатывал им в уши Христову горькую правду:

— Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете пред людьми Царствие Небесное, сами не входите и хотящих войти не пускаете... А у Матфея не для вас ли сказано: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа...» А у Марка не о том ли самом? «Идите по всему миру и

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто уверует и крестится, спасен будет, а кто не уверует, осужден будет. Л для тех, кто уверует, приидут такие знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками...»

А как много о новых языках размышляет в своих посланиях апостол Павел! «Ибездушные вещи издают звук, будь то свирель или гусли. Если не производят различных звуков, как узнаете, что пищит, что гудит? Ибо если неясный звук издаёт труба, кто у готовится на битву? Гак и вы, если неразумные слова говорите, как уразуметь глаголемое? Будто на ветер вы говорите... Если не разумею смысла слов, то буду для говорящего мне чужим, и говорящий мне чужаком...»

И ещё и ещё говорил им из «апостола языков». Говорил то, что каждый из них тоже должен был знать и помнить неукоснительно. И они, как ни противились возмущённому напору его речи, не могли в глубине души не чувствовать: а ведь этот солунский грек прав. Он-то говорит с ними на понятном им языке, евангельском и апостольском. Это они пытаются внушить своей пастве — и у немцев, и у галлов, и у испанцев, и у славян — слово библейское на непонятной им латыни.

Дослушали молча, так и не сумев переступить через своё негодование: почему всё же этот чужак, этот тщедушный на вид грек-всезнайка оказался здесь, со своим братом и учениками? Кто их звал сюда с их правотой?

ТОРЖЕСТВО И СМЕРТЬ В РИМЕ

К новому апостолику

В Риме, в папской курии, похоже, были уже достаточно осведомлены о громкой полемике, затеянной в Венеции Константином. Его противники, которых он только что во всеуслышание обличал и даже обзывал «триязычниками», как раз и могли первыми проявить рвение, отослав в канцелярию папы свою жалобу на строптивца да заодно и на всю моравскую публику, его окружающую. Пришлецы эти, слышно, нацелились дойти и до святого града. А не отправить ли их, вместе с несуразными славянскими буквицами, туда, откуда и заявились, — в паннонские болота?

Братья со своей малой дружиной терпеливо пережидали в Венеции приход хмурых и сырых осенних недель. Свет идёт на убыль, дни всё короче, ночи длиннее. Но должно же, наконец, поступить из Рима подтверждение гостевой грамоты, полученной от папы Николая! Вызывает он их или передумал? Если вызывает, то в какие всё же сроки?

Зима почти подступила, когда узнали: встречи с папой Римским Николаем у них не будет. Да что там! Никогда уже не будет. Потому что 13 ноября апостолик скончался.

Это звучало для них почти как приговор. И во все месяцы ожидания они не очень-то надеялись на благорасположение жёсткого, волевого Николая, чья анафема патриарху Фотию побудила

константинопольского первоиерарха, как недавно стало известно в Венеции, на ответную анафему. С нею, ответной, получается, папа и ушёл в могилу?

Вот какие свирепые задули ветры между двумя столицами! И наступит ли затишье?

Кто сменит на престоле усопшего? Как долго продлится междувластие? Будет ли преемник так же неуступчив в своём отношении к Константинополю? Захочет ли принять миссию из Моравии в удобообозримые сроки? Или отложит встречу на неопределённое время, сославшись на чрезвычайную занятость?

Решили, что лучше всё-таки ждать здесь, в малоприветливой Венеции, зато при коротком переходе к Риму. Потому что возвратиться теперь в Велеград либо в Блатноград означало бы признать своё поражение — и перед Ростиславом, и перед Святополком, и перед тем же Коцел ом.

И уж совсем непредвиденным по своим последствиям могло представляться возвращение братьев в Константинополь. Разве император Василий отправлял их в Моравию, а не убиенный этим Василием Михаил? Разве патриарх Игнатий благословил их на труд просвещения славян, а не Фотий, которого новый василевс, как сообщают, совсем недавно отправил в ссылку — за отказ признать его царское достоинство? И на место Фотия вновь поставил Игнатия.

Можно догадываться, что братья, как в обычае у них, не сидели и в Венеции сложа руки, в безвольном оцепенении. Им надлежало незамедлительно отправить

в папскую курию соболезнование по случаю кончины Николая. Да присовокупить, что с благодарностью вспоминают они заботу почившего о задуманной достойной встрече святых мощей Климента, папы Римского. Что надеются также на милосердное внимание будущего высокого избранника Западной церкви к просветительским трудам их миссии у славян.

Трудов же этих они и теперь не прерывали ни на день. Да пособит им и святой Климент исполнить всё задуманное до конца.

Каждые сутки творили службы, — в своём жилье или в каком-то из греческих храмов города, — утешая слух звучанием славянской речи. И ловя себя исподволь на том, что звучит она от месяца к месяцу, от недели к неделе всё увереннее, возвышеннее, мелодичнее и при этом достовернее, будто славили на ней Господа от самого Христова века.

Миновал месяц после кончины Николая. А ещё через несколько дней из папской канцелярии пришла весть, что его преемником 15 декабря 867 года избран 75-летний Адриан II.

Со стремительностью, необычной для его возраста, новый апостолик почти тут же подтвердил Мефодию и Константину вызов своего предшественника. Да, в Риме их ждут.

У Христовых яслей

Был самый канун Рождества Христова, праздника, который христиане Рима привыкли встречать с особой торжественностью. Часть этого великолепия вдруг досталась и нашим пришельцам.

Старенькому папе Адриану не вдвойне ли приятно и трогательно, что его восхождение на апостольский престол знаменуется не только урочным ликованием Рождества, но и неурочным шествием гостей, которые спешат доставить святому городу его великую святыню! Как-никак, они тоже грядут с Востока. То есть уподобляются теперь евангельским магам, несущим в ночи, на свет звезды Вифлеемской, свои особые дары.

Потому её, чаемую святыню, и приветствовать вышли заблаговременно, встречным ходом, ночью, со свечами и факелами, с благовонными кадильницами, с пением и трезвонами, с плачем умиления и воплями калек. Тысячные толпы растроганных римлян, будто волны, качались в бликах, дымах и заревах. Женщины, да и мужчины тоже, простирали руки, силясь дотянуться, когда ярко освещенные носилки с заветным ковчегом проплывали, как во сне, мимо них. Гущу народа пронзали слухи о последовавших в эти самые часы чудесных исцелениях, об отверстых дверях темниц, откуда — не иначе как по заступничеству самого святого Климента — выходили в эту ночь на волю славящие небесного покровителя узники...

Похоже, безымянный художник, изобразивший на одной из внутренних стен базилики Святого Климента сцену встречи мощей и препровождения их на вечное упокоение (именно в эту базилику), сам был очевидцем триумфального шествия. Очень уж правдоподобны в его исполнении эти огни и зарева под иссиня-чёрным пологом рождественского неба, эти парящие над головами кресты и хоругви; тут же и Адриан в празд-

ничном пурпурном облачении, а по левую и правую сторону от него — два главных виновника события, Константин и Мефодий. Впрочем, почему два, если их трое? Разве он сам, новый апостолик, не сделал всё, от него зависящее, чтобы событие состоялось, несмотря на недавнюю громкую распрю, случившуюся в венецианском синоде?

То, что ему об этом происшествии уже известно, выяснилось вскоре же. К немалой радости прибывших, мудрый старец подтвердил правоту доводов Константина. И пожурил иных из аквилейских клириков за их досадное буквоедство.

Кажется, и сами клички «пилатники», они же «триязычни-ки», показались ему настолько удачными и уместными, что он их произносил даже с удовольствием, как издельица собственного остроумия. Право же, как могут не знать эти тугоухие «триязычники», что уже многие народы христианской ойкумены славят Господа на своих природных речениях, составляют книги на языках своей паствы.

После такого благоприятного для братьев зачина вдруг, как нечто само собой разумеющееся, счастливо разрешился и вопрос, который больше всего их беспокоил: пожелает ли римский первоиерарх благословить дорогое для них детище — службу на славянских книгах для славян?

Разумеется, он готов благословить. Но он, дело понятное, и сам первым хочет увидеть эти книги, освятить их, услышать, как по ним читают и поют. А если гости, оказывается, уже в состоянии и весь мессал — то есть всю литургию — спеть на славянском, то не

найти в целом Риме лучшего места для такой службы, чем базилика Святой Марии. Да, Санта-Мария Маджоре! Ведь этот храм римляне почитают совершенно особо, называя его греческим словом Фатие, что, как им ведомо, значит ясли, потому что в Санта-Мария Маджоре хранится такая трогательная, достойная умиления святыня — доподлинные ясли Богомладенца Христа, чудесным образом доставленные некогда из маленького Вифлеема. И не символично ли, что при нынешнем Рождестве Христове гости принесут свой славянский литургический дар прямо сюда — к маленьким яслицам Господним, уподобившись евангельским волхвам-звездочётам.

Ecce magi aЪ oriente venerunt Hierosolimam...

Не так ли и по-гречески?

I5oo jidyoi (X710 ctvaiotaDv 7iapeyëvovto ец Iepoa6A,o|ia...

А по-славянски как звучит?

Се волсви от восток приидоша во Иерусалим...

Ну что же, благолепно звучит и у славян!

У Адриана было ещё одно, сугубо личное побуждение к тому, чтобы торжественная встреча мощей Климента и служба на необычном языке, по необычным книгам состоялись именно под сводами Санта-Мария Маджоре: целые четверть века, почти до самой своей интронизации, он был настоятелем этого храма.

«Приим же папежь книгы словенскыя, положи я в цръкви свя-тыа Мариа, — читаем в «Житии Кирилла», — пеша же с ними литургию». Тем самым агиограф подчёркивает: папа Адриан не только из рук в руки

принял привезённые ему во свидетельство книги, не только возложил их для освящения на алтаре Богородичного храма, но и участвовал в той поистине судьбоносной для гостей службе.

В наши дни базилика Санта-Мария Маджоре, о которой идёт речь в житии, по-прежнему остаётся одним из самых почитаемых храмов Рима. Говорят, к базилике этой время оказалось милостиво, как мало к какому из зданий раннего Средневековья. Её первоначальные величественные пропорции, настенные мозаики, приалтарное углубление, в котором почивает вифлеемская святыня, — всё и сегодня предстаёт почти в том облике, в каком застали его солунские братья в рождественские дни 867 года. Но, конечно, почти никто уже теперь не вспомнит, что когда-то — единожды за всю их более чем тысячелетнюю историю — эти своды, парящие над двумя шеренгами мраморных колонн, оглашены были звуками славянского богослужения.

...Что ни день, Рим от щедрот своих одаривал братьев новыми высокими переживаниями.

Узнав, что Моравская миссия нуждается для укрепления своей паствы в рукоположении новых священников и что в Рим вместе с братьями прибыли вполне достойные такой чести кандидаты, папа Адриан тут же отдаёт распоряжение посвятить избранных. Рукоположение поручено сразу двум епископам — Формозе и Гаудериху. Первый из них ценится здесь как искушённый советник по славянским делам. При покойном папе Николае выполнял поручения, связанные с утверждением в Болгарии римской

церковной юрисдикции. Он, слышно, как и венецианские «пилатники», вовсе не поклонник славянских книг. Но куда ж ему, Формозе, теперь деться? Служба есть служба.

Второй, Гаудерих, хорошо запомнился братьям в самую ночь их прибытия в Рим. Оказывается, он епископ города Веллетри, где кафедральный собор посвящен как раз святому Клименту, потому что папа-мученик и родом был оттуда. Даже самого краткого общения с Гаудерихом оказалось достаточно, чтобы почувствовать исключительность переживаний, объявших теперь душу этого владыки. Он очень надеется узнать от братьев-солунян как можно больше подробностей об обретении драгоценных мощей, отъятых ими в Херсоне у мрачного Понта. И уповает на то, что хотя бы часть мощей будет милостиво вручена ему апостоликом для препровождения в велетрийский алтарь.

Об этом епископе здесь рассказывают, что сразу же после своего избрания Адриан II обратился с просьбой к королю Людовику Немецкому, умоляя помиловать невинно томящихся по затворам христиан, которые пострадали при недавнем неправедном нападении на Рим, учинённом неким воеводой Ламбертом из подвластного королю Сплита. И самым первым среди невольников апостолик назвал достопочтенного Гаудериха. Король не промедлил с ответом. Как и принято по случаю великих перемен в духовной либо мирской власти, тут же последовала амнистия.

Вот, значит, почему, входя в ночной, озарённый свечами, факелами и кострами город, братья тотчас

расслышали восклицания растроганных римлян о чудесном избавлении узников из тюрем. И вот почему так выразительно поглядывал в их сторону в те минуты и во все эти дни сам не свой веллетрий-ский епископ.

В «Житии Мефодия» по поводу рукоположения первых моравских священников из славян читаем краткое, но важное уточнение: «...и святи от ученик словенъск три попы и два аног-носта». У агиографа не было ещё под рукой подходящего славянского слова для обозначения греческого понятия аногност, то есть чтец.

Поставление сразу трёх священников, имеющих право самостоятельно служить литургию, и двух чтецов, обученных выразительно, громогласно и нараспев читать Апостол, Псалтырь, часы и литии, придало свежую силу, новую уверенность малой греко-славянской дружине. Это их настроение, готовность ещё и ещё потрудиться и постараться, великолепно, будто по наитию, почувствовал их мудрый и ласковый покровитель. У Адриана в замысле, оказывается, была уже и следующая славянская литургия. И не где-нибудь на отшибе, а в святая святых всей Западной церкви.

Да-да, он благословляет отслужить её в кафедральном соборе Святого апостола Петра! Необходимо лишь, чтобы она прозвучала здесь достойно, как просят сами эти алтари, стены, своды, иконы и фрески, раки и саркофаги, мощевики и реликварии — свидетели и соучастники великих и бессчётных славословий Господу и святым Его. Вот для чего и пригодятся им три новых священника и резво-голосистые чтецы.

В тот век заглавный храм Рима ещё не был таким грандиозным архитектурным дивом, ежегодным вместилищем миллионов любопытствующих туристов и затёртых между ними истовых паломников, каким мир знает его сегодня. Тот собор, по свидетельствам старинных рисовальщиков и гравёров, выглядел скромнее. Тропы пилигримов к нему в IX веке едва-едва намечались. Но Мефодию с Константином, а особенно их ученикам после маленьких храмов велеградских и блатноград-ских, и даже после здешней Богородичной базилики Фатие, эта — Петрова базилика — представилась поистине необозримой. Можно лишь догадываться, какой внутренний трепет испытали в ответственнейшие часы литургии два наставника и горстка их учеников под каменными кручами и сводами апостола Кифы. Это ведь его, Петра, однажды нарёк Христос «скалой» или «камнем», то есть Кифой.

Хотя обедня и здесь благословлена славянская, как и предыдущая, но, можно догадываться, не дословно, не сполна вышла она славянской. Такое предположение вытекает из текста «Жития Мефодия», где приведено письмо папы Адриана князьям Ростиславу, Святополку и Коцелу. В нём апостолик настоятельно просит, чтобы местные моравские клирики во время храмовых служб Апостол и Евангелие читали сначала на латыни, а затем уже на славянском: «...первее чтут Апостол и Евангелиеримскы, таче (потом) словенски...» Вряд ли в кафедральном соборе Рима в столь памятный для Моравской миссии день порядок чтений был иным.

А назавтра — ещё им труд и одновременно поощрение: нужно обедню свою отпеть в храме Святой Петрониллы.

А сутками позже — в церкви Апостола Андрея! Но как же им и тут было не постараться! Как не прославить великого христианского первопроходца в земли скифов — славян Эвк-синского Понта! Ведь это по Андреевым стопам пробирались братья восемь лет назад от Малого Олимпа к таврам и херсо-нянам, в южные славянские приграничья.

Вот как раскатилась их жизнь в латинской столице! Что ни день, литургия в ином храме! Будто старец Адриан дотошно испытывает их на верность церковному послушанию, на знание ежедневного чина служб. Не пропускают ли песнопений, положенных по календарю разным святым? Блюдут ли уставные тонкости, благолепие, мерность и величавость? Но разве Мефодий, воин и игумен, не знает цены строгому, неукоснительному монашескому послушанию? И разве Константин не способен за считаные часы до новой службы перевести с греческого песнопение празднуемому сегодня святому?

Ареопагитские лекции

Пятую по счёту славянскую литургию папа Адриан благоволил братьям отслужить — ещё одна нежданная награда! — в загородном храме Апостола Павла. Но и какое волнение сердечное! В этих стенах, над алой лампадой, знаменующей место казни великого «учителя язйков», предстояло им доказать, насколько верно усвоили они его заветы. Здесь они огласят из Апостола его, Павлово, послание. Здесь уместно будет

напомнить в проповеди, что, по старому византийскому преданию, Павел ходил со словом о Христе и к иллирам, значит, в Иллирию, где соседствовали тогда, живут и ныне славянские племена сербов и хорватов. Не только Андрей ходил к славянам, но и Павел.

Служба была ночная, братья «имели себе в помощь» епископа Арсения, одного из семи наиболее приближённых к папе иерархов, и его племянника Анастасия, библиотекаря Святого престола.

Упомянутый в «Житии Кирилла» Анастасий заслуживает здесь особого — и даже пристального — внимания. Его звание библиотекаря означало, ни много ни мало, что он руководил всей папской канцелярией и заведовал архивом курии. Вряд ли такому всячески осведомлённому человеку не было ведомо, что и Константин в своё время при патриархе Игнатии исполнял, пусть и недолго, сходную должность. В отличие от большинства нынешних насельников папской резиденции, Анастасий отлично знал греческий язык, постоянно упражнялся в переводах с греческого на латынь житий святых и самых разных документов византийской церковной канцелярии. Подобное «родство душ» вроде бы располагало к взаимной открытости, к живому, увлечённому обмену мнениями по самым разным, подчас неожиданным вопросам.

Один из таких вопросов не заставил себя долго ждать. Однажды Анастасий вдруг открыл для себя, что, оказывается, Философ знаком с трудами святителя Дионисия Ареопагита! Причём знаком не понаслышке. Он не только наперечёт знает названия ареопагитских

трактатов-посланий. Он их ревностно, ещё со студенческой скамьи изучал, он ими восхищён, он их готов цитировать целыми страницами, чуть ли не главами. И он их считает подлинно принадлежащими сокровенному — до недавних пор — богослову апостольского века, прямому ученику и последователю божественного Павла.

Да, в «Деяниях апостолов», где Дионисий Ареопагит упомянут в эпизоде выступления Павла перед членами афинского ареопага, о нём сказана лишь самая малость. Да, этот молодой и богатый завсегдатай судебных собраний вдруг, под впечатлением дерзкой и вдохновенной речи чужеземца, покинул своё почётное седалище и ушёл вослед за ним, чтобы вскоре стать верным последователем апостола. Но «Деяния...» ни слова не говорят о Дионисии как о выдающемся, единственном в своём роде богослове.

По энергичным, цепким расспросам Анастасия Философ мог понять, что Рим всё-таки по отношению к Константинополю остаётся в некотором духовном полузапустении. Но мог также заметить, что у его собеседника имеется к этой теме какая-то своя особая привязанность или даже корысть. Мы не знаем, насколько Анастасий был откровенен в их беседах, сообщил ли Философу, что в папской библиотеке уже есть «свой» кодекс Ареопагита, что этот латинский перевод был не так давно исполнен ирландским богословом Эриугеной, но что он, Анастасий, считает переложение Эриугены слишком буквалистским и потому очень надеется на возможность создания нового, более совершенного перевода.

Сообщил Анастасий всё это или нет, но в любом случае он не скрывал, что незнание большинством его здешних коллег греческого языка поневоле обрекает нынешних римлян на провинциальность. Хотя они и горят ревностью всячески навёрстывать свои отставания. Очень бы надо им в этом как-то помочь. Здесь лишь краем уха слышали о жарких спорах, вспыхнувших в Византии после того, как труды Дионисия два столетия тому назад вдруг, после долгого забвения, будто заново народились и тотчас же привлекли самое пристальное внимание богословствующих умов всего христианского Востока.

Суть этих споров, как понимал их Константин, к сожалению, больше всего вращалась вокруг подлинности трудов автора «Небесной иерархии», «Божественных имён», «Церковной иерархии» и «Мистического богословия». Точно ли этот автор был афинянином, первым епископом города, свидетелем необыкновенного солнечного затмения в час распятия на Голгофе, последователем апостола Павла, собеседником евангелиста Иоанна, наставником Тимофея, того самого, которому и Павел направил два послания? Или же всё это — и афинское гражданство сочинителя, и епископство его, и поразительный своими подробностями рассказ о затмении — лишь присвоение чужой славы? Но тогда мыслимо ли, чтобы истиннейший христианин, каким он предстаёт в своих удивительных по отважности богословских созерцаниях, оказался при этом изощрённым мистификатором, а проще сказать, лгуном?

Сторона, сомневающаяся в принадлежности «Ареопаги-тик» Ареопагиту, исходила из того, что столь сложные по своему богословскому содержанию и утончённому слогу трактаты и послания никак не могли быть сочинены ещё на заре христианского дня. Не была-де на ту пору ещё почва подготовлена, чтобы на ней возросли такие чудесные семена!

У сомневающихся были и другие доводы. Константин знал их в подробностях, не считая нужным что-либо укрывать. Ему было бы достаточно сослаться на комментарии к Дионисию проницательнейшего богослова-полемиста Максима Исповедника, жившего уже в VII веке. Но, увы, в Риме его труд тоже неизвестен. Толкования Максима по необходимости так подробны, что вся эта ареопагитская тема в устном пересказе для латинского слуха не окажется ли пробежкой ветра по воде?

Но разве и порыв ветра не даёт надежду для застоявшейся воды? Анастасий Библиотекарь горел желанием заполучить драгоценного собеседника на куда больший срок. Где же, как не здесь, в святом граде, где почивают мощи святых апостолов Петра и Павла, найдутся и достаточное время, и достаточный круг умеющих внимать и усваивать. Лишь бы гость милостиво согласился раскрыть в лекции (а лучше в лекциях) доводы в пользу подлинности трудов знаменитого Дионисия. И сами высокие смыслы этих трудов.

Похвальная любознательность! Если б касалась она прежде всего самих трудов! Но почему так часто бывает, что людей занимают не сами труды, а

накопившиеся вокруг них кривотолки, слухи, россказни? И плодятся они, похоже, лишь для того, чтобы забыть напрочь сами труды.

Видимо, посоветовавшись со старшим братом, Константин решил, что отнекиваться и уклоняться всё же неучтиво. До сих пор к ним здесь, паче всех ожиданий, относятся без венецианского брезгливого высокомерия. Принимают так уважительно, с такой непритворной лаской, что грех не отвечать взаимностью.

Что ж, он рад будет встретиться, а если надо, то и многократно, с теми друзьями почтенного Анастасия, чья любознательность устремлена к «Ареопагитикам», к их вдохновенным свыше смыслам.

Как проходили ареопагитские лекции Константина? Цитировал ли он Дионисия по памяти, или в походном кожаном мешке Философа были какие-то конспекты или даже весь корпус сочинений афинского епископа? На возможность такого предположения указывает сам инициатор лекций Анастасий, говоря в одном из своих писем, что Константин «вверил памяти» римских слушателей «весь кодекс» Дионисия. Но что это значит: «вверил памяти»? Просто пересказал? Пересказы, как мы неоднократно убеждались, вовсе не были в правилах Константина, который по возможности предпочитал всякому устному изложению письменное. Можно ли пересказать, надеясь только на свою память и без неминуемого ущерба для памяти слушателей, главу Евангелия или самое краткое из апостольских посланий? Возможна ли в пересказе страница из «Ареопагитик»?

Упомянутое письмо Анастасия, к счастью, известно нам не в пересказе. Через шесть лет после кончины Философа папский библиотекарь отправил это письмо персоне высшего в пределах Европы ранга — французскому императору Карлу Лысому. Посылая корреспонденту в дар сочинения Ареопа-гита в недавнем (не собственном ли?) переводе на латинский язык, Анастасий с пиететом упоминает покойного своего собеседника-византийца как «великого мужа и учителя апостольской жизни», который в бытность свою в Риме много потрудился, чтобы приохотить римлян к чтению трудов афинского епископа-богослова: «...Константин Философ, который при священной памяти папе Адриане II прибыл в Рим и возвратил тело святого Климента на своё место, вверил памяти весь кодекс часто упоминаемого и заслуживающего упоминания отца и указывал слушателям, сколь полезно его содержание; он обыкновенно говорил, что если бы святые, а именно первые наши наставники, которые с трудом и как бы дубиной обезглавливали еретиков, располагали написанным Дионисием, то, без сомнения, они рубили бы их острым мечом».

Трудно определить, насколько здесь Анастасий точен в своём пересказе ответственного суждения Константина о значении «Ареопагитик» для последующей эпохи. Впрочем, по одной подробности мы, похоже, узнаём особый склад речи Философа. «Обезглавливать дубиной еретиков» — это его, Константина, образ, его притчевый ход мысли!

Вооружась книгами Дионисия, борцы с еретиками стали бы и в самом деле куда искуснее!

Иными словами, любуясь Дионисием, Философ не в последнюю очередь восхищён в его богословии красотой и мощью греческого гения. Разве для того греческие мыслители языческой, дохристианской поры возносились и изнемогали в исканиях истины, чтобы она навсегда оставила их в сумерках недоумений, ложных распутий? Ареопагит приходит как живое оправдание предшествующих поисков и прозрений. Греческий философский гений искал не зря. После Дионисия так же будут осознавать своё преемство великие Отцы Церкви — тот же любимый Философом Григорий Богослов, тот же Василий Великий.

Богословие Дионисия — суровый упрёк языческому пантеизму. Да и любому пантеизму более поздних времён, упорно стремящемуся растворить Бога в сотворенном мире.

Так, в подражание Ареопагиту, и сам Философ терпеливо предлагал своим римским слушателям, по словам агиографа, «и двойное, и тройное объяснение», когда видел, что не сразу всё понимают. А приходили-то к нему, подтверждает житие, непрестанно.

Худая слава

Но лекции Константина вдруг иссякли. Нежданная-негаданная подступила остуда.

Сколько раз замечает за собой каждый поживший на свете человек, что нельзя слишком доверчиво поддаваться прибывающей в душе радости. Если плещет она уже через край, жди подвоха.

Дело не в том, что отошла в Риме чреда славянских литургий. Не были же братья так самонадеянны, чтобы всех латинян, от епископов до брадобреев и конюхов, разом влюбить в славянскую речь.

И ясно, что не мог же Константин до бесконечности произносить свои речи о сокровенном Ареопагите, как ни подбадривали его заворожённым вниманием слушатели и сам неутомимый, тонкий в расспросах Анастасий.

Нежданное-негаданное неистощимо на выдумки. Вы-то, приезжие, не знали, но иногда мостовые римские, поры домов, крыши, стволы и хвоя пиний, обломки мраморных стел с их громадными, с голову младенца, римскими буквами, верхние одежды и обувь горожан вдруг покрываются лёгким жёлто-серым налётом. И тогда здешние бывальцы говорят со знанием дела: Африка... Или уточняют: Карфаген... Это как же нужно разогнаться африканскому ветру, чтобы поперёк моря пригнать сюда, на италийский берег, столько песчаного праха! В такие дни, наверное, даже соль в отцовской солонке древнего поэта Горация приобретала болезненно-лимонный оттенок.

Никуда не деться — стихия!..

Вот и с ними случилось. Вдруг стали никому в Риме не надобны.

Где Анастасий? Никто не ведает, где он. Где его дядя — епископ Арсений? И о нём молчат. Где сам старец Адриан? Но разве апостолик обязан докладывать всем и каждому, где он сейчас? Римский папа принадлежит всей Западной империи, а она — ему.

А что, если не от Африки вовсе, а от Константинопольского холма подул остудный ветер? Обычно насельники греческих монастырей Рима быстро узнают вести с Босфора. Слышно, что Игнатий, возвращённый в патриархи, на каждом шагу мстит низложенному и сосланному Фотию. Уже издал указ, отменяющий Фотиеву анафему покойному папе Николаю, и письмо с радостным сообщением о своём решении прислал сюда, Адриану. Что ж, если доложено Игнатию о том, что византийцы Мефодий и Константин сейчас находятся в Риме и

Святые Кирилл и Мефодий. Болгарская икона Нового времени

С. МѲѲ
ДІИ.
С. КИРИ
ДІУ.

Крестик Моравский князь на охоте (?).

из Великой Моравии Изображение на серебряном медальоне

из Стара Мяста в Моравии

Фундамент древней церкви. Микульчице, Великая Моравия

Изображение епископа на серебряной застёжке из Микульчице

Фундамент ротонды в Дукове, Моравия

Святой Кирилл. Древнейшее изображение первоучителя славян из церкви Святого Климента в Риме

Перенесение мощей святого Климента в Рим Кириллом и Мефодием. Копия XI в. из церкви Святого Климента в Риме

HVC AVATICANO FERTVR PP. NICOLAO IMNIS DIVINIS QD AROMATIB SEPELIVIT
+ ECO MARIA MACELLARIA P TIMORE DEI E T REME DIO ANIME MEE FEC PCR FC

СТИ
КНР
НЛЬ
ФИЛОСО
ФОФ
БЛАГАН
БЛВАЩ
ЖЛТА
НСТАН
ОУГЛОВА

Кирилл, учитель Словенский. Фреска церкви Святого Петра. Болгария. Вторая четверть XIII в.

Базилика Святого Климента в Риме. Изображение на плане города 1593 г.

Фасад церкви Святого

Климента в Риме, усыпальницы святого Кирилла

Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. Интерьер церкви, в которой прошло первое славянское богослужение

Место упокоения святого Кирилла в подземелье церкви Святого Климента в Риме

Святые Кирилл и Мефодий. Икона Нового времени

Иоанн VIII, папа Римский. Роспись церкви Сан-Пьетро в Пизе. XIII в.

Бенедиктинский монастырь в Райхенау

Страница глаголического Ассеманиева Евангелия. XI в.

Святой евангелист Лука.

Миниатюра из Остромирова Евангелия. XI в.

Кирилл и Мефодий, предстоящие Христу вместе с двумя ангелами,

апостолом Андреем и Климентом Римским.

Копия XI в. с изображения в церкви Святого Климента в Риме

Крестик и мощевик
из раскопок
в Великой Моравии

Святой Кирилл. Фрагмент росписи церкви Святой Софии в Охриде. Около 1045 г.

Святые Кирилл и Мефодий. Современная икона из храма Святого Стефана
в Константинополе (Стамбуле)

Кирилл, Мефодий и их ученики: Климент, Наум, Горазд, Савва и Ангелариус. Фреска 1806 г. из монастыря Святого Наума в Охриде

Святой Климент Охридский. Святой Наум.

Икона XIV в. из Охриды Миниатюра XIV в. из Охриды

Монастырь Святого Наума на Охридском озере

Сына своа мефодьа и костантина · се слышавъ левъ, въско
ре ю посла а · и придоста ко ц҃рю · и рече има · се прислала ко мнѣ
словеньска земля · просяще оучителя собѣ · иже могъ
бы имъ протолковати с҃тыя книги · сего бо желаю ·
и умолена быста ц҃ремъ · и пойдоша в словеньскую землю
ко ростиславоу и ст҃ополкоу · и коцьлоу · сима же пришедшима
начаста съставливати · писмена азъбоуковнаа · сло
веньски · и приложиста ап҃лъ и еv҃е · и ради быша сло
вене · яко слышаша величье б҃жье · своим языкомъ :~

Посемь же приложиша псалтырь · и октаикъ · и прочая кни
гы · неции же начаша хоулити словеньскиа книги
г҃люще · яко не достоить никоторомоу же языку имѣ
ти бацъ боуковъ своихъ · разве евреи · и грекъ · и ла

Послы князя Ростислава у императора Михаила III.

Внизу — Кирилл и Мефодий переводят священные книги

на славянский язык. Миниатюры Радзивиловской летописи. XVв.

СВЯТЫЕ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
УЧИТЕЛИ
СЛОВЕНСКИЕ
А Б В Г Д

Памятник святым Кириллу и Мефодию в городе Ханты-Мансийске. Ещё в эпоху Древней Руси кириллическая азбука пришла и к народам Сибири рьяно обивают пороги папской канцелярии, то не мог ли он вдобавок известить апостолика: сии братцы — прямые выученики волка Фотия, стерегись их... Библиотекарь же первым прочитывает греческие послания, адресованные папе, прежде чем нести на доклад: ...стерегись их!..

Но не лучше ли им самим сейчас остеречься от предположений, хватких, как зелёная плесень? Что бы и кто о них ни говорил, громко или на ушко, они чисты — и перед патриархией своей, и перед здешней курией. Они не искали тут своей выгоды и не ищут. Они исполняли и исполняют свой труд, за который если и стыдно, то лишь потому, что он — при самом начале.

Исчезновение Анастасия и епископа Арсения вдруг обозначилось разом, и оно, как стало тотчас очевидно, с пребыванием Моравской миссии в Риме совсем никак не соотносилось.

Стихия людской худой славы если вдруг прорвётся, то какой же ветер-африканец с нею поспорит?!

Не успел в марте епископ Арсений получить от апостолика поздравительную буллу, рацвеченную многими похвалами, как епископский сынок по имени Елевтерий взял да и выкрал по-разбойничьи дочь папы Адриана. И не одну, а вместе с её матерью. Спасаясь от папского гнева и позора, Арсений спешно покинул Рим.

Но почему за дядей своим почти тут же исчез и Анастасий?.. Его бегство ещё пуще развязало языки у

горожан, как правдолюбов, так и правдобрехов. Никакой он, Анастасий, не племянник! Он тоже сын Арсения!.. И в библиотекари-то попал совсем недавно, лишь с избранием Адриана. А до этого кем только не был, где только не подвизался! И в кардиналы его поставляли, и аббатом монастыря побывал, и отлучали его, и предавали анафеме... И в бега не раз пускался, как жалкий шарлатан. Против двух пап интриговал, да так рьяно, что однажды и сам целых три дня посидел на папском седалище да тут же и был спроважен...

На слух свежего человека всё это могло показаться дикими россказнями, в которых правды ни на малую лепту. Ведь до тех дней Константин видел совсем иного Анастасия. Но так ли уж многознающий, желающий всё знать о своём собеседнике-византийце глава папской канцелярии спешил рассказывать Константину о себе самом? Нет, вовсе не спешил.

Вот ещё новость: как бы ни чернили Анастасия римские всезнайки, а у покойного Николая I он, оказывается, был на хорошем счету. Рьяно помогал предыдущему папе в намерении подчинить болгарскую церковь римской юрисдикции, а тем самым — в противодействии Константинополю. Значит, Анастасий или ничего не знал о фотиевской «родословной» солунских братьев, или очень искусно скрывал до поры своё знание их подноготной, видя, что перед ним не наивные простаки, а борцы опытные, заслуживающие более искусного с ними обхождения.

Неизвестно, где же он сейчас со своим родственником-епископом, и что думает о гостях-славянолюбах на самом деле, и скоро ли объявится

здесь. Или не объявится вовсе? В любом случае, им и теперь, при разразившемся посреди Рима скандале, нужно, как прежде, оставаться самими собой, как глубь морская остаётся неколебимой при всех страстях, гуляющих на поверхности вод.

Их младенческое детище — славянское письмо — ещё не в состоянии стоять за себя без их ежедневных родительских забот. Значит, из Рима им никак нельзя впопыхах сниматься. Как из Венеции, так и отсюда негоже уйти ни с чем. Надо дождаться, когда апостолик, оправившись от домашней смуты, вспомнит о них и о своём обещании благословить — не только устно, но и на письме — их дальнейшие труды в Моравской земле.

Инок

В знойном изнурении Рим трудно дышал на своих холмах и, казалось, чах от памяти о невозвратной имперской славе. В какую сторону ни ступи гость, на каждом шагу, как сборища попрошаек, поджидают его скулящие обломки колонн, искалеченных саркофагов, пустые оконные глазницы. Посреди разора и каменного хлама новенькие базилики, похоже, стесняются своей нарядности. И серым колоссам триумфальных арок неуютно торчать здесь в своём безадресном величии. Да, они угодили напоследок совсем не в ту страну. Скелетообразный Колизей будто предупреждает тебя: зевака, поди прочь, живым отсюда не выцарапаешься. В его каменных подвальных лабиринтах по ночам, говорят, воют самые настоящие волки.

А потому мимо Колизея к маленькой тихой базилике Святого Климента, где теперь упокоены мощи, обретённые братьями под Херсоном Таврическим, лучше им идти в сопровождении опытных бывальцев.

Если же подберётся для гостей надёжная охрана, можно, отъехав за римские околицы, спуститься в катакомбы первых христиан. Они хоть и жили три века в нищете, в постоянном страхе облав, но в этих подземных улочках и закутках при свечах и факелах различаешь какую-то поистине идеальную заботу о скромных могильных нишах для почивших братьев и сестёр. И радуешься первым попыткам иконного и мозаичного письма в крошечных здешних молельнях и храмах. Сколь же силён был в этих людях внутренний свет веры! Чего-чего, а уж тщеславия, желания покрасоваться на виду Рима и мира эти не ведали.

...Житие Философа упоминает, что постучал однажды к братьям в их римское жилище некий иудей, пожелавший что-то необычное сообщить о Христе. Константин не отказался выслушать. «По числу лет, — заявил гость, — Христос, о коем пишут книги и пророки, что родиться ему от девы, ещё и не пришёл». Велика новость! Такое от его собратий уже тысячу раз слышано. Хотя пророков иудейских отцы их камнями забрасывали, они и пророков приплетут в строку. «Ещё не пришёл», и всё тут. Они ведь ждали и ждут совсем другого. Ждут мессию, вождя, который покорит для них весь мир, подчинит им все народы. Так и ждите, спорить незачем.

Но раз уж спорщик выставил какой-то свой временной счёт, Константин распахнул перед ним евангельскую главу с Матвеевым порядком поколений — от Адама до Христа. Зри, человече, и слышь. Говорят ли что-нибудь твоей памяти древние родословия, ведомые твоим предкам имена: кто кого породил, кто от какого был колена? Так зри же и разумей: пришёл Христос! И зри, сколько лет уже минуло с той поры, как пришёл — «оттоле и доселе». Убедил — не убедил, но собеседник спорить больше не стал и даже благодарил, так что расстались мирно.

А между тем новая гостья толкнула без звука дверь, прошла без спроса. И не куда-то мимо прошла, а прямиком — во внутреннее естество Константина.

Самоуправной хозяйкой вошла, без слов объявила: «Мой, весь теперь мой». Неумолимая язвила его мука, такой никогда ещё, кажется, не терпел. Разве лишь Багдад пришёл на память, где он страдал внутренностями и все свои подозревали, что отравлен.

Но не так в Багдаде было. Там подержала-подержала боль и отпустила. А эта лютовала в нём изо дня в день, так что от изнеможения и счёт дней начал для него размываться.

Но однажды пробрезжило освобождающее дуновение и он пропел слабыми губами, едва внятным голосом:

«О рекших мне "Внидем во дворы Господни " возвесели мя дух мой и сердце обрадовася».

Значит, решили, кто-то в видении посетил его и призвал.

Назавтра он самостоятельно поднялся с кровати, облачился во всё чистое. Захотел пробыть с братом и учениками целый день, и тихая радость смягчала черты осунувшегося лица. Радость освобождения слышна была и в голосе, когда выговорил:

«Отселе я ни царю слуга, ни кому другому на земли, но только Богу Вседержителю... Аминь».

Так он сказал — обликом своим, облачением, словами, — что желает принять иноческий постриг. На следующий же день состоялось таинство его посвящения в монашеский чин.

Был Константин.

Стал инок Кирилл.

Как и положено, ему строгий устав предписывал остаться на срок совсем одному — в ночном безмолвии, наедине с молитвами, которые обращал к Творцу своему.

То были молитвы особые, для вхождения души в строй иноческого бытия. Но были и молитвы, впитанные им ещё с родительских уст. И первая из них, самая малая, самая пре-скромная и самая, как теперь отсюда видит, великая, бесконечная в своей всегдашней настойчивости: Kvpis гХгцоov! — Господи, помилуй!.. А рядом и молитва-благодарение, так часто людьми на радостях забываемая: Л6С,а Іоі о Ѳедд гцисдv 86^а Zoif — Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Так, через молитву он издавна возлюбил язык, считавшийся в его кругу чужим. А теперь не может и дня прожить без него, молится и думает на нём...

Господи, Боже мой,
иже вся ангельские силы и бесплотные чины составил
и небо распростер, и землю основал,
и вся сущая от небытия в бытие привел,
иже всегда и везде слушал творящих волю Твою,
боящихся Тебе и хранящих заповеди Твоя,
послушай и моей молитвы
и верное Твое стадо словенское сохрани,
к коему меня приставил,
ленивого и недостойного раба Твоего.
Избавляя вся от всякой безбожной и поганской злобы
и от всякого многоречивого и хульного еретического языка,
глаголющего на Тя хулы,
погуби триязычную ересь
и возрасти церковь Твою множеством,
и вся в единодушии совокупив,
сотвори изрядны люди,
единомыслящие о истинной вере Твоей и правом исповедании, вдохни же в сердца их слово Твоего учения, ибо они Твой дар.
Если нас приял, недостойных,
на проповедание им евангелия Христа Твоего
и наострившихся на добрые дела
и творящих угодное Тебе,
и если мне дал,
то Твои есть и Тебе их возвращаю.
Устрой же их сильною Твоею десницею,
покрой их кровом крыл Твоих,

да все они хвалят и славят имя Твое,

Отца и Сына и СвятагоДуха во веки. Аминь.

Так, в молитвенном сосредоточении прошло 50 дней после пострига. Не раз, наверное, вспоминалась ему в эти недели тишина Малого Олимпа, где провели они с Мефодием, может быть, самые радостные годы совместных трудов, потому что тогда ещё невозможно было вообразить, сколько же злоключений ждёт их именно из-за этих трудов, когда спустятся они со своей Горы.

Может быть, поэтому однажды, попросив Мефодия остаться с ним наедине, он вспомнил и Гору: «Были мы, брат, как два вола в одной упряжи, одну бразду тянули... И вот я на пахоте падаю, свой день скончав... А ты, знаю, так любишь Гору. Но не позволь себе ради нашей Горы оставить научение своё. Чем иным ещё спасёмся?»

Это было уже совсем незадолго до кончины монаха Кирилла. Житие повествует, что перед самым своим исходом он, собрав последние силы, облобызал брата, всех единомышленников своих и ещё раз напомнил молитвенно о их общем труде:

«Благословен Бог наш, иже не дасть нас в ловитву зубам невидимых враг наших, но сеть их сокрушися, и избавил нас от ис-тления...»

14 февраля 869 года Мефодий сказал стоящим перед гробом, что брат его, оставивший для них всех такой великий дар и такой небывалый образ бескорыстия, прожил совсем немного — всего 42 года.

Но как же это столь малое уместило в себе столь неисчислимое?

В Климентовой базилике

Прощание с Философом вдруг напомнило времена более чем годовой давности, когда Рим торжественно встречал братьев. Напомнило просто-таки исключительным вниманием, которое вновь проявлял Адриан II, — но теперь уже к проводам младшего из гостей-византийцев.

Всё устройство отпевания апостолик взял на себя. Потребовал участвовать в прощании с новопреставленным не только подопечное ему духовенство, но и всех римлян. Просьба прибыть касалась также священников и монахов греческого обряда, что немалым числом жили в городе. Агиографы Кирилла приводят важную подробность события: Адриан повелел «со свещами сшедшеся пети над ним (Кириллом. — Ю. Л.) и сотво-рити провождение ему, якоже и самому папежу». Отпеть монаха-чужеземца, к тому же совсем недавно постриженного, отдав ему почести, достойные римских пап, — это что-то да значило!

Мефодий и его спутники снова оказались на виду у всего города.

Будто и не было перед тем нескольких месяцев тягостной остуды по отношению к ним со стороны придворных клириков.

Улучив минуты для доверительного разговора, старший брат попросил у апостолика благословения на неблизкий путь в Вифинию:

— Мать наша взяла с нас клятвенное обещание: кто бы первым из двоих ни отправился на Господний суд,

пусть второй брат перенесёт его прах в наш монастырь и там предаст земле.

С участием выслушав Мефодия, папа отдал распоряжение своим гробовщикам: опустить тело усопшего в раку, приколотить её крышку железными гвоздями и так держать неделю, нужную для сборов в путь.

Но тут у епископов римских возник свой довод:

— По скольким бы землям ни ходил сей честной муж, но ведь Господь его к нам привёл. И у нас принял его душу. Значит, достойно ему у нас лежать, а не где-то ещё.

На это расчувствовавшийся старец Адриан изрёк:

— А если так, то за святость его и любовь повелеваю нарушить римский обычай и погрести его в фобу, что для меня самого вытесан, — в соборе Святого апостола Петра!

Видимо, этот жест апостолика показался всем окружающим даже слишком решительным.

— Если уж вы меня не послушали, не отдали мне его, — ещё раз заговорил Мефодий, — и если вам моё предложение будет любо, то пусть положат его в церкви Святого Климента, с мощами которого он и пришёл сюда.

Мнение вифинского игумена своей мерностью как-то разом устроило всех.

И вот настал день, когда в скромную базилику, алтарь которой год назад принял Климентовы мощи, притекло шествие с ещё одной ракой. Её уместили в тёсанный из камня гроб — по правую руку от алтаря.

«Житие Кирилла» заканчивается словами о том, что в церкви «начата тогда многа чюдеса бывати» и римляне, видя их или слыша о них, с ещё большим почитанием и трепетом приходили сюда и вскоре же написали икону с его изображением и возжгли пред нею лампаду, светившую днём и в ночи.

Так в стенах малой римской базилики началось местное почитание святого Кирилла. И самые первые славянские мо-литвословия, обращенные к Кириллу, Мефодий и его спутники пропели именно здесь, хваля за всё Бога, «Тому бо есть слава и честь в векы. Аминь».

СИРМИУМ

Дознание Библиотекаря

Мефодию и после похорон младшего брата нельзя было ни на день отлучаться из Рима. Хочешь не хочешь, но жди здесь. До тех самых пор жди, пока не определится Адриан II в своём отношении к дальнейшей судьбе Моравской миссии. Ведь одно дело — трогательное своей чувствительностью внимание, проявленное старым апостоликом по случаю кончины Кирилла. И совсем другая статья — клубок противоречивых оценок, гуляющих по коридорам папской канцелярии в связи с совершённым двумя греками переворотом. А чем же ещё, как не переворотом, могла считать римская курия нежданный-

негаданный перевод моравской церковной практики на «народный», то есть славянский, язык? То, что год с небольшим назад, во время Рождественских славянских литургий в Риме, многих расстрогало своей экзотической необычностью, варварской свежестью, теперь оборачивалось для протрезвевших умов какой-то головоломной стороной.

Да, здесь живут люди имперского кругозора, — не какие-то там узколобые «триязычники» и «пилатники», с которыми покойный Философ спорил в Венеции. Римляне не понаслышке знают, что сирийские христиане издавна служат в храмах на своём языке, а египтяне-копты — на своём и армяне с грузинами — на своих наречиях. Но это где-то далеко — на Востоке. А здесь, в центре Запада с самого начала повсеместно утвердилась служба на благородной латыни. И эта традиция аксиоматична. Она равно благовоспитывает франков, галлов, бриттов, испанцев. Какая смута вспыхнет, если кому-то из них взбредёт на ум поддаться восточной моде и завести своё богослужение на местном языке, ну хотя бы на немецком?!

Мефодий, опытный духовный стратиг, предчувствовал: и в Риме, как и в Константинополе, — всегда на одно мнение отыщется другое. Рим образцово противоречив, под стать остальному миру. Папа Адриан, придя к власти, похоже, захотел внятно изменить стиль отношений как с настырными наследниками Карла Великого, так и с Византией. Значит ли это, что до единого исчезнут в курии приверженцы жёсткой имперско-церковной политики Николая I? И

Мефодий, и покойный брат видели: нет, такие люди не исчезли, не исчезают.

В середине лета того же 869 года в Риме вдруг объявился, возвратясь из своих бегов (или из ссылки?), Анастасий Библиотекарь. Завидная невозмутимость этого человека, который держался так, будто никуда и не отлучался, по-своему даже восхищала. Возобновилось, словно на прерванной только вчера приятельской беседе, его общение с Мефодием и его спутниками. Всё тот же дружелюбный тон, всё то же сочувственное внимание к нерешённой по сию пору судьбе миссии. Но кто же перед ними на самом деле: ласковый сопережива-тель или искуснейший соглядатай? Непросто было свыкаться с двойственностью, исходившей от Библиотекаря.

Похоже, никак не могла Римская курия долго обходиться без помощи этого блестящего канцеляриста, единственного тут переводчика, безупречно владеющего греческим языком. Нужда в нём была ещё и потому, что всё заметнее обозначалась трещина в отношениях курии с болгарским князем Борисом-Михаилом. Тот уже не скрывал намерения вернуться под покровительство цареградского патриархата. Видимо, и в запутанных болгарских делах опыт Анастасия как деятельного сотрудника покойного папы Николая I снова срочно понадобился. Не случайно всего через месяц с лишним после своего возвращения Анастасий отбыл порученцем Адриана прямиком в столицу Византии.

Мефодий вряд ли мог знать, что одним из заданий, полученных Библиотекарем, было выяснение

подробностей открытия братьями мощей Климента. Тем самым Анастасию, по сути, предстояло удостовериться в подлинности самих мощей. Вскоре в Константинополе он встретился с митрополитом Смирн-ским Митрофаном, который во время обнаружения и прославления останков Климента как раз находился в Херсоне.

Владыка Митрофан, наудачу, знал событие во всех важных для Библиотекаря деталях. Его свидетельство для Анастасия представляло особую ценность ещё и потому, что митрополит в Херсоне находился не по своей воле, будучи сослан туда патриархом Фотием. Так что никакого «Фотиева следа», неприятного для репутации солунских братьев, как убеждался до-тошный римлянин, история мощей не содержала.

С итогами своего дознания, благоприятными для памяти покойного Философа и для чести его старшего брата, всё ещё ждущего своей участи в Риме, Анастасий спустя полгода и вернётся в папскую канцелярию. Но сам по себе факт дотошной проверки красноречив. В старом Латеранском дворце, в окружении папского престола, и после кончины Кирилла у Моравской миссии оставались свои противники.

Между тем из Константинополя дошла весть о сильном землетрясении. Причинён ущерб многим строениям города. «А что София?» — тревожный этот вопрос среди греков, обитающих в Риме, звучал то и дело. Как не вспомнить о Софии, когда ты далеко от неё и она стоит перед мысленным взором как оплот и образ всего града, всей державы?.. Выяснялось, что и

Софии нанесён урон. Хотя подземные толчки пощадили сам купол, но сильно повреждены внутренние изображения купольной сферы. Впрочем, многие увидели в этом обрушении перст Божий, вразумляющее знамение. Потому что осыпался большой мозаичный крест, тот самый, что когда-то, при иконоборческих самоуправствах, наспех закрыл, замуровал собою лики Христа и херувимов. И вот же — на месте осыпей, только-только прах развеялся, на сводах вновь, будто подтверждая незыблемость истины, проступили и лик Вседержителя, и образы крылатых сил херувимских.

Но несравненно больше волнений, толков, пересудов и всякого рода предположений вызвало в греческой колонии Рима другое византийское событие 869—870 годов.

Собор намерений

5 октября в Константинополе при участии нового императора Василия Македонца, патриарха Игнатия, папских легатов (в их числе увидели и Анастасия Библиотекаря) открылся собор, очередной по счёту после семи Вселенских. Ему римская курия намеревалась придать совершенно исключительное значение, заранее определив его в своём сценарии как «Восьмой Вселенский». Для заявки на такой громкий ход вещей в Риме заблаговременно, у престола апостола Петра, созвали свой поместный собор. Его участники единодушно ана-фематствовали отстранённого василевсом Василием Фотия и сожгли кодекс, содержащий Фотиеву анафему Николаю I.

Век был таков: анафема анафему догоняла и в огне спешно пожирала. Легаты отбыли в Константинополь с поручением произвести подобное же картинное сожжение и там, на соборе вселенском.

Адриан II с нетерпением ждал церковного триумфа всемирного звучания. Собрание восточных патриархов, подтвердив правоту Западной церкви в её приговоре Фотию, тем самым наконец-то признает духовное главенство апостольского престола. Рим жил надеждой: этот — Восьмой — станет последним в чреде, итоговым, всё и вся завершающим. И он на веки вечные утвердит незыблемый авторитет первой кафедры всего христианского мира.

Время самое благоприятное. Император Василий, судя по его первому же письму старому апостолику с отчётом об изгнании Фотия, будет податлив. Печать убийцы своего предшественника наверняка отягчает душу нового василевса. Ему явно хочется выглядеть во мнении Востока и Запада спасителем имперской чести — от дурной славы Михаила III, беспутного пьяницы и кощунника на троне. Василий надеется на моральную поддержку Рима. И он вовсе не прочь завести дружбу с династией сильных Каролингов. Не зря тому же расторопному Анастасию апостолик доверил ещё одно важное поручение. Под самый конец работы собора, растянувшегося чуть не на полгода, Библиотекарь срочно отбудет с Босфора. Но вскоре вернётся туда при делегации королевских послов — для заключения договора о женитьбе Константина, старшего сына Василия, на дочери Людовика Немецкого.

Вести о работе собора, раз от разу поступавшие в Рим, не могли не волновать и обитателей здешней греческой общины. Мефодий с учениками впитывали молву, чаще скупую, чем изобильную, с особой жадностью. Там, в стенах Софии, где проходили сейчас заседания, косвенно решалась и их участь.

Нет, что-то в стольном граде ромеев сразу же пошло вопреки замыслу Римской курии. Начать с того, что состав собравшихся был поразительно мизерен. Кроме самого Игнатия, встречу не почтил присутствием ни один из восточных патриархов. Не явились и большинство митрополитов и епископов. Устроителям пришлось срочно заполнять пустующие кресла за счёт множества придворных чиновников. Ну разве такими были настоящие Вселенские соборы, кипевшие многолюдством, сверкавшие именами самых маститых и достойных посланцев своих епархий? Какое-то вялое театральное действо вместо собора!.. Латинские легаты к тому же сразу выставили присутствующим свои доставленные из Рима «формулы», напоминавшие правила примерного поведения, которые все обязаны были подписывать. И чем же сии скрижали подписывать? Обычными чернилами? Или киноварными — из чернильницы самого василевса? Прямо какая-то присяга на верность папам — и нынешнему Адриану, но особенно покойному Николаю.

Даже приверженцы Игнатия, даже императорские чиновники, говорят, опешили от такого натиска. Когда речь дошла до анафематствования Фотия, с мест

послышалось возмущённое: «Отсутствующий да не судим будет!»

Тогда, на пятое по счёту заседание, опального патриарха, несмотря на его нежелание участвовать в действе, доставили принудительно. Рассказ о том, что происходило дальше, Мефодий не мог слушать без волнения.

Чтобы унизить Фотия, ему велели стоять у самого входа в зал, за спинами присутствующих мирян. Легаты, никогда не видевшие Фотия в лицо, всполошились:

— Кого это там ввели?.. Кто этот — последний?

— Это и есть Фотий! — ответил сановник василевса.

— Тот самый Фотий? — вскричали, как со сцены, легаты. — Тот самый Фотий, что причинил столько злостраданий Римской церкви за семь лет своего самоуправства?! Тот, который столько бед нанёс и церкви Константинопольской, и всем церквам Востока?!

Зал притих. Молчал и Фотий.

После подробнейшего перечня его вин потребовали, чтобы подсудимый защищался. Все снова обернулись к Фотию.

— Бог слышит мой голос, если я и молчу. На это легаты изрекли:

— Твоё молчание не спасёт тебя от осуждения! Фотий снова сказал:

— Но и Иисус Христос своим молчанием не избегнул осуждения...

Многие возроптали:

— Как смеет святотатец сравнивать себя с Христом!

Это было всё или почти всё, что, по словам разных рассказчиков, произнёс на суде Фотий. Но даже такого изложения хватило Мефодию, чтобы растроганно оживить в памяти облик опального патриарха. Покойный брат возлюбил Фотия ещё со своей студенческой скамьи. Почитал его как искуснейшего наставника, мудрейшего из мирских. Оба успели оценить его и как пламенного защитника православных догматов, когда Фотий, что бы ни судили и ни рядили о нём теперь, был, — по воле свыше, а вовсе не по своему тщеславию — призван к патриаршему служению. Теперь же молва открывала Мефодию в этом человеке новое свойство — мудрость выстраданного молчания. Такого молчания, что красноречивее любых речей.

Из других известий ободрило то, что сразу три епископа, несмотря на давление василевса, отказались на соборе судить

Фотия. Один из них, Иоанн, митрополит Ираклийский, сказал во всеуслышание: «Кто анафематствует своего епископа, да будет проклят!»

Однако латинские легаты постарались исполнить задание курии до конца. Состоялась процедура анафематствования, с непременным (уже вторичным) сожжением прямо здесь, в зале заседаний, неугодных декретов за подписью Фотия, вытащенных из патриаршего архива. Внесли медную жаровню, развели в ней огонь, принялись метать в чадную пасть одну за другой рукописные хартии.

Дьякон-грек грозным рыком возгласил брань проклятия, превыспреннюю, к тому же почти стихотворную:

«Фотию придворному и узурпатору анафема!

Фотию мирскому и площадному анафема!

Фотию неофиту и тирану анафема!

Схизматику и осуждённому анафема!..

Изобретателю лжей и сплетателю новых догматов анафема!..»

Даже «новым Иудой» напоследок назвали.

Какие бы бодрые отчёты ни слали легаты в Рим о своих победах, собор явно проваливался. Никто на нём не заикнулся вслух оспорить всем известные доказательства Фотия в защиту Символа веры, в текст которого западные иерархи во главе с покойным Николаем пытались было протащить своё тощее изобретение — «филиокве».

Говорят, сразу по закрытии собора, когда василевс пригласил легатов во дворец, вдруг обнаружилась вся мнимость их успехов, достигнутых в Константинополе. Неожиданно в числе присутствующих они увидели... послов от болгарского князя Бориса. Послы эти от имени своего государя во всеуслышание представили императору и патриарху просьбу принять народ болгарский под свой духовный покров, прислать в страну византийских иерархов и священников. Получалось, что все многолетние труды Николая I, так желавшего укротить болгарскую стихию юрисдикцией апостольской кафедры, обернулись прахом. Получалось также, что эти хитрые греки, Василий и Игнатий, пошли навстречу Риму лишь в деле Фотия, а

соседку-Болгарию — эту капризную то ли страну, то ли орду — и не думали никуда от себя отпускать.

Напоследок, уже в марте 870-го, когда легаты везли в Италию реляции «Восьмого Вселенского», было на них нападение морских разбойников, по слухам, славян. Скарб легатов, подарки от василевса, сами хартии с подписями бесследно исчезли. Да и о судьбе своих порученцев Адриан ещё многие месяцы ничего не знал.

Но, как догадывался Мефодий, самое главное старый апостолик знает и без документов кривоватого собора: Византия дала слабину лишь по видимости. Ну, сожгли свитки, позорящие имя папы Николая. Но что до стараний покойного папы к укреплению всемирного первенства римской кафедры, — тут византийцы не то что не уступили ни шагу, тут они, как показал новейший разворот болгарского дела, прямо землю рвут из-под ног у римлян.

Есть косвенные подтверждения того, что Анастасий Библиотекарь по своём возвращении в Рим как ни в чём не бывало снова встречался с Мефодием. И не раз. А при встречах, возможно, даже рассказал старшему солунянину о своей беседе в Константинополе с митрополитом Митрофаном, тем самым, которого братья знали ещё по Херсону. Надо догадываться, Мефодий в таком внимании Библиотекаря к подробностям открытия мощей Климента постарался не заметить ничего зазорного и для себя обидного. Пусть они проверяют и перепроверяют. Вправе же страна, наконец обретшая свою святыню, узнать о ней как можно больше.

Но тема эта выводила Мефодия к раздумьям о действиях, гораздо более для него важных и неотложных. Пока в Лате-ранском дворце обсуждают или, что скорее всего, затягивают обсуждение судьбы Моравской миссии, у него есть время привести в должный порядок записи, оставшиеся от брата. Одно дело черновые пробы и начатки новых переводов. Они почти всегда под рукой у него и помощников. Через эти написания они словно продолжают ежедневные свои беседы с Кириллом, ища у него советов, подсказок, радуясь маленьким озарениям, когда вдруг уясняется через пометы Философа смысловой оттенок отдельного славянского слова, предложения.

Но ведь есть и другое Кириллово наследие. Может ли Мефодий пренебречь им? Оно тоже — в тетрадях, тетрадках, свитках, на листах, а то и на малых пядях пергамена. Но лишь отчасти в них. Хотя Философа отличала образцовая верность письменному свидетельству как таковому, никак не успевал он всё, достойное памяти, запечатлеть на письме. Как многое из его жизни ушло в тишину, прошелестев напоследок, будто ветер в камышах! Тем более важно теперь обозреть и заново оценить уцелевшее.

Благо невредимы записи, из которых снова, как сквозь мглу, проступают следы важнейших путей и испытаний брата. Слава Богу, сбереглись записи его прений с арабами в Багдаде. Есть, похоже, в виде домашней заготовки, и наброски спора с иконоборцем Аннием. Впрочем, брат мог сделать эту запись не до, а сразу по следам полемики.

И, конечно, особо важен, даже по весу своему, черновик прений Константина в Хазарии. Это же целый трактат! О нём думать ещё и думать...

А вот и она — история о нахождении мощей папы-мученика! К счастью, такая замечательно подробная! Рукопись вполне можно показать и Анастасию. Пусть увидит дотошный канцелярист, с какой ответственностью покойный брат описал всё, что связано было с обретением святых останков. Да заодно пусть лишний раз поупражняется в чтении греческой скорописи. Ведь все свои рабочие записи, не касающиеся впрямую славянской темы, Константин вёл, как обычно, по-гречески.

Ученики поговаривают: эти рукописи Философа нужно, не откладывая надолго, тоже переводить — для назидания славянских умов. Пусть всяк славянин, имеяй уши, узнает о их учителе Кирилле те наставительные и драгоценные подробности его жизни, что изложил он сам. Если сохранил их без изъяна, значит, волеизъявлением своим подсказывает: и вам тоже понадобятся.

Уже не раз, сначала как бы исподволь, вздохом и намёткой, звучало в их кругу рядом с привычным «жизнь» и это особенное слово, своим смыслом дающее животу человеческому какое-то совсем иное пространство, целительное дыхание.

Житие... Что, разве и сам Мефодий, и ученики не читали, не слышали многократно жития славных мужей и жён христианского мира — мучеников за веру, исповедников, святителей? И слышали, и читали. Но жития вели свою достойную речь о людях иных веков

или стран, о событиях чудесных, несовместимых с житейской теснотой, бестолковостью. Кто и как теперь посмеет примерить житийный лад к своим дням?

Но Кирилл — иное. Хотя и томился он совсем недавно среди них, в той же тесноте, неопределённости, в муке своей телесной, — но теперь он столь уже далеко, будто стремительно достиг тех иных веков и стран и стал причастником их чудесных деяний. Он сам творил чудесное, продолжает творить. Мощь чуда исходит от него, не убывая. Разве не великое чудо, что гордый Рим ошеломленно притих, расслышав божественные смыслы в речи народа, считаемого на Западе презренным и рабским?

Эпистола и замысел Адриана

Уход Болгарии из сферы влияния Римской курии, как ни странно, заставил всё же её более внимательно рассмотреть досаждавший ей моравский вопрос. Что, если, поддавшись примеру болгарина Бориса, и Ростислав отправит в Константинополь послов с согласием на полный перевод его моравлян под византийскую юрисдикцию?

По крайней мере, до слуха Мефодия и учеников уже доходили вести о беспокойстве Ростислава и Коцела за их судьбу Следы такого беспокойства — в «Житии Мефодия», где упомянуто прошение Коцела в Рим, чтобы поскорее отпустили к нему старшего солунянина. Там же, в житии, и ответ апостолика: «Не тебе единому отпущу, но всем землям тем славянским...»

То, что оба славянских князя каждый поодиночке уже обременяют курию жалобами на затянувшуюся

беспризорность своих церквей, не могло не воодушевлять засидевшихся в Риме просителей...

Со стороны Ростислава такая настойчивость могла быть вызвана и тем, что под конец 869 года он вдруг добился впечатляющей удачи в открытом воинском противостоянии франкам. Удачи такой убедительной, что те впервые вынуждены были предоставить его княжеству полную независимость.

Но что же сам его апостольство, блаженнейший папа Адриан?

Очень ли будет прилично — после всех прозвучавших из его уст громких поощрений в адрес славянских письмен и славянской литургии, после траурных соболезнований по поводу кончины Кирилла — так одними выражениями чувств и ограничиться? Или он хоть слегка накренит чашу весов в сторону дерзкого новшества двух византийцев, а тем самым, в сторону моравлян и паннонцев?

И, наконец, он её накренил, эту чашу. Слегка, но накренил.

Латинский оригинал письма Адриана II, адресованного князьям Ростиславу и Коцелу, в канцелярии Ватикана не сохранился. Не сберёгся и греческий перевод, который наверняка тогда же составили, как принято при подготовке посланий межгосударственного достоинства. Над этим переводом как раз и могли совместно работать Мефодий с Анастасием. Но «Житие Мефодия» содержит пространный славянский текст письма, и он, судя по стилю, предельно близок к первоисточнику. Вполне возможно, что документ и готовили сразу на

трёх языках, и это условие предложил Мефодий. Пусть и славянские князья получат эпистолу, подтверждающую их высокое достоинство, уважение к их родной речи.

Письмо вышло явно напутственного, благословляющего, миротворного и покровительственного звучания. Попробуем услышать письмо папы Адриана так, как услышали его старо-давние те славяне. Вот как звучит оно в «Житии Мефодия»:

«Андриан епископ и раб Божий к Ростиславу и Святополку и Коцелю.

Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение.

Яко о вас духовная слышахом, ныня же жадахом с желанием и молитвою вашего ради спасения, како есть воздвиг Господь сердца ваша искати Его и показал вам — не токмо верою, но и духовными делы достоит служити Богу.

Вера бо без дел мертва есть, и отпадают ти, иже ся мнят Бога знающе, а делы ся Его отметають. Не токмо бо у сего святительского стола просисте учителя, но и у благовернаго цесаря Михаила да посла вам блаженаго Философа Костянтина и с братом, дондеже мы не доспехом. Она же уведевша апостольского стола, достояща ваша страны, кроме канона не сотвори-сте ничесоже, но к нам приидосте и святаго Климента мощи несущее. Мы же трегубу радость приимше, умыслихом испытавше послати Мефодия священаше и с ученикы, сына же нашего на страны ваша, мужа же свершена разумом и правоверна да вы учит, яко же есте

просили, сказая книгы в язык ваш по всему церковному чину исполнь и с святою мшею (мессой) рекше, со службою и крещением. Яко же есть Философ начал Костянтин Божиею благодатью и с молитвы святаго Климента, тако же аще ин кто возможет достойно и правоверно сказати свято и благосно Богом и нами и всею кафоликиею и апостольскою церковью буди да быстеудобь заповеди Божия навыкли. Сей же един хранити обычай да на мши (мессе) первее чтут Апостол и Евангелие римскы, таче словенскы да ся исполнить книжное слово, яко восхвалят Господа ecu языкы и друго иде ecu возглаголют языкы различны величья Божия, яко же дасть им Святый Дух отвещавати.

Аще же кто от собранных вам учитель и чешющих слухы и от истины отвращающих на бляди, начнет, дерзнув инако, развра-щати вы, гадя книгы языка вашего, да будет отлучен токмо в суд, а ны церкве дойде ся исправить. Ти бо суть волцы, а не овця, яже достоит от плод нагнати и хранитися их.

Вы же, чада возлюбленная, послушайте учения Божия и не отрините казания церковного, да ся обрящете истиньнии покло-нителе Божия, Отцю нашему небесьному с всеми святыими. Аминь».

Несмотря на сугубый архаизм, а отсюда — для современного читателя — вязкость и смысловую непрояснённость некоторых оборотов документа, его содержание для славянских князей было вполне прозрачным. Адриан скромно именовал себя епископом, а не папой (ведь и все восточные патриархи с митрополитами тоже были — по сути, а не по званиям — епископами). Старик не оскорбил

Ростислава никаким непочтительным словцом в адрес убиенного цесаря Михаила. Хотя и напомнил, что когда-то Ростислав первым делом обратился за духовным окормлением всё же в Рим, а не на Босфор («у сего святительского стола просисте учителя»). Тут же, впрочем, признал очевидное: миссия из Византии в Моравию опередила римскую («мы не доспехом»). Зато напоследок именно в Риме Мефодия с учениками «свящаше», то есть рукоположили: сначала учеников в священники и диаконы, а напоследок и учителя — в епископы.

Вот это, вроде бы мельком сказанное о рукоположениях, и было для князей едва ли не самым важным местом письма. Отныне в Моравии и Паннонии будет у них свой епископ! Не от латинян, не от немцев назначенный, а, как и его покойный брат, по духу, по ревности своей к справедливости — истый славянин.

И свои, моравского, славянского роду, будут у них отныне священники!

И не так уж их расстроило, что старик-римлянин предписывает: во время литургии Апостол и Евангелие читать сперва на латыни, а потом уж на славянском. Да пусть! Тем с большей жадностью слух будет ждать, когда зазвучат стихи славянских книг! И каждому впервые ступившему в церковь можно будет втолковать: раньше-то была одна латынь, а теперь сам Господь по милости своей для нас заговорил. Имеющий уши да внемлет...

А ектеньи, большая и малая, и просительная, а тропари праздникам и поминаемым святым, а молитвы,

а стихи из «Псалтыри»? Они всё равно, как уже и заведено было братьями, будут звучать по-нашему! А те же проповеди?!

Теперь и Мефодий, покидая Рим, мог убедиться: несмотря на кончину брата, несмотря на проволочки и неопределённость, изнурявшие их здесь долгими месяцами, дело всё же подвигается. Это Кирилл молится за них, чудесно помогает, чтобы общее дело не рассыпалось прахом. Подлинно: вера без дел мертва. Не зря Адриан привёл в своём письме это премудрое изречение апостола Иакова. Они теперь снова возвращаются к свободному, как дыхание, деланию. Они и здесь не томились бездельем, но затомились их велеградские и блатно-градские люди, оставленные при одной лишь азбуке.

Похоже, по намерениям Адриана, ему, Мефодию, придётся на своей вновь учреждаемой для славян епископской кафедре потрудиться не в одной лишь Моравии. И не только в Паннонском княжестве Коцела. Дело в том, что кафедру эту Рим заводит хотя и вновь, но никак не на пустом месте.

Чтобы утвердиться в таком решении, в Латеранском дворце пошелестели страницами весьма старых книг, извлекли на свет давно не разгибавшиеся пергаменные свитки, а то и папирусы.

Среди имён семидесяти апостолов Христова века твёрдо, незыблемо стояло и это — Андроник, победитель мужей, по-гречески. Апостол Павел в своём письме к римлянам просит приветствовать Андроника, называет его родственником и говорит, что этот прославленный среди апостолов муж раньше его

уверовал во Христа. Святительское служение Андроника связывалось в преданиях со старой римской провинцией в Подунавье, в северном Иллирике. Центром удела Андроника был город Сирмиум, он же Сирмий, считавшийся когда-то у римлян одним из четырёх самых важных городов всей империи. Сирмиум стоял на берегу Савы со всеми своими имперскими древностями — театром, ипподромом и пр. Но много позже оказался лакомой поживой для вторгшихся с востока гуннов. После того разграбления его жители разбежались кто куда, а кафедру архиепископскую уже не хватало сил восстановить.

Но вот и самое время приспело вернуть ей жизнь, — к такому мнению склонилась римская курия. На Мефодия, направляемого в Сирмий, поглядывали напоследок с таким единодушным дружелюбием, будто и не шушукались ещё недавно возле папской кафедры противники славянского богослужения.

Мефодий, пожалуй, как никто другой подходил для замысла. В нём, с его воинской исполнительностью, воловьим упорством, будто от природы выпирает епископская жила. Князья к нему дружелюбны, ученики за него хоть в огонь, хоть в воду пойдут без колебаний. Там, в Моравии Ростиславовой и в Паннонии Коцеловой, судя по всему, есть уже у него немалая паства. Есть и опыт твёрдого противостояния франкским епископам. Ведь эти не в меру заносчивые отцы, заручившись покровительством Каролингов, ведут себя с каждым годом всё своевольнее и по отношению к апостольскому престолу. Ромей Мефодий способен стать неплохим заслоном на востоке от

напористых немцев. С другой же стороны, это и удобно, что он, вышколенный византиец, прибывший к моравлянам по благословению ныне отлучённого Фотия, вторично отправится к славянам уже как порученец, благословляемый римским папой. Вот и живой противовес намерениям Византии. Она перетянула к себе болгар, хочет распоряжаться, будто в исконной вотчине, не у одних болгар, но и по всей Иллирии? Ну, и получайте по соседству своего Мефодия! Но теперь — нашего архиепископа...

И как это мудро, что местопребыванием возобновляемой древней кафедры определён именно Сирмиум. От него до Рима путь веками накатан, не то что от Велеграда или Ко-целова городка. Мефодий тут почти под рукой. Его будет проще и надёжнее при надобности вразумлять. Конечно, одно дело восстановить громадную древнюю епархию в мечтаниях—в буллах и на картах. И совсем иное — определить и отстаивать её пределы, противостоя тем же франкам, тем же болгарам с греками. А не управится с такими полномочиями и обязанностями Мефодий — не беда. Найдут другого. Важно начать...

Сирмиум витал в великих преданиях Рима, а затем и Константинополя, звездой с остро устремлёнными лучами. Через этот город пролегали жизненные пути четырёх императоров, в том числе Константина Великого. Одно из преданий намекало, что он вначале намеревался обустроить новую столицу империи именно в Сирмиуме. Но луч Константина устремился всё же к Босфору, к холму маленького Византия над Пропонтидой. Луч Андроника-апостола, уже после его

мученической кончины, тоже от Сирмия потёк на юго-запад. Говорят, его мощи нашли захороненными в пригороде Константинополя.

Мефодий с детства знал, что великомученик Димитрий казнён в его родном городе. Но вот в Сирмий веками жило упорное предание, что Димитрия Солунского казнили именно здесь. По поводу таких разноречий приходилось лишь вздыхать. Ну что поделаешь, если каждая земля ревновала и ревновать будет о славе великих светочей Христовых!

Отбывая по месту назначения, Мефодий не мог не осознавать зыбкости, сомнительности, а главное, двойственности своего архиерейства. Он прибудет в маленький, полузаброшенный после нашествия гуннов городок, который, слыхать, сполна умещается теперь в пределах ипподрома имперских времён. Приедет туда, где его никто не знает, как и он никого. Вместо радостной встречи с учениками школы, оставленной в Велеграде, с Ростиславом и его молодым племянником Святополком, с тем же Коцел ом, его ждут насторожённые присматривания: кто сей? уж не назначено ли ему у нас место опалы?..

В «Житии Мефодия» Сирмий даже не упомянут. Нет никаких других старых письменных свидетельств того, что он сюда заехал, здесь останавливался, строил церковь (или приспособил уже когда-то построенную), завёл хозяйство, соответствующее его архиерейским нуждам. Вместе с тем Сирмий (современная Сремска Митровица в Сербии, на берегу Савы, в двух десятках километров от Белграда) как географический пункт его епископской деятельности в научный оборот вошёл —

в качестве если не доказательной реалии, то заслуживающей внимания проблемы*.

УЗНИКИ МОНАСТЫРЯ РАЙХЕНАУ

«И потоцы беззакония смятоша мя...»

Рим... О благословении ли, полученном в Риме, было ему теперь вспоминать? Какое ещё епископство, если тут впору стать поперёк дороги и запретить себе даже единый шаг — в любую из сторон. И дышать не дыши, хватит. Камнем застынь. Старым безнадёжным солдатским камнем, на котором ни имени, ни рода-племени твоего уже не различить, а только щербатый номер легиона или когорты. Ни о чём не думай. Ничего больше не жди. Некуда. Незачем. Хватит с тебя.

Да что ж ты так несчастна, Моравия? Почему всё в тебе опять стремглав перелицевалось? За какие грехи и в который раз!

Он-то Ростислава спешил поздравить, а заодно и молоденького Святополка — с недавней их воинской победой. С тем, что вырвали наконец из рук немецких долгожданную волю. С тем, что заживут теперь свободно.

Нет же! Ему на пути воплем вопят:

* Агиограф Мефодия сразу после текста письма Адриана II сообщает о поступке князя Коцела, вроде бы характерном для этого горячего правителя Паннонии. Коцел встречает у себя Мефодия с великой

честью, но почти тут же снова... посылает его к апостолику, прося того «святить на епископство в Паннонии, на столе святого Андроника апостола» ещё и... двадцать своих «муж честны чади». Этот рассказ, вызвавший множество разноречивых толкований в учёной среде, действительно заслуживает перепроверки. Или автор жития вовсе не входил в число учеников, побывавших с братьями в Риме, и потому не мог знать подробностей и ненамеренно сместил их, или за давностью описанных событий передал поспешный замысел Коцела в утрированном виде. На самом деле Мефодий, услышав о таком пожелании паннонского князя, перво-наперво постарался бы остудить его пыл, напомнив, что ему, Мефодию, с братом удалось в Риме добиться рукоположения в священники (а никак не в епископы) всего трёх учеников, причём в совершенстве подготовленных к служению в церкви. Скорее всего, весной 870 года речь в Блатнограде, на обратном пути Мефодия в Велеград, могла вестись об устройстве у Коцела первоначальной школы, как об этом и условливались два с лишним года назад. Для такого почина двадцать «муж честны чади» как раз были бы достаточны.

— Ку-у-да вы?! Из ума выжили? Разве не знаете: в княжестве измена! Ростислав схвачен... А кем? Далеко искать не нужно. Молодой племянничек — он и покусился на дядину власть...

Неужели Святополк?!

Но где ж Ростислав?..

Спросите лучше, где ветер... Одни немцы знают, куда Ростислава упрятали. У Карломана спрашивайте, где Ростислав. И жив ли ещё тот Ростислав...

Карломан. Он же Карломань. Один из трёх сыновей Людовика Немецкого... Сколько же их на свете — Людовиков, Кар-ломаней?.. Какой-то Карломан, самый, что ли, первый из всех по счёту, был родным братом Карла Великого, но умер юношей. Был ещё какой-то, но тоже не здесь, а в Бургундии. А этот, старший сын Людовика Немецкого?.. Ещё в первое своё пребывание в Моравии братья услышали о нём немало всякого. То он союзничал с Ростиславом, то, неугомонный в коварствах и клятвопреступлениях, почти тут же свежую распрю затевал. И теперь, после прошлогоднего поражения от Ростислава, видать, недолго копил в себе злость для нового умысла. Но действовать решил напоследок не мечом, а прельщением. Немало, должно быть, наобещал Святополку и его вельможам нитрским за измену. Не пролив и капли крови, получил от них клеть с опутанным по рукам и ногам велеградским князем.

Нет, не получается ему, Мефодию, стоять посреди поля придорожным обломком воинского надгробия. Ради хотя бы этой малой горстки учеников, что в унынии сгрудились возле него, нужно перебороть в себе терпкую каменную усталость.

Всё равно надо в Велеград ехать! А значит, и так и так — через Нитру пылить. Если же Святополк уже не в Нитре, а в Велеград перебрался, на дядин стол, надо перво-наперво усовестить Святополка. Наложить на него строжайшую епитимью за Иудин грех. Может,

ещё не поздно спасти и Ростислава? Только знает ли племянник, куда спровадили дядю родного?

Но вышло так, что никто из них двоих — ни Святополк, ни Мефодий — ещё долго ничего не знали о судьбе Ростислава. Как ничего или почти ничего достоверного ещё долго не знали Мефодий со Святополком и друг о друге.

Так получилось, что Мефодий если и добрался тогда до Ве-леграда, то лишь на самый малый час, — чтобы доставить превеликую радость глумливой облаве. Наконец-то — с копьями, арканами и ножами — вышли на лов долгожданного византийского зверя и его зверят.

...Сии на колесницах и сии на конех, Мы же имя Господа нашего призовем...

И учеников похватали вместе с их опозоренным епископом. Ехали из Рима к великой радости, а облеплены грязью с головы до ног.

Куда везут их? На запад солнца, в предгорья и горы, через ямины, нарытые потоками. Значит, в самое гнездовье франкское. Не там ли теперь и Ростислав, если только жив князь?

...Аз есмь червь, а не человек,

поношение человеков и уничижение людей.

Помоги же напоследок, спасительная книга!.. Когда начинал он перелагать её псалмы, заботливо подбирая на место греческих славянские слова, мог ли догадываться, как много в ней наперёд сказано и про него самого! Про каждого из нас сказано наперёд — на случай всякой беды, всякого непереносимого

унижения. И вот — память нашаривает во тьме последнее прибежище для души.

...Одержаша мя болезни смертныя
и потоцы беззакония смятоша мя.
Болезни адовы обыдоша мя,
предвариша мя сети смертныя.
И внегда скорбети ми, призвах Господа
и к Богу моему воззвах:
Услыши от храма святаго своего глас мой,
и вопль мой пред Ним внидет в уши Его.

Прежде, когда жили с братом на Горе, книга эта чаще всего открывалась для него стихами тихой радости и благодарности за то, что теперь и монахи его из славянского племени тоже, не хуже греков, разумеют смыслы Давидовых стихов:

Повем имя Твое братии моей, Посреде церкви воспою Тя.

Душа переполнена была смиренным ликованием. Казалось, и по всему миру так же теперь разливается благодатная теплота.

Господь пасет мя и ничтоже мя лишит.
На месте злачне, тамо всели мя,
на воде покойне воспита мя.
Душу мою обрати, настави меня на стези правды,
имени ради Своего.

Верилось, что навсегда допущены они в это селение чистых трудов и до конца дней своих будут растроганно славить Творца на сладкозвучных гуслях царёвых.

...Кто взыдет на гору Господню или кто станет на месте святем Его? Неповинен рукама и чист сердцем,

иже не прият всуе душу свою...

Сей примет благословение от Господа

и милостыню от Бога Спаса своего.

Но так она теперь далека, та Гора, будто в чужой совсем жизни! А их — не в преисподнюю ли тащат? Можно подумать, что и не христиане вовсе тащат, а свирепые язычники — гунны, авары. Или угры, что напали было на него с братом в степях прихазарских.... Но и язычники бы так не злобились, видя их беззащитность.

Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю...

Немецкие епископы и папа

Поистине ополчился против него и горстки учеников целый полк враждебных им лиц, да ещё и с духовными воеводами во главе... Хотя в «Житии Мефодия» не назван по имени ни один из участников расправы, дело спустя три года вдруг получило такую громкую огласку, что пало несмываемой тенью сразу на нескольких церковных владык.

Все они из Восточно-Франкского королевства. Все входили в синод Зальцбургской архиепископии. Все в большей или меньшей степени были ответственны за прямо-таки разбойничье самоуправство, вызвавшее, наконец, возмущённую отповедь из Рима. Автор «Жития Мефодия» говорит о них во множественном числе: «епископы». Замечает лишь, что некоторые из участников сговора после событий прожили совсем недолго: «...не избыта святаго Петрова суда, 4 бо от них епис-копиумрота».

Упопомянем каждого отдельно.

Первым — Германариха, епископа из Пассау. Его владения располагались ближе всего к моравским землям, и он в 870-м непосредственно участвовал в набеге на Моравию, находясь при войске Карломана. Он теперь и повёз схваченного византийца в свой Пассау. О Германарихе известно также, что за пять лет до этого он побывал в сопровождении своих священников в Плиске, у болгарского князя Бориса, надеясь добиться постоянного присутствия в этой стране немецких пастырей. Но вынужден был отъехать, ни в чём не успев. Тогдашний папа Николай имел, как известно, собственные виды на Болгарию и потому не потерпел конкуренции.

На судное собрание (оно состоялось в Регенсбурге) явились также епископы Анон из Фрайзингена и Ландфрид из Себена. Среди присутствовавших называли и Вихинга, священнослужителя из Нитры, пути которого с Мефодием будут впоследствии многократно пересекаться.

В затеянном разгроме Моравской миссии участвовал и Адальвин, архиепископ Зальцбурге кий. Если он и не был главным исполнителем расправы, то, скорее всего, как раз он постарался, хотя бы задним числом, обосновать необходимость и особую строгость суда. Именно в стенах его епископской канцелярии тогда же, к началу 871 года, и появился трактат, известный среди письменных источников эпохи под названием «Conversio Bavoagiorum et Carantanorum» («Крещение Баварцев и Карантинцев»). Анонимный автор трактата постарался отметить историческое первенство Зальцбургского духовного центра в деле

христианского просвещения не только германских, но и славянских язычников. Адальвин, по мнению исследователей, явно приложил усилия к появлению рукописи.

Но мог ли епископский синод обсуждать в обстановке, приличной такого ранга собранию, вопрос о том, кто в большей степени достоин и способен просвещать славян — они, старожилы этих мест, или приезжие миссионеры из Константинополя? Нет, после того, что успели здесь вытворить по отношению к Мефодию, синод совершенно уже не был способен удерживаться в рамках пристойности. Об этом с возмущением заявит в своём письме — прямо в лицо епископу Гер-манариху — не кто иной, как папа Римский:

«...Воистину, чья жестокость, — не скажу про епископа, ни про какого-то светского человека, ни даже про тирана — или чья зверская свирепость способна превысить твою дерзость, когда обрёк нашего брата и епископа Мефодия (fratrem et coepiscopum nostrum Methodium) на затворническое притеснение и когда самым жестоким и бесчеловечным способом принудил его такое продолжительное время стоять под открытым небом, в зимнюю стужу и под дождём, и как отстранил его от доверенного ему руководства церковью, и как дошёл до такого безумства, что приволакиваешь его на епископский собор и бьёшь конской плетью, и как не было такое вос-препятствовано другими? И это, спрашиваю тебя, поступки епископа?..»

Письма со словами возмущения неправедным судом отправлены были из Рима, кроме Германариха,

также епископам Адальвину в Зальцбург и Анону во Фрайзинген. Адальвину предписывалось: «...ты, который стал виновником его (Мефодия. — Ю. Л.) свержения, да станешь виновником и его восстановления на доверенной ему службе». Анону, «чья надменность и дерзость превышают не только облака, но и всё небо», выставлено ещё более жёсткое требование: «Если не будут созданы для уважаемого епископа добрые условия», то ему, Анону, надлежит срочно явиться в Рим и здесь дать отчёт о всём случившемся. До тех пор, пока Мефодий не будет освобождён и восстановлен в своих правах, всем этим епископам запрещалось служить мессы.

Как явный соучастник расправы получил буллу и Карло-ман, сын Людвига Немецкого. «Да будет дозволено брату нашему Мефодию, — диктовалось из Рима, — который назначен от апостолической кафедры, свободно исполнять епископскую функцию сообразно старым обычаям».

Чтобы проверить исполнение своих повелений, папа отправляет на место событий своего легата — епископа Павла Анконского, которому предписано способствовать освобождению Мефодия и благополучному возвращению его в Моравию.

Все эти буллы составлялись и отправлены были из Рима в самом конце 872-го или начале 873 года. Но автор их — уже не Адриан II, что сразу видно и по энергичному, жёсткому стилю писем. Автором был новый первоиерарх Западной церкви — Иоанн VIII.

Старого апостолика, который вручал в Риме архиепископские полномочия Мефодию, уже не было

на тот час в живых. Он скончался 25 ноября 872 года, возможно, так и не узнав ничего достоверного о судьбе своего неведомо куда исчезнувшего посланца. Скорее всего, князь Паннонии Коцел, обеспокоенный покушением на жизнь сначала Ростислава, а за ним и Мефодия, мог, и даже неоднократно, слать в Рим запросы, полные тревоги и самых мрачных предположений. Если бы Адриан отправлял Коцелу в Блатноград хоть какие-то письменные ответы, они в том или ином виде сохранились бы. Как сохранились четыре письма папы Иоанна VIII по делу Мефодия.

В любом случае, новый папа в этом деле самым рьяным способом принялся за то, в чём не успел или сплоховал старый.

Иоанн VIII — второй папа, с которым Мефодию придётся сотрудничать непосредственно. Происходил он из старого римского рода. До своего избрания долго служил на Ватиканском холме, в соборе Апостола Петра, архидиаконом, то есть был у всех и вся на виду. Значит, вполне мог лично знать Мефодия и покойного Кирилла. И даже, как художник речитативного слова, артист по складу души, проявлять особое внимание к литургическому творчеству братьев на славянском языке.

Но вряд ли расположенность личная (если она и была) побудила нового главу Западной церкви поступить теперь так стремительно и властно, прибегнув к грозному окрику.

В курии, судя по беспрекословному тону булл Иоанна, с его приходом, кажется, вполне возобладала антигерманская партия. Её сторонники уже накопили

достаточно свидетельств того, что от Восточно-Франкского королевства при Людовике Немецком и его сыновьях не приходится ждать достойного отношения к престолу святого Петра. То и дело почву под ногами вспучивали древние, вроде бы давным-давно похороненные инстинкты. Словно само время норовило отползти к стародавним тяжбам империи с беспокойными и дикими германскими племенами. Но теперь у Рима не было ни собственных императоров, ни могучих легионов, чтобы укрощать северных властолюбцев, расплодившихся безмерно после смерти Карла Великого.

Здесь прекрасно помнили, как самого Карла в начале века тогдашний папа Лев III увенчал в Риме короной императора, вызвав тем поступком сильное неудовольствие императора Византии. Но Карл не оставил по себе наследников таких же великих. А потому надёжнее Риму рассчитывать не на силу меча, а на силу духовного авторитета, то есть на самих себя. Так полагал папа Николай I. Такой же линии хотел придерживаться с самых первых своих шагов и он, Иоанн VIII.

Тем более что последние события показали: мирские вожделения Людовика Немецкого и его сыновей дурно влияют на поведение восточнофранкских епископов. Что за самоуправства, что за варварские выходки позволяют себе его баварские духовные чада!

Иоанн тоже, вослед Николаю и Адриану, не собирался упускать из вида Болгарию. Он вовсе не хотел, чтобы немецкие короли, поглотив Моравию и

Паннонию, расширились вплоть до болгарских земель, а немецкие епископы укоренились в болгарских городках. Болгария всё равно должна, наконец, войти в юрисдикцию апостольского престола. Как и Паннония и Моравия уже пребывают под покровом кафедры святого Петра. По крайней мере с того самого дня, когда Адриан учредил грека Мефодия архиепископом на древнюю кафедру апостола от 70-ти Андроника.

А потому пусть Моравия с Паннонией и впредь остаются сами по себе — независимыми от немецких посягательств.

Но всё это пока что было у него только на уме. И через три почти года после того, как пленили князя Ростислава и схватили Мефодия, о их дальнейшей судьбе в Риме знали лишь по обрывочным слухам.

Суд и расправа

Нам снова нужно вернуться к событиям 870 года. Ростислава немцы судили в Баварии в ноябре. Последние сведения о жизни князя, дружелюбно принявшего у себя в Велеграде двух греческих учителей, ничтожно скупы. Суд приговорил его к смертной казни. Король Людовик, столько раз воевавший с моравским вождём, напоследок смилостивился. И казнь, если только считать это милостью, отменили, заменив ослеплением. Но в том же году Ростислав умер. Где скончался, где погребён? Бог весть.

Святополк, выдавший Карломану своего дядю в обмен на обещанную независимость, так ничего за измену и не получил. А когда попробовал возмутиться, Карломан и его запрятал в одну из баварских тюрем.

Существует благочестивое предание, что в том же самом узилище оказался тогда и Мефодий. И, значит, если представилась им возможность видеться и беседовать, у Святополка был случай покаяться перед своим епископом в грехе предательства и властолюбия. Только ли Ростислава выдал он всегдашним врагам Моравии? Осознал ли теперь, что не одного лишь дядю, но всю землю Моравскую, со всей её бесправной чадью пустил на разграбление?

Есть древний документ, вроде бы подкрепляющий это предание о встрече двух подневольных. Речь идёт о рукописном помяннике — «Книге побратимств» (Liber confraternitatum) из библиотеки южнонемецкого монастыря Райхенау. На разных страницах помянника прочитываются записанные латиницей имена Мефодия (Methodius) и Святополка (Szuentebulc). То, что это подлинно они, а не одноимённые им лица, подтверждает другая запись того же документа, где имя находящегося в заточении архиепископа проставлено по-гречески — МЕФОДІОІ.

В «Книгу побратимств» записывали имена людей и духовного звания, и мирян, гостей-паломников и недобровольных насельников монастыря, — всех, кто просил братию молитвенно их поминать.

Если Святополк и был в стенах Райхенау как пленник, то сравнительно недолго. А Мефодий?

Где же всё-таки с первой половины 870 года до первой половины 873-го искать нам следы его подневольного пребывания?

Агиограф, как всегда скупой на даты, имена людей и географические подробности, в своём рассказе о

годах заключения Мефодия говорит, что после суда его «заславше в Свабы»

(в Швабию), где продержали ещё «пол третия лет» (то есть два с половиной года).

В рассказе этом, — возможно, такова была воля Мефодия, не любившего лишний раз поминать гонителей, и так уже получивших по делам своим, — умолчано о нанесённых ему оскорблениях, которые с таким возмущением живописал папа Иоанн VIII в буллах к баварским епископам.

Но всё-таки двумя-тремя важными подробностями передана в житии предельная жёсткость самого судилища. По главному доводу обвинителей — «На нашей области учишь!» — Мефодий не посчитал нужным развёрнуто оправдываться. Сказал лишь без обиняков:

— Если бы ведал, что ваша область, обошёл бы стороной. Но не ваша область, а святого Петра. Вопреки канонам, лакомства своего ради наступаете на старые пределы. Будто хотите железную гору костяным теменем пробить. Опасайтесь лучше, чтобы мозг свой не пролили.

Когда в ярости пригрозили ему, что за такую хулу не оберётся зла, ответил:

— Я истину и перед цесарями говорю и не стыжусь. Вы как задумали, так и правьте волю свою на мне. Чем я лучше тех, которые, отстаивая правду, жизнь свою в муках избыли?

Сколько ни кричали ещё, не смогли толком ничего ему возразить.

Присутствовавший на суде король Людовик Немецкий, когда епископы умолкли, даже сказал с ухмылкой:

— Ну, хватит вам утруждать моего Мефодия, а то он уже употел, будто возле печи стоит.

На что обвиняемый тоже отшутился:

— Когда-то одного потного философа люди повстречали и спрашивают его: «Отчего ты так взопрел?» — «Да оттого, что с грубиянами прения затеял»...

Не после таких ли слишком жарких обменов мнениями и выставляли узника на двор, под дождь и снег, или заталкивали в стылые подвалы?

В итоге синод баварских епископов, как и можно было ожидать, определил ни в коей мере не менять участь строптивца Мефодия к лучшему. Избрали только иное место заточения. Ещё дальше на запад увезли, в Швабию. Чтобы уже никоим образом не добрался оттуда до своих моравлян.

Векую лице Твое отвращаеши, забываеши нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имене ради Твоего.

Имена

Среди различных предположений, касающихся наиболее достоверного места ссылки Мефодия и его учеников, чаще иных называли и до сих пор называют старый швабский монастырь Эллванген, основанный в VIII веке. Предпочтение ему отдают потому, что как раз на Эллвангене мог настаивать епископ Германарих,

наиболее ярый из гонителей славянской миссии. Он сам был родом шваб, и в Эллвангене его рукополагали в священнический чин. Но монастырь этот, если и побывали в его стенах невольники, почему-то оказался непригодным для их постоянного содержания. Похоже, зачинщики расправы делали всё, чтобы заметать следы. Среди предполагаемых точек для очередных пересылок называются ещё монастыри за пределами Швабии и к западу от Рейна, то есть в краях, входящих теперь в состав восточной Франции.

Позже других в поле особо пристального исследовательского внимания попал швабский монастырь Райхенау.

О здешнем узничестве Мефодия свидетельствуют не только записи его имени в упомянутой выше «Книге побратимства». Вторая из них, та, что выполнена не латынью, а греческим алфавитом, драгоценна ещё и тем, что сразу за именем учителя прочитываются ещё несколько имён, записанных тоже по-гречески. Полностью строка выглядит так:

ΜΕΦΟΑΙΟΙ, ΑΕΟΝ, ΙΓΥΑΤΙΟΙ, ΙΟΑΚΙΜ, CYMEON, АРАПА!.

Вот, наконец, впервые появляется возможность прочитать имена учеников Мефодия и покойного Кирилла. Потому что кто же это, как не они!

До сих пор ни жития братьев, ни другие документы тех дней подобной возможности не давали. Поневоле в нашей книге — шла ли речь о Малом Олимпе или Велеграде, о Венеции или Риме — ученики всегда присутствовали безымянно. И вот имена проявились — на старых пергаменных листах IX века*.

* Словацкий писатель Милан Ферко сообщает, что идентичного содержания перечень имён Мефодия и его спутников (алфавит греческий) выявлен и на странице 53-й монастырского помянника, который принадлежал древнему восточнофранцузскому аббатству Люксей-ле-Бейн (Ferko M. Velkomoravske zagady.Tatran. Bratislava, 1990). Известно, что основатель аббатства Люксей ирландский аскет и миссионер святой Ко-лумбан со своими сподвижниками отсюда предпринимал хождения и дальше на восток, в том числе поднимался вверх по Рейну до Боденского (Констанкского) озера.

Правда, сразу же напрашивается ряд вопросов. А что, в записи из немецкого монастыря упомянуты те самые ученики, которых братья возили с собой в Рим? Может, среди них есть и те, кого учителя присмотрели ещё в вифинском Полихроне? Кроме последнего (имя Драгиос больше всего напоминает сербское Драгош), все остальные как будто из греческого имясловного рада, известного и латинянам, и немцам. Но значит ли это, что все ученики греки? Скорее всего, в списке должны преобладать славяне, получившие в крещение (или при монашеском пострижении) новые имена. Понятно, не могли они и заикаться о том, чтобы записали их в помяннике буквами славянской азбуки. Ну, куда уж в чужой монастырь со своим уставом! И за то великое благодарение милостивым хозяевам, что теперь на службах и их, лишённых свободы, станут поминать вслух по именам.

В Райхенау кроме «Книги побратимств» издавна существовал, как и должно, главный монастырский помянник — для здравствующей братии (Nomina

vivorum fratrum...). Имена учеников Мефодия появились в те же годы и на его листах, хотя уже не в греческом, а в латинском написании, к тому же с прибавкой трёх новых имён: «Ignatus, Leo, Hiltibald, Ioachim, Lazarus, Uualger, Simon». Значит ли это, что ученики зачислены были в штат постоянных насельников монастыря — в чине его послушников, трудников или даже монахов? На этот вопрос ответить труднее всего. По крайней мере, запись говорит о степени расположенности, доверия настоятеля и братии к людям, оказавшимся здесь не по своей воле.

Но более всего, пожалуй, трогает ещё одна сокровенная подробность монастырских помянников. Она — в списке покойных монахов Райхенау (Nomina defunctorum fratrum...). На одном из листов рукописи внятно прочитывается: Kirilos. По свидетельству немецких археографов, изучавших рукопись, её чернила и почерк — те же самые, что и в латинской надписи Methodius. Возможно, за скромным и таким непредвиденным причислением Кирилла в сонму покойных отцов Райхенау мог стоять целый сюжет: доверительная беседа Мефодия с настоятелем немецкой обители, рассказ о брате, скончавшемся в Риме и погребённом вблизи мощей священномученика Климента. И почтительное предложение аббата вписать брата Кирилла в помянник почивших здесь отцов. Земля ведь, слава Богу, одна. И вера, слава Богу, одна. И да не попущены будут в доме Христа, в его семье никакие раздоры, вражды, отпадения...

Монастырь, куда их привезли, древний. Стоял он на одном из островов Боденского озера. Местные жители

рассказывали об этом острове, что прежде, пока не ступили на него первые монахи, он кишел змеями. А о самом озере говорили, что оно — самое большое и глубокое в целой Европе. Хотя и живут здешние отцы в строгом островном уединении, но кое-что знают и о мире. В Райхенау любят вспоминать аббата Хейтона, одного из мудрых строителей обители: он ведь когда-то даже в свите самого Карла Великого ездил в Константинополь. При васи-левсе Никифоре это было, который в сражении с болгарами тогда же погиб. Хейтон привёз из того посольства книжку дорожных записей, и она как драгоценная реликвия сберегается в здешней библиотеке.

Вода вокруг тёплая, мягкая, озеро даже зимой редко замерзает. Но монастырь есть монастырь. Под солнцем не разнежишься. От старых каменных стен и в жару исходит крепкий холод, повязывающий плоть напоминанием: земля ecu и в землю отидеши. А пока труждайтесь, как и все. Не глазеть же сюда присланы — на воду, на горы, на текучие туманы.

Монастырское житьё — и для монаха та же неволя, хотя неволя по своему желанию. А монах, сосланный в монастырь, всё равно попадает в братскую среду. И тут уж не до различения: кто — по собственной воле, а кто — по принуждению...

Был в стенах Райхенау ещё один документ, подтверждающий, что по крайней мере часть срока своего заключения Мефодий с учениками отбывали именно здесь. Это «Баварский географ» — сочинение, давно известное в учёном мире. Из наших соотечественников первым с его содержанием ознако-

мился ещё Николай Михайлович Карамзин. Современный русский исследователь А. В. Назаренко, тщательно изучив небольшой по объёму, но чрезвычайно насыщенный этногео-графическими сведениями документ, пришёл к выводу, что название «Баварский географ» мало соответствует его содержанию. Оригинальное наименование в переводе с латыни звучит иначе: «Описание городов и областей к северу от Дуная» («Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii»). Общепринятое название ставит акцент на баварском происхождении автора и памятника. В самой же записке Бавария как таковая, как географический объект, по сути, и не рассматривается. Безымянного автора занимают сведения о славянских и других народах и племенах, обитающих на громадных пространствах Центральной и Восточной Европы. Из этих стран и народов лишь некоторые непосредственно соседствуют с Восточно-Франкским королевством, в том числе с Баварией.

По мнению А. В. Назаренко, «представляется достаточно обоснованной гипотеза о том, что "Баварский географ" был составлен в южношвабском монастыре Райхенау после начала 870-х годов — времени пребывания в монастыре св. Мефодия и некоторых его учеников, причём единственная сохранившаяся рукопись, возможно, является оригиналом памятника».

Если так (а хочется верить, что так), то все эти разнородные по происхождению сведения (собственные наблюдения и подсчёты, записи письменных и устных рассказов, почерпнутых от

самых разных лиц) собирались как исходный, нуждающийся в тщательных уточнениях материал. Собирались и в пору хождения солунских братьев в Херсон, и к хазарам, и во время первоначального знакомства с Моравией, до ссылки Мефодия.

Теперь, во время вынужденной приостановки трудов миссии, можно было хоть начерно собрать в один документ накопленные сведения, не стесняясь их рыхлостью, отрывочностью, а часто и сказочно преувеличенным числом городов в той или иной славянской области. Да, то, что они собирают, — только самая приблизительная разведка. А она, как известно со времён великого искателя стран и народов Геродота, не брезгует и слухами. Ведь слухи дразнят воображение и побуждают к действию. Но сами действия оправдываются лишь добытыми «языками».

Многие из народов и племён в латинских написаниях «Баварского географа» недостаточно удобочитаемы и остаются загадкой для исследователей. Ноте имена, тоже многочисленные, что поддаются прочтению, красноречиво подтверждают намерение составителей записки обозреть славянские земли от западных пределов, где с немцами соседят лужицко-сорб-ские племена, затем чехи, они же богемцы (Becheimari), малопольские племена в верховьях Вислы (Vuislane), болгарские славяне (Vulgarii) — до восточноевропейских пространств, на которых обитают русь (RuzzO, живущие по Бугу бужане (Busani). волыняне (Velunzani), а ещё восточнее и хазары (Caziri).

Можно догадываться, что, надиктовывая здешнему любознательному монаху, знатоку латыни, имена народов и племён, Мефодий и его ученики хоть на время забывали тяготы заточения. В эти часы полнились их души каким-то тихим рассветным чувством: до чего же обилен и многозвучен славянский мир! И восхищение бодрило, и оторопь брала: да возможет ли кто когда обойти его пределы, и обозреть, и описать достойно, не сбиваясь в именах и числах?

ЖАТВА

Возвращение в Велеград

«Простая чадь», как называл моравлян князь Ростислав, вряд ли способна была чем-то озадачить властителей — и своих, и чужих. Оказавшись без Ростислава, почти тут же и без Святополка, не успев порадоваться Мефодию и его дружине, угодившим по прибытии из Рима прямо в немецкую засаду, моравляне по всему обречены были на беспросветное уныние. Кажется, ещё поискать бы надо на земле племя, до такой степени безвольное, невезучее, готовое, как чахлая нива, валиться при первом же рывке ветра!

Таким не всё ли равно, свой князь правит, заезжий ли немецкий граф, лишь бы последней рубахи с плеч не сдирали, завалящего клока земли не лишали. Латинская месса звучит в храме или обедню правят на вроде бы своём языке, а жизнь ни от того, ни от другого всё

равно не становится понятнее, сноснее. Что там Страшный суд на ином свете, если он, суд, и во весь нынешний короткий век, будто бич, по-хозяйски хляста-ет то вдоль, то поперёк спины.

Но откуда же тогда — хоть слуху не верь — исподволь прорвался, раскатился по руслам тихих рек неостановимый вопль? Вдруг скирдами пересохшей соломы полыхнуло восстание, да такого накала, что отблески того жара и до баварских гор долетели. Шептания своих гонителей о мятеже могли расслышать по темницам и Мефодий с собратьями, и тот же Святополк, и Ростислав, если на ту пору старший князь Моравии ещё оставался жив.

Любой бунт и дня не выстоит без вожаков. Вскоре и среди немцев заговорили, что какой-то там главарь у варваров всё же выискался. Но не купец, не князёк, не воевода. В вожди произвели, вроде бы даже без его воли, нитранского священника по имени Славомир. А это был, однако, родственник князя Святополка, считай, не чужой и его дяде.

Временем кончины князя Ростислава, наступившей после его ослепления в баварском монастыре, принято считать позднюю осень 870 года. А начало восстания обычно относят уже к следующему, 871 году. Останься Ростислав в живых до этой поры, долети до его узилища весть о нежданной отваге Славоми-ра, об отчаянной решимости моравской «простой чади», он бы, пожалуй, хоть напоследок утешил радостью сердце, угнетённое сверх всякой житейской меры. Вот уж кто мог перед смертью сполна обратить к своей земной доле стихи Псалмопевца:

«Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».

И Христовы слова о душе, претерпевшей всё до конца, тоже были про него*.

Вряд ли немецкие епископы сомневались в том, что не меньше, чем Ростиславу и Святополку, главарь бунта известен и Мефодию. И что наверняка ещё до отъезда двух византийцев в Рим какие-то связи между ними и этим попом уже имели место. Не потому ли сразу после суда в Регенсбурге отправили Мефодия с его людьми подальше на запад, в Швабию?

Казалось бы, ничего доброго не мог ожидать для себя от известия о восстании и князь Святополк. Но, как ни странно, события в Моравии послужили к его скорейшему освобождению. В очередной раз выпало князю замириться с сыном Людовика Немецкого Карломаном. В наскоро задуманной игре хитроумец Карломан решил снова поставить на Святополка, такого же, как сам, мастера интриг. Пообещал ему не только личную свободу, но и возвращение власти над Моравией, если тот поведёт к себе домой франкское карательное войско и сам покажет на месте, какими лучше средствами угомонить своих взбунтовавшихся холопов.

Святополк, хотя и опасался подвоха, принял игру. Не смутила его ни унизительная слава усмирителя собственных подданных, ни то, что вместе с ним отряжены для неусыпного надзора за всяким его шагом два немецких маркграфа, Вильям и Энгельшалк.

Как только вломились в моравские пределы, начались самые свирепые расправы. Святополк не препятствовал баварцам в их обычных повадках

распоряжаться чужим добром, чужими жёнами и девками.

Когда подошли к валам и крепостным тынам Велеграда, он отсоветовал маркграфам готовить осаду или штурм. Первое отнимет много времени, второе будет стоить больших людских жертв со стороны нападающих. Есть наилучший способ. Он сам берётся пройти внутрь восставшего города, объяснить людям безрассудность сопротивления и уговорить их на добровольную сдачу. Кому-кому, а уж ему моравляне поверят как отцу родному.

* В декабре 1992 года, спустя более тысячи и ста лет после мученической кончины князя, на Поместном соборе Православной церкви Чешских земель и Словакии было принято решение о канонизации святого равноапостольного Ростислава Великоморавского. Канонизация состоялась в 1994 году. Память святому празднуется в Чехословацкой церкви 28 октября. Русская православная церковь молитвенно поминает равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского, 11 (по новому стилю 24) мая, вдень памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Защитники Велеграда, заметив приближающегося к главным вратам одинокого всадника и узнав в нём князя Святополка, которого уже не чаяли узреть в живых, действительно проявили признаки почтительного умиления и тотчас впустили его внутрь крепости.

За тынами установилась выжидательная тишина. Такая же — среди всадников, что изготовились ворваться в город.

Пощли минуты, потом и часы. Похоже, Святополк очень уж понадеялся на свои способности, перехитрить бунтарей, склонить их к сдаче ему до сих пор не удалось. Могли ведь ещё и побить князя, и повязать, узнав, что он-то и привёл карателей в свою землю.

Когда баварцы уже притомились сидеть верхами наизго-товке, за тынами зашевелились. Из нескольких ворот горожане повалили им навстречу. Но не с повинными головами, а с секирами, мечами, копьями и дрекольем в руках. Они первыми кинулись в схватку и быстро окружили всадников. Рукопашная закончилась полным поражением чужого войска. Помяли и двух маркграфов...

Оказавшись весной 873 года на свободе, Мефодий наверняка услышал всю эту историю во множестве красочных изложений, в том числе и из уст самого Святополка, встреча с которым состоялась в том же Велеграде. По всем статьям князь гляделся полным героем. И немцев побил, и Карломана переиграл. Хотя гуляли по городу и особые подробности того дня. Сам-де Святополк на вылазку не пошёл, чтобы на случай её неудачи было ему чем оправдаться перед Карломаном: да повинен ли он?., горожан уговаривал на мирную сдачу, а они скрутили ему руки-ноги и кинули в холодный подвал...

В тот самый год, когда Мефодий с учениками вернулся в моравскую столицу, Святополк решил воспользоваться затруднениями Карломана, повязанного распрями с родными братьями. Князь отправил к старшему сыну Людовика в качестве своего доверенного лица некоего священника Иоанна

Венецианца с предложением о мире. В письме заранее подтверждалась вассальная подчинённость Моравии королевскому дому Тем самым обеим сторонам предлагалось закрыть глаза на столкновение у стен Велеграда. Карломана такое условие как будто устраивало, хотя бы на время. Мир был заключён в баварском замке Форхайм. Похоже, и тот и другой из участников сделки радовались каждый своей победе.

Но сказать ли про Мефодия, что он с особой радостью на душе повторно возвращался в моравскую столицу? Где уж там. Десять лет назад, когда они с покойным братом поспешали сюда из Константинополя, лежала перед ними дорога чистая, без единой ухабины. Теперь же всё изрыто вдоль и поперек, и не знаешь, за каким лесным бугром ждать новой засады.

Благо ещё заботливый папа Иоанн VIII распорядился дать претерпевшему архиепископу и его спутникам в провожатые своего легата — епископа Павла Анконского, который следовал вместе с ними от самого места освобождения до Велеграда.

О том, чтобы завернуть с дороги в Сирмиум, городок на Саве, ещё решением покойного папы Адриана означенный как центр восстанавливаемой древней архиепископии и как резиденция Мефодия, сейчас речь не заходила. Как и во время короткой побывки у князя Коцела не заходила больше речь о том, чтобы Мефодию остаться здесь и перенести в Панно-нию свою владычную резиденцию из Сирмиума и открыть в Блатнограде большую школу.

Похоже, что почти четыре года, прошедшие со времени их последней встречи, сильно остудили былое рвение паннон-ского князя. А ведь, кажется, совсем недавно, узнав, что Мефодий схвачен в Велеграде и находится неведомо где, князь слал письма в Рим, хлопотал перед курией о судьбе человека, которого, как и его покойного брата, считал чуть ли не посланцем в своём уделе самого Господа.

В «Житии Мефодия» есть выразительное объяснение произошедшей с Коцелом перемены. Баварские епископы, с великой неохотой отпуская Мефодия на свободу и прослышав, что он намерен посетить Блатноград, поторопились отправить Коцелу письменную угрозу: «Аще сего имаши у себе, не избуде-ши нас добре». Словом, условие поставили: или он — или мы; примешь его у себя, от нас добра не жди.

Наверное, князь пожаловался гостю на незавидную свою участь. Если немцы с Ростиславом, его добрым другом и союзником, так жестоко обошлись, если столькие беды претерпел от них Мефодий, уже будучи архиепископом, то посчитаются ли они с живущим у них прямо под боком паннонским дюком?

Что мог сказать Мефодий, слушая эти жалобы и оправдания? Что не пристало славянскому князю вести себя так малодушно? Что надо стоять на своей правде до конца, как тот же Ростислав стоял? Или лучше подражать стеблю блатенского камыша, беспрерывно наклоняться туда-сюда, равняясь на таких же шатучих, тоскливо шепчущих про свои и чужие страхи: тише, тише, чтоб никто не дослышал?..

Надо бы помнить князю, что это и его, Коцела, имел в виду Христос, когда говорил: «Жатва велика, а делателей мало».

Похоже, то была последняя встреча. Ни в «Житии Мефодия», ни в бумагах папской канцелярии, ни в архивных документах Зальцбургской архиепископии Коцел больше не упоминается. Никто из исследователей не берётся точно определить, сколько ещё он правил в своём Блатнограде: год, два?.. Есть косвенные подтверждения того, что это именно он в 876 году, будучи вассалом королевства, был отправлен во главе франкского войска, чтобы подавить бунт далматинских хорватов, и погиб во время сражения с ними.

Святополк

А что же князь Моравский? Этот при встрече с Мефодием в Велеграде выглядел, не в пример Коцелу, возбуждённо-жизнерадостным, пышущим важными намерениями. Он будто пребывал слегка во хмелю от собственной ловкости, с которой неизменно выходил из передряг последних лет.

Его, похоже, совсем не удручало, что после подписания мира с Карломаном к моравлянам понаехал целый полк немецких священников и во многих храмах как ни в чём не бывало возобновились службы на латыни. Будто ничего такого не замечая, он и Мефодия с его молодыми священниками не раз поощрял: пусть, как и раньше было заведено, правят славянскую литургию! Тем более разрешённую отныне Римом. И не только там, где прежде правили, но и новые храмы

пусть строят. И школы свои пусть расширяют. И в книгопис-ные мастерские пусть набирают способных отроков.

Его и в этом вскипающем на глазах соревновании как будто не столько занимала желанная для всех своих победа народного богослужебного языка над чужим, насильственно внедряемым, сколько тешили и возбуждали, как утончённого игрока, сами подробности возобновившейся распри умов.

Рассказывали, что он с немецкими духовниками встречается даже чаще, чем с Мефодием. И на мессах латинских прилежно сидит. И в Нитру, из которой вышел сам в большие князья и в которой теперь, будто в собственной епархии, обосновался швабский священник Вихинг, отлучается Святополк нередко. То ли на исповедь, то ли за новостями из королевского дома, то ли сам не прочь снабдить соглядатая Ви-хинга свежими байками, касающимися Мефодия, то ли для охотничьих потех и прочих игрищ.

Не один архиепископ с некоторой опаской привыкал-присматривался к новому хозяину моравского дома. В ближайшем окружении владыки большинство было таких, кто вспоминал годы правления покойного Ростислава с неизменным вздохом сожаления и сравнивал его со Святополком явно не в пользу последнего.

Как ни хлопотно было самому Мефодию после общения с прямодушным, нелукавым и обязательным Ростиславом приноравливать свои поступки к подчас непредсказуемым действиям его племянника, духовно

опытный солунянин старался не поощрять среди своих помощников мечтаний о желаемой перемене власти.

Он был и в этом истинный византиец. Сколько бы на его родине ни случалось при разных императорах и патриархах распрей между мирской властью и церковной, истинный византиец ни за что не порадуется случившемуся разладу. И не станет лихорадочно метаться, спеша с осуждениями той или другой стороны. Нет, он лучше помолится прилежнее, крепче, истовее за тех и тех, чтобы уберёг их Господь от вражьих наущений. Может оступиться один человек, василевс он или патриарх, но такие оступления способны лишь временно затемнить образ и принцип желаемого и осуществляемого вопреки помехам согласия. Ибо ясно, что лишь благодаря этому так подчас трудно достигаемому согласию между Божьим и кесаревым, между церковью и миром первая на земле христианская держава, вопреки вражьим козням, из века в век соблюдает свой путь и даруемые ей по благодати сроки.

Говорить о том, что такая держава или подобная такой близка к построению и в Моравии, было ещё очень рано. Как и в соседней Болгарии, всё здесь пока слишком зыбилось, слишком не походило на те неповторимые условия, в каких собралась однажды для своего поприща Византия-христианка. Но замысел устроения страны на новых духовных началах пустил первые корешки и в Моравии. Мефодию очевидно было, что миссионерские труды его и покойного брата Кирилла не развеялись прахом. До их приезда сюда князь Моймир уже пробовал собирать языческие

славянские племена вокруг моравского княжества. Но ничего не вышло из тех простоватых механических напряжений, потому что не стояло за ними высокой скрепляющей меты. Нуда, мы все одного великого роду, одной крови и речи, но каждое племя со своими богами и божками, а дальше-то куда и как? И это озадачивало Ростислава. Потому и началось при нём вызревание замысла моравской церкви, говорящей на родном языке о Триедином Господе.

Мефодий не мог не видеть теперь, что Святополк по всем статьям недотягивает до Ростислава. Что в Святополке никак ещё не угомонится буйное языческое начало. Что порывистый, увлекающийся князь не столько верит, сколько обряжается в христианина.

И всё же владыка не позволял себе усомниться в том, что князь искренне желает своей земле блага. И уж никак не мог заподозрить Святополка в холопской службе королевскому дому. Владыка, с его крепкой воинской закалкой, даже готов был поощрять пылкие ратные замыслы князя. Что худого в этих настойчивых хлопотах о расширении своей земли? И к востоку, и к западу от Моравии сколько еще сиротствует по-одиночке славянских племён?!

Только станет ли крепче сама Моравия, расширившись за счёт язычников? Не повторить бы хоженых путей старого Моймира, уповавшего лишь на силу. Немецкая сила почему вышла сильнее? Немцы оправдывают свои захваты тем, что несут варварам истинное христианское просвещение. Славянские вожди догадываются, что уже им не отсидеться по своим глухоманям. Но не знают, к какой силе надёжнее

прислониться. А ведь не сегодня, так завтра могут стать очередной добычей напористых немецких королей и епископов. Но разве моравляне не способны уже показать своим коснеющим в язычестве славянским соседям, что есть иное просвещение, не на чужом языке выказывающее свою истинность?

Узнав, что Святополк с недавних времён приятельствует с молодым чешским князем, который помогал ему в боевых делах против немцев и правит у ближайших на западе соседей, Мефодий захотел и сам повидаться с юношей. В один из его приездов к Святополку в Велеград владыка увидел этого чеха. Звали его Боривой или, как сами чехи предпочитали произносить, Борживой. Навострённый слух солунянина не впервой улавливал те малые различия, что позволяли по говору быстро сообразить, кто стоит перед тобою: чех или моравлянин. Язык один, зато говоров да наречий много. От этого подчас хлопотно становится, но и весело притом. Потому что и славян, слава Богу, премного. Куда больше, чем они с братом предполагали, собравшись на Дунай.

Боривой был сполна язычник, но с любопытством и твёрдо, не переминаясь с ноги на ногу, стоял за славянской обедней, потом на чьих-то крестинах. Мефодию радостно было наблюдать, что юноша с лёгким удивлением улавливает смысл произносимых молитв, сосредоточивается, под стать всем, когда торжественно звучат стихи из Апостола и Евангелия. Он будто в доме родном оказался, где не был почти отроду и где никто не косится на него как на чужака.

В один из своих приездов Боривой сам выразил желание креститься. Здесь же, в Велеграде, совершено было таинство, и правил службу владыка.

А вскоре Боривой сказал, что и его молодая жена пожелала стать христианкой, и пригласил Мефодия в их княжеский замок Градишин, на берегу Влтавы. Можно бы и поскорее поехать к ним, но не лучше ли крестить молодую женщину в их собственном княжеском храме, в крещальне-баптистерии? Значит, для начала нужно помочь Боривою строителями, чтобы церковь в его Градишине из дерева срубить или из камня поставить. И тогда начнут открываться для молодой семьи и для всех, кто им пожелает последовать, великие смыслы идущих за крещением таинств — исповеди, причастия, венчания, миропомазания, отпевания. Вскоре первую в Градишине церковь построили, и она была посвящена, по совету Мефодия, памяти святого Климента.

Тогда-то владыка и собрался к Боривою. Звали крестницу Людмилой. Она оказалась не чешского рода, а сербского, и замуж отдана тоже из княжеского дома*. Когда Мефодий услышал об этом, впору было ему со вздохом подумать: как же велико и пока ещё для него неохватно архиепископское поле, доставшееся в наследование от сирмиумского святителя Андроника. Тут и сербские пределы, и хорватские. И в те края тоже пора бы ему торить свой владычный путь.

И это — лишь на западе и юго-западе от Моравии и Паннонии.

А у Святополка тем временем вызревали уже очередные намерения. Ведь кроме сербов южных есть

и другие сербы, лужицкие. Эти лужичане, или сорбы, как их чаще зовут, тоже люди славянского рода и на своей земле сидят к северо-западу от чехов, по реке Спревье. Владыке с его священниками, дьяконами да певчими и к ним не мешало бы наведаться. Они, как и большинство чехов, тоже язычествуют по сей день.

За ними, ближе к Венедскому, или Готскому, морю, есть ещё племена: бодричи, или ободриты, лютичи, тоже нашего слова люди. И полабские есть славяне, что на реке Лабе живут. Немцы всех славян без разбора одним именем кличут: венды, венеды. Ещё при Карле Великом начали жестоко теснить тех же ободритов, лютичей, полабов. Совсем мало там, говорят, осталось славянского люду после тех походов, когда целые сёла-вески огнём жгли вместе с жителями.

Но и на север, и на восток, и до реки Тисы, до Карпатских гор всё будут нашего же слова, нашей речи племена. И все

* Надолго пережив своего мужа, скончавшегося в конце 880-х, Людмила, по интригам язычников, вынуждена была отправиться в изгнание и приняла мученическую кончину в 928 году. Позднее прах её был перенесён в Прагу. Блаженная Людмила почитается покровительницей Чехии. Православная церковь празднует её память 16 (29) сентября.

они во язычестве, при своих богах и божках сидят, а куда им деваться?!. Правит, к примеру, на Висле-реке сильный князь, но, видно, немцы ему крепко насолили, и он зело против всех христиан озлоблен. Вот бы кого владыка попробовал усовестить!

Мефодий и тут готов был свои действия согласовывать с намерениями Святополка. А потому отправил на Вислу к польскому князю послание. В житии оно приведено лишь в кратком пересказе, но вот как выглядит самый решительный довод и одновременно совет «поганьску князю» от лица человека, наделённого властью вязать словом и словом же разрешать:

«Добро ти ся крестити, сыну, волею своею на своей земли, да не пленен нодьми крьщен будеши на чюжеи земли и помянеши мя. Тако и бысть».

Судя по приписке, строптивый князь не внял отеческому совету, который для него оказался пророческим. Хотя и был в итоге крещён, но не в своей земле и не по своей воле, а нодьми, то есть по принуждению.

Впрочем, Мефодий не стеснялся и Святополка укорять, замечая его нерадение к церковным службам. Однажды, услышав, что князь оправдывает своё затянувшееся отсутствие в Велеграде неудачами на ратном поле, владыка отрядил и к нему гонца. Как раз близился большой праздник, день перво-верховных апостолов Петра и Павла. Владыка просил передать князю, что уж в такой-то день негоже пропустить службу на родном языке в храме Господнем:

«Аще ми ся обещаеши на святыи Петров день с вой своими со-творитиу мене, вероую в Бога, яко предати ти имать я вскоре».

Иными словами, владыка повязал князя условием: если тот обещает со своими воинами в день святого

Петра быть у него в церкви, то Бог не замедлит предать князю в руки его неприятелей.

Святополк прибыл в срок. А вскоре, как сообщает агио-граф, это Мефодиево обещание, оно же предсказание, сбылось. Князь со своей дружиной, наконец, одержал победу.

Как было ученикам владыки после таких событий не заговорить с восхищением, что это в нём не что иное, как дар пророчества открыто действует! Но соблюдали почтительную сдержанность, опасаясь, что он, услышав такие разговоры, только рассердится. Почаще им надо слова истинных пророков Божиих перечитывать и слушать. Вот где великие откровения, огненные прорицания сквозь тьму веков! А таким, как он, поручено только назирать, будто в школьной палате, за взрослыми нерадивцами и ленивцами, да за лицемерами, которых и в храмах уже развелось.

Не у всех ли на глазах советник князя Святополка, из лучших его дружинников? И богат, и к церковной службе прилежен, и в крёстных отцах любит предстоять. Да вот взял и сошёлся со своей же кумой. На все уговоры владыки прекратить блуд и разойтись он и она отвечают, как сговорились, отказом. И всё потому, что у священников-немцев нашли покровительство. Те ласкатели-льстецы, задобренные деньгами, не находят в их сожительстве ничего зазорного и для других соблазнительного. Вот и совсем перестали в свою церковь заглядывать. Но час придёт, и уже не помогут им ласкатели. И не дождутся ниоткуда помощи.

И ведь сбылось, как и предрёк, и с этими сбылось. И стали они, по словам Псалмопевца, яко прах, егоже возмещает ветр от лица земли. Разве же не пророчество?!

От тех лет и событий молва о неподкупном, справедливом и грозном в своих предсказаниях велеградском епископе стала шириться и за пределами Моравии. Особенно она прижилась в древних чешских преданиях, а из них попала позже в чешскую средневековую письменность. Из тех свидетельств явствует, что чехи запомнили Мефодия ещё и под другим именем, похожим на уличную кличку, — Страхота. Проще всего допустить, что речь шла только о прозвище, и оно было придано человеку, который своими обличениями умел напомнить слушателям о страхе Божьем или же просто вгонял провинившихся в смятение и страх суровым обликом и голосом. Впрочем, чешский учёный и писатель XVII века Павел Странски в своей книге «Чешская держава» упоминает имя Страхота как вполне официальное: «епископ греческого вероисповедания Страхота, т. е. Метудиус или Методиус». Как одного из создателей чешской церкви упоминает Страхоту-Методиуса и более известный современник Странского Ян Амос Коменский. Уже недавно в среде болгарских учёных возникло предположение, что Страхота — мирское имя Мефодия, данное ему от рождения. А это подтверждает, что братья будто бы были не греки, а болгарские славяне*.

И всё же речь, скорее всего, идёт не о личном имени, а о почтительно-шутливом прозвище, которое

Мефодий мог получить ещё в молодые свои лета от подчинённых ему славян. Ведь его высокое и грозное воинское звание стратиг (axpanyoq) так легко и весело отражалось в славянском Страхота. А если он

* Подробнее о чешских и болгарских упоминаниях и толкованиях имени Страхота — в исследовании Ивана Г. Панчовски: Св. Методий Славянобългарски. Живот и дейност // Годишник на Духовната Академия св. Климент Охридски. Т. XXVIII (LIV). София, 1986.

до своего монашества всё-таки носил имя небесного архистратига Михаила (к чему всё больше склоняются в исследовательской среде), то прозвище приобретало ещё более высокое значение. Ибо страшен был полководец небесного воинства не только для мерзопакостных бесовских легионов, но и для самого Сатаны.

Судя по всему, понравилось прозвище и Мефодию, и он его не скрывал и не стеснялся: Страхота так Страхота.

Рим

Между тем епископ Моравский сам дождался вестей, напомнивших ему, что и он — лицо подчинённое, обязанное отчитываться о своих словах, поступках, исповедуемых догматах веры.

Во второй половине лета 879 года князю Святополку доставили из Рима письмо от папы Иоанна VIII. Апостолик высказывал в нём свои суждения в ответ на запрос князя по поводу неустройств, возникших в церковной жизни Моравии. В частности, папа сообщил, что в Риме было выслушано обвинение

против епископа Мефодия, которое привёз порученец Святополка пресвитер Иоанн Венецианец. Папа выражал надежду на то, что князь при возникшем духовном нестроении будет держаться правой стороны. Обвинённому же в догматических отклонениях и нарушении богослужебных правил Мефодию велел прибыть в Рим для рассмотрения его дела.

Вряд ли Святополк дал прочитать это письмо своему епископу. В нём очень уж отчётливо обозначалось и его, князя, вольное или невольное участие в интриге, затеянной латин-ско-немецкой «партией», к которой князь так благоволил. Но не мог Святополк при общении с владыкой и вовсе промолчать о полученном письме. Хотя бы потому, что апостолик уполномочил его направить Мефодия в Рим. Главное же, послание от самого наследника апостолического престола, судя по всему, первое в жизни князя, стало для него событием настолько незаурядным, настолько отозвалось трепетом в душе заядлого игрока, что как же тут было промолчать! До сих пор он побеждал лишь на поле боя (пусть не всегда) или в умении перехитрить своих противников, таких же, как сам, хитрованов. А теперь получение такого письма вдруг вводило его в круг игроков высшей масти, которые и епископов способны ставить на место, а то и вовсе лишать оного.

Если Мефодию было сообщено из содержания письма хотя бы то, что касалось его лично, он имел полное право не предпринимать совершенно никаких действий. И уж в любом случае не мчать сломя голову в Рим. Насколько он знает апостолика, тот не станет

действовать по отношению к епископу, им самим назначенному, окольными путями. А потому он намерен ждать, что папа Иоанн напишет непосредственно ему.

В том же 879 году папский легат епископ Павел Анконский, тот самый, что шесть лет назад по поручению Иоанна VIII помогал старшему солунянину и его ученикам благополучно вернуться в Велеград из ссылки, доставил в моравскую столицу и письмо апостолика к Мефодию. Канцелярия курии сработала безукоризненно, хотя с некоторым нарушением очерёдности посланий.

Своим содержанием письмо действительно подтверждало, что глава римской церкви резко изменил отношение к единственному епископу-греку в землях славян. «Слышал ещё, что служишь литургию на варварском языке, то есть на языке славян», — удивлялся папа и тут же категорически запрещал впредь совершать на таком неприличном языке божественные службы. Кроме того, из письма явствовало, что против моравского епископа выдвинуты обвинения в ереси. Всё это, настаивал папа, понуждает рассмотреть дело в его канцелярии.

Мефодий и сам видел необходимость прямого и нелицеприятного разговора. Про себя он даже был рад письмам Иоанна VIII Святополку, а теперь и ему. Письма расставляли всех затейщиков интриги по своим местам. От латинских духовников он не ждал для себя никакой пощады, как не ждут её от голодных цепных псов. Но он не предполагал, что настолько двуличным окажется в этой истории Святополк. Видимо, душе

князя раз от разу досаждала память о совершённом предательстве Ростислава. И он, пытаясь освободиться от той памяти, загонял её в темень новыми мелкими пакостями.

Виновным в выдвинутых против него обвинениях Мефодий себя, разумеется, не считал. Но если апостолик при встрече сочтёт его доводы неубедительными, значит, его с братом и их учеников многолетние труды окажутся под угрозой полнейшего уничтожения. Претерпеть — и в итоге из-за кого? Из-за таких нечистоплотных персон, как Вихинг и венецианский триязычник Иоанн? Опять закаркали, «яко враны на сокол»! Нет, Мефодий не желал и в мыслях смириться с подобным бесславьем.

Он мог счесть для себя оскорблением, что одновременно с ним отправляется на разбирательство в Рим и Вихинг. Но не сам ли Господь проверяет его ещё и таким испытанием? Ну что ж, пусть и Вихинг при всех выслушает, кто из них двоих верно исповедует Никео-Константинопольский Символ веры, а кто его искажает своими лживыми прибавками, наподобие филиокве.

Сведения о ходе следствия в «Житии Мефодия» отсутствуют. Видимо, никто из учеников владыки, способных быстро записывать устную речь, не был допущен на заседания малого синода. Не сохранилось и протоколов суда, который зимой 880 года под председательством Иоанна VIII разбирал обвинения против моравского епископа. Похоже, на ту пору было не до протоколов.

Дело в том, что в Риме ко времени начала процедур уже знали последние вести из Константинополя. Они не могли не озадачить всех здешних иерархов. Накануне в ромейской столице скончался патриарх Игнатий. Совершенно неожиданно император Василий повелел освободить из ссылки бывшего патриарха Фотия, и на созванном тут же соборе Фотию были торжественно возвращены отнятые у него десять лет назад полномочия главы Константинопольской патриархии.

Хотя напрямую эти события как будто никак не были связаны с делом Мефодия, участники заседаний в Риме не могли не знать, что перед ними стоит тот самый грек, который в своё время из Константинополя был направлен вместе со своим покойным братом в Моравию по благословению именно Фотия.

Вряд ли сам Мефодий счёл нужным напоминать сейчас об этом. Но не помешало напомнить, что и Рим, и Константинополь остаются верны освящённому веками Символу веры, который, как здесь известно, пытаются исказить некоторые испанские, а теперь уже и немецкие епископы. Символ, который последовательно и твёрдо отстаивал в своих посланиях как раз патриарх Фотий ещё до своей ссылки.

И, конечно, стоило всё же высказать им своё удивление: неужели многие из заседающих здесь забыли, как покойный папа Адриан II благословлял в Риме славянские богослужебные книги, привезённые братьями из Моравии? И как благословил тогда же, на Рождественских святках, отслужить славянские литургии в нескольких великих храмах города, в том

числе и под сводами базилики Святого Петра? И как он же, Адриан, в письме славянским князьям Ростиславу и Коцелу благословил служить литургии для славян по-славянски и только Евангелие велел читать сначала по-латыни, но тут же и по-славянски?

Что из поручений блаженной памяти Адриана не исполняется в Моравской земле? Если вдруг прекратятся славянские богослужения, десятки храмов там сразу опустеют. Народ за 15 лет не просто привык к славянским службам, он полюбил их, потому что людям открылся, наконец, смысл Христова благовестил. В этом ли выискивают ересь? Нужно ли напоминать, что покойный апостолик Адриан нашёл еретическое уклонение как раз в доктрине триязычников-пилатников, до сих пор требующих исполнения христианских богослужений только на одном из трёх языков — греческом, латинском и еврейском?!

Выслушав объяснения сторон, папа Иоанн VIII вдруг, к немалому недоумению многих присутствующих, распорядился следующим образом: архиепископа Мефодия от всех возведённых на него вин полностью оправдать. Служба на славянском языке пусть правится и впредь в заведённом порядке во всех храмах, где служилась до сих пор.

Но чтобы и сторона, выставившая обвинения, не чувствовала себя поражённой в своём усердии, накануне отъезда Мефодия домой папа вручил ему буллу для князя Святополка. В ней Иоанн VIII поблагодарил князя за верность престолу святого Петра, удовлетворил его просьбу о том, чтобы при-

дворные службы отныне служились на латинском языке, сообщил также, что в Нитре открывается новая епископская кафедра и на неё рукоположен пресвитер Вихинг, который будет находиться в подчинении у архиепископа Мефодия. Что же до богослужений на славянском языке, то они благословляются в установленном прежде порядке.

Однако, вернувшись в Велеград, старший солунянин вместо ожидаемой радости увидел на лицах своих духовных детей огорчение паче меры. Оказалось, Вихинг успел сюда из Рима раньше его и уже вручил князю какое-то иное письмо папы. Якобы в том письме признана его, Мефодия, вина в лжеучении и велено изгнать его из страны. Послание уже зачитывалось во всеуслышание. Оттого все чада церкви, верные владыке, и пребывают в плаче и скорби. Но немало объявилось и таких, что тут же переметнулись к Вихингу и теперь злорадствуют, с нетерпением ждут принародного осмеяния еретика, как только прибудет.

Мефодий не мешкая отправился в княжеский дворец. Святополка явно смутили вид вручаемой ему буллы от Иоанна VIII и её тут же озвученное содержание. Обескуражил князя и сам суровый облик владыки. Тот едва сдерживал превеликую досаду на своего собеседника, поверившего подделке и грубому оговору. Если князь до сих пор не может понять, какое же из двух писем настоящее, он, владыка, постарается в самые скорые сроки представить неопровержимое доказательство подлинности привезённой сейчас буллы. А пока просит не предпринимать по сему делу никаких поспешных решений.

Ему не хотелось думать, что и папа поддался повадкам снующих вокруг игроков и лицемеров: ему дал один свиток, а новоиспечённому епископу — предписания совсем иного порядка.

Мы не знаем содержания письма Мефодия, адресованного в столицу Западной церкви, с которым, видимо, в те же самые сутки скрытно ускакал из Велеграда некий его надёжный гонец. Можно лишь догадываться, что когда апостолик прочитал так стремительно доставленный ему свиток, то и сам решил не медлить.

Его ответ, отправленный теперь уже лично Мефодию, помечен 23 марта 880 года. По тону видно, что папа крайне смущён тем, как недостойно встречен в Моравии только что произведённый по его воле в архиепископы защитник славянского богослужения. Иоанн уверяет Мефодия, что никакого отдельного послания князю Святополку он не отправлял и никаких отдельных тайных инструкций другому епископу не давал. Апостолик ещё раз подтверждает истинность христианских воззрений Мефодия и надеется, что тот не усомнится в поддержке, которую оказывает ему Святой престол.

В «Житии Мефодия» вся эта сумятица перехлёстывающих друг друга истинных и ложных новостей, всевозможных толков и пересудов, наглых наветов и подделок передана через восприятие верных чад владыки Мефодия, которые, несмотря ни на что, верят в его правоту. И потому в конце концов торжествуют вместе со своим незыблемым, как скала, воеводой.

Получив письмо от 23 марта, он перво-наперво просит своих священников и дьяконов, чтобы оно было зачитано по всем верным ему церквям.

«Поньтоше же апостоликовы книгы, обретоша писание, — пишет агиограф, называя по обычаю письмо книгами и пересказывая далее по-славянски самую суть папской буллы, — яко брат наш Мефодий свят и правоверен есть и апостольско деяние делает и в руку его суть от Бога и от апостольского стола вся словеньскыя страны, да его же проклянет, проклят, а его же святит, свят да буди».

Вот какую высокую, поистине апостольскую власть вновь доверял папа Иоанн VIII «брату нашему Мефодию»!

Именно вновь, потому что не могли, конечно, и учитель, и ученики не вспомнить при этом обстановку почти десятилетней давности, когда неизвестный им новый папа вызволил их из швабского узилища, не посчитавшись с решениями короля и зальцбургских епископов. И восстановил Мефодия на его епископской кафедре. Скорее всего, он потом и забыл напрочь о существовании Моравской миссии и о какой-то там славянской службе. Иначе бы год назад не затребовал Мефодия к себе на суд по грубому немецко-венецианскому оговору. Но на суде снова вспомнил, кто стоит перед ним, и вновь вызволил из пут клеветы. Ну что ему славянское письмо, славянская церковь? Не пустая ли прихоть? Но вдруг сказал своё «да», и никто не посмел перечить. Может, он действительно разглядел в Мефодий собрата по духу неподкупной христианской совести?

После тех письменных, устных и снова письменных выяснений правды и лжи они больше не встречались. И, судя по всему, не переписывались. К тому же не прошло и двух лет, как папы Иоанна VIII не стало. Старый исторический источник (которому, по правилам «хорошего тона», принято не очень доверять)* сообщает, что он умер насильственной смертью. Подозрение пало на соперников в борьбе за престол; апостолика пытались сначала отравить, но яд не подействовал, и тогда он был убит ударом молота по голове. Впрочем, погребение прошло по обычному протоколу, с соблюдением почестей, соответствующих папскому достоинству, в базилике Святого Петра, недалеко от врат, именуемых Судными.

Царырад

Казалось бы, после того, как подлинные письма Иоанна VIII князю Святополку, а затем и Мефодию были вселюдно оглашены, зачинщикам расправы над владыкой оставалось если не усовеститься и покаяться, то хотя бы угомониться. Что же до Святополка, то он во всей этой поддержанной им смуте ничего, по сути, не потерял, а даже приобрёл: личное внимание папы, его похвалу за верность апостолическому престолу, его поощрение латинским мессам в придворном храме. Его жажда великих игровых утех насытилась всем происшедшим сполна. У него теперь ещё и свой епископ в Нитре, лично ему обязанный возвеличением. А значит, открывается поле для очередных хитроумных ходов, для сталкивания самолюбий этих подвластных ему церковных князьков — славянского и немецкого.

Да, настоящая власть была и будет не у заезжего грека и не у прикормленного шваба, а у него, превратившего на глазах у соседей малое и хилое при Ростиславе Моравское княжество в Великоморавскую державу. В немецком королевском доме после смерти Людовика как затеялись, так и длятся

* Речь идёт о «Регенсбургских анналах» (продолжении анналов аббатства Фульда).

распри между наследниками, и Карломану теперь совсем не до него, Святополка. Теперь, куда бы он ни глянул, полная свобода действий: на западе — до Лужицких гор Чернобога и Белобога, на севере — до Янтарного моря, на востоке — до Карпатских планин.

А потому как раз впору оказалось для князя доставленное ему то ли из Нитры, то ли от мимоезжих купцов-всезнаек мнение: ладно бы Рим, но по-настоящему худы дела у Мефодия с совсем другой стороны; сильно он прогневил византийского цесаря тем, что напрочь отбился от своего царства. Потому и застрял в Велеграде, что Константинополь его добром теперь уже не встретит...

По княжескому разумению, всё как будто совпадало с таким слухом. Более шестнадцати лет минуло, как братья-византийцы сюда пожаловали. И послал их не нынешний император Василий, а ещё Михаил, которого этот Василий сжил со света. И приехали греки всего на три-четыре года. Но Мефодий после смерти брата не отбыл из Рима прямиком домой, в свой Царырад, а напросился в епископы сюда. Значит, точно, ещё с тех пор страшится цесаревой расправы?

А потому пусть и этот слух гуляет без препятствий по Веле-граду. Надо, чтобы и грек услышал то, что о нём все знают. Пусть усмирит свой владычный норов...

Агиограф Мефодия не утаивает от читателей злорадной сплетни, подделанной под горькую правду. Но тут же, как о великой радости для всех сподвижников владыки, сообщает о письме, полученном из Константинополя.

Будто сам Господь положил на сердце государю милосердное попечение о старом уже человеке, и эти простые, идущие от души слова приветствия и пожеланий:

«Отче честный, вельми тебе желаю видети. То добро сотвори потрудися до нас, да тя видим, дондеже ecu (пока пребываешь) на сем свете, и молитву твою приимем».

Что и говорить, Мефодий вряд ли надеялся получить однажды такое письмо. Оно было от человека, которого он если когда и видел среди придворных лиц, то лишь мельком, потому что тот был конюхом из Македонии, пусть и приближённым, благодаря столичному ипподрому и царёвой конюшне, к самому трону. Письмо было от василевса, взявшего власть насильственным способом. От императора, который почти сразу после своего воцарения отправил в ссылку патриарха Фотия, а как раз Фотий вместе с убиенным Михаилом III и собирал его и Философа в Моравскую землю. Правда, не так давно Василий вернул Фотия из ссылки и восстановил его в патриаршем достоинстве. Может быть, теперь как раз Фотий — а кто же ещё? — и подсказал государю

послать письмо старому Мефодию, который, неизвестно, жив ли — нет?

Но что ему догадки строить! Надо, не откладывая надолго, собираться. Путь не близок, а время ненадёжно.

Житийный отчёт о поездке скуп на слова:

«Абие же (вскоре) шедшу ему тамо, прият и (их) с честью цесарь великою и радостью и ученицы его похваль, удержаша от ученик его попа и дьякона с книгами. Всю же волю его сотвори, елико хоте, и не ослушав ни о чесом же (не воспрепятствовал ни о чём), облюбль (обласкал) и одарь вельми, проводи и пакы славь-но до своего стола. Тако же и патриарх».

Для нужд биографического повествования этому отчёту также понадобится посильная реконструкция, включающая в себя и наиболее вероятные психологические мотивировки событий.

Итак, Мефодий следовал в Константинополь с избранными учениками. Он догадывался, что государь захочет не только поглядеть на увенчанного сединами Христова воина, так долго исполнявшего на чужбине особое поручение своей державы, но и узнать: а в чём всё же за такой немалый срок преуспели два его подданных — этот старый солунянин и его покойный брат?

Для того и были с Мефодием священник, дьякон, певчие. Владыка очень надеялся, что и патриарх Фотий, и василевс выразят желание послушать славянскую литургию, и эта служба станет, как и в Риме когда-то, самым достоверным свидетельством его с Философом трудов.

А потому и книги везли, по которым будут читать и петь. И ещё Евангелие с Апостолом и Псалтырью в исполнении лучших моравлянских книгописцев и художников — это уже для даров и василевсу, и патриарху. Вообще владыка постарался, чтобы книжная поклажа, следующая с ним в великую столицу, представляла собой добротные списки всех богослужебных переводов, которые они с Кириллом успели осуществить.

Да, время даже слишком ненадёжно. Не было у Мефодия уверенности в том, что вихри последних лет, едва не разорившие саму славянскую церковь в Моравии, угомонились насовсем. Что, если опять они пронесутся по нивам, сокрушат, втопчут в прах побелевшие колосья? Хотя бы часть жатвы нужно собрать в крепкие меха, отвезти и ссыпать в более надёжную, по его предчувствию, житницу.

Церковь болгарская, как он узнавал по дороге, похоже, снова восстанавливает порушенные было отношения с константинопольской патриархией. Там и сям открываются у болгарских славян новые епархии, сельские приходы. Но служат-то, как и раньше, по-гречески! Долго ли такое взаимное неразумение продлиться может? Вот где пригодились бы его сметливые моравские дети с их знанием славянского богослужения.

В житии не сказано, где именно по прибытии в Город служили славянскую литургию. В придворной домовой церкви? По соседству с дворцами, у Святой Ирины? У Апостолов? Или даже под сводами Софии? Где бы это ни происходило, но как желал Мефодий,

чтобы и под купол Святой Софии вознеслось ликующее:

«С нами Бог, с нами Бог! Разумейте ecu языцы и покоряйте-сяу покоряйтеся, яко с нами Бог!»

О, как бы брат его, проведший под этими сводами сокровенные часы своей юности, порадовался теперь славянскому торжеству православия, звучащему, наконец, в Городе, который однажды проводил их на Дунай!..

Судя по тому, что сам василевс после службы не только похвалил Мефодиевых учеников, но и попросил владыку оставить их в Константинополе, государева радость тоже была изобильна. Похоже, свежей выразительностью «скифского» богослужения, яркими заглавными буквицами самых первых в мире «скифских» книг он захочет теперь потчевать своих знатных гостей из иных стран. И не в последнюю очередь подивит и озадачит завистливых болгарских боилов: вот что у нас есть! Какие книги! Какое пение, какая красота!.. Вот что и у вас может появиться, присылайте только побольше прилежных учеников, способных быстро усвоить греческую грамоту и ладный славянский буквенный строй.

Об открывающейся возможности более надёжного просвещения болгар — и только ли их? — василевс и патриарх говорили с Мефодием душа в душу. Не в такие ли минуты и удостоверяются на небесах желанность и достижимость симфонии на земле — благодетельного согласия между устремлениями светской и церковной властей?!

Заходил ли разговор в те часы о том, что Мефодий сполна и даже с преизбытком потрудился и нужно ли ему теперь снова собираться к его «простой чади»? Если и заходил, то владыка мог лишь поблагодарить за трогательное попечение о его сугубых годах, но в намерении возвратиться на малую речку Мораву был твёрд. Его ведь не архиепископское почитание там прельщает. И он не папе едет служить, не князю, а молодому Христову народу, среди которого и хотел бы прозревать в вере до конца своих земных служб.

Василевс распорядился, чтобы владыка взял с собой достойные дары для туземного князя, щедростью своей способные подсказать, как высоко ценит Ромейская империя своего маститого старца. И тем самым надоумить Святополка: береги же его, как зеницу ока своего, он — наше и твоё сокровище.

Язык подарков груб своей броской прямолинейностью, но доходчив. В этом Мефодий ещё раз убедится, когда увидит, уже в Велеграде, как засияют при виде вручаемых от цесаря даров глаза князя и его советников. И с каким благодарным умилением станут они теперь посматривать и на него, такие дары в целости привезшего.

Владыка знал, что в Константинов град, к свежим стремительным бурунам Босфора, к матовому свечению мирной Пропонтиды уже ему не вернуться. Хватило ли сил в ногах и дыхания в груди, чтобы на прощание по мощённым булыжником пандусам и узким лестницам в стенах Софии взойти к самому её куполу, ступить на горячую смотровую кромку? Отсюда в ясный день можно было различить за

Принцевыми островами полосу малоазийского побережья, спящие холмы Вифинии и три неподвижные серебряные главы, подобия облаков, — Малый Олимп. И туда уже не будет у него пути. Только стаи ласточек, с сумасшедшим ликованием носясь вокруг купола, гомонят свой двусложный клич: в путь-путь, в путь-путь!

А в Солуни, когда остановились на малый отдых, зашёл ли в базилику Святого Димитрия? Полюбовался ли по старинной привычке тем, как бережно каменная чаша города-амфитеатра накреняется к заливу? И как бездна морская призывает к себе по вечерам бездну небесную?..

Крепостные стены и башни, опоясывающие акрополь, мощью своей напоминали: всё ещё остаётся за ним долг перед святым покровителем их с братом родного города. По приезде в Моравию нужно ему, без всяких отлагательств, переложить, наконец, с греческого канон Димитрию Солунскому для пения в его славянских храмах...

Среди стихов великой ектений, средь этих ежедневных во-прошаний, известных тебе и каждому и в забытьи, и наяву, одна есть просьба к Господу, одна мольба, один порыв, одно горячее взывание о памяти, о помощи, о пощаде, и ты его, сколько бы раз оно ни звучало для тебя, всякий раз произносишь или слышишь словно впервые, и всякий раз оно неизменно омывается в душе твоей слезами тревоги, сострадания...

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся!

И кто скажет, что тут упомянуты ещё не все, что кто-то в небрежении забыт, оставлен за бортом, за обочиной, брошен в беде? Нет же, все-все до единого уместились, все, кто были до нас, кто сей день и сей час подвергнуты испытанию, и все-все, с кем это случится завтра, потом, всегда, до самого конца. Потому-то стих этот — про всех. Ибо чья жизнь — не плавание по хребтам и пропастям житейского моря, не изнуряющее шествие, не чреда болезней, страданий, чья жизнь — не плен, не узилище? Подай голос, счастливец!

Если представишь себе, что за грехи людские обречено на погибель всё до последней страницы Священное Писание, и лишь на каком-то обугленном клочке пергамена осталась эта сиротская строка, то кто-нибудь из нечаянно уцелевших, найдя и прочитав её, подумает в изумлении: значит, были на свете люди, что умели так сострадать и так молиться за всех — за правых и неправых, добрых и озлобленных. И потому их вера пощажена огнём. Всё погибло. А этот их горючий стих, нещадно царапающий своими звуками самый очерствелый слух, существует, цел...

Да, в самих этих словах, особенно в славянском их облике, — о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных — им с братом хотелось передать ещё и замедленно-текучую, надсадную поступь шествия, скрежет корабельных обшивок, скрип колёсных осей, шарканье подошв.

Эти строки были из самых первых, что они перевели на Горе по просьбе учеников. Эти строки вообще, похоже, вместе с остальными стихами ектений, принадлежали к самому раннему достоянию церкви и сотворены были первыми учениками Христовыми в ту пору, когда ещё и Евангелие с Апостолом не до конца легли на кожаные листы.

И, как часто бывало и прежде у них с Философом, вспоминался в дороге — рядом со стихами великой ектений — и апостол Павел; и тогда читали вслух его скорбный перечень невзгод и скорбей — из второго письма к коринфянам, как брат по-славянски изложил:

«В путных шествиих множицею: беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды в градех, беды в пустыни, беды в мори, беды во лжебратии. В труде и подвизе, во бдениих множицею, во алчбе и жажди, и в пощениих многащи, в зиме и наготе».

Что тут было не про них, братьев, не про всех, кто до них? Удивительно лишь, что этот перечень скорбей всегда как-то придавал сил, а не угнетал.

...В «Житии Мефодия» самому прибытию владыки в Велеград не уделено ни строки. Не трудно, однако, догадаться, что встреча была великим праздником для всех, кто его отсутствие переживал с острой тревогой: вернётся?., или Царырад его больше не захочет отдать им?

КИРИЛЛИЦА И ГЛАГОЛИЦА

Доводы в пользу глаголицы

Среди вопросов, которые читатели этого биографического изложения вправе задать автору, одним из непременных будет, как можно догадываться, вопрос о первоначальной азбуке книг, вышедших из-под пера солунских братьев. Не зря же и по сей день в учёной среде не снята с обсуждения тема: какая из двух славянских азбук была первой по времени своего возникновения? Какую из них создал (сам или при участии брата Мефодия) младший солунянин? Вроде бы, по логике вещей, доступной и человеку, малосведущему в вопросе, Кирилл — автор той азбуки, которая названа его именем.

Но в XIX веке среди исследователей прочно утвердилось и теперь преобладает противоположное мнение: создатель славянской азбуки изобрёл не кириллицу, а глаголицу. Именно она, глаголица, древнее, первороднее. Именно её совершенно необычным, оригинальным буквенным строем были исполнены старейшие из славянских рукописей.

Следуя такой убеждённости, считают, что кириллическая азбучная традиция утвердилась позднее, уже после кончины Кирилла, и даже не в среде первых учеников, а после них — у писателей и книжников, трудившихся в Болгарском царстве в X веке. Через их посредство кириллическая азбука перешла и на Русь.

Казалось бы, если авторитетное большинство отдаёт первенство глаголице, то почему бы не

успокоиться и не возвращаться больше к изжившему себя вопросу? Однако старые споры то и дело возобновляются. Причём эти порывы к спору чаще исходят именно от адвокатов глаголицы. Можно подумать, что они намерены отшлифовать до блеска некоторые свои почти абсолютные результаты. Или что у них всё ещё не очень спокойно на душе и они ожидают каких-то неожиданных дерзких покушений на свою систему доказательств.

Ведь, казалось бы, в их доводах всё очень наглядно: кириллица вытеснила глаголицу, причём вытеснение проходило в достаточно грубых формах. Обозначена даже дата, от которой предложено отсчитывать силовое устранение глаголицы с заменой её на кириллическую азбуку. К примеру, по убеждению словенского учёного Франца Гревса, такой датой рекомендуется считать рубеж 893/94 года, когда Болгарское государство возглавил князь Симеон, сам по происхождению полугрек, который получил отличное греческое образование и потому сразу же стал ратовать за утверждение в пределах страны алфавита, буквенной своей графикой живо перекликающегося, а по большей части и совпадающего с греческим письмом. В культурное творчество якобы вмешались тогда сразу и политика, и личная прихоть, и последствия такого вмешательства смахивали на катастрофу. Десятки, если не сотни пергаменных книг в сжатый промежуток времени, в основном приходящийся на X век, спешно зачищались от глаголических начертаний, а на промытых листах повсеместно появлялась вторичная запись, исполненная уже кириллическим уставным

почерком. Монументальным, торжественным, имперским.

Перезаписанные книги историки письма называют палимпсестами. В переводе с греческого: нечто свеженаписан-ное на соскобленном или промытом листе. Для наглядности можно вспомнить обычные помарки в школьной тетради, второпях подтираемые ластиком перед тем, как вписать слово или букву в исправленном виде.

Обильные соскабливания и смывки глаголических книг вроде бы красноречивее всего подтверждают старшинство глаголицы. Но это, заметим, единственное документальное свидетельство силовой замены одной славянской азбуки на другую. Никаких иных достоверных подтверждений происшедшего катаклизма древнейшие письменные источники не сохранили. Ни ближайшие ученики Кирилла и Мефодия, ни их продолжатели, ни тот же князь Симеон, ни кто-либо иной из современников столь заметного происшествия нигде о нём не сочли нужным высказаться. Нет ни жалоб, ни запрещающего указа. А ведь упорная приверженность к глаголическому письму в обстановке полемики тех дней легко могла бы вызвать обвинения в еретическом отклонении. Но — молчание. Есть, впрочем, довод (его настойчиво выдвигал тот же Ф. Гревс), что отважным защитником глаголицы выступил в своей знаменитой апологии азбуки, сотворенной Кириллом, славянский писатель начала X века Черноризец Храбр. Правда, почему-то сам Храбр ни словом, ни намёком не проговаривается о существовании азбучного конфликта. К разбору

основных положений его апологии мы обязательно обратимся, но позже.

А пока не помешает ещё раз привести распространённое мнение: кириллице отдали предпочтение лишь из соображений политического и культурного этикета, поскольку в большинстве буквенных написаний она послушно следовала графике греческого алфавита, а значит, не представляла собой какого-то чрезвычайного вызова письменной традиции византийской ойкумены. Вторичная, откровенно прогреческая азбука и была-де людьми, учредившими её приоритет, названа в память Кирилла Философа.

В таком, по видимости, безупречном доводе в пользу первенства глаголицы есть всё же один странный коллективный недогляд, почти несуразица. Право же, как это книжники, своевольно отвергшие глаголическое азбучное изобретение Кирилла, посмели бы назвать его именем другую азбуку, к созданию которой он не имел никакого отношения? Такое самоуправство, близкое к кощунству, могло быть допущено только лицами, по сути, совершенно не уважавшими труд своего великого учителя, святого мужа, а только делавшими вид, что истово чтут его память. Но подобное лицемерие в среде учеников и последователей наших солунян просто непредставимо. Оно по своей циничной сути совершенно не соответствовало бы этическим принципам эпохи.

Эта странная исследовательская неувязка, согласимся, сильно обесценивает доводы сторонников глаголицы как безусловного и единственного детища Кирилла Философа. И всё же существование

палимпсестов заставляет каждого, кто притрагивается к теме первенствующей славянской азбуки, снова и снова проверять логику своих доказательств. Не до конца вычищенные первоначальные буквы пергаменных книг и по сей день поддаются если не прочтению, то узнаванию. Как ни промывались листы пергамена, следы глаголицы всё равно проступают. А за ними, значит, проступает или криминал, или какая-то вынужденная необходимость той отдалённой поры.

Состязание

К счастью, о существовании глаголицы сегодня свидетельствуют не одни лишь палимпсесты. В разных странах сохранился целый корпус древних письменных памятников глаголической буквенной графики. Эти книги или их фрагменты давно известны в науке, тщательно изучены. Среди них в первую очередь нужно упомянуть так называемые Киевские листки X—XI веков (памятник хранится в Центральной научной библиотеке Академии наук Украины, в Киеве), Ассеманиево Евангелие X—XI веков (в Славянском отделе Ватиканской библиотеки), Зографское Евангелие X—XI веков (в Российской национальной библиотеке, в Санкт-Петербурге), Мари-инское Евангелие X—XI веков (в Российской государственной библиотеке, в Москве), Клоциев сборник XI века (в Триесте, в Италии, и частично в Инсбруке, в Австрии), Синайская Псалтирь XI века (в Библиотеке монастыря Святой Екатерины на Синае), Синайский требник XI века (там же).

Ограничимся хотя бы этими, древнейшими и авторитетнейшими. Все они, как видим, не относятся к твёрдо датируемым памятникам, поскольку ни в одном не сохранилось записи с точным указанием года создания рукописи. Но даже округлённые, «плавающие» датировки, не сговариваясь, подтверждают: все рукописи возникли уже по кончине основоположников славянской письменности. То есть во времена, когда, по убеждению сторонников «глаголического первенства», традиция этого письма усиленно вытеснялась приверженцами прогреческой азбуки, возобладавшей будто бы вопреки намерениям «глаголита» Кирилла.

Вывод, который неумолимо напрашивается: уже сами по себе датировки старейших глаголических источников не позволяют чересчур драматизировать картину противостояния двух первых славянских азбук. Заметим, что к XI веку относятся и несколько старейших кириллических рукописей Древней Руси: это всемирно известные Реймсское Евангелие первой половины века, Остромирово Евангелие 1056—1057 годов, Изборник Святослава 1073 года, Изборник Святослава 1076 года, Архангельское Евангелие 1092 года, Саввина книга — все, кстати, на чистых листах, без следов промывок.

Так что излишняя драматизация неуместна и в вопросе о палимпсестах. К примеру, при тщательном исследовании страниц глаголического Зографского Евангелия неоднократно обнаруживаются следы промывок или подчисток старого текста и новых написаний на их месте. Но что же на промытых от

глаголицы страницах? Вновь глаголица! Причём самая большая из таких реставраций (речь идёт о целой тетради из Евангелия от Матфея) относится не к X—XI, а уже к XII веку.

Есть в этой рукописи и кириллический текст. Но он скромно появляется лишь на страницах её дополнительной части (синаксаря). Этот раздел относится уже к XIII веку, и текст нанесён на чистые, а не промытые от глаголицы листы. В статье, посвященной Зографскому Евангелию (Кирило-Методиевска енциклопедия. Т 1. София, 1985), болгарский исследователь Иван Добрев упоминает, что в 1879 году глаголическая, то есть старейшая часть памятника была опубликована в кириллической транслитерации. Тем самым создавалась база для более внимательного научного анализа двух азбук. Упрощалось знакомство с оригиналом и для читателей, лишённых возможности вчитываться в забытую за прошедшие века глаголицу. В любом случае такой способ обращения к древнему источнику никак не спутать с промывкой или соскабливанием.

Из сохранившихся древних рукописей, пожалуй, лишь одну можно отнести к числу целиком промытых от глаголицы. Это кириллическое Боянское Евангелие XI века. Оно поневоле приобрело несколько одиозную известность как наглядное доказательство жёсткого вытеснения одной традиции в пользу другой. Но все перечисленные выше старейшие памятники глаголического письма свидетельствуют как раз о другом — о мирном сосуществовании двух

алфавитных традиций в пору строительства единого литературного языка славянства.

Такого мнения, при всём своём пиететe к глаголице, придерживался известный русский славист Николай Дурново, обративший внимание на то, что «старшие официальные славянские надписи — кирилловские». «Поэтому a priori можно думать, что оба алфавита, вернее, обе разновидности одного славянского алфавита, и кириллица и глаголица, были созданы или задуманы одновременно, для разных функций...»

Как будто во исполнение устного завета своих учителей продолжатели дела Кирилла и Мефодия приходили к негласной договорённости. Смысл же её попробуем свести к следующему: раз уж славянству, в отличие от других насельников земли, так здорово повезло, что его письменный язык создаётся сразу с помощью двух азбук, то не нужно особенно горячиться; пусть эти азбуки постараются как следует, доказывая свои способности, свои лучшие свойства, своё умение легче и надёжнее запомниться, войти на глубины людского сознания, прилепиться прочнее к вещам видимым и смыслам незримым. Понадобилось несколько десятилетий, и стало проступать наружу, что состязание — всё же не идиллия. Оно не может слишком долго проходить на равных.

Да, глаголическое письмо, добившись немалых успехов на первом этапе строительства нового литературного языка, поразив поначалу воображение многих своей свежестью, небы-валостью, яркой и экзотической новизной, своим таинственным обликом, чётким соответствием каждого отдельного звука

определённой букве, постепенно стало терять позиции. В глаголице изначально присутствовало качество предмета нарочитого, намеренно закрытого, годного для узкого круга посвященных лиц, обладателей почти тайнописи. В обликах её букв то и дело проступали какая-то игривость, кудрева-тость, мелькали то и дело простецкие манипуляции: повернул вверх кружками — одна буква, вниз кружками — другая, кружками вбок — третья, добавил рядом схожую боковушку — четвёртая... Но алфавит как таковой в жизни народа, им пользующегося, не может быть предметом шутки. Это особенно глубоко чувствуют дети, с великим вниманием и прямо-таки молитвенным напряжением всех силёнок исполняющие в тетрадях первые буквы и слоги. Азбука слишком тесно связана с главными смыслами жизни, с её священными высотами, чтобы перемигиваться с читателем. Неграмотный пастух, или землепашец, или воин, остановившись у кладбищенской плиты с большими непонятными буквами, вопреки своему незнанию всё-таки прочитывал их: тут выражено что-то самое важное о судьбе неизвестного ему человека.

Версий не убывает

Ещё и по той причине нет до сих пор умиротворения вокруг вопроса о глаголице, что чем дальше, тем сильнее зыбится перспектива самого происхождения феноменальной азбучной доктрины. Её облик и по сей день будоражит воображение исследователей. Не иссякает соревновательная активность в изыскании всё новых и новых догадок и

доказательств. Глаголицу вычурно называют сакральным кодом, матрицей вселенского звучания, к которой нужно, как к великому святилищу, развернуть на поклонение и кириллицу, и другие европейские алфавиты. Кому выпадет честь окончательно высветлить родословную диковинной гостьи на пиру письмен?

Клубок научных — а с недавних пор и любительских — гипотез на глазах растёт. Их объём к нашим дням стал таков, что знатоки вопроса, похоже, уже и сами приходят в смятение при виде безостановочной цепной реакции версетворения. И многие задумываются: не пора ли, наконец, остановиться, сойтись на чём-то одном? Иначе тема генезиса глаголицы однажды захлебнётся в воронке дурной бесконечности. Не в последнюю очередь смущает и то, что в разнобое и сумятице споров часто обнаруживаются не очень привлекательные приёмы спорящих авторитетов.

Понятно, наука не бесстрастна. В пылу интеллектуальных баталий не зазорно настаивать на своём до конца. Но неловко наблюдать при этом, как намеренно забываются чужие доводы, обходятся стороной общеизвестные письменные источники или даты. Лишь один пример. Современный автор, описывая в научно-популярном труде Реймсское Евангелие, вывезенное дочерью князя Ярослава Мудрого Анной во Францию, называет его глаголическим памятником. И для вящей убедительности помещает изображение отрывка, написанного хорватским почерком в стиле готической

глаголицы. Но рукопись Реймсского Евангелия, как хорошо известно в научном мире, состоит из двух весьма неравноценных по возрасту частей. Первая, старейшая, относится к XI веку и выполнена кириллическим письмом. Вторая, глаголическая, была написана и прибавлена к первой лишь в XIV столетии. В начале XVIII века, когда во Франции гостил Пётр Первый, рукопись в качестве драгоценной реликвии, на которой присягали французские короли, была показана ему, и русский царь тут же стал читать вслух кириллические стихи Евангелия, но озадачился, когда дело дошло до глаголической части.

Болгарский учёный XX века Емил Георгиев однажды задался целью составить опись существующих в славистике вариантов происхождения глаголицы. Выяснилось, что в качестве образца для неё разными авторами в разное время предлагались самые неожиданные источники: архаические славянские руны, этрусское письмо, латиница, арамейская, финикийская, пальмирская, сирийская, еврейская, самаритянская, армянская, эфиопская, староалбанская, греческая алфавитные системы...

Уже этот чрезвычайный географический разброс озадачивает. Но полувековой давности опись Георгиева, как теперь очевидно, нуждается в дополнениях. В неё не вошли ссылки ещё на несколько новых или старых, но подзабытых разысканий. Так, в качестве наиболее достоверного источника, предлагалось рассматривать германское руническое письмо. По другому мнению, образцом для глаголицы могла послужить алфавитная продукция кельтских монахов-

миссионеров. Недавно стрела поиска с запада опять резко отклонилась на восток: русский исследователь Г. М. Прохоров посчитал глаголицу ближневосточным миссионерским алфавитом, автором же его — загадочного Константина Каппадокийца, тёзку нашего Константина-Кирилла. Воскрешая древнее предание славян-далматинцев, как о единоличном создателе глаголицы снова заговорили о блаженном Иерониме Стридонском, знаменитом переводчике и систематизаторе латинской «Вульгаты». Предложены были также версии возникновения глаголицы под воздействием графики грузинского или коптского алфавитов.

Е. Георгиев справедливо полагал, что Константин Философ по темпераменту своему никак не мог походить на собирателя славянского алфавитного скарба с миру по нитке. Но всё же болгарский учёный упрощал себе задачу, неоднократно заявляя, что Кирилл ни у кого ничего не заимствовал, а создал совершенно самобытное, не зависящее от внешних влияний письмо. При этом с особым жаром Георгиев опротестовал концепцию происхождения глаголицы от греческого курсивного письма IX века, предложенную ещё в конце XIX столетия англичанином И. Тейлором, которого вскоре поддержали и дополнили русский профессор из Казанского университета Д. Беляев и один из крупнейших славистов Европы В. Ягич. Благодаря авторитету Ягича теория «получила громадное распространение». Позднее к «греческой версии» присоединился и А. М. Селищев в своём капитальном труде «Старославянский язык». К такому

же мнению осторожно склоняется учёный из Принстона Брюс М. Мецгер, автор исследования «Ранние переводы Нового Завета». «Судя по всему, — пишет он, — Кирилл взял за основу затейливое греческое минускульное письмо IX в., возможно, добавил несколько латинских и древнееврейских (или самаритянских) букв...» Примерно так же высказывается немец Иоганнес Фридрих в своей «Истории письма»: «...наиболее вероятным кажется происхождение глаголицы из греческого минускула IX столетия...»

Один из основных доводов Тейлора состоял в том, что славянский мир, благодаря своим многовековым связям с эллинистической культурой, испытывал понятное тяготение к греческому письму как образцу для собственного книжного устроения и не нуждался для этого в заимствованиях из алфавитов восточного извода. Алфавит, предложенный Кириллом Философом, должен был исходить именно из учёта этой встречной тяги славянского мира.

Дополняя разработки Тейлора, Ягич опубликовал и свою сопоставительную таблицу. На ней греческие курсивные и минускульные буквы той эпохи соседствуют с глаголицей (округлой, так называемой «болгарской»), кириллицей и греческим унциальным письмом. Рассматривая таблицу Ягича, нетрудно заметить, что расположенный на ней слева скорописный греческий курсив (минускул) своими плавными закруглениями то и дело перекликается с глаголическими кругообразными знаками. Невольно

напрашивается вывод о перетекании буквенных начертаний одного алфавита в соседний.

Немаловажно и другое. Вглядываясь в греческую скоропись XI века, мы как бы на расстояние полушага приближаемся к рабочему столу Константина, видим взволнованные беглые заметки на тему будущего славянского письма. Да, это, скорее всего, черновики, первые или далеко не первые рабочие прикидки, наброски, которые легко стереть, чтобы исправить, как стирают буквы со школьной восковой дощечки или с разглаженной поверхности сырого песка. Они легки, воздушны, скорописны. В них нет твёрдой напряжённой монументальности, какая отличает греческий торжественный ун-циал той же поры.

Рабочий греческий курсив, словно летящий из-под пера братьев, творцов первого славянского литературного языка, как бы возвращает нас снова в обстановку монастырской обители у одного из подножий горы Малый Олимп. Мы помним эту тишину совершенно особого свойства. Она наполнена смыслами, которые к концу 50-х годов IX века впервые обозначились в противоречивом, сбивчивом славяно-византийском диалоге. В этих смыслах отчётливо прочитывалось: до сих пор стихийное и непоследовательное сосуществование двух великих языковых культур — эллинской и славянской — готово разрешиться чем-то ещё небывалым. Потому что, как никогда прежде, проступало теперь их давнее, сначала по-детски любопытное, а затем всё более и более заинтересованное внимание друг к другу.

Алфавит-законодатель

Уже отчасти говорилось о том, что греческий классический алфавит в пределах древнего Средиземноморья, а затем и в более широком евразийском ареале на протяжении не одного тысячелетия представлял собой культурный феномен совершенно особой притягательной силы. Влечение к нему как образцу для подражания наметилось ещё у этрусков. Пусть огласовка их письменных знаков до сих пор недостаточно раскрыта, но латиняне, сменившие этрусков на Апеннинах, для устроения собственного письма успешно подражали уже двум алфавитам: и греческому, и этрусскому.

В таких подражаниях нет ничего обидного. Не все народы выходят на арену истории одновременно. Ведь и греки в многотрудных, растянувшихся на века заботах о восполнении своего письма использовали поначалу достижения финикийской алфавитной системы. И не только её. Но в итоге совершили подлинный переворот в тогдашней практике письменной речи, впервые узаконив в своём алфавите отдельные буквы для гласных звуков. За всеми этими событиями не вдруг обнаружилось со стороны, что греки — ещё и создатели новой науки — грамматики, которая станет образцовой для всех соседних народов Европы и Ближнего Востока.

Наконец, в век явления человечеству Христа именно греческий язык, обогащенный опытом перевода ветхозаветной Септуагинты, взял на себя ответственность стать первым, подлинно путеводным языком христианского Нового Завета.

В великих греческих дарах миру мы по привычке всё ещё держим на первом месте Античность, языческих богов, Гесиода с Гомером, Платона с Аристотелем, Эсхила с Периклом. Между тем они уже сами смиренно ушли в тень четверых евангелистов, апостольских посланий, грандиозного видения на Патмосе, литургических творений Иоанна Златоуста и Василия Великого, гимнографических шедевров Иоанна Дамас-кина и Романа Сладкопевца, боговедения Дионисия Ареопа-гита, Афанасия Александрийского, Григория Паламы.

Не прошло и века после евангельских событий, как разные народы Средиземноморья возжаждали узнать Священное Писание на языках, им родных. Так появились ранние опыты переводов Евангелия и Апостола на сирийский, арамейский, латынь. Немного позже вдохновенный переводческий порыв был подхвачен коптскими христианами Египта, армянской и грузинской церквами. В конце IV века заявил о своём праве на существование перевод для христиан-готов, выполненный готским епископом Вульфилой.

За вычетом сирийско-ассирийских рукописей, исполненных с помощью традиционного ближневосточного букворяда, во всех остальных по-своему проявлено почтение к алфавитному строю греческих первоисточников. В коптском алфавите христианских переводов, заменившем древнее иероглифическое письмо египтян, 24 буквы начертаниями подражают греческому унциалу, а семь остальных добавлены для записи звуков, несвойственных греческой речи. Похожую картину

можно увидеть и в готском Серебряном кодексе, самом полном рукописном источнике с текстом перевода Вульфилы. Но здесь к греческим буквам добавлен ряд латинских, а сверх того, знаки из готских рун — для звуков, внешних для греческой артикуляции.

При создании армянского, а затем и грузинского алфавитов был избран иной путь. Обе эти кавказские письменности без колебаний приняли за основу алфавитную последовательность греческой азбуки. Но при этом сразу же получили новую самобытную графику восточного узора, внешне ничем не напоминающую письмо греков. Знаток кавказских старописьменных систем академик Т. Гамкрелидзе по поводу такой новации замечает: «С этой точки зрения древнегрузинская письменность Асомтаврули, древнеармянский Еркатагир и старославянская Глаголица подпадают под общий типологический класс, противопоставляясь коптской и готской письменностям, а также славянской Кириллице, графическое выражение которых отражает графику современной им греческой письменной системы».

Это, конечно, не оценка, а невозмутимое подтверждение очевидного. Более определённо Гамкрелидзе высказывается, рассматривая труды Месропа Маштоца, общепризнанного автора армянского алфавита: «Мотивом для подобного свободного творчества графических символов древнеармянского письма и создания оригинальных по начертанию письменных знаков, отличных графически от соответствующих греческих, должно было быть стремление скрыть зависимость вновь создаваемой

письменности от письменного источника, использованного в качестве модели для её создания, в данном случае от греческой письменности. Таким путём создавалась внешне оригинальная национальная письменность, как бы независимая от каких бы то ни было внешних влияний и связей».

Невозможно допустить, что Кирилл Философ и Мефодий, представители первенствующей греческой письменной культуры, не обсуждали между собой, чем отличаются по характеру своих алфавитных знаков коптские и готские книги от тех же грузинских и армянских рукописей. Как невозможно представить, что братья были безразличны к множеству примеров интереса славян не только к греческой устной речи, но и к греческому письму, его буквенному строю и счёту.

По какому пути было следовать им самим? Вроде бы ответ подразумевался: строить новую славянскую письменность, равняясь на греческий алфавит как на образец. Но обязательно ли все славяне единодушны в своём почитании греческого письма? Ведь в Херсоне братья в 861 году листали книгу славянскую («русскую»), но записанную буквами, не похожими на греческие. Может, и у славян иных земель уже есть свои особые виды, свои пожелания и даже встречные предложения? Не зря же Константин двумя годами позже, во время беседы с императором Михаилом о предстоящей миссии в Вели-коморавское княжество, сказал: «...пойду туда с радостью, если есть у них буквы для их языка!»

За этим разговором — внутреннее противоборство, сильно смутившее Константина. Можно ли выискать

письмо для народа, который сам до сих пор не искал для себя письма? Допустимо ли отправляться в путь с чем-то заранее готовым, но совершенно неизвестным для тех, к кому идёшь?

Буквы! Письмо... Какие всё-таки буквы, какие письмена им ведомы и насколько? Достаточен ли будет для знакомства моравских славян со святыми книгами христианства тот алфавитный и переводческий склад, который в монастыре на Малом Олимпе братья и их помощники готовили несколько лет подряд, ещё не зная, найдётся ли в этом их произведении надобность за стенами обители?

Но если у них уже есть и свои буквы, то какое же оттого может быть расстройство? Ну есть и есть! Даже хорошо, что есть.

Значит, можно сравнить, чем-то поделиться, от чего-то отказаться. Ещё посмотреть надо, чей подбор полнее, чьё письмо удобнее для чтения. Черновой ли работы страшиться, когда уже столько её проделано в поисках лучшего рисунка для букв, изображающих славянские звуки?

Ведь жития, как уже говорилось, молчат о том, какой именно алфавит Мефодий и Константин взяли с собой в неблизкий путь. И хотя преобладающее ныне убеждение, кажется, не оставляет никаких путей для иномыслия, я всё более и более склоняюсь к следующему: братья никак не могли повезти с собой то, что называется сегодня глаголицей. Они везли свою первоначальную азбуку. Исходную. То есть исходящую в своём строе от даров греческого алфавита. Ту самую, которая теперь называется кириллицей. И везли

не одну лишь азбуку как таковую, а и первоначальные свои книги. Везли переводческие труды, записанные на языке славян с помощью азбуки, исполненной по образцу греческого алфавита, но с добавлением букв славянского звукоряда. Сама логика становления славянского письма, если быть до конца честным по отношению к её законам, держит, не позволяет оступиться.

Глаголица? Она впервые заявит о себе немного позже. С нею братья будут иметь дело уже по прибытии в Велеград, столицу Моравской земли. И, судя по всему, это произойдёт после чрезвычайных происшествий 864-го. Именно тогда восточнофранкский король Людовик II Немецкий, заключив воинский союз с болгарами, в очередной раз нападёт на вели-коморавский град Девин.

На сей раз Людовик принудит князя Ростислава принять унизительные условия, по сути вассальные. С этого времени работа греческой миссии в пределах Великоморавского государства пойдёт под знаком непрекращающегося натиска со стороны западных противников византийского влияния. В переменившихся обстоятельствах братьям и могла помочь вынужденная разработка иной азбучной графики. Такой, которая бы своим обликом, нейтральным по отношению к про-греческому письму, сняла, хотя бы отчасти, напряжения юрис-дикционного да и чисто политического характера.

Ещё версии...

Нет, никак не уйти от саднящего, как заноза, вопроса о происхождении глаголицы. Но дело теперь придётся иметь уже с самым малым числом гипотез. Их, за вычетом многочисленных восточных, остаётся всего две, от силы три. Они в числе иных уже упоминались выше.

Нет перевешивающих доводов ни «за», ни «против» в связи с предположением, что глаголица вышла из кельтской монастырской среды. В связи с этим адресом обычно ссылаются на работу слависта А. В. Исаченко «К вопросу об ирландской миссии у моравских и паннонских славян».

Допустим, некая «ирландская подсказка» сгодилась Философу и его старшему брату. Допустим, они нашли и в ней нужные знаки для чисто славянских звучаний. (Значит, с двух сторон идут в правильном направлении!) И даже обнаружили, что эта ирландского пошиба азбучная последовательность в целом соответствует законодательному греческому букворяду. Тогда им оставалось бы вместе со своими сотрудниками быстро выучиться этому письму, пусть и замысловатому. И перевести в его графику славянские, уже привезённые из Константинополя богослужебные рукописи. Пусть их книги после сотворения с них списков на новый лад отдохнут немного на полках или в сундуках. По крайней мере, в случившемся есть повод и для доброй шутки! Это что же за славяне такие? Везёт же им!., ни у кого ещё на свете не заводилось письмо сразу на двух азбуках.

Более слабой по сравнению с «кельтской» версией выглядит старинная, но живучая легенда: якобы автор глаголицы — блаженный Иероним Стридонский. Предание основано на том, что почитаемый по всему христианскому свету Иероним вырос в Далмации, в славянской среде, и сам, возможно, был славянином. Но если Иероним и занимался алфавитными упражнениями, то никаких достоверных следов его просветительской деятельности в пользу славян не осталось. Как известно, колоссального напряжения всех духовных и гуманитарных способностей Иеронима потребовала работа по переводу на латынь и систематизации корпуса Библии, названного позже Вульгатой.

Братья не понаслышке знали труд, занявший несколько десятилетий жизни отшельника. Они вряд ли обошли вниманием отточенное переводческое искусство Иеронима. Этот удивительный старец не мог не быть для них образцом духовного подвижничества, выдающейся целеустремлённости, кладезем технических приёмов перевода. Останься от Иеронима хоть какой-то набросок алфавита ещё и для славян, братья бы наверняка с радостью принялись его изучать. Но — ничего не осталось, кроме легенды о славянолюбии блаженного труженика. Да вряд ли слышали они и саму легенду. Скорее всего, она родилась в тесной общине католиков-«глаголяшей», упорных далматинских патриотов глаголического письма, много позже кончины Кирилла и Мефодия.

Остаётся третий вариант развития событий в Великомора-вии после военного поражения князя

Ростислава в 864 году. И. В. Лёвочкин, известный исследователь рукописного наследия Древней Руси, в своих «Основах русской палеографии» пишет: «Составленный в начале 60-х годов IX века Константином-Кириллом Философом алфавит хорошо передавал фонетический строй языка славян, в том числе и славян восточных. По прибытии в Моравию миссия Константина-Кирилла убедилась, что там уже была письменность, основанная на глаголице, которую просто "отменить" было невозможно. Что оставалось делать Константину-Кириллу Философу? Ничего, кроме как настойчиво и терпеливо внедрять свою новую письменность, основанную на созданном им алфавите — кириллице. Сложная по своим конструктивным особенностям, вычурная, не имеющая никакого основания в культуре славян, глаголица, естественно, оказалась не в состоянии конкурировать с гениальной по простоте и изяществу кириллицей...»

Вопросы, вопросы... Будто заговорённая, не спешит глаголица подпускать к своей родословной. Иногда, кажется, уже никого не подпустит.

Ответы Храбра

Пора, наконец, призвать на помощь автора, писавшего под именем Черноризец Храбр. Он ведь — почти современник солунских братьев. В своём апологетическом труде «Ответы о письменах» он свидетельствует о себе как о горячем защитнике просветительского деяния солунских братьев. Хотя сам этот автор, судя по его собственному признанию (оно читается в некоторых древних списках «Ответов...»), с

братьями не встречался, но был знаком с людьми, которые Мефодия и Кирилла хорошо помнили.

Небольшое по объёму, но удивительно смыслоёмкое сочинение Храбра к нашим дням обросло громадным частоколом филологических толкований. Это не случайно. Черноризец Храбр — и сам филолог, причём первый в истории Европы филолог из славянской среды. И не какой-нибудь из начинающих, а выдающийся для своей эпохи знаток и славянской речи, и истории греческого письма. По сумме вклада в почтенную дисциплину можно без преувеличения считать его отцом славянской филологии. Разве не достойно удивления, что такой вклад состоялся на первом же веку существования первого литературного языка славянства! Вот как стремительно набирала силы молодая письменность.

Могут возразить: настоящим отцом славянской филологии надо назвать не Черноризца Храбра, а самого Кирилла Философа. Но все громадные филологические познания солунских братьев (за исключением диспута с венецианскими триязычниками) почти полностью растворены в их переводческой практике. А Храбр в каждом предложении «Ответов...» просто блещет филологической оснасткой своих доводов.

Он сочиняет одновременно и трактат, и апологию. Точные, даже точнейшие для той эпохи сведения по орфографии, фонетике сопоставляемых письменностей и языков, подкреплённые сведениями из античных грамматик и комментариев к ним, чередуются под пером Храбра с восторженными оценками духовного и

культурного подвига братьев. Речь этого человека местами похожа на стихотворение. Взволнованные интонации отдельных предложений вибрируют как песня. В речи Храбра, даже если он углубляется в подробности буквенного устройства азбук, нет ничего от талдычения схоластика-зануды.

Почему этот литературный памятник назван «Ответами...»? Духовный переворот, совершённый Кириллом и Мефодием на общем поле двух языковых миров, славянского и греческого, можно догадываться, породил в поколении монаха Храбра великое множество вопросов среди славян. Вот он и собрался ответить самым настойчивым из искателей истины.

Да, события совершились небывалые. Ещё живы их деды, «простая чадь», которые и слыхом не слыхали об Иисусе Христе. А сегодня в каждом храме звучит всем понятная притча Христова о сеятеле, о добром пастыре, о первых и последних на пиру, и громко разносится призыв Сына Человеческого ко всем труждающимся и обременённым... Как это вдруг заговорили для славян книги, прежде им непонятные?.. Прежде ведь не было у славян своих букв, а если были у кого, то никто почти не разбирал их смысла...

Да, соглашается Храбр:

Прежде славяне не имели букв, но по чертам и резам читали, или же гадали, погаными будучи. Крестившись же,

римскими и греческими письменами

пытались писать славянскую речь без устроения...

Но не всякий славянский звук, замечает Храбр, «можно написать хорошо греческими письменами».

...И так было долгие годы,
потом же человеколюбец Бог, правя всем
и не оставляя человеческий род без разума,
но всех в разум приводя и к спасению,
помиловал род человеческий,
послал им святого Константина Философа,
нареченного Кириллом,
мужа праведного и истинного.
И сотворил он им букв тридцать восемь —
одни по образцу греческих букв,
другие же по славянской речи*.

«По образцу греческих букв» сотворено было, уточняет Черноризец Храбр, 24 знака. И, перечислив их, чуть ниже вновь подчёркивает: «подобных греческим буквам». «А четырнадцать — по славянской речи». Настойчивость, с которой Храбр говорит об «образце» и следовании ему, о звуковых соответствиях и различиях двух писем, убеждает: чрезвычайно важна для него эта причинно-следственная сторона дела. Да, Кирилл Философ многое взял в свою азбуку как бы почти задаром. Но много важного и добавил впервые, самым смелым образом расширив ограниченный греческий букворяд. И Храбр перечислит все до единой буквы Кириллова изобретения, соответствующие именно славянским артикуляционным способностям. Ведь грек, добавим от себя, просто не умеет произнести или очень приблизительно произносит целый ряд звуков, широко распространённых в славянской среде. Впрочем, и славяне, как правило, не очень чисто произносят некоторые звуки греческой артикуляционной инструментовки (к примеру, то же

«с», которое у грека звучит с некоторой шипинкой). Словом, каждого на свой лад одарил-ограничил Создатель всяческих.

Нет нужды сопровождать пояснениями любую строку Храбра. Его «Ответы о письменах» достойны самостоятельного прочтения. Достаточно подчеркнуть: Храбр честно и доказательно воспроизвёл логику развития славяно-греческого духовного и культурного диалога во второй половине IX века.

Сожаления достойно, что иные из защитников «глаголического первенства» (особенно тот же Ф. Гревс, доктор теологии) постарались и ясные как дегіь доводы первого славянского филолога перевернуть с ног на голову. Он-де, по их убеждению, выступает именно как отважный сторонник... глаголического письма. Даже когда говорит о греческом алфавите как безусловном образце для Кирилла. Потому что Храбр

* Отрывки из «Ответов...» Черноризца Храбра приводятся в переводе В. Я. Дерягина.

якобы имеет в виду вовсе не сами буквы греческой графики, а лишь последовательность греческого алфавитного порядка. Но уже и в кругу учёных-глаголитов раздаётся ропот по поводу таких слишком рьяных манипуляций.

Кириллица и политика

Что ж, и невооружённым глазом видно: в наши дни (так было и в IX веке) вопрос о кириллице и глаголице, как и вопрос о первенстве кириллицы или латиницы в землях западных славян, — не только филологический, но поневоле и конфессиональный, и политический.

Насильственное вытеснение кириллического письма из западнославянской среды начиналось ещё в век солунских братьев, в самый канун разделения церквей на западную и восточную — католическую и православную. Продолжается оно и по сей день.

Кириллица, как мы все видим и слышим, и сегодня подвергается повсеместному силовому натиску. В нём задействованы не только «орлы» — устроители однополярного мира, но и «агнцы» — тихие католические и протестантские миссионеры Запада на Востоке, а с ними и «голуби» — ласковые гуманитарии-слависты.

Странно, если никто из этого стана не догадывается, что для нас, более тысячи лет проживших в расширяющемся пространстве кириллического письма, наша родная, от первых страниц букваря возлюбленная кириллица — такая же святыня, как стены алтаря, как чудотворная икона. Есть национальные, государственные символы — Флаг, Герб, Гимн. К ним относится и Письмо.

Славянская кириллическая азбука — свидетельница того, что уже с давних веков славянство Востока пребывает в духовном родстве с Византийским миром, с богатейшим наследием греческой христианской культуры.

Иногда эта связь, в том числе не имеющая себе аналогов в пределах Европы близость греческого и славянского языков, всё же получает тщательно выверенные подтверждения со стороны. Б. М. Мецгер в уже цитированном труде «Ранние переводы Нового Завета» пишет: «Формальные структуры цер-

ковнославянского и греческого языков очень близки по всем основным признакам. Части речи, в общем, одни и те же: глагол (изменяется по временам и наклонениям, различаются лицо и число), имена (существительное и прилагательное, включая причастие, изменяются по числам и падежам), местоимения (личные, указательные, вопросительные, относительные; изменяются по родам, падежам и числам), числительные (склоняются), предлоги, наречия, разнообразные союзы и частицы. В синтаксисе тоже обнаруживаются параллели, и даже правила построения слов очень схожи. Эти языки настолько близки, что во многих случаях вполне естественно выглядел бы дословный перевод. В каждой рукописи есть примеры чрезмерной буквальности, но в целом создается впечатление, что переводчики в совершенстве знали оба языка и старались воспроизвести дух и значение греческого текста, как можно меньше отходя от оригинала».

«Эти языки настолько близки...» При всей своей академической бесстрастности, оценка Мецгером уникальной структурной схожести двух языковых культур дорогого стоит. Во всём его исследовании характеристика такого рода прозвучала единственный раз. Потому что сказать о подобной же степени близости, какую он отметил между греческим и славянским, учёный, рассмотрев другие старые языки Европы, не нашёл оснований.

Но пора напоследок вернуться и к сути вопроса о двух славянских азбуках. Насколько позволяет сопоставление старейших письменных источников

церковнославянского языка, кириллица и глаголица достаточно мирно, хотя вынужденно, соревновательно сосуществовали в годы миссионерской работы солунских братьев в Великой Моравии. Сосуществовали — допустим модернистское сравнение — как в пределах одной целевой установки соревнуются два конструкторских бюро со своими самобытными проектами. Первоначальный алфавитный замысел солунских братьев возник и реализовался ещё до их приезда в Моравскую землю. Он заявил о себе в облике перво-кириллической азбуки, составленной с обильным привлечением графики греческого алфавита и прибавкой большого ряда буквенных соответствий чисто славянским звучаниям. Глаголица по отношению к этому азбучному строю — событие внешнее. Но такое, с которым братьям пришлось считаться, находясь в Моравии. Будучи азбукой, вызывающе отличной по облику от самого авторитетного в тогдашнем христианском мире греческого письма, глаголица достаточно быстро стала терять свои позиции. Но её появление было ненапрасным. Опыт общения с её письменами позволил братьям и их ученикам усовершенствовать своё изначальное письмо, придав ему постепенно облик классической кириллицы. Филолог Черноризец Храбр не зря же заметил: «Легче ведь после доделывать, нежели первое сотворить».

А вот что, спустя многие столетия, сказал об этом детище Кирилла и Мефодия Лев Толстой:

«Русский язык и кириллица имеют перед всеми европейскими языками и азбуками огромное

преимущество и отличие... Преимущество русской азбуки состоит в том, что всякий звук в ней произносится, — и произносится, как он есть, чего нет ни в одном языке».

...Сегодня затруднительно сказать, какой именно азбучный чин — глаголический или кириллический — был выдержан в славянских книгах, которые солунские братья на Рождество 868 года привезли в Рим. Но что касается книг, доставленных архиепископом Мефодием ко двору императора Василия Македонца и в патриаршию библиотеку Фотия около 882 года, то вряд ли можно усомниться в том, что старший солунянин вёз в Царырад тома кириллического письма. Разве мог он поступить по-иному? Это было письмо, сотворенное вдохновением его возлюбленного брата, которому он служил всею своей жизнью.

Кто ещё на свете, как не Мефодий, имел право первым вслух и для всех назвать это письмо кириллицей!

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

Профитологии

После возвращения из Константинополя с архиепископом произошла некая важная перемена. В течение более чем полугода он почти никого не принимал, почти никуда не выходил и не выезжал с

обычными для архиерея посещениями храмов, училищ, мастерских.

Объяснение тому — в «Житии Мефодия». Агиограф сообщает, что владыка «...от ученик своих посажь два попы скоро-письця зело, преложи вборзе вся книгы, вся исполнь разве Матвеи от грьчьска языка в словеньск шестию месяц начьн от марта месеца до двою десяту и шестию день октября месяця. Оконьчав же, достойную хвалу и славу Богу воздасть, дающему такову благодать и поспех. И святое возношение тайное с клиросомь вознес, сотвори память святаго Димитрия. Пьсалтырь бо бе токмо и Евангелие с Апостоломь и избраными службьами церь-ковныими с Философомь преложил перьвее, тогда же и Номоканон, рекше Закону правило и отеческыя книгы преложи».

Как ни подробно это объяснение, но оно конечно же нуждается в обстоятельном рассмотрении.

Итак, агиограф сообщает, что Мефодий усадил (посажь) за работу двух священников-скорописцев, весьма (зело) опытных, из своих учеников и перевёл (преложи) очень быстро (вборзе) с греческого языка на славянский все книги Священного Писания, и всё исполнил, кроме (разве) Макавеи (трёх книг, которые в Ветхом Завете именуются Маккавейскими), за шесть месяцев, начиная с марта до 26 октября (число месяцев указано неточно; на самом деле речь идёт о семи месяцах, если счёт от конца марта, или около восьми; год не указан, но приблизительно это 882-й; по иному предположению 884-й). Окончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу, давшему такую благодать и скорость в работе. И святую литургию с одними только

певчими своими отслужив, сотворил канон в память святого Димитрия (Солунского). Первоначально же (перьвее) они с Константином Философом перевели только Псалтырь и Евангелие с Апостолом и избранными церковными службами. Тогда же были переведены и Номоканон, иными словами, Правило закона, и Отеческие книги.

Хотя агиограф для начала сообщает о переводе Мефодием книг Ветхого Завета, но напоследок считает нужным упомянуть и его главные переводческие труды, предпринятые ещё при жизни младшего брата, а отчасти и совместно с ним. По сути это наиболее краткий библиографический обзор славянских произведений Мефодия. В него не включены переведённые им с греческого сочинения Философа, уже известные нам по «Житию Кирилла». Не включены также многочисленные молитвы, стихи церковных песнопений, которые совместно с братом или самостоятельно он озвучивал и записывал по-славянски ещё со времён жизни на Малом Олимпе. Изо всего этого обширного наследия в обзоре представлены только канон великомученику Димитрию, работа под греческим названием Номоканон (по-славянски, Правило закона) и некие книги, именуемые Отеческими*. Но и этот обзор, при его краткости, настолько впечатляет объёмом совершённого, что

* Греческим источником переведённого Мефодием Номоканона принято считать византийский сборник церковных постановлений и гражданских законов, составителем которого был константинопольский патриарх Иоанн Схоластик (565—577). Книга нужна была

моравским сотрудникам Мефодия как руководство^ описывающее образ поведения священнослужителя в храме и в миру. К старейшим спискам этого труда на русской почве относят «Устюжскую кормчую» XIII века. Что до «Отеческих книг», то слишком большой разброс мнений по поводу наиболее достоверного источника или источников этого перевода пока что мешает исследователям прийти к согласованному предпочтению. Заслуживают внимания публикации И. В. Лёвочкина, посвященные знаменитому «Изборнику Святослава 1073 года» как одному из парадных списков, восходящих к переводу Мефодия. См. его работу: Отеческие книги и Изборник Святослава 1073 г. // Советское славяноведение. 1985. № 6.

не случайно к нему было обращено самое пристальное внимание нескольких поколений исследователей. И в первую очередь оно сосредоточивалось на том, с чего жизнеописатель начинает, — на переводе книг Ветхого Завета.

Что и говорить, сведения, сообщаемые об этой части переводческих трудов Мефодия, способны вызвать сильное недоверие. В них вправе усомниться каждый, кто однажды держал в руках тяжёлый том Библии и хотя бы пролистал, а тем более частично или полностью прочитал ту её часть, в которой описаны судьбы, деяния и воззрения ветхозаветного человечества, а затем и народа Израиля — до Рождества Христова. Для вдумчивого, сосредоточенного, ничем посторонним не отвлекаемого прочтения книг Ветхого Завета (пусть и за вычетом книг Маккавейских) нужны не месяцы, а годы. Конечно, скорость восприятия

текста у новичков и людей, привыкших читать Библию многократно, сильно различается. К примеру, опытный в чтении монах способен прочитать Четвероевангелие всего за несколько часов одного дня. Псалтырь по покойнику прочитывается за ночь. Но в нашем случае речь идёт не просто о чтении или скорописном воспроизведении услышанного, но о высоком искусстве перевода с одного языка на другой. Исследователи, не сомневающиеся в житийном описании события, приводят такой довод: Мефодий готовился к переводу Ветхого Завета длительное время и, перед тем как привлечь к работе священников-скорописцев, уже располагал черновыми записями, с которых просто надиктовывал страницу за страницей, книгу за книгой.

«Вся книгы... разве Макавеи»... Сомнения в возможности такого стремительного исполнения задуманного труда отпали бы, сохранись велеградские библейские переводы в своём полном первоначальном объёме. Но после кончины Мефодия они уцелели только частично. Не потому ли, что владыка, похоже, не успел вывезти с кем-нибудь в более пригодное для хранения место итоговую часть своей с братом духовной жатвы, как сделал это во время поездки в Константинополь.

Известный знаток кирилло-мефодиевского книжного наследия, профессор А. В. Михайлов ещё в начале XX века предложил на обсуждение коллег наиболее скромную оценку, касающуюся объёма переводческих трудов солунских братьев. «Исторические памятники, — писал он, —

свидетельствуют, что первоучители славян перевели на церковнославянский язык с греческого всю Библию кроме Маккавеев. Причём Кирилл и Мефодий перевели вместе только Евангелие и Апостол (апракосы), Псалтырь и Паримейник, а все прочие книги перевёл после смерти брата... Мефодий. Но так ли это? В настоящее время только относительно церковнославянского перевода Евангелия, Апостола, Псалтыри и библейских отрывков, вошедших в Паримейник, можно с уверенностью сказать, что они восходят к эпохе Кирилла и Мефодия и дело их рук. Что касается других книг Священного Писания и других ветхозаветных текстов, не вошедших в Паримейник, то об их отношении к литературной деятельности Кирилла и Мефодия наука до сих пор ничего определённого сказать не может».

Такой малоутешительный вывод вроде бы трудно согласовать с мнением, которое высказал автор, творивший всего двумя-тремя десятилетиями позже Мефодия. Это Иоанн Экзарх Болгарский, один из выдающихся славянских просветителей эпохи. В своём предисловии к переводу книги «Богословие» («Небеса») Иоанна Дамаскина он упомянул сначала Кирилла, который «мъногы труды прия, строя писмена сло-венъскых книг и от Евангелия и Апостола прелагая избор», а затем и архиепископа Мефодия, который «преложи вся ус-тавъныя кънигы 60 от елиньска языка, еже есть гречесък, в сло-веньск».

Это же число переведённых Мефодием библейских книг находим и в Проложном житии Кирилла и

Мефодия: «...преложи вься 60 книгь Ветхааго и Новаго закона от гречъскаго в словеньскый».

Одно из двух: либо эти цифры и свидетельства, исходящие от почти современников солунских братьев, нужно отнести к панегирическим преувеличениям, либо сдержанный в выводах А. В. Михайлов недооценил подлинных размеров их переводческого творчества.

Конечно, при начале своих трудов братья, как мы помним, ограничивали себя задачами только богослужебного, по точному определению Иоанна Экзарха, избора. Избранное Еван-гелие-апракос, избранный Апостол-апракос... Даже перевод Мефодием Псалтыри поначалу, можно догадываться, ограничивался псалмами и отрывками из них, постоянно звучащими в церковных службах, и лишь постепенно этот избор восполнялся, чтобы к концу его жизни приобрести облик полной 150-псалмовой Псалтыри.

Но что же имел в виду Михайлов, говоря о Паремийнике как ещё одном безусловном труде братьев? Название это попало в русский церковный обиход из греческого, где слово яароіціа означает «притча», «пословица». Паремийниками называли сборники для богослужебных чтений, составленные по преимуществу на основе ветхозаветных книг. Отрывки из них, паремии, иногда звучали во время литургий, но чаще всего—в составе праздничных вечерних служб. Здесь были представлены почти в полном объёме «Притчи Соломоновы», отчего за сборниками и закрепилось это название. Впрочем, в греческом

употреблении они чаще именовались профитологиями, то есть «книгами пророков».

Последнее название более соответствовало содержанию ветхозаветных чтений, поскольку за каждым из них стояло авторитетное имя кого-то из пророков. Имя Моисея, которого почитали как великого законоучителя, создателя первых пяти книг Библии, в том числе книги Бытия. Или имя того же Соломона с его Притчами и Книгой премудростей. Или имя Исайи, пророка из пророков, которому принадлежат самые пронзительные из предсказаний о Рождестве Христовом. Не случайно и книга Исайи почти в полном объёме представлена в паремийниках. Но не обойдены вниманием и пророк Иезе-кииль с его знаменитым пророческим видением о четырёх евангелистах, и Иеремия, и Даниил, и так называемые «малые» пророки — Аггей, Малахия, Софоний, Михей, Иона, Аввакум, Осия, Захарий... И книга Иова. И книги Царств, в которых повествуется о пророках Илье и Елисее.

Так, на праздничной вечерне Преображения Господня читались (и по сей день неизменно читаются) паремии из Исхода и Царств — о явлении Бога пророку Моисею на горе Синай и о наставлениях Господних пророку Илье. Эти отрывки предваряли чтение евангельского зачала о горе Преображения, где Христос предстал апостолам в таинственном собеседовании с Моисеем и Ильёй.

Для своих переводов Псалтыри и паремийных чтений братья, естественно, брали за образец практику константинопольской церкви того века, а в ней

ветхозаветные паремии Священного Писания были представлены в законодательной для всего православного Востока Лукиановской редакции Септуагинты.

Это был не их двоих выбор, а избор всей церкви Христовой. Она сама из века в век мудро наставляла, что христианину нужно помнить из Ветхого Завета в первую очередь, а что можно отложить, как «всякое житейское попечение», для чтения в келье или в мирском жилье.

В понимании церкви Ветхий Завет был царским путём ко Христу. Узкий и тесный путь, и его никто не устилал мягкими коврами, не забрасывал лепестками лилий и роз. Путь, по которому шествовали великие провидцы, осыпаемые злобной бранью, плевками, градом камней. Земные же цари, обличаемые пророками за жестокость, лицемерие, стяжательство и лихоимство, отправляли праведных на мучения, на позорную смерть. Но выходили на тот путь новые страстотерпцы духа, предтечи, укрепляемые светом своих озарений, вдохновлённые свыше.

Таков был в понимании церкви единственно достоверный смысловой стержень всей ветхозаветной истории. Искать её живой промыслительный ток бессмысленно было бы в хрониках династий и колен, в триумфах племенной гордыни, в чреде чудовищных ритуальных отмщений. По сути своей это была история малой горстки богоизбранников, чающих пришествия обещанного от Господа помазанника. История сокровенных предчувствий, выстраданных надежд на приход в мир милосердного Спасителя. Но,

одновременно, и жертвенного агнца, которого предадут на позорное мучение.

...Служебный распорядок молодой моравской церкви, каким он выстраивался когда-то с приездом братьев в Велеград, не мог оставаться неизменным. Прирастала народом паства, прибавлялось число приходов, городских и сельских. От недельных (воскресных) и праздничных служб подступила пора переходить — хотя бы во владычном соборе для начала — к службам ежедневным, для которых содержимого первоначальных кратких апракосов уже не хватало. Служебные Евангелие, Апостол, Паремийник пополнялись новыми зачалами и чтениями. Нужно было обзаводиться и книгами четьими, для домашнего чтения — Четвероевангелием, полным Новым Заветом, полной Псалтырью. Рано или поздно славянин-священник, славянин-монах, славянин-прихожанин хотели и имели право получить представление обо всех книгах Священного Писания — от Бытия до Апокалипсиса.

Вот какие побуждения подвигли однажды архиепископа Великоморавского развернуть перед собой и священниками-скорописцами вся книгы. Но сколько именно насчитывалось в их работе книг? Если вспомнить число 60, которое приводят Иоанн Экзарх Болгарский и автор Проложного жития, то выходит, что Мефодием был предпринят не только перевод ветхозаветных, но и пополнение объёма славянских новозаветных книг. В предреволюционном Синодальном издании церковнославянской Библии Ветхий Завет, включая и три книги Маккавейские, представлен пятьюдесятью названиями. В Новом

Завете, соответственно, 28, считая и Апокалипсис, который в храмовых службах не звучал. Но для Нового Завета мог быть в ходу иной счёт: всего пять (четыре евангелия и Апостол, включающий в себя Деяния апостолов и их послания). И при том, и при другом счёте общее число 60 не собирается.

Цифровые подсчёты оказываются ненадёжным средством ещё и потому, что для IX века нет достаточно выверенных сведений о том, каков был канон или «устав» ветхозаветных книг, принятых к чтению в разных поместных церквах.

В любом случае, Мефодий со своими сотрудниками кроме книг Маккавеев не выкладывали на рабочий стол ещё несколько книг, считавшихся неканоническими (Юдифь, Товит и ряд других сочинений).

Отсутствие в современных книгохранилищах подлинных славянских рукописей из кирилло-мефодиевской книжной мастерской вовсе не означает, что пытливому исследователю невозможно приблизиться к первоисточнику на расстояние почти протянутой руки. К счастью, не всё утерянное пропадает навсегда и насовсем. Сохранились несколько кириллических и глаголических рукописей XI, XII и более поздних веков, которые вполне могли быть списками если не с самих рукописных книг, созданных братьями и их учениками, то копиями первых списков. Нередко устойчивые словарные, грамматические приметы кирилло-мефодиевского литературного стиля просматриваются в древнерусских богослужебных рукописях вплоть до XIV, XV веков. Свидетельство тому — первая древнерусская полная Библия,

знаменитая Геннадиевская, названная так по имени новгородского архиепископа, жившего в XV веке.

По итогам современных исследовательских поисков к творческому достоянию Мефодия неуклонно возвращаются целые главы из его утерянных, казалось бы навсегда, библейских переводов. Тем самым преодолеваются скептические ограничения, предложенные в своё время А. В. Михайловым. Но к каким бы итоговым выводам на эту тему наука ни пришла, самым великим из ветхозаветных переводов, оставленных Мефодием славянскому миру, навсегда уже пребудет книга псалмов.

«Из всех книг, написанных руками человеческими, ни одна, не исключая даже Евангелий, не положила на христианское чувство и сознание печати столь неизгладимой, столь повсеместной, столь властной, как именно Псалтирь. Самая пророческая из пророческих книг, она стала азбукой христианства. В то же время она остаётся венцом молитвенного песнопения, недосягаемым образцом, неиссякаемым источником, питающим поэтическое творчество двух тысячелетий».

Это слова замечательного русского педагога Сергея Рачин-ского из его книги «Сельская школа». О том, что слова не превыспренни, а глубоко пережиты, скажет ещё один отрывок из очерка «Чтение Псалтири в начальной школе»:

«Мальчик, научившийся в школе, хотя механически, но бегло и истово читать Псалтирь, не расстанется с нею до гроба. Случалось ли вам, при вынужденной ночёвке в крестьянской избе, осмотрев от скуки всю скудную её обстановку, раскрыть ту

единственную книгу, которая лежит под полкой с образами? В огромном большинстве случаев эта книга — Псалтирь. Запятнаны её страницы, обтёрты её углы. Но не одна грязь мозолистых рук оставила эти пятна. Тут есть капли воска, есть капли слёз, медленно падавшие на эти страницы во время долгих ночных чтений по дорогим покойникам. Не рассеянною небрежностью истрёпаны эти углы; но благоговейным переворачиванием этих страниц, быть может, многими поколениями. И при всяком чтении для чтеца, по мере его умственного и нравственного роста, ярким пламенем вспыхивал внутренний смысл того или другого речения, до тех пор для него непонятного; и с каждым чтением дороже становилась ему эта книга, лежащая под образами».

Кажется, как непредставимо велико расстояние, — не столько в пространстве, сколько во времени — между славянскими псалмами Мефодия и обыкновенной русской избой, в которой при свече или лучине мальчик вычитывает кафизмы у тела почившего крестьянина, а сельский учитель коротает свою путевую ночь. Но путь перед всеми тот же самый — царская дорога ко Христу.

Несправедливо было бы не привести здесь ещё одно обобщение Рачинского. Отдав должное высоким поэтическим достоинствам греческой Псалтыри, он продолжает: «И этот-то текст с изумительной точностью, с вдохновенною смелостью был переложен на язык юный и свежий, но богатый и гибкий, при этом впервые вошедший в полную свою силу, и перевод этот наложил на юный язык неизгладимую печать. Язык

этот сделался книжным языком великого христианского народа и до сих пор остаётся живым элементом русской речи, письменной и устной.

Самый же перевод стал одним из величайших сокровищ этого великого народа. Каждое его слово, постоянно звучащее в торжественные минуты общественного богослужения, своеобразный ритм каждого стиха, закреплённый дивными напевами прокимнов, антифонов, причастных, срослись со всеми отголосками сердечной памяти, со всеми изгибами верующей души».

Горазд

Подошла пора, когда велеградские ученики, почувствовав в облике и распорядке жизни своего владыки признаки возрастающей усталости, подступились к нему, не без смущения, с вопросом, который всегда в таких случаях вроде бы и неловко задавать, но и таить про себя негоже:

«Кого чуеши, отче и учителю чесъныи, вученицех своих, дабы от учения твоего тебе настолъник был ?»

Казалось бы, с вопросом об ученике, достойном и способном заменить его на архиепископском столе, обращаться следовало совсем не к нему. Разве в его власти утверждать себе духовного наследника? В Риме, в Риме всё решается и решится! В том числе и судьба преемничества на его захолустной кафедре. Но какие ветры подуют из Рима теперь, после нежданной вести о скоропостижной кончине Иоанна VIII? Пусть не всегда и не во всём оказывался папа его надёжным заступником. Но поискать бы надо ещё таких

покровителей, как старый Адриан и этот его преемник, совсем ещё не стариком уложенный в каменную раку.

Архиепископская власть давала и Мефодию право рукополагать в епископы достойных избранников. Но при этом, по старому церковному канону, в поставлении требуется кроме него участие ещё двух епископов. Один у него был, только кто же? Вихинг! Его недреманный соглядатай. Сидит пока что в Нитре, но вожделеет тотчас переселиться к Святополку в столицу, как только помрёт ненавистный ему старый грек.

Хотя при покойном апостолике Иоанне заходила речь о необходимости открыть в преобширной Моравии хотя бы ещё одну епископскую кафедру, чтобы у себя на месте втроём рукополагать новых священников и даже епископов, но в коловращении тогдашних интриг обещание подзабылось. А теперь — кому писать или к кому ехать в Рим по этому делу о его, Мефодия, желаемом наследнике?

Нет, вопрос, заданный учениками, не поставил его в тупик и вовсе не выглядел преждевременным.

«Показа же им единого от извесьтныих ученик своих, нари-цаемаго Горазда, глаголя: "Сеи есть вашея земля свободь моужь, оучен же добре в латинъскыя книгы, правоверен. То буди Божия воля и ваша любы, яко же и моя "».

Таков ответ, читаемый в «Житии Мефодия». Выбор владыки пал на Горазда. Всё, что сказано было о нём, уместилось, как видим, всего в одно краткое предложение. Но нелишне заметить сразу же, что это единственный из учеников, названный во всём житии по имени («Житие Кирилла» не называет вообще ни

одного). И вот в таком подчёркнутом внимании к имени прочитывается уже не воля владыки, а безусловное согласие с его выбором всех, кто присутствовал и признал мудрую правоту старца.

Почему Горазд? Для начала потому, что он «свободь муж». По понятиям времени, речь шла даже не о личной свободе, а о принадлежности к избранному сословию, к людям родовитым и именитым. Разве это не преимущество на случай, если против такого избранника начнёт злоумышлять заезжий шваб Вихинг? Уж тут-то моравская знать не даст в обиду выходца из своей среды.

Вторым преимуществом было то, что священник Горазд, как все ученики Мефодия, читал и по-гречески, и по-латыни. К тому же он не просто преуспел в латинской грамоте, но знал и латинскую церковную службу. А ведь знание такое пригождалось всякий раз, когда за литургией надо было сначала читать Апостол и Евангелие латинской речью, на чём настаивал Рим, а потом уже, если угодно, по-гречески или славянски.

Но ещё более был Горазд способен, успешен и горазд, — чем и оправдывал своё имя, похожее на добродушное семейное или уличное прозвище, — в усвоении смысла, чина и по-следования славянской службы. Наконец же и во-первых, был он твёрд и, по определению владыки, правоверен в стоянии своём за нерушимость христианского исповедания, то и дело подвергаемого нападкам триязычников или изобретателей фшшокве.

Вопрос о преемнике никак не мог решиться сам по себе. Свой выбор владыке следовало отстоять. Как ни

обременительно в его летах готовиться к очередному посещению папской канцелярии, а иных мест, где бы ему постоять за своего Горазда, добившись его рукоположения в епископы, Мефодий не знал. Ехать же в Рим, не дождавшись вызова от нового апостолика, он тоже не мог. Его нежданное появление сочли бы в лучшем случае за дисциплинарный проступок.

Однако шли месяц за месяцем, а от нового папы никаких сообщений не поступало. Так ни единого и не пришло. Причину его молчания напоследок искали в том, что папский век этого апостолика по имени Марин оказался очень уж короток — менее полутора лет. Из немногих вестей, дошедших до Велеграда при его правлении, одна насторожила: Марин, оказывается, быстро успел рассориться с императором Василием и с патриархом Фотием. Да и вторая весть озадачила: в Рим по воле Марина возвращён епископ Формоза, осуждённый покойным Иоанном VIII за участие в заговоре. Этого Формозу Мефодий запомнил ещё по первому приезду в Рим. Когда папа Адриан II благословил посвятить во священники трёх моравских учеников, то поручил совершать рукоположение двум епископам, в том числе Формозе. Уже в те часы знакомства Философу и Мефодию было видно, что Формоза по духу своему — истовый триязычник и поручение апостолика исполняет, почти не скрывая недовольства, лишь по долгу службы.

И двух этих вестей было велеградскому владыке достаточно, чтобы понять: лучше ему к Марину, даже если вызовет, не спешить. А тут как раз подоспела ещё весть. Если кто и вызовет его, то уже не Марин, а

другой. Имя этого другого Адриан III. Впрочем, и с ним Мефодию не довелось увидеться*.

Труднее сказать, успели они или не успели вступить хотя бы в переписку друг с другом. До Велеграда ещё во второй половине 884 года могли поспеть воодушевляющие сообщения из Рима и Царьграда о первых поступках нового апостолика. Адриан III предпринял шаги для исправления грубых ошибок своего предшественника, допущенных в отношениях с византийским двором и константинопольской патриархией.

Мефодию и его сподвижникам очень хотелось надеяться на прочность этой самой недавней перемены к лучшему. Пусть в Риме возобновятся для начала хотя бы те настроения, которые они застали когда-то при старце Адриане II, тезоиме-ните теперешнего папы.

Да, для начала хотя бы! Мефодий поневоле был сдержан в оценках и ожиданиях. Он повидал уже не один самонадеянный рывок Римской курии к первенству в пределах всей вселенской церкви. На его веку Западная церковь всё чаще впадала в какие-то воспалённые состояния, при которых проговариваются вслух прегордые мечты о собственной духовной исключительности. Не стало ли это следствием того, что у пап никогда не было сбоку для надёжной опоры кесарева плеча, мирского равновеса? То есть императорская христианская власть ещё со времён Константина Великого как была, так и пребывает — для римской церкви, равно как и для всех. Но императоры далеко, на Босфоре, а мирского величия хочется не вдали и для всех, а здесь, у своего плеча.

Здесь, в вечном Риме, где всемирное величие сияло незаходимым солнцем при августах-язычниках. И потому раз от разу возникало желание поискать чьё-то ещё плечо, более надёжное и близкое. И уже нашли было при папе Льве, когда он самочинно, в порыве небескорыстной лести произвёл в императоры Карла Великого. И чего добились? Того, что теперь сразу несколько королей, наследников Карла, не могут поделить между собой земли мнимой «Римской империи». Сами же папы то и дело испытывают неудобства от препирательств в семействе покойного

* На папскую кафедру Адриана III возвели 17 мая 884 года, то есть всего за год и четыре месяца до его неожиданной кончины, случившейся во время поездки к королю Карлу III Толстому, сыну Людовика II Немецкого. Об этом апостолике, как и об Иоанне VIII, существовало предание, что он умер насильственной смертью. Мефодия он пережил меньше чем на полгода.

Людовика. Не оставляет в покое курию и духовенство франкское, с его постоянными самоуправствами. Разве не пытались и Мефодия те самоуправники лишить власти, вручённой ему на ступенях папского престола?..

И вот курия мечется. То просят василевса, одного, затем другого о военной помощи против арабов в южной Италии. То капризно забывают о полученной поддержке, и василевс им уже не брат во Христе, а разбойник, покушающийся со своим патриархом захватить все болгарские церковные приходы... То снова учтиво ищут у Константинополя защиты от арабских морских пиратов.

Такая изнуряющая неуравновешенность в отношениях между двумя церквами не может, не должна продлиться долго. Ни он, Мефодий, ни его покойный брат не предполагали, что на их веку необратимое уже обозначилось, что распри, невольными свидетелями и участниками которых они становились, из мелких трещин вот-вот превратятся в земные провалы. В конце концов старый Рим не захочет навсегда смириться с физической кончиной своего имперского величия. Его церковь воззавидует величию Рима нового и продолжит строить своё грандиозное здание при одной лишь папской главе — без опоры на кесарево плечо.

...Не имея возможности в скорые сроки поставить перед новым апостоликом вопрос о своём желаемом преемнике, владыка решил действовать пока что в пределах архипастырских полномочий. Его ответ ученикам о Горазде как о преемнике поначалу был дан, как можно догадываться, келейно. Но свой выбор ему следовало озвучить и во время проповеди за литургией, когда, по давно заведённому правилу, Мефодий обращался ко всему народу со словом о празднуемом торжестве или об услышанном сегодня евангелии. Или же о наиболее важных событиях в жизни моравской церкви.

Он знал, что молва о его выборе быстро расстелется по всей Моравии, а кое-где даже обгонит архиерейское письмо, подтверждающее его волю и рассылаемое в славянских списках во все приходы, где служат его духовные дети.

Он понимал, что слух о предпочтении, которое он отдаёт Горазду, первым делом долетит до Нитры и конечно же возбудит ярое негодование Вихинга. И потому Мефодий без всякой отсрочки огласил с велеградской кафедры ещё одно своё архипастырское решение. Суровое, но необходимое, чтобы искоренить источник непрекращающихся церковных смут. Он не желает более терпеть на епископском столе в Нитре неисправимого еретика, искажающего догматы вселенской церкви, сочинителя клеветнических подделок, оскверняющего своим поведением образ апостольского служения. Он анафе-матствует Вихинга, изгоняет его из лона церкви.

И одно, и другое решения Мефодий не считал допустимым утаивать от апостолического престола и при первой удобной оказии постарался переслать письменные извещения о них в канцелярию папы Адриана III.

В те же дни стало известно, что Вихинг прикровенно отбыл из Нитры. Куда? В Баварию, к зальцбургским покровителям? В Венецию, к своему напарнику по козням против Мефодия? Или прямиком в Рим?

Страстная седмица

У князя Святополка было три сына. Существует старое благочестивое предание о том, что однажды князь призвал к себе этих уже возмужавших княжат и положил перед ними обыкновенный крестьянский веник для уличного сора, состоящий из пучка перевязанных ближе к основанию прутьев. Князь

спросил, может ли кто из сыновей переломить веник. Взялся один, напрягался так и эдак, не поддаётся веник. Попробовал второй — не ломается. Ничего не получилось и у третьего. Тогда князь развязал веник и отдельно переломил один прут за другим. «Вот так и вы, — сказал сыновьям. — Когда все вместе, в согласии, вас никто не одолеет. А когда каждый только за себя, тогда вас поодиночке и сломают».

Наверное, ни один из сыновей не решился напомнить тогда отцу о старой надсаде их семейной памяти, о которой они могли слышать, и не раз, вне родительских стен: согласие хорошее дело, но сам-то их отец не захотел жить в согласии со своим дядей.

Эта притча, приписываемая Святополку, на самом деле — сюжет бродячий. В разных странах и даже на разных континентах живучее это сказание не раз исходило из уст почтенных отцов, преподающих сыновьям такую простую и вместе мудрую истину. Вполне мог считать её своей и Святополк.

После возвращения Мефодия из Константинополя князь, видимо, немало удивлённый тем, что владыка столь достойно принят у себя в Византии, а не подвергнут там суровым карам за услужения Риму (что предрекал Вихинг), старался больше не подчёркивать перед архиепископом пристрастий ко всему латинскому, а почаще заявлять о своём моравском и славянском родолюбии.

Вот и после исчезновения из поля видимости Вихинга Святополк даже с удовольствием заговорил о вреде раздоров в церковной жизни. Ученики Мефодия надолго запомнили улыбчивые укоризны князя-

родолюба, обращенные к владыке и к ним заодно: с меня, мол, неучёного, каков спрос, но вы же у меня тут все христиане, как и эти латинисты немецкие, тоже христиане, так что же вы нас, простецов, миротворению учите, а между собой христианского мира никак не заведёте?

Но при этом радетель о мире не мог скрыть выжидательной приглядки искусника, намеренного при любом исходе дел что-то для себя выгадать.

Тем временем в приобретении земель князь, как и прежде, преуспевал. Уже и Паннонское княжество после смерти Коцела удалось Святополку выторговать у баварских маркграфов. Уже и владения свои именовал он не просто Моравской, а Ве-ликоморавской державой. Право же, она расширялась куда стремительнее, чем соседняя Болгария.

Одна только забота с недавних пор нешуточно озадачивала князя, и кручиной этой он захотел поделиться с Мефодием. В слабозаселённые порубежья между его державой и болгарами с восточной стороны забрёл, а прямее сказать, вломился без спросу какой-то неизвестный доселе кочевой люд, прозывающий себя уграми. Откуда объявились и куда намереваются двинуться, неведомо, но доносят про них, что воинственны, злы, жадны, речью говорят никому не понятной, не разбирают ничьих прав и владений. И между их вожаками есть один, которого даже королём именуют. Через купцов, идущих своими всегдашними дорогами с востока и на восток, этот, величающий себя королём, уже прослышал о мудром моравском

наставнике веры и теперь зовёт Мефодия к себе для знакомства.

Что скажет владыка? Нужно ли ему отвечать на прихоть какого-то незваного пришлеца? Как лучше по-христиански поступить? От этих угров, слышно, любой пакости можно дождаться...

Если по-христиански, то надо, помолясь, поехать. Так решил для себя Мефодий. Пусть и дорога не близка, и хворей в теле не убывает, но почему же не собраться? Ведь король этот зовёт его как христианина. Значит, о христианстве уже наслышан. Христос всегда шёл, когда кто-то звал его для беседы или для помощи в свой дом. К сотнику шёл, к мытарям, к важному сановнику, к фарисею, к бесноватому — никому не отказывал. Как же и ему, старику, оступиться теперь с царского пути?!

Да и время ли бояться за свою жизнь? У кого только не побывал, с кем только не виделся... Исполнял поручения трёх ромейских императоров, встречался и обсуждал судьбы славянской церкви с двумя римскими папами, а святые мощи ещё одного папы привёз вместе с братом в Рим; сиживал за восточной словесной трапезой перед хазарским ханом и его всевластным беком; шутливо возражал на суде немецкому королю; крестил в гостях сербку — жену чешского князя; говорил в лицо баварским епископам невыносимую для них правду; давал отеческие наставления славному моравскому князю, потом пытался и до сих пор старается учить уму-разуму другого... А однажды они с братом без всяких даже увещаний, лишь властью молитвы угомонили посреди степи наскочившую на

них ватагу разбойных угров — так ему ли бояться новой встречи с уграми, даже если у них теперь и свой король завёлся?

Ничем не обидел его этот предводитель. Жадно распытывал владыку о вере, с завистью глядел на святые книги, в которых вера высказана для всех, кто пожелает услышать или прочитать. Огорчался, что нет ещё у его народа своих книг. Но зато есть желание не искать больше по свету иных земель, а осесть на этой и учиться у тех, кто тут мирно живёт, выращивать хлеб и выдерживать в бочках весёлое золотого цвета вино. А на прощание просил владыку молиться о нём и приезжать ещё и ещё по-дружески. Не меньше короля довольны были и купцы-переводчики, устроители беседы и пира, а значит, по их понятию, самые важные во всём событии люди.

Святополк не зря тревожился. Эти угры, как понял их намерения Мефодий после новой встречи, утомились уже гулять по свету и вряд ли обильны народом настолько, чтобы состязаться в зверских подвигах с ордами, что приходили до них, с теми же гуннами или аварами. Они тут, пожалуй, и осядут, и укоренятся. На земле не жаркой и не студёной, а тёплой, как парное молоко или бродящее вино. И тогда Святополку, хочет ли, не хочет, а придётся потесниться. Или не впускать их, а воевать. Но воевать сразу на востоке и на западе, с уграми и немцами, хватит ли сил?*

Мефодий твёрдо стоял на том, что держава сильна не кровью, не одними лишь мечами и шлемами, даже не общей речью, а верой, излагаемой родными

словами. Для веры же нужно потрудиться несравненно больше, чем для того, чтобы меч выковать. Если ты крещён, и осенить себя умеешь крестом, и поклоны кладёшь до земли, и расторопно чмокаешь руку сво

* Князь Святополк умер в 894 году, оставив Великоморавскую державу в управление трём сыновьям — Моймиру II, Святополку II и Предсла-ву. Сыновья не смогли сохранить государственное единство страны, и спустя десять с небольшим лет Великая Моравия под натиском венгров прекратила своё существование.

ему владыке или попу, то не думай, что уже всю веру стяжал. Ты ещё и на нижнюю ступень лестницы подошву не поставил.

Никому не преграждён путь, никому и не закрыта дверь к вере — ни вору, ни убийце, ни блуднику, ни предавшему своих, ни кривляющемуся лицедею. Потому что Христос всем говорит: Я — ваш путь, Я — ваша дверь. Но и предупреждает: узок путь, тесны врата. Вот где понадобится сила, которая в вере...

Разумеешь ли, княже Святополче? Разумеют ли сыновья твои? Македонец полмира покорил, стольких богов и божков по дороге собрал в свою кумирню, и всё вмиг рассыпалось. Где его полки, где царство, где сила? В бесславье, как в песок, всё ушло... А где Атилла? Он же здесь гулял, где мы беседуем, и Рим развалил до обломков, а где его сила? Бесславьем заросла... Но тебе, княже, разве не дан другой пример? Сим побе-диши, как победил некогда император Константин Великий. Иной победы, иной силы не сыщешь...

Мефодию, столькие годы собеседовавшему прямой и открытой речью — сначала по-гречески, а потом и по-славянски — с царём-Псалмопевцем, не было навыка, разговаривая теперь с князем, переходить на язык лести или учтивых потаканий, к которым так приучен был властелин Моравии.

После разговоров с ним оставалась надсада: да впрок ли они? А с надсадой подступала к сердцу слабость. Или это был признак неумолимого старения, о котором тот же Псалмопевец с мягким сокрушением сказал: дни лет наших — семьдесят лет, через силу восемьдесят, а сверх того — болезнь и труд; когда же придёт кротость на нас, ею научимся.

Но до поры не ведаешь, когда он прозвучит, голос, доступный только твоему слуху. И прозвучит ли он для тебя? У брата его был такой слух. Мефодий, по крайней мере, дважды в том убеждался: когда в Херсоне Философ предрёк скорую кончину архиепископа и когда в Риме сам вдруг разболелся и вскоре попросил постричь его в монашеский чин.

Но можно и болеть, и сильно недуговать, а всё не слышать. Можно изойти в напряжённом ожидании, но голоса всё не будет. А достоин ли ты, чтобы тебе сообщены были твои сроки?

Владыке нездоровилось в утро Цветной недели, когда Господь входит в Иерусалим и весь город радостно высыпает на улицы встречать Грядущего, и дети устилают камни мостовых молодыми побегами пальм, а здесь, в Велеграде, — ветками распушившейся серебристой вербы. И столько детского щебета в

пригретом апрельском воздухе, и таким победным гимном раздаётся вширь и ввысь:

Величаем Тя, Живодавче Христе, осанна в вышних, и мы Тебе вопием:

благословен грядый во имя Господне!

Как же в такой день не быть со всеми? И он превозмог себя, пришёл, вступил в собор, как в переполненный гудящий улей, замер в алтаре перед престолом. И тут расслышал.

Он достоял службу до конца и произнёс благословение — своему цесарю, князю и всем здесь служащим, поющим, предстоящим. И после того сказал бывшим около него, чтобы они от этого часа не оставляли его молитвенной стражей и попечением. И даже срок свой назвал: «Стрезете мене, дети, до третяго дне».

И потом, в понедельник и во вторник Страстной седмицы, когда лежал на своём твёрдом монашеском ложе, всё самое сокровенное, таинственное, что пелось в храмах, звучало и в нём. Это ведь были его с братом и первыми учениками самые ранние славянские начатки. Но он уже не различал, чьи именно начатки. Его наполняло чувство, что это пение звучало ещё до них и будет звучать всегда.

Се, Жених грядет в полунощи,

и блажен раб, его же обрящет бдяща...

Близость величайшего события изо всех, когда-либо происшедших на земле для смертных людей, переполняла его трепетом, потому что видел свою неготовность быть допущенным к самому торжеству торжеств.

Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, но одежды не имам да вниду в онь; просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.

Но всё подсказывало, что в Великий Четверток чудесный страстной чин чтения двенадцати евангелий отслужен здесь будет впервые без него...

И что же, Мефодие, и что же?! Когда-то этот чин страстной впервые был прочитан и без брата твоего, которому каждая буква, каждый звук принадлежали в том чтении. Но так прочитан, будто и Кирилл стоял с ними вместе, читал и пел. Так и с тобою будет. Прочитают без тебя, но с тобой. Ты всё отдал, что мог, и не тревожься. Что бы без тебя ни случилось, твои дети всё прочитают, всё споют и исполнят. Всё продлится, как вы с братом хотели. И плащаницу украсят, и на пасхальный ход выйдут под звёзды с хоругвями, и воскресным целованием друг друга обымут, и тебя проводят с пением до земли, и душа твоя в светлых одеяниях внидет в чертог Спасителя нашего. Иного не будет, ибо ты прошёл царским путём и не сбился.

...В среду на рассвете он тихо проговорил: «Вруце Твои, Господи, душюмою вълагаю». И с тем мирно почил, поддерживаемый священниками. Гроб с его телом, приготовленным к отпеванию, внесли в соборную церковь, где, на левой стороне от алтаря, решено было после прощания предать почившего земле. За литургией и панихидой читали и пели на греческом, на латыни и на родном своём языке, ради которого были все его с братом Кириллом вдохновения, испытания и труды.

Люди же бесчислен народ собрався,
проважаху со свещами плачущееся
добра учителя и пастыря,
мужеск пол и женьск, малии и велиции,
богатии и убозии, свободнии и раби,
вдовиця и сироты, страньнии и тоземьци,
недужнии и здравии,
вси бывшааго всяческо всем,
да бы вся приобрел.
Ты же свыше, святая и честная главо,
молитвами своими призирай на ны,
желающая тебе избавляй от всякоя напасти,
ученикы своя и учение пространяя, а ереси прогоняя,
да достойно звания вашего живше зде,
станем с тобою, твое стадо,
о десную страну Христа Бога нашего,
вечную жизнь приемлюще от Него,
Тому же есть слава и честь в векы веком.
Аминь.

Так, по «Житию Мефодия», проводили моравляне своего владыку. Агиограф — а им был Климент, один из способнейших учеников солунских братьев, в будущем архиепископ Ох-ридский, — прибег в своём описании, как видим, к языку особому, передающему трепет, сердечное смятение тысяч людей, вдруг лишившихся такой мощной духовной защиты. Обычно строгий, сдержанный, даже скуповатый в обращении со словом, Климент будто решил напомнить напоследок, что люди провожают ещё и подлинного поэта, потому что только поэт был способен оставить им в дар

славянскую Псалтырь, многие другие вершинные образцы христианской поэзии. Как и эту песнь прощания и надежды, что сейчас звучала под сводами собора и вне его стен:

Со святыми упокой, Христе,
душу раба Твоего, новопреставленного Мефодия,
идеже несть болезнь
ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь бесконечная.

Погром. Бегство. Победа

«Житие Мефодия» завершается описанием проводов владыки, вылившихся поистине во всенародный сбор верных ему духовных чад. Тогда же было подсчитано, что на панихиду сошлось и съехалось отовсюду около двухсот одних только старших учеников — священников и дьяконов. А сколько прихожан стеклось от ближних и дальних градов и весей? Над всеми плачами и скорбями плескалась в те дни пасхальная радость о воскресшем Христе.

Похоже, Климент и принялся за жизнеописание Мефодия вскоре после его кончины, когда обострённая утратой память помогала всему осиротевшему содружеству учеников заново переноситься в дни испытаний, прёодолённых бок о бок с владыкой. И когда всем им так хотелось надеяться на то, что сама картина благодатного прощания Моравии со своим кормчим веры наконец-то усовестит двоедушных. А недоброжелателей угомонит — навсегда или хотя бы надолго. Утешение находили и в поминальных службах над местом захоронения, куда стекался народ отовсюду*.

В сентябре, через полгода после смерти Мефодия, в Риме произошло избрание нового апостолика. Им вместо скоропостижно скончавшегося Адриана III стал Стефан V. Одним из тех, кто с особым нетерпением ждал этого избрания, оказался анафематствованный Мефодием бывший епископ Нитры Вихинг. Надо полагать, он уже вооружился доводами, подтверждающими совершенную незаконность единоличного и самоуправного отлучения от церкви, которое он претерпел от покойного архиепископа. Который также не имел никакого права на то, чтобы самовольно объявлять своим наследником на кафедре одного из собственных любимцев, Горазда.

Вряд ли Вихинг успел сразу же пробиться на приём к апос-толику. Только в самом конце 885 года Стефан V отправил буллу в Велеград, адресованную князю Святополку. Кроме того, в Моравию отбыл с письменными инструкциями папский легат епископ Доминик в сопровождении двух священников. Им было поручено рассмотреть причины и суть споров, возник

* В XX веке чешские и словацкие археологи предпринимали неоднократные попытки разыскать место захоронения Мефодия. К сожалению, экспедиции оказались безуспешными. Главной помехой послужило отсутствие непротиворечивого местоположения Велеградского кафедрального собора. К тому же, возможно, останки первого архиепископа Великой Моравии были перезахоронены его сподвижниками, как только возникла опасность их осквернения противниками «славянской церкви».

ших среди местного духовенства, в том числе по поводу искажения Символа веры прибавкой filioque.

Стефан в патетических тонах благодарил князя за верность святому престолу (иногда эту патетику объясняют тем, что совсем не бедный на ту пору Святополк, судя по всему, отправил по совету Вихинга в Рим, на имя нового апостолика, щедрую помощь, прослышав о всеобщем голоде, поразившем полуостров). Довольно подробно писал папа о том, что римская церковь не считает нужным вовлекать людей, не обученных теологии, в обсуждение сложных догматических тем, таких, как вопрос об исхождении Святого Духа.

Но письмо папы и инструкции, вручённые епископу Доминику, далеко не во всех подробностях совпадали. Это дало повод исследователям предположить, что и на сей раз, как и несколько лет назад, были произведены подтасовки. И эти фальсификации, случившиеся при составлении документов или их оглашении на месте, снова исходили от расторопного Вихинга.

Однако в любом случае и булла папы, и переданные им инструкции в одной точке сходились вполне. В храмах Моравии категорически запрещалось служить литургии «на местном языке». Этим самым Стефан V отменил разрешение на славянские церковные службы, которое пять лет назад Мефодий добился у папы Иоанна VIII.

Попутно Стефан отменил церковное отлучение епископа Вихинга и возвратил ему кафедру в Нитре. Что же до Горазда, то апостолик, у которого, возможно, имелся письменный запрос Мефодия, адресованный

ещё Адриану III, посчитал, что принять по такому щепетильному делу окончательное решение можно только в Риме, в присутствии самого священника.

Но Вихинг был уже на месте и снова действовал с опережением любых булл и инструкций. Из двух житий, написанных много позже и посвященных самому Клименту Охридскому и ещё одному из ближайших сподвижников Мефодия, монаху Науму, проступает поистине зловещая картина беспощадного погрома кирилло-мефодиевской духовной миссии, учинённого в Великоморавском княжестве в 886 году при попустительстве Святополка.

Началось всё как будто вполне благопристойно — с открытого обсуждения вопроса об истинном понимании Символа веры. Князь Святополк присутствовал, но в полемике отказался участвовать, сославшись на свою неготовность к разумению догматических различий, предложенных сторонами. Он лишь предложил решать суть спора так, как принято всегда в моравском мирском суде, — произнесением клятв. В Пространном житии Климента Охридского князь выражает своё условие в таких словах: «...кто первым явится и принесёт клятву, что он верует хорошо и правоверно, тот и будет, согласно моему суду, безупречным знатоком веры, тому и передам я Церковь и вручу, по справедливости, церковное священство»*.

Притом что автор жития к Святополку относится крайне недружелюбно и не жалеет для него чёрной краски, князь в этой своей речи вполне узнаваем. Опять всё те же хорошо известные приёмы лукаво-

простоватого игрока, так любящего наблюдать за дракой со стороны.

Похоже, сторонники Вихинга были о принесении клятв предупреждены заранее. Собственную клятву они кинулись оглашать перед князем и всем собранием сейчас же, едва выслушав до конца его выступление.

«Суд» и послужил знаком к расправе. Задним числом говорили, что, присутствуй сам Святополк до конца при событиях следующих дней, он, возможно, не допустил бы такого разгула жестокостей, какой учинило франкское духовенство. Но вскоре после ареста и заточения в тюрьму нескольких наиболее известных учеников владыки Мефодия, в том числе Горазда, Климента, Наума и Ангелария, князь покинул город по каким-то своим как всегда неотложным делам. Не всё же сидеть здесь и выслушивать стенания защитников славянского богослужения, закованных для острастки в железа.

В городское узилище, на испытание голодом, холодом и на пытки зачинщики погрома кинули тех, кто постарше. До двухсот молодых священников, дьяконов, чтецов отобрали на продажу. Купцы-евреи не поскупились, зато впервые повезли в Венецию на рынок рабов такую крупную партию славян-грамотеев.

В том же году на невольничьих торгах в Венеции оказался и пресвитер Наум, хотя по возрасту он был далеко не молод. В житии его сказано, что когда-то они с Климентом посетили Рим в дружине Кирилла и Мефодия, и папа Адриан «и Климента и Наума с прочими свештенници и диаконы рукоположы». Значит, до прибытия в Рим Наум вместе с учителями

уже пожил в Венеции и имел представление о размахе здешних рабо-торговых сделок.

Только теперь не он наблюдал, а к нему приценивались. И уже продан был заново и ждал неизвестной дороги. Но «по строению Божию» оказался на торгу знатный ромей из Константинополя, исполнявший в городе поручение самого царя

* См.: Флоря Б. Н., ТуриловА. А., Иванов С. А. Судьбы Кирилло-Мефо-диевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000. С. 185.

Василия. Он быстро различил по облику Наума, по разговору с ним и другими невольниками из Моравии, что перед ним несчастные особого рода-племени. Этот царёв муж, не мешкая, выкупил нескольких учеников Мефодия и отвёл их на свой корабль, отходящий в сторону Босфора.

Так Наум оказался в Константинополе. О спасённых из неволи было доложено царю Василию и, надо полагать, патриарху Фотию тоже. Вскоре же нашлись труды и для этих знатоков славянской церковной службы. Кто-то остался в столице, а Наум уехал на служение в Болгарию, где через время его ждала ещё одна подобная чуду встреча.

...Вовсе не милосердием победителей можно объяснить то, что однажды Климент и ещё несколько страдальцев были всё же выпущены из велеградского узилища. Их дальнейшее пребывание в застенке слишком будоражило весь город. Ропот моравлян, возмущённых жестокостью насильников, грозил перерасти в открытое неповиновение. Подручные Вихинга не решались в отсутствие князя и его воинства

пролить кровь тех, кого моравляне уже открыто почитали как мучеников за веру и новых чудотворцев, у кого оковы в тюрьме уже не раз сами спадали с рук.

Отряду немцев-стражников было приказано тайно вывести нескольких заключённых за город. Измождённых побоями и голодом людей, чтобы унизить и опозорить их до предела, раздели догола. Подталкивали сзади копьями, приставляли к шеям мечи. Будто развлекались напоследок, перед тем как убить. Дул свирепый ветер, какой тут бывает в конце зимы, при начале весны. Это запомнилось Клименту как признак того, что ведут в сторону большой неуютной реки. Ветер глодал их тела, кости ныли немилосердно. Непогода донимала и стражников. Через время они перестали понукать и стращать. Похоже, сообразив, что ветер доделает всё и без них, вояки развернулись и бодрым шагом ушли в сторону города.

Тогда, уверясь в своём нежданном освобождении, чуть прибавили шагу и Климент со спутниками. Или им только казалось, что они спешат? Положение было плачевнее некуда. Кто их в таком облике не побрезгует подпустить к своему жилью, кто не пожалеет самой завалящей одёжки, охапки соломы для ночлега?

Когда добрели, наконец, к хмурому, в мурашках, Дунаю, кое-как смастерили плот и, собрав сухие стволы, связав их липовыми лыками, переправились на другой берег — всё подальше от недавней своей беды. И теперь направление было одно — приречными тропами и дорогами, всё вниз и вниз по течению. А там, у впадения в Дунай Савы, на каменном кряже стоит малая крепость Белград, и в ней уже приходилось

им быть вместе с Мефодием, а ещё раньше и вместе с Философом. Теперь крепостью владеют болгары, а к ним, болгарам, и надо идти. Так завещал Мефодий: случись что, надо уходить в Болгарию, к князю Борису-Михаилу, в его престольную Плиску.

И они дошли до Белграда, а оттуда добрались и до Плиски. Все были приняты и обласканы князем Борисом. Через время Климент получил под своё церковное начало целую область, а позже обосновался в невеликом Охриде, на берегу Белого озера, где построил монастырь, открыл школу, книгописную и иконописную мастерские, — всё по образцу и примеру незабвенных своих учителей. Тут и встретился с пресвитером Наумом.

Разве это не чудо — их встреча? Слишком много делалось на их веку, чтобы никогда этим двоим, да и всем остальным ученикам больше не увидеть друг друга. Пресвитер Наум принял иноческий постриг и основал монастырь с церковью Михаила Архангела в нескольких километрах от обители Климента, «на исходь Белаго езера», как сказано в его житии. К Охридской дружине продолжателей кирилло-мефодиевско-го дела присоединился и Ангеларий. Ещё один ученик, из способнейших, Константин Преславский, служил и творил в новой столице Болгарии, построенной сыном Бориса-Михаила царём Симеоном, — в Преславе.

Личности учеников, уцелевших после разгрома славянской миссии в Моравии, связанные с ними судьбы средневековой письменности в Болгарии никак не заслуживают скороговорки. Но это уже отдельные

объёмные главы в истории становления и развития славянской православной культуры.

Здесь же выход за рамки биографий Константина-Кирилла и Мефодия допущен лишь для того, чтобы хоть немного понятнее стало, какая невероятная жизнестойкость понадобилась тем немногим, кто уцелел после кончины великоморавского архиепископа.

Впрочем, разве и сами солунские братья не испытывали при жизни почти постоянных угроз своему славянскому замыслу и его осуществлению? По сути, в их судьбе есть две строки, до сих пор не поддающиеся никакому рациональному прочтению. Во-первых: как всё же они успели сделать то, что ими сделано? И второе: как то, что они сделали, не погибло почти сразу, а сохранилось до наших дней?

Вряд ли поддались эти строки и мне в предложенном здесь рассказе. Но когда я вхожу в православную церковь в любом городе или селе России, когда слышу псалмы в быстром, но

отчётливом исполнении чтеца, или голос дьякона, возглашающего стихи великой ектений, когда священник в алтаре зачитывает Евангелие или певчие на клиросе доносят, будто из облаков, сокровенное «Иже херувимы...», когда весь храм согласно запевает «Верую...», — ответы на невыясненные вопросы сами открываются.

Эти люди, жившие столь давно, больше, чем самих себя и чем друг друга, больше, чем родных своих и друзей, возлюбили Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. И эту любовь свою они так сильно

захотели выразить на языке, который с детских лет знали, а возмужав, познали в совершенстве и полюбили как свой родной, что им удалось совершить то невозможное, что они совершили.

Евангельский Христос, благодаря их любви заговоривший по-славянски, пришёл ко всем, кто с нетерпением ждал его как единственного Спасителя своего. Поэтому богослужебный язык, созданный ими, не погиб сразу, жив сегодня, не престанет звучать и впредь.

Ничто в этой священной победительной речи не изменилось, каждый стих, каждая строка и буква, каждый смысл стоят неколебимо. В любую минуту церковной службы святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий молятся и дышат рядом с нами.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА

810—815 — приблизительное время рождения Мефодия.

Конец 826-го — начало 828-го — примерная дата рождения Константина.

842 — вступление на престол византийского императора Михаила III.

843 — прибытие Константина на учёбу в Константинополь.

Восстановление иконопочитания в Византии.

846 — начало княжения Ростислава в Великой Моравии.

Около 850 — диспут Константина Философа с бывшим патриархом, иконоборцем Иоанном Грамматиком.

852 — начало правления в Болгарии хана Бориса.

855—856 — приблизительное время Багдадской миссии Константина.

856, 20 ноября — убийство в Константинополе логофета Феоктиста. Императрица Феодора отстранена от регентства.

856—860 — пребывание Константина вместе с Мефодием в вифинском монастыре на горе Малый Олимп.

858, 25 декабря — Константинопольским патриархом становится Фотий.

860, июнь — поход русов на Царырад.

Осень — начало зимы — морское путешествие Мефодия и Константина в Херсон Таврический.

861, 30 января — обретение братьями мощей святого Климента, папы

Римского, в окрестностях Херсона. Весна — миссия в Хазарию.

Смерть князя Прибины в сражении с Ростиславом Моравским. Блатенское славянское княжество возглавляет князь Коцел, сын Прибины.

862 — первые летописные упоминания русских городов — Новгорода, Изборска, Белоозера, Ростова, Мурома, Полоцка. Посольство князя Ростислава Моравского в Константинополь (предположительно).

Союзный договор между Людовиком Немецким и Борисом Болгарским, направленный против Моравии. 864 — начало Моравской миссии Константина и Мефодия (предположительно).

Болгарский хан Борис крестится по византийскому обряду и принимает христианское имя Михаил.

Август — король Людовик II Немецкий нападает на моравский град Девин и принуждает князя Ростислава к принятию вассальных отношений.

866 — болгарский князь Борис обращается к папе Римскому и Людовику

Немецкому с просьбой о присылке немецкого духовенства.

867 — после свержения Михаила III константинопольский трон занима-

ет император Василий I Македонянин; на патриарший престол возвращён Игнатий. Отстранение патриарха Фотия и его ссылка. 13 ноября — кончина папы Николая I.

14декабря — вступление на престол римского папы Адриана II.

868, начало года — торжественные славянские богослужения в Риме.

Конец декабря — монашеское пострижение Константина с именем Кирилл.

869, 14 февраля — кончина в Риме Кирилла.

После землетрясения частично обрушился купол Святой Софии в Константинополе.

870, конец весны — Мефодий подвергается аресту и заключён в один из баварских монастырей.

Зальцбургский архиепископ устраивает суд над Мефодием

Ноябрь — суд в Баварии над князем Ростиславом. Смертная казнь заменена ослеплением. 871 — народное восстание в Моравии против господства немцев.

873 — освобождение Мефодия из тюрьмы.

874 — Святополк предпринимает успешные воинские акции против язы-

ческих славянских князей к востоку и северу от Моравии. Крещение чешского князя Борживоя.

878 — после кончины Игнатия патриархом в Константинополе снова

становится Фотий.

879 — Мефодий вызван в Рим для разбирательства обвинений против не-

го, выдвинутых швабским священником Вихингом.

880, весна — Мефодий прибывает в Рим.

Июнь — папа Иоанн VIII шлёт письмо князю Святополку.

881, 23марта — письмо Иоанна VIII Мефодию с подтверждением его ар-

хиепископских полномочий. 882 — приблизительное время поездки Мефодия в Константинополь. 885, 6 апреля — кончина архиепископа Мефодия.

Декабрь — папа Римский Стефан V отправляет князю Святополку

письмо, в котором запрещает служить литургию на славянском

языке.

886 — разгром кирилло-мефодиевской миссии в Великоморавском княжестве, арест и продажа в рабство учеников Кирилла и Мефодия. 910, 23 декабря — кончина Наума Охридского.

916, 27 июля — кончина епископа Климента в Охридском монастыре.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Источники

Остромирово Евангелие. М.; Л., 1988. Архангельское Евангелие 1092 года. М., 1997. Изборник Святослава 1073 года. М., 1983.

Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 2. СПб., 1999. Се повести временных лет (Лаврентьевская летопись). Арзамас, 1993. Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971. Памятники византийской литературы IX—XIV веков. М., 1969. Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. СПб., 1992

Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий по документальным источникам. Т. 1-2. СПб.,1868-1871.

Кеппен П. И. Собрание словенских памятников, находящихся вне России. СПб., 1827.

Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930.

Сказания о начале славянской письменности / Изд. подг. Б. Н. Фло-ря. М., 1981. (2-е изд.: СПб., 2000.)

Жития Кирилла и Мефодия. М., 1986.

Всенощное бдение. Литургия / Издание Московской Патриархии, 1982. The Greek New Testament. Deutsche Bibelgesellschaft. United Bible Societies, 1994.

Исследования

Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. Артамонов М. //. История хазар. Л., 1964. Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. М., 1984. Васильевский В. Г. Труды. Т. 3. Пг., 1915.

Верещагин Е. М.. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.

Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001.

Воейков Н. Н. Церковь, Русь и Рим. Минск, 2000.

Воскресенский Г. А. Древний славянский перевод Апостола. М., 1876.

Востоков А. Х.. Филологические рассуждения. Б. м.; б. д.

Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1952.

Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972.

Голубинский Е. Е. Святые Константин и Мефодий — апостолы славянские // Богословские труды. Т. 26—27. М., 1986.

Дворник Ф. Миссии греческой и западной церквей на Востоке в Средние века. М., 1970.

Дворник Ф. Славяне и Византия в IX веке. М., 1949.

Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001.

Добровский Й. Кирилл и Мефодий. Славянские первоучители. М., 1825.

Дурново Н. Я. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка. М., 2000.

Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.

Жуковская Л. П. Реймсское Евангелие. История изучения и текст. М., 1978.

Жуковская Л. П. Душа и слово. М., 2006. КарташевА. В. Вселенские соборы. Париж, 1963. Кондратов Н. А. Славянские языки. М., 1986. Кузьмин А. Г. Падение Перуна. М., 1988.

Ламанский В. И. Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник. Пг., 1915.

Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках. М., 1902.

Лёвочкин И. В. Основы русской палеографии. М., 2003.

Лёвочкин И. В. Очерки по истории русской рукописной книги XI— XVI вв. М., 2009.

Лопарев Х. Византийские жития святых VIII—IX веков // Византийский временник. 1911. Т. XVIII.

Макарий (Булгаков). История христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение в историю русской церкви СПб., 1846.

Малышевский И. И. Святые Кирилл и Мефодий, первоучители славянские. Киев, 1886.

Мецгер Брюс М. Ранние переводы Нового Завета. М., 2004.

Михайлов А. В. Лекции по древнерусской литературе. Варшава, 1912.

Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001.

НидерлеЛ. Славянские древности. М., 2000.

Очерки истории культуры славян. М., 1996.

Прохоров Г. М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010.

Рижский М. И. История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978.

Селищев А. М. Старославянский язык. Т. 1—2. М., 1951 — 1952.

Сорочан С. Б. Византийский Херсонес. Очерки истории и культуры. Ч. 1-2. Харьков, 2005.

Тахиаос А.-Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. Сергиев Посад, 2005.

Толстой Н. И. Древняя славянская письменность и становление этнического самосознания у славян — в сб.: Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего Средневековья. М., 1982.

Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995.

Троицкий С. В. Св. Мефодий как славянский законодатель // Богословские труды. Сб. 2. М., 1961.

Трубачев О. Н. В поисках единства. М., 1992.

Трубачев О. П. Этногенез и культура древних славян. М., 2002.

Турилов А. А. От Константина Философа до Константина Костенец-кого и Василия Софиянина. М., 2011.

Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 1—2. М., 1996— 1997.

Флоря Б. П., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы Кирилло-Мефодиев-ской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000. Фридрих И. История письма. М., 2001.

* * *

Ллексова Блага. Епископщата на Брегалница. Прилеп, 1989.

Божков Атанас. Изображенията на Кирил и Методий през вековите. София, 1989.

Георгиев Емил. Кирил и Методий. София, 1969.

Grives Franc. Slovenske blagovestnici sveti Ciril I Metod. Zagreb, 1985.

Dvornik Francis. Byzantine Missions among the Slavs. SS. Constantin-Cyril and Methodius. New Brunswick, 1970.

Златарски В. История на Българската държава през средните векове. Т. 1/1. София, 1970; Т. 1. Ч. 2. София, 1971.

Илиевски Петар Хр. Светила незаодни. Словенските првоучители и нивните ученици (Студии). CKonje, 1999.

Кирило-Методиевска енциклопедия. В 4 т. София, 1985—2003.

Киселков В. Сл. Славянските просветители Кирил и Методий. Живот и дейност. София, 1923.

Lehr-Splawiriski T. Ziwoty Konstantina I Metodego (obszerne). Poznan, 1959.

Lowmiariski H. Pocza^tki Polski. T. ГV. Warszawa, 1970.

Панчовски Иван Г. Св. Методий Славенобългарски. Живот и дейност // Годишник на Духовната Академия «Св. Климент Охридеки». Т. XXVIII (ЫV), 2. 1978/1979. София, 1986.

Petrovic Radmilo. Recnik vizantijske hristianizacije. Beograd, 2004.

Поленаковик Харлампие. Творците на словенската писменост. СКonje, 1985.

ПоповиЬ Павле. Ъирило и Методиіе. Београд, 2004.

ТрифуновиЬ ЪорТ)е. Азбучник ерпских средн>н>овековних ЮЬижевних noJMOBa. Београд, 1990.

Климент Охридски. Студии. СКonje, 1986.

Ferko M/fl/i.Velikomoravske zahady, Tatran. Bratislava, 1990.

Франко І. Святий Климент у Корсуні // Записки наукового товарист-ва ім. Шевченка. Львів, 1908. Т. 59. Кн. 3.

Tachiaos Anthony Emil N. Ciril and Methodius of Thessalonica. Thess., 1989.

Vavrzinek V. Staroslovenske zivote Konstantina a Metodeje. Praha, 1963. Vavrzinek V Cirkveni missie v dejinach Velike Moravy. Praha, 1963. Wasilewski Tadeusz. Bizancjum i slowianie w IX wieku. Warszawa, 1972.

СОДЕРЖАНИЕ

В городе солнца и луны..... 5
Славянская область Мефодия..... 18
У Софии 33
Иконоборец Анний 58
Философ на руинах Вавилона..... 71
Гора. Ученики..... 89
Скифский жребий 108
Корсунь..... 122
Хазарская миссия..... 145
К народу Фулл 169
День недельный, воскресный..... 177
Велеград. Простая чадь 204
Триязычники 230
Торжество и смерть в Риме..... 245
Сирмиум..... 263
Узники монастыря Райхенау..... 276
Жатва..... 289
Кириллица и глаголица..... 310
Царский путь 328
Основные даты жизни Мефодия и Кирилла..... 352
Краткая библиография 354

Лощиц Ю. М.
Л 81 Кирилл и Мефодий / Юрий Лощиц. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 357[11] с: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1406). ISBN 978-5-235-03594-2

Создатели славянской письменности, братья Константин (получивший незадолго до смерти

монашеское имя Кирилл) и Мефодий почитаются во всём славянском мире. Их жизненный подвиг не случайно приравнивают к апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. Уроженцы греческой Солуни (Фессалоник), они не только создали азбуку, которой и по сей день пользуются многие народы (и не только славянские!), но и перевели на славянский язык Евангелие и богослужебные книги, позволив славянам молиться Богу на родном языке. Предлагаемая вниманию читателей биография святых Кирилла и Мефодия принадлежит перу писателя Юрия Михайловича Лощица, которого ценители биографического жанра хорошо знают как автора книг «Сковорода», «Гончаров» и «Дмитрий Донской», ранее выходивших в серии «Жизнь замечательных людей». Надёжными путеводителями для автора стали два древнейших литературно-исторических памятника старославянской письменности — «Житие Константина Философа» и «Житие Мефодия» (так называемые пространные жития солунских братьев). Многие страницы книги написаны как развёрнутый комментарий к этим памятникам отдалённой эпохи и представляют собой опыт художественно-исследовательской реконструкции.

УДК 94(3)+811Л6 ББК 63.3(0)4-9+80-03

знак информационной *| і продукции

Лощиц Юрий Михайлович

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

Редактор А. Ю. Карпов Художественный редактор А. В. Никитин Технический редактор В. В. Пилкова Корректоры Т. И. Маляренко, Е. В. Марченко

Сдано в набор 11.10.2012. Подписано в печать 28.12.2012. Формат 84x108/^2. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 19,32+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ № 1300740.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail.dsel@gvardiva.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством Э Г VЭtO предоставленного электронного оригинал-макета ЯПК в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03594-2